

ЖУРНАЛ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

СИБИРЬ

360/2 2.2016

Литературно-художественный и культурно-просветительский
журнал писателей Восточной Сибири

Учредитель — Иркутское региональное отделение

Общероссийской общественной организации

«Союз писателей России»

Журнал выходит при финансовой помощи

Министерства культуры и архивов Иркутской области

Основан в 1930 году. Выходит 6 раз в год

Содержание

Имя России. К 80-летию Николая Рубцова

«Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...». Посвящения к 80-летию Николая Рубцова поэтов России. Мария Аввакумова, Виктор Коротаев, Герман Александров, Владимир Балачан, Евгений Бачурин, Василий Белов, Глеб Горбовский, Анатолий Горбунов, Нина Груздева, Николай Дмитриев, Николай Зиновьев, Анатолий Змиевский, Геннадий Иванов, Александр Колесов, Владимир Корнилов, Юрий Кузнецов, Владимир Костров, Станислав Куняев, Анатолий Передреев, Владимир Скиф, Николай Старшинов3

Поэзия

Николай Рубцов. Тихая моя Родина 13
Владимир Скиф. Из одной бригады... *Воспоминания о поэте Петре Прихожане* 30
Пётр Прихожан. Неразменный пятак 33
Арон Гаал. Это — моя жизнь 60
Михаил Базилевский. Где сливаются две глубины 104
Георгий Кольцов. Опоздал я вернуться... 123
Валентин Сорокин. У крупного поэта берёзка есть своя... 151
Лидия Сычёва. Посвящение в слово. *Эссе* 155

Проза

Анатолий Байбородин. «Радость моя, молю тебя...» *Рассказы* 40
Вячеслав Архипов. Искры на воде. *Повесть* 66
Александр Щербаков. Ключи от рая. *Маленькая повесть* 110
Андрей Грунтовский. Из плотничьих разговоров. *Рассказы* 130

Театральный роман

Людмила Мирманова. «Русская дальневосточная»: рукописи не горят 20
Владимир Гуркин. Русская дальневосточная. *Немножко горькая, немножко радостная история в трёх картинах* 21

Уроки Распутина

Валентин Распутин не призывал к распаду СССР.
Открытое письмо писателей Приангарья 157
Голоса на дороге. *Беседа с омским литератором Г.Г. Минеевой о последней встрече с В.Г. Распутиным* 160

Подвёг. Бессмертный полк

Владимир Скиф. Бессмертный полк 166
Из переписки Владимира Беляева с Владимиром Скифом 167

Голоса молодых

Валерия Домрачева, Елизавета Оводнева, Вероника Лузгина..... 171

Час поэзии

Виолетта Гусакова, Анастасия Белоусова, Никита Ноянов, Екатерина Ендрихинская,
Наталья Подсосонная, Наталья Устименко, Оксана Сыченко, Николай Попов,
Юрий Литвяк, Ален Шамсиева..... 181

Полемика и заметки

Анна Каштанова. Ребусы развивающего обучения..... 188

К 220-летию Николая Полевого

А.К. Бобков. Миры Николая Алексеевича Полевого..... 194

К 80-летию Геннадия Машкина

Владимир Попов. С путёвкой геолога 198

Оксана Запольская. Фарт Геннадия Машкина 206

Сияние России - 2015

Валентина Семёнова. «Сияние России»: впервые без Распутина. Хроника с комментариями..... 210

Мастерская художественного очерка

Виктор Бронштейн. Спасительные сигналы едва не угасшей звезды Даши Намдакова..... 223

Критика

Василий Забелло. Глаголы Валентины Сидоренко. Отзыв на книгу «Русь земная» 238

Александр Донских. Чудеса без конца. Несколько слов о детской прозе Любови Кантаржи 242

Владимир Максимов. Размышления у парадного подъезда литературы.

Литература как процесс, как призвание или как привилегия?..... 244

Валентина Иванова. По следам публикаций 252

Новинки — 2016. Валентин Распутин, Иван Комлев, Михаил Тарковский, Виктор Бронштейн,

Юрий Колмаков, «Помнит город о войне», Владимир Ходий, Римма Михеева, Алексей Петров,

Александр Беляев 257

Имя Иркутска

Татьяна Суровцева. Высоким словом русского романа..... 262

Год Карамзина

Александр Донских. «Оказывается, у меня есть Отечество!»..... 269

Главный редактор **А.С. ДОНСКИХ**

Заведующий отделом поэзии **В.П. СКИФ**

Заведующий отделом прозы **С.В. ЗУБАКОВА**

Заведующий отделом критики и публицистики **А.Г. МИРОШНИКОВ**

СОВЕТ ЖУРНАЛА

Г.В. Аксаментов, А.А. Антипин, А.Г. Байбородин, Ю.И. Баранов, В.В. Воронов,

И.И. Козлов, Р.Г. Михеева, М.П. Попова, А.И. Сальников, С.В. Шеребаева.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, кроме особо оговоренных случаев. Произведения более пяти авторских листов к рассмотрению не принимаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Оформление обложки Г.Г. Гордиевских. На обложке: памятник в г. Иркутске российскому императору Александру III, автор проекта Р.Р. Бах (даты основания: 1908, 2003 гг.). Комп. верстка А.Л. Гордиевских. Корректор Л.Н. Заступова

**Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области.
Свидетельство о регистрации СМИ от 13.12.2012 г. ПИ № ТУ38-00600.**

Адрес редакции: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253. каб. 304.

Телефон редакции: 48-66-80, добавочный: 300. Телефон главного редактора: 8-964-274-04-95. E-mail: das1959@bk.ru.

Подписано в печать ??.2016 г. Выход в свет: ??2016 г. Формат 70x108/16.

Усл-печ. л. 22. Тираж 1300. Цена свободная.

Отпечатано в типографии «РЕКЛАМАГРАД», рекламно-полиграфическая студия,

г. Иркутск, ул. Пискунова, 122, офис 224, тел. +79501151538. E-mail: reklamagrad_studio@mail.ru



«Я буду скакать по холмам
задремавшей Отчизны...»

МАРИЯ АВВАКУМОВА

Москва

* * *

Памяти Николая Рубцова

Кто это там, среди могил,
во тьме неодолимой
звериным голосом завыл
о матушке родимой?

Кто жил, гуляка и босяк,
среди Москвы холёной
да и пропал незнамо как —
от рук своей гулёны?

Кто вспомнил милости её,
половички простые?
Оплакал детство кто своё
среди болот России?

Кто этот жалкий... этот бред...
всегда для всех неправый?
— Не сумасшедший, а Поэт.
В пяти шагах от славы.

ВИКТОР КОРОТАЕВ

Вологда

Памяти Николая Рубцова

I

Потеряем скоро человека,
В этот мир забредшего шутя.
У законодательного века
Вечно незаконное дитя.
Тридцать с лишним лет как из пелёнок,
Он, помимо прочего всего,
Лыс, как пятимесячный ребёнок,
Прост, как погремушечка его.
Ходит он по улицам Державы,
Дышит с нами Временем одним,
Уважает все его Уставы,
Но живёт, однако, по своим.
«Как сказал он! Как опять слухавил!» —
Шепчут про него со всех сторон.
Словно исключение из правил,

Он особым светом озарён.
Только на лице вечерне-зыбком
Проступает резче что ни день
Сквозь его беспечную улыбку
Грозная трагическая тень.
И не видеть мы её не вправе,
И смотреть нам на неё невмочь,
И бессильны что-нибудь исправить,
И не в силах чем-нибудь помочь.
В нашем мире риска и дерзанья,
Где в чести
борьба да неуют,
Эти отрешённые создания,
Как закаты,
долго не живут.

II

За окнами мечется вьюга,
Сквозит предрассветная мгла.
Душа одинокого друга
Такой же бездомной была.
И мне потому — не иначе —
Всё кажется, если темно,
Что кто-то под топодем плачет
И кто-то скребётся в окно.
Не раз ведь походкою зыбкой
То весел, то слаб и уныл,
Он с тихой и тайной улыбкой
Из вьюги ко мне приходил.

В тепле отогревшись немножко,
Почти не ругая житьё,
Метельные песни её
Играл на разбитой гармошке.
Гудела и выла округа,
Но он вылезал из угла.
И снова холодная вьюга
Его за порогом ждала.
И слышало долго предместье,
Привычно готовясь ко сну,
Как их одинокие песни,
Сближаясь, сливались в одну.

III

Милый друг мой,
Прощаясь навеки,
В нашей горькой и смертной судьбе
Всею силой, что есть в человеке,
Я желаю покоя тебе.

Оставаясь покамест на свете,
Я желаю у этих могил
Чистых снов, тишины и бессмертья.
И любви.
Ты её заслужил.

ГЕРМАН АЛЕКСАНДРОВ

Вологда

* * *

Какая свирепая вьюга,
Какая зловещая ночь!
Нет больше Поэта и Друга,
И горю ничем не помочь.
Ничем не восполнить утраты,
Постигшей тебя и меня,
Но разве он в том виноватый,
Что было в нём столько огня,

Что в жизни, нередко жестокой,
А то непонятно чужой,
Порою такой одинокой,
Других согревал он душой!
И нежные песни сыновьи
О Родине пел дорогой
Со всею своею любовью,
Со всею своею тоской!

ВЛАДИМИР БАЛАЧАН

Омск

Николай Рубцов

1

Печален голос у поэта.
Но за чертой коротких лет
Душой он видел грани света
И там, за гранью, видел свет.

Печален голос у поэта,
Как сосен шум, как вздох воды.
Душой он видел грани света
На грани собственной беды.

Он — как рубец на теле Родины.
Его любовь, молитва, злость —
Всё, что увидено и пройдено,
В стихах и в имени срослось.

ЕВГЕНИЙ БАЧУРИН

Москва

Памяти Рубцова

Отстучали колеса, отпели твои поезда,
отмерцали огни, отмелькали узлы и вокзалы,
умудрился ты где-то от поезда спьяну отстать,
проводница про то всю дорогу потом вспоминала.

А собратья твои, те, что лезли поспешно в вагон,
за билеты дрались, за купе и за нижние полки,
помогали друг друга сшибать и выкидывать вон,
и поехали зайцами многие серые волки.

Вот и вышло тебе, бедолаге-растяпе, застрять
на одной из больших, но забытых в провинции станций,
в привокзальном буфете дешёвый портвейн распивать
и буфетчице Люсе в любви роковой объясняться.

Ну а времечко шло, и текли небеса над страной,
пролетали там годы, как белые лебеди-гуси,
ты раздал свой багаж, разорвал свой билет проездной
и забылся навеки в объятьях буфетчицы Люси.

На заснеженных ветках, в провисших дугой проводах
слышен голос твой чистый-пречистый, прерывисто тонкий,
и поют в деревнях, и читают тебя в городах
мужики в телогрейках и в юбках джинсовых девчонки.

Ну а что же тот поезд, умчавшийся в чёрную ночь,
на котором за каждое место дрались не на шутку?
Он столкнулся с другим, на котором такие ж точь-в-точь
тоже рвались вперёд. Что ж, смешно и немножечко жутко.

ВАСИЛИЙ БЕЛОВ

Вологда

На смерть Николая Рубцова

О, как мне осилить такую беду —
явилась и тучей нависла.
Не скроюсь нигде, никуда не уйду
от этого подлого смысла.

Подсчитано всё, даже сны и шаги.
Как холят тебя и как любят!
Но губят меня не они, не враги, —
друзья уходящие губят.

Как будто позор предстоящего дня
узнали и — рады стараться —

один за другим, не жалея меня,
в родимую землю ложатся.

Мне страшно без них! Я не вижу ни зги,
ступаю, не чувствуя тверди.
Кого заклинать: не отринь, помоги,
в безжалостный час не отвергни?

Ни Бога, ни Родины... Лишь Мавзолей
и звёзды, воспетые хором.
И, тихо мерца, светило полей
горит над бессонным Угором.

ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ

Санкт-Петербург

Николай Рубцов

Не от мира сего человек?
Нет, зачем же... Он был в этом мире —
мимолётным и чистым, как снег,
на гармошке играл и на лире.

Мог обняться с тобой, как родной,
мог схватиться, азартом влекомый!
Не от зла, не от ласки хмельной —
от сиротства, от жизни бездомной...

Сухопутен. А в море был вхож:
ударялся о «Волны и скалы»

и хватался порой не за нож,
а за сердце, что правду искало!

Если взглядом уставиться вспять —
мы с ним оба хлебнули дай Боже!..
Он прожил на миру — тридцать пять...
Я, к стыду, этот срок приумножил.

В этой жизни, родству вопреки,
Находились мы чаще в разлуке...
И погиб он — от злобной руки...
Я погибну от водки и скуки.

АНАТОЛИЙ ГОРБУНОВ

Иркутск

Любовь земная

Николаю Рубцову

Любовь земная, ты неугасима!
Лес, увядая, вспыхнул от мороза.
Гори, гори, осенняя осина,
Гори, гори, осенняя берёза!
В такое время громче зов природы.
Бурлят в реке зловещие закаты.

Как мало вас, оставшиеся годы,
Как много вас, разлуки и утраты!
Ловлю рукой огонь на ветках тонких
И говорю: о молодость, воскресни!
А мне в ответ, блуждая, как в потёмках,
Выводит ветер жалобные песни.

Но журавлей своих не окликаю,
Их не обманет древняя дорога.
Я всё, как есть, на свете принимаю,
Познав тоску отцовского порога.

Любовь земная, ты неугасима!
Лес, увядая, вспыхнул от мороза.
Гори, гори, осенняя осина,
Гори, гори, осенняя берёза!

НИНА ГРУЗДЕВА

Вологда

Крыша

Николаю Рубцову

Мы были бездомными, Коля,
Но словно родная семья,
И те, кто не знал этой доли,
К нам не набивались в друзья.

Все вместе ходили мы к Неле,
В семейный налаженный быт,
И после брели еле-еле —
В общагу меня проводить.

Сказал разволнованный Чухин,
Нашедший у бабки приют:
— Вот ходят какие-то слухи,
Что нам по квартире дают!

И ты усмехнулся, невесел,
Прервав размышления нить:

— Серёжа и уши развесил.
Ключи не забудь получить!

А годы неслись молодые,
И были с тобою друзья,
Такие простые, земные,
Как Неля, Серёжа и я.

Спрошу я у Господа Бога,
За душу себя беребя:
Откуда сегодня так много
Друзей развелось у тебя?

И пишут, и пишут, и пишут,
И хвастают, совести нет,
А дали бы вовремя крышу —
И жил бы великий поэт!

НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВ

Москва

Один за клюквой больше не пойду.

Н. Рубцов

И я один за клюквой не хожу.
Сопровождаемый собачьим лаем,
Я в сосны, как с Рубцовым Николаем
На вырубку далёкую, спешу.

Листва, трава мне навевают сны.
Подхватит чаща, лишь умолкнет жито,
От махонькой былинки до сосны
Здесь всё родной поэзией обжито.

О, хорошо мне по лесу петлять,
Как в горнице родительской уютно.
И даже стало проще представлять
Мир без меня. А раньше было трудно.

НИКОЛАЙ ЗИНОВЬЕВ

Краснодарский край

Журавли

Выходите скорее взглянуть
На высоких своих!

Н. Рубцов

Который год над нашим краем	Не подаём убогим хлеба,
Не пролетают журавли,	А с раздраженьем гоним прочь.
А мы живём и умираем	Христу, всё видящему с неба,
В заботах мелочных, в пыли.	Как от тоски не изнемочь?
В сердцах своих не носим света,	В молитве рук не простираем
Живём бездумнее травы.	При виде утренней зари,
Я сам приветствую соседа	И потому над нашим краем
Кивком небрежным головы.	Не пролетают журавли...

АНАТОЛИЙ ЗМИЕВСКИЙ

Иркутск

Николаю Рубцову

Застенчивой души застенчивые зори...
У робкой красоты учусь я понимать,
как может полюбить
лишь только беспризорник
Бог весть какой судьбы дарованную мать.

Там, в кружевном краю,
там, в вологодских далях,
где зимней клюквой Русь забрызгала подол,
печалился и жил и умер от печали
мучительной любви измученный посол.

Привет тебе, Рубцов! Хранит тебя твой север,
как ты в себе самом Отечество хранил,
а жизнь... а жизнь идёт,
и вновь цветут деревья,
и месяц в синий пруд подкову уронил.

Но под вечерний свет, прошаркав до калитки,
старушка в голубых морщинах доброты,
одышливо крестясь, прошамкает молитву
за упокой души поэта-сироты.

Спи, Николай Рубцов.
Над дремлющим погостом
навек твоей звезде и плакать, и мигать.
Спи, Николай Рубцов.
Прошло твоё сиротство.
Но и тебя, увы, нет смысла окликать.

ГЕННАДИЙ ИВАНОВ

Москва

Рубцов

Одних поэтов лепят, создают...
Находят сложным их ничтожный лепет.
Им — шумных споров праздничный салют,
Им — молодёжи трепет.

Но ты другой, тут незачем лепить.
Ты есть как есть — глубокий и от Бога.
И кто стихи твои пытается хулить —
Перед стихами выглядит убого.

АЛЕКСАНДР КОЛЕСОВ

Нижний Новгород

* * *

Когда под гнётом
тяжкого застоя
Печальным стало
Родины лицо,
когда в стране забылось
всё святое,
пришел в её поэзию Рубцов.

Как нежный сын,
заговорил он с Русью,
добром ответил на людское зло...
И вспомнился нам
подвиг Иисуса,
и в наших душах
солнышко взошло.

ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ

Братск

Памяти Николая Рубцова

Стукну по карману — не звенит,
Стукну по другому — не слышать.
Если только буду знаменит,
То поеду в Ялту отдыхать.

Николай Рубцов. «Элегия»

1

Не слагал он гимн червонцам.
Что поэту кошелёк!
В Ялте денег тех под солнцем
На неделю — крайний срок...
Не искал он праздной лени,
Счастья купленных минут:
Их дороже край олений,
Край, где радуги цветут.
Где на солнечных полянах
Паучок, забравшись в тень,
Из серебряных туманов
Тянет нить в осенний день...
В те края не за калымом
На стоянки пастухов
Брёл поэт, пропахший дымом,
И охрипший от стихов.

Последний день — и есть последний:
 Молчат души колокола.
 Твоё бессмертное наследье
 Россия приняла...
 И ты уже от всех далёко —
 У той неведомой черты,

Где знаки вечности и рока
 Царят над миром суеты.
 И только строгое молчанье,
 И взгляд, направленный в себя,
 Вещают нам, что смерть случайно
 Из жизни вырвала тебя.

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ

Москва

* * *

Не дом — машина для жилья.
 Давно идёт сыра земля
 Сырцом на все четыре стороны.
 Поля покрыл железный хлам,
 И заросла дорога в храм,
 Ржа разъедает сердце родины.

Сплошь городская старина
 Влачит чужие имена,
 Искусства нет — одни новации.
 Обезголосел быт отцов.
 Молчите, Тряпкин и Рубцов,
 Поэты русской резервации.

ВЛАДИМИР КОСТРОВ

Москва

* * *

Терпенье, люди русские, терпенье —
 Рассеется духовный полумрак,
 Врачуются сердечные раненья...
 Но это не рубцуются никак.
 Никак не зарастает свежей плотью...
 Летаю я на запад и восток,
 А надо бы почаще ездить в Тотьму,
 Чтоб положить к ногам его цветок.
 Он жил вне быта, только русским словом.
 Скитания, бездомье, нищета.

Он сладко пел, но холодом медовым
 Суровый век замкнул его уста.
 Сумейте, люди добрые, сумейте
 Запомнить реку, памятник над ней.
 В кашне, в пальто, на каменной скамейке
 Зовёт поэт звезду родных полей.
 И потому, как видно, навсегда,
 Но в памяти, чего ты с ней ни делай,
 Она восходит, Колина звезда —
 Звезда полей во мгле заледенелой.

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

Москва

Памяти поэта

Мы были с ним знакомы, как друзья.
 Не раз в обнимку шли и спотыкались.
 Его дорога и моя стезя в земной судьбе
 не раз пересекались.
 Он выглядел, как захудалый сын своих отцов...
 Как самый младший, третий...
 Но всё-таки звучал высокий смысл
 в наборе слов его и междометий.

Он был поэт, как критики твердят,
 его стихи лучатся добрым светом,
 но тот, кто проникал в тяжёлый взгляд,
 тот мог по праву усомниться в этом.
 В его прищуре открывалась мне
 печаль по бесконечному раздолью,
 по безнадежно брошенной земле,
 ну, словом, всё, что можно звать любовью.

А женщины? Да ни одна из них
не поняла его души, пожалуй,
и не дышал его угрюмый стих
надеждою на них хоть самой малой.
Наверно, потому, что женский склад
в делах уюта и в делах устройства
внезапно упирался в этот взгляд,
ни разу не терявший беспокойства.
Лишь иногда в своих родных местах
он обретал подобие покоя
и вспоминал о прожитых годах,
как ангел, никого не беспокоя.
Он точно знал, что счастье — это дым
и что не породнишь его со Словом,

вот почему он умер молодым
и крепко спит в своем краю суровом,
на вологодском кладбище своём
в кругу теней любимых и печальных...
А мы ещё ликуем и живём
в предчувствии потерь уже недалёких.
А мы живём, и каждого из нас
терзает всё, что и его терзало,
и потому, пока не пробил час,
покамест время нас не обтесало,
давай поймём, что наша жизнь — завет,
что только смерть развяжет эти узы —
ну, словом, всё, что понимал поэт
и кровный сын жестокой русской музыки.

АНАТОЛИЙ ПЕРЕДРЕЕВ

Москва

Кладбище под Вологдой

Памяти Рубцова

Края лесов полны осенним светом,
И нет у них ни края, ни конца —
Леса... Леса... Но на кладбище этом
Ни одного не видно деревца!
Простора первозданного избыток,
Куда ни глянь... Раздольные места...
Но не шагнуть меж этих пирамидок,
Такая здесь — до боли! — теснота.
Тяжёлыми венками из железа
Увенчаны могилки навсегда,
Чтоб не носить сюда цветов из леса
И, может, вовсе не ходить сюда...
Одно надгробье с обликом поэта
И рвущейся из мрамора строкой

Ещё живым дыханием согрето
И бережною прибрано рукой.
Лишь здесь порой, как на последней тризне,
По стопке выпьют... Выпьют по другой...
Быть может, потому, что он при жизни
О мёртвых думал как никто другой!
И разойдутся тихо, сожалея,
Что не пожать уже его руки...
И загремят им вслед своим железом,
Зашевелятся мёртвые венки...
Какая-то цистерна или бочка
Ржавеет здесь, забвению сродни...
Осенний ветер... Опадает строчка:
«Россия, Русь, храни себя, храни...»

ВЛАДИМИР СКИФ

Иркутск

На могиле Николая Рубцова

А песни лучшие пропеты...
А журавли летят куда-то
Сквозь вологодские рассветы
И вологодские закаты.

С деревьев падают кометы,
А он не слышит, сном объятый,
Ни свиста крыльев над планетой,
Ни плача зяблика над хатой.

От одиночества уставший,
От человечества ушедший,
Среди России сумасшедшей
Спит, к вечной пристани приставший.

За что — никто уже не спросит —
Он у судьбы — такой немилый?!
И только осень, только осень
Рыдает над его могилой...

Земля Николая Рубцова

Небеса тяжелеют свинцово,
Леденеет непрочная даль.
И земля Николая Рубцова
Расстилает в болотах печаль.

Глухо ропшут кусты бересклета,
И стенают леса и цветы,

Окликают земного поэта,
Но леса и болота пусты.

С неба льётся река дождевая...
Нет Рубцова. Не скачет верхом.
Он по небу идёт, окликая
Свою землю сердечным стихом.

НИКОЛАЙ СТАРШИНОВ

Москва

* * *

Рябина от ягод пунцова.
Подлесок ветрами продут.
На родине Коли Рубцова
Дожди затяжные идут.

В такую ненастную пору
Не шумной толпой, а вдвоём
Пройти бы к сосновому бору
Прекрасным и грустным жнивьём.

Следить — а куда торопиться? —
Отчаянный гон облаков.
Земле поклониться,
Напиться из тихих её родников.

Забраться в осинник,
Послушать, что шепчут друг другу листья.
И думать: а наши-то души,
Как прежде, по-детски чисты?..

И так, ни о чём не печалюсь,
Вдвоём постоять над рекой...
Мы часто случайно встречались,
И всё в толчее городской.

Летели, летели недели,
Да что там недели — года!..
Не раз в ЦДЛе сидели,
А вот у реки — никогда...

Бесчинствует ветер несносный.
Продрогнув с макушки до пят,
Гудят корабельные сосны,
Как мачты, под бурей скрипят.

И тучи нависли свинцово —
Погожей погоды не жди...
На родине Коли Рубцова
Идут затяжные дожди.



НИКОЛАЙ РУБЦОВ



Тихая моя Родина

* * *

Василию Белову

Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.

— Где тут погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу.
Тихо ответили жители:
— Это на том берегу.

Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травой зарос.

Там, где я плавал за рыбами,
Сено гребут в сеновал:
Между речными изгибами
Вырыли люди канал.

Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил...
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.

Новый забор перед школою,
Тот же зелёный простор.
Словно ворона весёлая,
Сяду опять на забор!

РУБЦОВ Николай Михайлович (1936–1971), русский советский поэт. Родился 3 января 1936 г. в посёлке Емецк Архангельской области; сын погибшего в войну политработника. В 1942 г. умерла его мать, и Николая направили в Никольский детский дом Тотемского района Вологодской области, где он окончил семь классов школы. Здесь в гражданском браке с Генриеттой Меньшиковой родилась его дочь Елена. Учился в лесотехническом техникуме г. Тотьма. С 16 лет скитался по стране, был библиотекарем, кочегаром на рыболовном судне, нёс срочную службу на Северном флоте, работал в Ленинграде на Кировском заводе (кочегаром, слесарем). В 1962–1969 гг. учился в Литературном институте им. М. Горького. Печататься начал с 1962 г. Опубликовал сборники «Лирика» (1965), «Звезда полей» (1967), «Душа хранит» (1969), «Сосен шум» (1970), «Зелёные цветы» (1971). Посмертно издан последний стихотворный сборник Николая Рубцова «Подорожники» (1976). Поэт занимался также художественными переводами. Умер Николай Рубцов в Вологде 19 января 1971 г. в результате нелепого инцидента, а именно: семейной ссоры со своей невестой, начинающей поэтессой Людмилой Дербиной (Грановской). Судебное следствие установило, что смерть наступила в результате удушения. Людмила Дербина была осуждена на 7 лет. Биографы говорят о стихотворении Рубцова «Я умру в крещенские морозы» как о предсказании даты собственной трагической смерти.

Школа моя деревянная!..
Время придёт уезжать —
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

* * *

В минуты музыки печальной
Я представляю жёлтый плёс,
И голос женщины прощальный,
И шум порывистых берёз,

Но всё равно в жилищах зыбких —
Попробуй их останови! —
Перекликаясь, плачут скрипки
О жёлтом плёсе, о любви.

И первый снег под небом серым
Среди погаснувших полей,
И путь без солнца, путь без веры
Гонимых снегом журавлей...

И всё равно под небом низким
Я вижу явственно, до слёз,
И жёлтый плёс, и голос близкий,
И шум порывистых берёз.

Давно душа блуждать устала
В былой любви, в былом хмелю,
Давно понять пора настала,
Что слишком призраки люблю.

Как будто вечен час прощальный,
Как будто время ни при чём...
В минуты музыки печальной
Не говорите ни о чём.

* * *

Ветер всхлипывал, словно дитя,
За углом потемневшего дома.
На широком дворе, шелестя,
По земле разлеталась солома...

Разве можно расстаться шутя,
Если так одиноко у дома,
Где лишь плачущий ветер-дитя
Да поленница дров и солома.

Мы с тобой не играли в любовь,
Мы не знали такого искусства,
Просто мы у поленницы дров
Целовались от странного чувства.

Если так потемнели холмы,
И скрипят, не смолкая, ворота,
И дыхание близкой зимы
Всё слышней с ледяного болота...

Вечернее происшествие

Мне лошадь встретилась в кустах.
И вздрогнул я. А было поздно.
В любой воде таился страх,
В любом сарае сенокосном...
Зачем она в такой глуши
Явилась мне в такую пору?
Мы были две живых души,
Но неспособных к разговору.

Мы были разных два лица,
Хотя имели по два глаза.
Мы жутко так, не до конца,
Переглянулись по два раза.
И я спешил — признаюсь вам —
С одною мыслью к домочадцам:
Что лучше разным существам
В местах тревожных — не встречаться!

Во время грозы

Внезапно небо прорвалось
С холодным пламенем и громом!
И ветер начал вкривь и вкось
Качать сады за нашим домом.

Завеса мутная дождя
Заволокла лесные дали.
Кромсая мрак и бороздя,
На землю молнии слетали!

И туча шла, гора горой!
Кричал пастух, металось стадо,
И только церковь под грозой
Молчала набожно и свято.

Молчал, задумавшись, и я,
Привычным взглядом созерцая

Зловещий праздник бытия,
Смятенный вид родного края.

И всё раскалывалась высь,
Плач раздавался колыбельный,
И стрелы молний всё неслись
В простор тревожный, беспредельный.

Деревенские ночи

Ветер под окошками,
тихий, как мечтание,
а за огородами
в сумерках полей
крики перепёлок,
ранних звёзд мерцание,
ржание стреноженных
молодых коней.
К табуну с уздечкою
выбегу из мрака я,
самого горячего
выберу коня,
и по травам скошенным,
удилами звякая,
конь в село соседнее
понесёт меня.

Пусть ромашки встречаемые
от копыт сторонятся,
вздрагнувшие ивы
брызгают росой, —
для меня, как музыкой,
снова мир наполнится
радостью свидания
с девушкой простой!
Всё люблю без памяти
в деревенском стане я,
будоражат сердце мне
в сумерках полей
крики перепёлок,
дальних звёзд мерцание,
ржание стреноженных
молодых коней...

Добрый Филя

Я запомнил, как диво,
Тот лесной хуторок,
Задремавший счастливо
Меж звериных дорог...

Там в избе деревянной,
Без претензий и льгот,
Так, без газа, без ванной,
Добрый Филя живёт.

Филя любит скотину,
Ест любую еду,
Филя ходит в долину,
Филя дует в дуду!

Мир такой справедливый,
Даже нечего крыть...
— Филя! Что молчаливый?
— А о чём говорить?

* * *

Загородил мою дорогу
Грузовика широкий зад.
И я подумал: «Слава богу,
Дела в селе идут на лад».

Теперь в полях везде машины,
И не видать плохих кобыл.
И только вечный дух крушины
Всё так же горек и уныл.

И резко, словно в мегафоны,
О том, что склад забыт и пуст,
Уже не каркают вороны
На председательский картуз.

Идут, идут обозы в город
По всем дорогам без конца, —
Не слышно праздных разговоров,
Не видно праздного лица.

Звезда полей

Звезда полей во мгле заledenело,
Остановившись, смотрит в полынью.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою...

Звезда полей! В минуты потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом
Она горит над золотом осенним,
Она горит над зимним серебром...

Звезда полей горит, не угасая,
Для всех тревожных жителей земли,
Своим лучом приветливым касаясь
Всех городов, поднявшихся вдали.

Но только здесь, во мгле заledenелой,
Она восходит ярче и полней,
И счастлив я, пока на свете белом
Горит, горит звезда моих полей...

Элегия

Отложу свою скудную пищу
И отправлюсь на вечный покой.
Пусть меня ещё любят и ищут
Над моей одинокой рекой.

Пусть ещё всевозможное благо
Обещают на той стороне.
Не купить мне избу над оврагом
И цветы не выращивать мне...

Зелёные цветы

Светлеет грусть, когда цветут цветы,
Когда брожу я многоцветным лугом
Один или с хорошим давним другом,
Который сам не терпит суеты.

За нами шум и пыльные хвосты —
Всё улеглось! Одно осталось ясно —
Что мир устроен грозно и прекрасно,
Что легче там, где поле и цветы.

Остановившись в медленном пути,
Смотрю, как день, играя, расцветает.
Но даже здесь чего-то не хватает...
Недостаёт того, что не найти.

Как не найти погаснувшей звезды,
Как никогда, бродя цветущей степью,
Меж белых листьев и на белых стеблях
Мне не найти зелёные цветы...

Сентябрь

Слава тебе, поднебесный
Радостный краткий покой!
Солнечный блеск твой чудесный
С нашей играет рекой,
С рощей играет багряной,
С россыпью ягод в сенах,
Словно бы праздник нагрянул
На златогривых конях!
Радуюсь громкому лаю,
Листьям, корове, грачу,
И ничего не желаю,
И ничего не хочу!
И никому не известно
То, что, с зимой говоря,
В бездне таится небесной
Ветер и грусть октября...

Зимняя песня

В этой деревне огни не погашены.
Ты мне тоску не пророчь!
Светлыми звёздами нежно украшена
Тихая зимняя ночь.

Светятся тихие, светятся чудные,
Слышится шум полыньи...
Были пути мои трудные, трудные.
Где ж вы, печали мои?

Скромная девушка мне улыбается,
Сам я улыбчив и рад!

Трудное, трудное — всё забывается,
Светлые звёзды горят!

Кто мне сказал, что во мгле заметенной
Глохнет покинутый луг?
Кто мне сказал, что надежды потеряны?
Кто это выдумал, друг?

В этой деревне огни не погашены.
Ты мне тоску не пророчь!
Светлыми звёздами нежно украшена
Тихая зимняя ночь...

* * *

Мы сваливать не вправе
Вину свою на жизнь.
Кто едет — тот и правит,
Поехал — так держись!

Я повода оставил.
Смотрю другим вослед.
Сам ехал бы и правил,
Да мне дороги нет...

На кладбище

Неужели одна суета
Был мятеж героических сил
И забвением рухнут лета
На сиротские звёзды могил?

Сталин что-то по пьянке сказал —
И раздался винтовочный залп!
Сталин что-то с похмелья сказал —
Гимны пел митингующий зал!

Сталин умер. Его уже нет.
Что же делать — себе говорю, —

Чтоб над родиной жидкий рассвет
Стал похож на большую зарю?

Я пойду по угрюмой тропе,
Чтоб запомнить рыданье пурги
И рожденные в долгой борьбе
Сиротливые звёзды могил.

Я пойду поклониться полям...
Может, лучше не думать про всё,
А уйти, из берданки паля,
На охоту в окрестности сёл...

Нагрянули

Не было собак — и вдруг залаяли.
Поздно ночью — что за чудеса! —
Кто-то едет в поле за сараями.
Раздаются чьи-то голоса...

Не было гостей — и вот нагрянули.
Не было вестей — так получай!
И опять под ивами багряными
Расходился праздник невзначай.

Ты прости нас, полюшко усталое,
Ты прости, как братьев и сестёр:

Может, мы за всё своё бывалое
Разожгли последний наш костёр.

Может быть, последний раз нагрянули,
Может быть, не скоро навестят...
Как по саду, садику багряному
Грустно-грустно листья шелестят.

Под луной, под гаснущими ивами
Посмотрели мой любимый край
И опять умчались, торопливые,
И пропал вдали собачий лай...

Прощальная песня

Я уеду из этой деревни...
Будет льдом покрываться река,
Будут ночью поскрипывать двери,
Будет грязь на дворе глубока.

Мать придёт и уснёт без улыбки...
И в затерянном сером краю
В эту ночь у берестяной зыбки
Ты оплачешь измену мою.

Так зачем же, прищурив ресницы,
У глухого болотного пня
Спелой клюквой, как добрую птицу,
Ты с ладони кормила меня?

Слышишь, ветер шумит по сараю?
Слышишь, дочка смеётся во сне?
Может, ангелы с нею играют
И под небо уносятся с ней...

Не грусти! На знобящем причале
Парохода весною не жди!

Лучше выпьем давай на прощанье
За недолгую нежность в груди.

Мы с тобою, как разные птицы!
Что ж нам ждать на одном берегу?
Может быть, я смогу возвратиться,
Может быть, никогда не смогу.

Ты не знаешь, как ночью по тропам
За спиною, куда ни пойду,
Чей-то злой, настигающий топот
Всё мне слышится, словно в бреду.

Но однажды я вспомню про клюкву,
Про любовь твою в сером краю
И пошлю вам чудесную куклу,
Как последнюю сказку свою.

Чтобы девочка, куклу качая,
Никогда не сидела одна.
— Мама, мамочка! Кукла какая!
И мигает, и плачет она...

По вечерам

С моста идёт дорога в гору.
А на горе — какая грусть! —
Лежат развалины собора,
Как будто спит былая Русь.

Былая Русь! Не в те ли годы
Наш день, как будто у груди,
Был вскормлен образом свободы,
Всегда мелькавшей впереди!

Какая жизнь отливала,
Отгоревала, отошла!
И всё ж я слышу с перевала,
Как веет здесь, чем Русь жила.

Всё так же весело и властно
Здесь парни ладят стремяна,
По вечерам тепло и ясно,
Как в те былые времена...

Ферапонтово

В потемневших лучах горизонта
Я смотрел на окрестности те,
Где узрела душа Ферапонта
Что-то Божье в земной красоте.

И однажды возникли из грёзы,
Из молящейся этой души,
Как трава, как вода, как берёзы,
Диво дивное в русской глуши!

И небесно-земной Дионисий,
Из соседних явившись земель,
Это дивное диво возвысил
До черты, не бывалой досель...

Неподвижно стояли деревья,
И ромашки белели во мгле,
И казалась мне эта деревня
Чем-то самым святым на земле.

* * *

Я люблю судьбу свою,
Я бегу от помрачений!
Суну морду в полынью
И напьюсь, как зверь вечерний!

Сколько было здесь чудес,
На земле святой и древней,
Помнит только тёмный лес!
Он сегодня что-то дремлет.

От заснеженного льда
Я колени поднимаю,
Вижу поле, провода,
Всё на свете понимаю!

Вот Есенин — на ветру!
Блок стоит чуть-чуть в тумане.

Словно лишний на пиру,
Скромно Хлебников шаманит.

Неужели и они —
Просто горестные тени?
И не светят им огни
Новых русских деревенок?

Неужели в свой черёд
Надо мною смерть нависнет, —
Голова, как спелый плод,
Отлетит от веток жизни?

Все умрём. Но есть резон
В том, что ты рождён поэтом.
А другой — жнецом рождён...
Все уйдём. Но суть не в этом...

Театральный роман. К 65-летию Владимира Гуркина



«Русская дальневосточная»: рукописи не горят

Драматург из Черемхово Владимир Павлович Гуркин, проживший по современным меркам совсем короткую — меньше 60 лет, жизнь, — автор восьми опубликованных пьес¹. «Русской дальневосточной: немножко горькой, немножко радостной истории в трёх картинах» в их числе нет. Как самостоятельное произведение пьеса была обнаружена сотрудниками Иркутской областной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского в 2016 году в ходе работы над библиографическим указателем, посвященным драматургу. Машинописная рукопись, найденная библиографами ИОГУНБ, датирована 1990 годом и для массового читателя печатается впервые.

Тем не менее сам текст пьесы нам уже знаком. В 1992 году все сцены «Русской дальневосточной» вошли составной частью в самое крупное произведение Гуркина — роман для театра «Плач в пригоршню». Поэтому можно предположить, что работа над «Русской дальневосточной» стала тем толчком, который, в свою очередь, запустил творческий процесс создания «Плача».

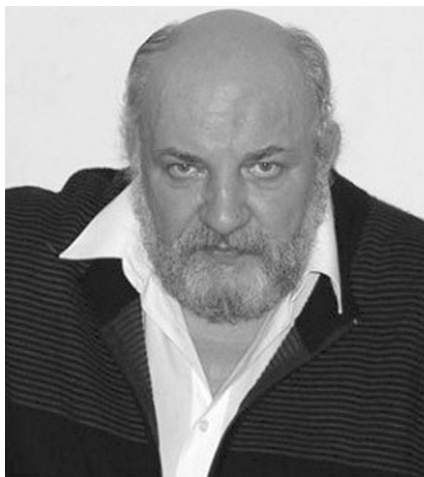
О чём же эта «дальневосточная», «немножко горькая, немножко радостная история»? Как никакая другая из пьес Гуркина, «Русская дальневосточная» целиком автобиографична. Детские впечатления от жизни в Хабаровске, рассказы мамы, Валентины Петровны, легли в основу её сюжета. И сам герой, Санька, это, конечно же, маленький Володя Гуркин, ютившийся с мамой в каморке с протекающей крышей и от голода таскавший яйца, найденные в золе под чужими сараями. В Хабаровске Валентина Петровна при обстоятельствах, описанных в «Русской дальневосточной», вышла замуж за Павла Васильевича Гуркина, и после расформирования части, где служил Гуркин-отец, семья переехала в Черемхово.

Такова в общих чертах предыстория сюжета «Русской дальневосточной». Что же до внутреннего содержания, до мотивов создания, то лучше всего об этом сказал сам автор: «Каждая новая пьеса — очередная авторская попытка заинтересовать, вчувствовать в предлагаемый мир миры иных людей: читателей, зрителей. И если эти иные миры через жизнь, заложенную в пьесе, начинают находить родственные мотивы своим печалям и радостям, если вдруг возникает взаимоотражённость и единство чувствований, сразу легче дышится и не так одиноко становится жить; появляется вновь надежда, что человек, как самое трагическое существо на планете, все-таки обязательно обретет своё начало — ЛЮБОВЬ. Вот такого рода круг мыслей, желаний стал причиной появления «Плача в пригоршню», да и вообще заставляет писать».

Людмила МИРМАНОВА,
библиограф

¹Гуркин В. *Любовь и голуби* : пьесы. Воспоминания о драматурге. М. : Время, 2014. 768 с. : фот.

ВЛАДИМИР ГУРКИН



Русская дальневосточная

НЕМНОЖКО ГОРЬКАЯ, НЕМНОЖКО РАДОСТНАЯ ИСТОРИЯ В ТРЁХ КАРТИНАХ

Действующие лица:

САНЬКА

НИНА, его мать

ТЁТЯ МАРУСЯ

КАПИТАН

СЕРЖАНТ (Аркадий)

БАБА

ХОЗЯИН

ГОСТИ НА СВАДЬБЕ

ФИГУРА В БЕЛОМ

1958 г.

Картина первая

Начало осени. Ещё тепло и солнечно. Печь перед бараком. Печь старая, потрескавшаяся, труба заканчивается чёрным от копоти, мятым ведром без дна. У плиты тётя Маруся и Нина. Нина чистит картошку, оглядываясь по сторонам, словно выглядывая кого-то. Тётя Маруся, колдуя над кастрюлей, неодобрительно наблюдает за Ниной.

ГУРКИН Владимир Паавлович (13 сентября 1951, Васильево, ныне в черте города Перми, — 21 июня 2010, Иркутск) — российский актёр, драматург, сценарист, режиссёр, член Союза писателей России. Почётный гражданин г. Черемхово. В семь лет вместе с семьёй переехал в г. Черемхово Иркутской области. Учился на актёрском отделении Иркутского театрального училища, которое закончил в 1971 г. Работал актёром в Иркутском ТЮЗе, прошёл службу в Советской армии, затем вновь работал в Иркутском ТЮЗе, позже (1976–1983) — в Омском драматическом театре, Амурском областном театре драмы (г. Благовещенск). После опубликования и постановки пьесы «Любовь и голуби», в том числе телеверсии в 1984 г., — в театре «Современник». С 1993 г. — МХАТ им. Чехова. В конце весны 2010 г., уже зная о раке лёгкого, драматург вернулся на родину — в Черемхово. За неделю до смерти почувствовал себя плохо, исповедовался и причастился. Друзья перевезли его в Иркутск в областной онкологический диспансер, где Владимир Павлович скончался от рака лёгкого. Был похоронен на черемховском городском кладбище (по собственному завещанию) рядом с могилой отца.

НИНА (*кричит*). Са-ша! Са-ша!

ТЁТЯ МАРУСЯ. На чём собираешься жарить?

НИНА. Ай, на воде.

ТЁТЯ МАРУСЯ. Ничего нет?

НИНА. Подсолнечное было. Кончилось. Завтра получка, куплю. День перебьёмся, не страшно.

ТЁТЯ МАРУСЯ. Ох, Нина... Пацан растёт — ему питаться надо.

НИНА (*зовёт*). Са-ша! Тревожно как-то на душе... В пору бежать искать.

ТЁТЯ МАРУСЯ. На-ка сальца... (*Вылавливая из своей кастрюли кусочки сала, стряхивает их Нине на сковородку.*) Не разварилось ещё. Такой мальчишка хороший... Она его картошкой на воде. Сама ни черта не ешь, но на парне не экономь.

НИНА. Какое экономить, тётя Маруся?! Сейчас ещё ничего. На квартире жили, за неделю до зарплаты деньги кончались. Сейчас-то... день-два. Спасибо за сало. (*Высыпает нарезанную картошку на сковородку.*) Наказала ему: Саша, долго не бегай. (*Передразнивая.*) Да, мама. Вот где он носится?

ТЁТЯ МАРУСЯ. На Амур с ребятами не убежит?

НИНА (*испуганно*). Что вы?! Дальше оврага ему не разрешаю. Что вы!

ТЁТЯ МАРУСЯ. Заигрался, значит. Не пугайся.

НИНА (*еле слышно от страха*). Мамочка-а... Военные!.. (*Прячась за печкой.*) Тётя Маруся, скажите: нет меня. Мамочка...

ТЁТЯ МАРУСЯ. В комнатуху пройдут, а там не заперто.

НИНА. Нет меня, нет меня.

ТЁТЯ МАРУСЯ (*не глядя на Нину, сквозь зубы*). Где замок? Пойду закрою.

НИНА. На гвозде, у двери.

(*Тётя Маруся нарочито не спеша уходит в барак. Появляется капитан сухопутных войск, с ним сержант-сверхсрочник. Капитан садится на лавочку у печи, закуривает. Пауза.*)

КАПИТАН. Ивлева! Я тебя предупреждал, чтоб духу твоего здесь не было? Ивлева!

НИНА (*не выходя из-за печи*). Да.

КАПИТАН. Я тебя предупреждал?

НИНА. Да.

КАПИТАН. Значит, не выехала?.. Нахалом заняла комнату, нахалом не выезжаем. Ясно.

НИНА. Комната... Пять квадратов...

КАПИТАН. Не пять, а шесть.

НИНА. Возьмите и посчитайте.

КАПИТАН. По документам шесть, нечего считать. (*Сержанту.*) Яковлев, вещи её с жилплощади сюда, во двор. Будем выселять силой, раз русского языка не понимает.

НИНА (*начинает плакать*). А вы русский язык понимаете? С ребёнком на улицу гнать... Ещё военные. Вы людей защищать должны, а вы...

КАПИТАН. Поговори мне. Под суд тебя, а не на улицу, по закону-то. Знала, что квартира ведомственная? (*Нина молчит.*) Что гарнизону принадлежит? Знала! Зачем лезла?

НИНА. Жить негде. И вы бы полезли.

СЕРЖАНТ. А там, где жила, что?

КАПИТАН (*с досадой*). Да там...

НИНА. Я же вам рассказывала, товарищ капитан.

КАПИТАН. Ты пойми! У нас сверхсрочникам, офицерам жить негде!

НИНА. Я тоже сверхсрочник.

КАПИТАН. Ты сверхсрочник?

НИНА. Да. Санитаркой в госпитале. Рядовая. И в документах написано. Все хвалят, в операционную перевели. Сходите к главному врачу, узнайте.

КАПИТАН. Госпиталь к нам не относится, а жилплощадь относится. Собирай пацана, вещи и... всё.

(Пауза. Подошла тётя Маруся.)

ТЁТЯ МАРУСЯ. Здравствуйте. Вы к новенькой? Из второй?

КАПИТАН. Здравствуйте.

ТЁТЯ МАРУСЯ. Вот те раз. А её дома нет. Госпиталь у них на учения уехал — она санитаркой полы моет — на три дня.

КАПИТАН. А мальчишку с собой увезла?

ТЁТЯ МАРУСЯ. А он в круглосутку у неё ходит.

КАПИТАН. И в воскресенье?

ТЁТЯ МАРУСЯ. Да? А-а! Со сторожем в садике договорилась... Со сторожем до понедельника остался.

КАПИТАН *(сержанту)*. Яковлев, раз нет, и суда нет. *(Тёте Марусе.)* А точно?

ТЁТЯ МАРУСЯ. Стенка в стенку живёт... Как не точно?

КАПИТАН. За ложные показания, гражданка, знаете что...

ТЁТЯ МАРУСЯ *(перебивая)*. Никаких ложных показаний, товарищ начальник! Дверь на замке, а сама картошку сыну... А со сторожем оставляет, когда госпиталь, когда... Нина, подтверди, коли не верят. *(Вытащила Нину из-за печки.)* И свидетельница вот... участница. Одной ногой там уже, зачем мне, покойнице почти что, старухе, государство обманывать? Я люблю государство... До смерти государство наше родное люблю, даже по ночам уливаюсь слезами из-за государства нашего. Сильней самой себя люблю!.. *(Целует в запале погон у сержанта. Тот от неожиданности даже не успел помешать.)* А вы показания... *(Кинулась в сторону.)* Санька! Санька, мать тебя потеряла! А ты!..

(За ширку, словно кутёнка, пятилетнего мальчишку тащит здоровый мужик. Рядом с ним не менее могучая, готовая разнести всех в пух и прах, трясёт брылями его жена.)

ЖЕНА. Бабы, кто у этого пацана родители?

НИНА *(растерянно)*. Я...

ЖЕНА. Мать?

НИНА. Да, а что случилось? Вы его почему так держите?

ЖЕНА. А потому, голуба! Скажи спасибо, не прибил хозяин, пожалел, а руки пообры-
вать бы надо.

(Нина кинулась к Саньке, но баба преградила путь.)

НИНА. Дайте его сюда! Что он сделал?

ЖЕНА. Ворюга он у тебя, подружка. Соплёнышу от горшка два вершка, а на добро чужое губа не дура.

ХОЗЯИН *(встряхнув Саньку)*. Скажи матери, чего промышлял. Наелся? Молчишь?

ЖЕНА. Наелся. Как не сунусь яйца собирать — нету. Куры несутся, а яиц нету. Сегодня с утра караулю. Подошёл, за пазуху набрал, сидит, попивает.

ХОЗЯИН. На-пи-ился. Я ему десяток влил... До маковки напился. *(Саньке.)* Вкусные яички? Ещё хочешь? А?

(Опять поддержнул Саньку. Саньку тут же вырвало прямо на ноги мужику.)

ТЁТЯ МАРУСЯ. Батюшки!

(Нина подхватила падающего Саньку.)

НИНА. Да как вам не стыдно? Вы что с ребёнком сделали?

ХОЗЯИН. Ещё раз поймаю, своё же дерьмо жрать заставляю... Туфли, сучонок, испоганил.

КАПИТАН *(хозяину)*. Он в дом залез? Вы откуда?

ХОЗЯИН. Под сараем у нас... За сараем куры несутся. Сараи на овраге... во-он там. Пацанва повадилась.

ЖЕНА. Что за жизнь пошла! Ворья развелось, никакого спасу.

СЕРЖАНТ *(помогая Нине)*. Согнуть его надо. погоди... Давай, парень... Счас я ему пальцы в рот...

(Помогает Саньке. Саньку опять рвёт.)

ТЁТЯ МАРУСЯ. Ах вы твари бесстыжие! Так мальчонку изнахратить... Фашисты вы! Самые настоящие фашисты!

(Нина быстро осмотревшись, бежит к печке, хватая полено.)

НИНА. Ну, держитесь, собаки!

(Бросается на Хозяина, Жена набрасывается на Нину.)

КАПИТАН. Ивлева! *(Хозяину.)* Идите отсюда!

(На помощь Нине ринулась тётя Маруся. Идёт нешуточная драка: с визгом, ругательствами. Капитану удалось отделить от женицин мужика. Он что-то говорит ему, и тот начинает оттаскивать жену. Это ему удалось. Тогда Нина, отбежав, схватила с земли кирпич и вновь кинулась на пришедших. Те бросились бежать, а Нину перехватил капитан.)

ЖЕНА *(в отдалении)*. Ты пойдёшь ещё мимо нас!.. Я тебе рожу кипятком разукрашу!

НИНА. Иди сюда, паскуда! Иди сюда! Кровью умою, падлу!

ЖЕНА. Проститутка! Бендеровка!

НИНА. Сука толстозадая! Попадись мне!

ЖЕНА. Сама сука! Воровка! Курва гарнизонная! *(Исчезает.)*

НИНА. Хоть пальцем, слышишь!.. Хоть пальцем!.. Мужу передай! Я не у кур, я ему яйца пообрываю, тебя есть заставлю! Сволочи!

СЕРЖАНТ. Оклемался вроде.

(Подводит Саньку к матери. Та крепко прижала его к себе. Плачет.)

НИНА. Сыночка моя маленькая. Сволочи... Не плачь! Не надо.

ТЁТЯ МАРУСЯ *(капитану с сержантом)*. Сами же сыпят золу в овраг. Куры в ней и несутся. Тепло чувят и несутся. Зола-то тёплая. Но это же овраг, не дом, не сарай. Пусть не несутся там, и ребятишки брать не будут. Как проверить, чья курица снеслась? Их там со всего околотка... Ф-ф-ф... Руку поцарапала...

КАПИТАН. Ивлева... послушай. Сегодня воскресенье... Даю тебе неделю. Чтоб за неделю... Ладно, десять дней. Понедельник — семь. Вторник, среда... В четверг комната должна быть свободна. Яковлев, пойдём.

(Капитан и сержант уходят. Затемнение.)

Картина вторая

Комнатка Нины. Здесь Капитан, за его спиной, в дверях, Сержант и тётя Маруся. Нина одевает Саньку. Капитан держит в руках большой висячий замок, пощёлкивая вставленным в него ключом.

ТЁТЯ МАРУСЯ. Оно пока в Москву дойдёт. Далеко же. На карту глядеть — глазам страшно. Тут Япония. Тут мы... Прыг — и там. А до Москвы пока-а дотутукаешься, помереть можно.

СЕРЖАНТ. Давно писали?

ТЁТЯ МАРУСЯ. В прошлом месяце. Ответ какой-то придёт же. Подождали бы ответа-то. Вы её сейчас сгоните, а тут Никита Сергеевич с приказом: не трогать, мол. Мол, пусть живёт молодая женщина с ребёнком.

КАПИТАН. Кто письмо писал?

ТЁТЯ МАРУСЯ. А всем баракком писали. Кремль, Никите Сергеевичу Хрущёву, все культурно. Объяснили: жила, мол, на квартире с ребёнком. Муж бросил, дом снесли... Хозяева уехали, пока на работе была, ещё и одежду, и деньги её с собой ухватили! Чтоб повылазило у них, у паразитов... А какая хорошая, работающая!..

КАПИТАН. Вот Москва ответит, тогда видно будет.

ТЁТЯ МАРУСЯ. А пока не видно — ей на улице жить? В овраге, что ли?

КАПИТАН. Оделись? Яковлев, бери чемодан, узел... Выходите.

ТЁТЯ МАРУСЯ. И в бараке некому приютить... На головах друг у друга люди живут. И в дождь такой на улицу... Матушки мои... Оставили бы уж...

КАПИТАН. Хочешь, у себя оставляй.

ТЁТЯ МАРУСЯ. Куда я их положу? Под кровать, дак не уместятся, и крыса там бегает... Вот беда-то...

(Нина, Санька, Капитан, Сержант вышли на улицу. Сержант ставит чемодан на землю. Нина села на чемодан, рядом Санька. Узел мать с сыном держат на коленях.)

КАПИТАН. Ивлева, ты в молчанку не играй, а соображай, куда идти. *(Пауза.)* Чего молчишь, Ивлева?

СЕРЖАНТ. А чего она скажет?

КАПИТАН *(не сдержавшись, рывкнул)*. А мне раздолбоны за неё получать?!

СЕРЖАНТ. Я ничего не говорю.

КАПИТАН. Они тут наколбасят, а мы ходи разгребай... *(Сержанту.)* Аркадий, домой?

СЕРЖАНТ. Домой... А куда?

КАПИТАН. Черт... Дай закурить. *(Нине.)* Родных никого нет? Друзья-подруги?.. Никто не приветит? Ивлева! Что ты душу из меня тянешь? Едрит твою налево!.. Жить негде, они, понимаешь, едут! Потом... Я что, подписывался тобой заниматься?! Бросил муж!.. Не хрен было выходить за такого! Сидишь теперь, кукуешь: ни жилья, ни алиментов... Башка у тебя на голове есть?! Тьфу ты... Сиди. *(Сержанту.)* Идём, Аркадий. Своих забот... Идём.

(Капитан и Сержант уходят. Долгая пауза. Санька тихо начинает плакать. Возвращается Сержант.)

СЕРЖАНТ *(взяв у Нины узел)*. Встань-ка. Слышь, Ивлева? *(Поднял Нину, подхватил чемодан.)* Санька, держись за узел.

(Сержант и Санька пошли, остановились, смотрят на Нину.)

САНЬКА. Мы куда идём?

СЕРЖАНТ. Ивлева! У меня поживёте. Айда!

НИНА *(хрипло)*. А вы?

СЕРЖАНТ. В казарме побуду. Не отставай.

(Санька и Сержант уходят. Нина, постояв, пошла за ними. Идет спотыкаясь, вытирая слезы. Затемнение.)

Картина третья

В просторной комнате за столом собрались гости. Во главе стола принаряженные Аркадий (Сержант) и Нина. Все пьяны. Покачиваясь из стороны в сторону, слаженно и громко поют. Почти кричат.

*Огней так много золотых
На улицах Саратова,
Парней там много холостых,
А я люблю женатого...*

и т. д.

Песня кончилась. И сразу пошёл хмельной шум застолья. Со своего места неуверенно поднялся Капитан. Сейчас он в штатском. Боясь опрокинуться, склонился вперёд, опираясь на стол.

КАПИТАН. Аркадий, Нина, хочу вам несколько напутственных слов сказать. Тихо! Разговорчики! Пьяные, что ли?

ТЁТЯ МАРУСЯ. Вино какое-то горькое! Зубы сводит!

КАПИТАН. Зараза. И у меня. Но сначала скажу. Я, Нина, пока ты тут обитала, приглядывался к тебе, и всем уверенно могу доложить: ты женщина хорошая, красивая... Главное *(вихляя задом.)* — не туда-сюда. Чересчур скромная. Аркадий, я думаю, тебе повезло. Мы, Нина, Аркадия уважаем, хоть он только и сержант... Но вот лучше его из сверхсрочников у нас в части — никого. Если ему что скажут, можно идти спокойно спать: все как положено, даже ещё лучше. Вот он пять лет уже, уже может увольняться, а мы переживаем: не хотим, чтоб демобилизовался. Отличник боевой и политической, специалист, трудяга. И ты его береги. Аркадий, Нину не обижай...

АРКАДИЙ. Я не обижаю. Я люблю её! И Саню люблю!

КАПИТАН. Это правильно. Это по-военному, по-мужски. Нина, не кривя душой, с Аркадием как? Ты себя счастливой ощущаешь?

ТЁТЯ МАРУСЯ. Ощущает! Вы поглядите на неё. Конечно, ощущает. Не какая-нибудь там... Без чувства ни за что бы! Правда, Нина?

НИНА. А как без чувства-то?! Я и не знаю даже. Маленько побаивалась сначала...

АРКАДИЙ. За Саню побаивалась... А я его люблю! *(Нине.)* Даже больше тебя люблю!

ТЁТЯ МАРУСЯ. Здра-асьте, приехали!

(Прибежал Санька и, схватив кусок со стола, опять убежал.)

АРКАДИЙ. А чего? Саня! Бегаёт куда-то... *(Обнял и поцеловал Нину. Капитану.)* Товарищ капитан! Миша! Жить будем... Ёлки-палки!

КАПИТАН. Как вы решились-то? Я к чему: интересный выход из положения получился...

АРКАДИЙ *(радостно)*. А мы десятку нашли!

НИНА. Правда. Так забавно получилось. Из кино шли по дороге...

АРКАДИЙ. Смотрю, десятка лежит... Нин, что это? Десятка, что ли? Нагнулся... Точно, она. Вот, говорю, Нина. Значит, судьба. Больше не отказывайся, надо жениться. Купили с ней буты-ылоч-ку... До-олго уговаривал.

ТЁТЯ МАРУСЯ. Десять рублей?

НИНА. Ну.

ТЁТЯ МАРУСЯ. И вправду знак.

АРКАДИЙ. А мы из кино идём... Фильм... Как он?

НИНА. Свадьба с приданым.

КАПИТАН. Интересно получилось.

ТЁТЯ МАРУСЯ. Свадьба к свадьбе и получилась. Знак — десятка, знак.

КАПИТАН. И поэтому пожелаю вам успехов в вашей супружеской и личной жизни. *(Доставая из-за пазухи лист бумаги.)* На память вам немного сочинил. Стихи! Посвящаются Аркадию и Нине. Называются: «Весна пришла».

НИНА. Ой, спасибо.

АРКАДИЙ. Михаил у нас стихи ко всем происшествиям! Всегда...

КАПИТАН. Значит, «Весна пришла».

АРКАДИЙ. Умный-ый... Всех умней в части! У меня ни в жизнь не получится. Я в их не понимаю.

КАПИТАН. Значит, «Весна пришла». Весна у меня в придаточном смысле, не то, что погода такая.

ТЁТЯ МАРУСЯ. Находят слова как-то люди... Тут же. Чтоб всё сплелось, чтоб в друг друга попало...

НИНА. Подождите. Дайте послушать!

КАПИТАН. Значит, «Весна пришла». *(Читает с выражением, старательно. Командирский хриплый голос вдруг пропал, уступив место тоненькому сусальному.)*

*Блестает солнце в вышине,
И сердце рвётся из груди.
И что ж, что осень на горе,
Когда все мысли впереди!*

*Нам на листочке календарь
Показывает, что сентябрь.
Ну а кому-то и январь
Покажется апрелем ярым.*

*Всё потому, что вдруг любовь
Явилась в светлом одеянии!
Два сердца озарили ночь
И породили вдруг сияние!*

*Сияние тепла, любви.
Хоть непроста у жизни ноша,
Дождались. Встретились они.
Зовут их Нина и Аркаша.*

*У Нины сын растёт хороший,
Защитник будущий земли.
Отец, примером будь пригожим,
Не то, что тот... уже вдали.*

*Они найдут друг в друге силы,
Чтобы не помнить в прошлом зла!
Они любить друг друга будут,
Ведь в сердце к ним пришла весна!*

*Весна пришла! Весна пришла!
Весною кровь у нас упряма!
И пусть супружеская жизнь
У вас, друзья, шагает прямо!*

*В Донбассе рубят уголёк
Шахтёры, не подозревая,
Что скоро вас согреть придёт
Тот чёрный камень. Пролетая*

*Смотрите! Вон локомотив
Летит в полях родной Отчизны!
Он вас приветствует, свистит,
Желая долгих лет вам жизни!*

*Над головой, взмахнёт крылом
Советский парень поднебесный!
Вся жизнь для вас в краю родном!
И все цветы, каскады, песни!*

(Все зааплодировали. Капитан прошёл к молодожёнам. Расцеловался с Аркадием, пожал руку Нине, передав ей листок со стихами. Нина, зардевшись, спрятала листок на груди.)

КАПИТАН. Горько!

ВСЕ. Горько!

(Аркадий и Нина целуются. Кто-то завёл патефон. Гости зашумели, задвигали стульями, и началась пляска. С топотом, с криками вбежал Санька и присоединился к взрослым. Постепенно стало темнеть. Пляшущие махали руками, прощаясь с Ниной и Аркадием, и всё погрузилось во тьму. Темно и тихо. Так тихо, что слышно, как жужжит за печкой счётчик. Скринула кровать, и послышался шёпот.)

НИНА. Не уснул ещё. Посуду завтра уберу...

АРКАДИЙ. Уснул.

НИНА *(помолчав, негромко)*. Саша. *(Чуть громче.)* Саша.

АРКАДИЙ. Спит.

НИНА. Аркаша, услышит, я умру.

АРКАДИЙ. Потихоньку. *(Позвал в голос.)* Саня. *(Шёпотом.)* Спит как убитый.

НИНА *(вздохнув)*. Только потихоньку.

АРКАДИЙ. Конечно.

(Кровать тяжело заскрипела, словно тоже вздыхая, и успокоилась тонким тихим ритмичным повизгом.)

НИНА. А капитан совсем и не страшный.

АРКАДИЙ. Земцов?

НИНА. Ага. Вы когда выселять приходили, я так его боялась. Чего боялась? Не страшный совсем. Стихи пишет...

АРКАДИЙ. Хороший. Приказ выполнял.
(Помолчали.)

НИНА. Скоро картошку копать.

АРКАДИЙ. Не затопило бы.

НИНА. Затопит, что будем делать, Аркаша?

АРКАДИЙ *(не сразу)*. Брат под Иркутском шахтёрит. Зовёт. Может, поедем?

НИНА. Там хорошо с продуктами?

АРКАДИЙ. Хорошо, пишет. Зовёт.

НИНА *(проверяя, позвала)*. Саня.

АРКАДИЙ. Спит.

(Скрип чуть-чуть усилился.)

НИНА. А тебя отпустят?

АРКАДИЙ. На пять лет подписывался. Захочу... Отпустят.

НИНА. Хорошо, что с продуктами хорошо.

АРКАДИЙ. И заработок.

НИНА. А цены какие?

АРКАДИЙ. Картошка?

НИНА. Да.

АРКАДИЙ. Восемь рублей ведро.

НИНА. Ведро?

АРКАДИЙ. Ага.

НИНА. Целое ведро? А килограмм?

АРКАДИЙ. Восемьдесят копеек.

НИНА. А мешок?

АРКАДИЙ. Куль?

НИНА. Да.

АРКАДИЙ. Десять ведер... Считай.

НИНА. Восемьдесят рублей. Просто даром. Не то что у нас... Горбуша да крабы.

На одной-то горбуше...

АРКАДИЙ. Загнёшься... На одной-то...

НИНА. Письмо сохранилось?

АРКАДИЙ. Угу.

НИНА. Завтра почитаю.

АРКАДИЙ. Почитай.

(Скрип обнаглел и съел жуужжание счётчика.)

НИНА. Тихо, Аркаша...

АРКАДИЙ. Угу.

НИНА. Тихо...

АРКАДИЙ. Угу.

НИНА. Лоб мокрый.

АРКАДИЙ. Угу.

НИНА. Простынью вытру.

АРКАДИЙ. Угу.

НИНА. Всё?

АРКАДИЙ. Счас.

НИНА *(подождав)*. Всё?

АРКАДИЙ. Счас... Ещё маленько...

(Вдруг, набрав высоту, скрип резко прекратился. Спыхватившись, подал голос ещё пару раз, ещё, и стих.)

НИНА. Всё?

АРКАДИЙ. Все-о.

НИНА. Слава Богу. *(Засмеялась.)* Упарился, бедный.

АРКАДИЙ. Да ну.

НИНА. А мокрый.

АРКАДИЙ. Ну дак...

НИНА. Ложись поудобней. *(Кровать уютно разворчалась. Скрип был смелый, добротный, не прячущийся.)* Ко мне на руку ложись.

АРКАДИЙ. Лучше ты ко мне.

НИНА. Лучше ты ко мне.

АРКАДИЙ. Чо я, маленький?

НИНА. Конечно.

АРКАДИЙ. Я ж не Саня.

НИНА. А вы у меня оба маленькие. Прямо так бы и съела обоих. Ух!

АРКАДИЙ. Ну, Нин.

НИНА. Спи. Спи, мой хороший... Завтра рано не вста... *(сладко зевнула.)*... вать. Выходной... Спи.

АРКАДИЙ *(не сразу, засыпая)*. Сплю.

НИНА. Укрою тебя получше.

(Долгая пауза. Лунный свет заливал комнату, проявляя на стенах пьяные тени листы. Стали видны очертания кровати, на которой спят Нина и Аркадий, очерта-

ния стола, Санькиной кровати. Санька сидел, прижавшись спиной к стене, с ужасом глядя на белую фигуру, отделившуюся от окна. Фигура подошла к столу, забралась на него и присела на корточки. Затем выпрямилась и, позвякивая посудой, стала бродить по столу. Она не замечала Саньку. Вернее, ждала, когда Санька не выдержит и зажмурится от страха, или пошевелится, или попытается позвать взрослых. И тогда... Тогда случится что-то страшное. Санька это понимал. Не отрывая глаз, не шелохнувшись, почти не дыша, следил он за фигурой. Наконец, иной свет, вытесняя лунный, заполняет комнату. Бледнеют, размываются на стенах тени, чётче стали видны предметы и... фигура исчезла.)

САНЬКА. Мама... Мама... Папа.

АРКАДИЙ (сквозь сон). Санька, что ли?

НИНА. У? Что?

АРКАДИЙ. Санька проснулся?

САНЬКА. Мама.

НИНА. А? Саня?

САНЬКА. Мама.

НИНА (приподнявшись на локте). Что, Саша? Спи... Поспи, рано ещё.

САНЬКА. Мама, можно к вам?

НИНА. К нам?

АРКАДИЙ. Пусть бежит.

НИНА. Ну, беги скорей. (Санька пулей пробежал мимо страшного стола, устроился между матерью и отчимом, и только тут с облегчением вздохнул, выдохнув ужас странной ночи.) А холодный!.. Оё-ёй! Саша, ты почему такой холодный? А дрожжит-то!.. Саша!

АРКАДИЙ. Одеяло во сне скинул, замёрз. Без одеяла спал, Саня?

САНЬКА. Н-н-не знаю.

НИНА. Кто ж знает? Саша?

САНЬКА. Я писать хочу.

АРКАДИЙ. Беги за печку, там ведро помойное. И я захотел...

НИНА. Идите оба. Разобрало мужичков моих. Мимо ведра не напишите. (Санька и Аркадий зашлёпали за печку.) Быстрее, Сашенька. Сейчас тебя согреем в серединке.

САНЬКА. Д-д-да.

НИНА. Ну надо же, как замёрз. (Из-за печки, набирая силу, послышалось журчание. Так же постепенно и стихло. Санька с Аркадием бегом кинулись к кровати, забрались к Нине под одеяло. Санька ловко и привычно устроился у матери на руке.) Спи, мой хороший. Все спите, Аркаша, спишь?

АРКАДИЙ. Я уже самый первый... Уже во сне.

НИНА. Спите.

(Спит Санька, спят, склонив над ним головы Нина с Аркадием, а за окном всё громче, всё уверенней просыпается земля.)

КОНЕЦ



Из одной бригады...

Воспоминания о поэте ПЕТРЕ ПРИХОЖАНЕ

Мы ударили с ним одновременно из одной батареи. Батареей я называю серию книг в общей суперобложке, которые выпускались в Иркутске во второй половине XX века Востоčno-Сибирским книжным издательством. И назывались они «Бригадами». Не совсем поэтичное слово, но если связать его с воинским значением, то это звучит мощно: БРИГАДА. Так вот, самой первой «Бригадой», выпущенной в свет в 1964 году, была серия книг, в которой вышли в будущем известные писатели Ростислав Филиппов, Глеб Пакулов, Михаил Трофимов, Сергей Иоффе. Во второй «Бригаде», 1965 года, самыми известными из пятерых стали иркутянин Иннокентий Новокрещённых и читинец Геннадий Головатый. «Бригада» 1968 года из шести поэтов выдвинула в первые ряды трёх: Пётр Пиница, Евгений Варламов и Юрий Скоп, впоследствии перебежавший в лагерь прозаиков. В 1970 году гроыхнула батарея из пяти авторов: усольский поэт Юрий Аксаментов, поэт из Братска Пётр Прихожан, иркутянин Владимир Смирнов (в будущем Владимир Скиф), нижеудинский поэт Валентин Уруков и иркутский поэт-геолог Георгий Эдельман.

Мы с Петром Прихожаном обсуждались на иркутской конференции «Молодость. Творчество. Современность», которая проходила в 1968 году в городе Ангарске. Молодые поэты трепетали перед обсуждением, проходившим в Доме культуры в 205-м квартале при большом стечении слушателей и участников совещания. Помню, как идущий к столу президиума Сергей Иоффе с папками и рулонами стихов говорил поэту Марку Сергееву:

— Прихожан-то из Братска приехал?

— Приехал, — ответил Марк Сергеев, — я его видел.

— Ну, вот, он серьёзный поэт, будет о чём поговорить, — удовлетворённо отметил Иоффе.

Подобные конференции стали в Иркутске уже традиционными, от них ждали новых имён, талантливых поэтов и прозаиков. Самыми главными являлись две секции — прозы и поэзии. На секции поэзии обсуждения проходили ярко, эмоционально. Руководителями семинаров были как приглашённые из Москвы и из других городов поэты, так и свои, иркутские. На поэтические семинары приезжали москвичи Александр Межиров, Владимир Корнилов, Марк Соболев, барнаулец Вильям Озолин, ленинградец Илья Фонаков, красноярец Роман Солнцев, читинец Георгий Граубин и другие.

Конечно, я буду сегодня вспоминать своего «товарища по оружию» Петра Прихожана, но не стану умалять значения и других поэтов, которые тогда в Ангарске предстали перед жюри: очень сильными поэтами оказались Юрий Аксаментов (Усолье-Сибирское) и Валентин Уруков (Нижеудинск). Юра Аксаментов, помню, привёз на суд жюри фактически готовую книгу стихов.

Петра Прихожана обсуждали и те, кто руководил семинаром, и те, кто сидел в зале. Всем хотелось высказаться, проявить себя в разговоре, многим предлагалось учиться обсуждать то или иное стихотворение, формулировать свои мысли. У Петра Прихожана уже был некоторый жизненный опыт и в творчестве, и в общении с писателями. Он жил в Братске, работал на стройке, встречался с другими братскими поэтами на заседаниях литературного объединения, умел в чужих да и в своих стихах услышать звонкую метафору, точную или корневую рифму, которые, благодаря Евтушенко, тогда вошли в моду. И молодые поэты хлёстко рифмовали слова «парки — парни», «Клавка — кладка», «косых — костры», «кратко — крошка» и так далее.

Кроме того, в Братск наезжали гости из Москвы и Ленинграда, из Иркутска и других городов большого Советского Союза, с ними, со многими, конечно же, в Братске встречался молодой поэт Пётр Прихожан.

Прихожан уже тогда показал свой особенный голос, свою не заёмную стилистику, он уже тогда определился в темах, сюжетах и умел защищать свои стихи. Тогда меня очень удивило его стихотворение «Сапоги», на которое я потом написал пародию. А стихотворение было яркое, эффектное, неожиданное:

*Что мне щи с молодой крапивой,
что мне каша с гусиным криком:
я сегодня большой и красивый —
у меня сапоги со скрипом.*

*Их тачал деревенский сапожник.
От рулона пахучей кожи
отрезал он ножом осторожно
заготовки моих сапожек.*

*Он прикидывался умело
завидающим и простоватым:*

*за меня он промежду делом
свою дочку Наташку сватал...*

*Вот иду я селом в обновах
да ищу, где побольше пыли;
тропку веткой мету бузиновой,
чтоб следы мои чётче были.*

*Мне свернуть уж, а я всё прямо.
Даже с псами здороваюсь чинно.
...Пусть теперь не кручинится мама,
что в семье у нас нет мужчины.*

Тут сразу пахнуло Маяковским, его строчками: «Иду красивый, двадцатидвухлетний...» Но в стихах Прихожана самоценным было своё видение нарисованной им картины и внутреннего напряжения, с которым был описан хитроватый сапожник, ещё и между делом сватающий свою дочь Наташку за красивого молодого парня. Да и заказчик сапог хорошо выписан, идущий по улице в новых сапогах, наверно, вызывающих зависть у сверстников да и острые, лукавые взгляды встречающих девчонок: «Мне свернуть уж, а я всё прямо...»

У всех присутствующих на обсуждении, конечно, вызвали спор первые строки этого стихотворения: «Что мне щи с молодой крапивой, что мне каша с гусиным криком...» Первая строчка, в общем-то, принималась, поскольку про щи с молодой крапивой многие знали, да и, наверно, ели такие щи.

— А вот кашу с гусиным криком мы не пробовали! — кто-то кричал из зала. — Петя, скажи, как ты её готовишь?

Прихожан тут же парировал:

— Автор имеет право на самостоятельный образ, на свою, заявленную в стихах метафору.

— А что это за каша с гусиным криком? Объясни! — наседали на автора поднаторевший в спорах оппонент Петра.

— А так, что это каша, да не ваша! — гудел Прихожан.

В конце концов спорщиков развёл с мягкой улыбкой поэт Марк Сергеев:

— Я чувствую, понимаю этот образ таким образом, что на дворе осень, скоро дожди, наш автор заказал сапоги и получил их, когда на юг потянулись перелётные птицы. Представьте: осеннее сырое утро, на столе дымится приготовленная мамой каша, над деревенской избой голубое небо и летящие, кричащие в небе гуси. Вот и получается, что автор ест кашу с гусиным криком и грустит о девушке, которую встретил на улице вчера, когда шёл по ней в новых сапогах. Годится? — спросил он у зала.

— Годится! — первым выкрикнул оппонент Прихожана, молодой и задиристый парень.

— Ну, вот, — добавил Сергей Иоффе. — Пётр Прихожан — настоящий, интересный поэт, и мы рекомендуем его сборник стихов к печати.

Пародия моя на стихи Петра появилась чуть позже конференции, но была опубликована в моей книге пародий «Себя не создаваху» в 2001 году:

*Что мне каша с воздушным змеем,
Что мне водка с чертополохом?
Я от собственных мыслей млею,
что пишу я не так уж плохо.*

*Что мне раки с горячим пивом,
что мне омуль с тресковой костью?
Я сегодня нарву крапивы
и к любимой поеду в гости.*

*Закажу сапоги с кукушкой,
запрягу коромысло в сани.
Что мне Лермонтов или Пушкин?
Мы и сами уже с усами.*

*По дороге в Москву-столицу
С «Прихожаном» иду под мышкой.
Что мне с повестью Солженицын?
Ахмадулина с новой книжкой?*

...Прошли годы. В 1970 году у Прихожана была выпущена первая книжка «Гулливеры». Второй сборник стихотворений «Знакомство» вышел уже в Татарском книжном издательстве, куда Пётр Прихожан уехал из Братска на постоянное место жительства. И я потерял его следы.

Но история с поэтом Петром Прихожаном на этом не заканчивается. Уже в новом столетии я познакомился с прекрасным русским поэтом и главным редактором журнала «Аргмак — Татарстан» (Набережные Челны) Николаем Петровичем Алешковым. Его подборку стихов я опубликовал во втором (распутинском) номере журнала «Сибирь» за 2015 год. А в одном из номеров журнала «Аргмак» я вдруг обнаружил стихи Петра Прихожана и в своём письме Алешкову написал о том, что мы с ним начинали в Иркутске свой литературный путь. И просил передать ему привет. Но в ответ получил от Николая Петровича чрезвычайно грустное письмо о том, что во время выступления, посвящённого памяти Марины Цветаевой 14 апреля 2010 года, Пётр Борисович Прихожан скоропостижно скончался.

Владимир СКИФ

ПЁТР ПРИХОЖАН



Неразменный пятак

* * *

Ты прости меня, милая, думать плохого не надо:
ведь и сам не пойму, что сегодня творится со мной, —
со скалы, обрываясь холодным клинком водопада,
так осколками радуги брызжется столб водяной.

Двадцать лет нашей жизни, которые прожиты вместе,
хоть кого отрезвят. Что поделать, моя визави,
коль на этом пустом, паутиной затянутом месте
начался запоздалый, трагический приступ любви.

Для привыкшего к боли опасная, в общем, причуда —
обмелели сердца и ничем не разглядить черты,
но из памяти мне возвращением юного чуда
улыбаешься ты. Как светло улыбаешься ты...

Я люблю иступлённо — вся сущность моя присягает.
Безысходно скорблю — время подлое чувства крадёт.
И, заметив с тоской, что любовь моя просто пугает,
говорю: потерпи... Это, видимо, скоро пройдёт.

ПРИХОЖАН Пётр Борисович. Родился 11 февраля 1940 г. в г. Евпатория Крымской АССР, в учительской семье. Окончил Харьковский инженерно-строительный институт. Работал по направлению в Братске, где его стихи регулярно публиковал альманах «Ангара» («Сибирь»), областные газеты «Восточно-Сибирская правда» и «Советская молодёжь». Неоднократно становился лауреатом областных конференций «Молодость. Творчество. Современность», участником семинаров, которые вели Марк Соболев, Илья Фонаков, Марк Сергеев. В 1970 г. в Восточно-Сибирском книжном издательстве вышел первый сборник стихотворений поэта «Гулливёры». Второй сборник стихотворений «Знакомство» вышел уже в Таткнигоиздате в 1986 г. Член Союза писателей СССР.

Я

Я и этот, я и тот...	Я и нищий, и богач.
Я Вавила и Федот.	Я и жертва, и палач.
Я и умный, и дурак.	Я и праведник, и вор.
Я хозяин и батрак.	Адвокат и прокурор...
Я солдат и командир.	Я красавец и урод.
Я и зэк, и конвоир.	Я и рыба, я и скот.
Я укушенный и клоп.	Я чухонец и чучмек.
Я и грешник, я и поп.	Словом — русский человек.

Новые клеветники России

Союз на части разорвали.
Поют и пляшут на гробах.
Испепелён дотла Цхинвали.
Чадит Нагорный Карабах.

Теперь все те, кому радели,
за наши ласку и приют,
за то, что наше пили-ели,
на землю Русскую плюют.

Что тем сказать, кто дом наш хает,
и тем, кто в души злобу льёт...

Идите, кто вас не пускает?
Живите! Кто вам не даёт?

Но где бы грязь вы ни месили,
конец имеют все пути:
ещё придётся ведь к России
с рукой протянутой идти.

И через призму лихолетий
тех примечая, кто горласт,
что если вам она ответит:
ступайте с миром... Бог подаст.

Зимний лес

Хранилище тайн заповедной природы!
Там ели мохнатые длиннобороды,
берёзы белей полотна, и осины
сереют пятном у болотной трясины.
Там липы наморщили стылые лбы;
там в лютый мороз задубели дубы;
там гнутся под ветром рябины в дугу;

там плавится солнце на ярком снегу;
там бдит на крылечке задастой избушки
походная ступа зловредной старушки,
а зайцы и лисы шифруют секреты
для тех, кто читать научился приметы,
и дятел вбивает морзянку в сосну.
Наверно, на связь вызывает весну...

Волна

По глади вод пошла морщина...
Легко взбугрилась на ходу
И белопенная вершина
уже взлетает в высоту.

Её сейчас на камни бросит:
миг — и рассыплется она.
И на пути никто не спросит:
куда торопишься, волна?..

* * *

Ранним утром роса на просторы упала,
еле слышно волна ударяет в причал,
отгорланила Русь на Ивана Купалу,
птицы бросили гнёзда, и лес замолчал.

Наливается ягода, рожь колосится,
на поёмных лугах, оголённых под нуль,
отрастает отава, и люди в копицы
мечут клевер и мятлик. В разгаре июль...

Лёгкий ястреб по небу проходит лениво,
за полётом следит из травы коростель,
и за них, за обоих волнуется нива
на обочине эры больших скоростей.

По росистому следу к песчаному броду
доберусь и, минуя прибрежную муть,
забреду по колено в прохладную воду,
чтобы солнечный блик с глубины зачерпнуть.

Здесь ходили коровы и лошади пили:
на пологом откосе остались следы.
Мои детские страхи когда-то здесь жили
на речном берегу у текучей воды.

И сегодня с опаской взираю на берег,
хоть и знаю, что нечисти нет вообще,
но прогресс и языческий дух суеверий
до сих пор уживаются мирно в душе.

Уживаются так же, как сладость с горчинкой;
как с компьютером пот деревенской страды;
как небесные трассы с петлястой тропинкой
среди русских полей у текучей воды.

Яхта

В той комнате, где я квартировал,
была картинка на дубовом спиле —
в просторах моря настигает вал
лихую яхту об одном ветриле.

Её вздымала синяя вода,
вихрилась пена яростно у борта,
и по волнам неведомо куда
неслась она стремительно и гордо.

Я спал под ней, от моря пьяный вдрызг,
и штормы до утра меня качали,

а беды представлялись тучей брызг,
которые сотрутся без печали.

Остался сзади временный привал,
и много их потом ещё сменилось,
но где бы я с тех пор ни ночевал,
мне эта яхта неизменно снилась.

С годами меньше радости во сне...
Всё больше по ночам бессонных пауз...
Проснусь и вижу — на пустой стене
выносится из волн знакомый парус.

Однако яхту не щадят года —
исшарканы борта, название стёрто...
И только над волнами, как тогда,
летит она стремительно и гордо.

Песенка

Утро майское ликует.
Зорька ясная встаёт.
И кукушечка кукует...
И соловушка поёт...

Даже если ветер дует,
даже если дождик льёт,
знай, кукушечка кукует,
знай, соловушка поёт.

В чаще леший озорует...
Водяной запруды рвёт...
Ой, кукушечка кукует!
Ах, соловушка поёт!

Парень девушку целует,
блажь любовную несёт...
А кукушечка кукует,
а соловушка поёт.

Девка знает, чем рискует,
и потачки не даёт,
но кукушечка кукует,
но соловушка поёт.

Вас финал интересует?
И об этом в свой черёд
соловей вам прокукует,
а кукушечка споёт!

Улыбка Сфинкса

На грешной и несправедной земле,
среди руин, убожества и свинства
изо всего увиденного мне
запомнилась одна улыбка Сфинкса.

Кто смысл её сумеет разгадать?
Ведь лик доисторического дива
и ныне не способны передать
ни кисть художника, ни точность объектива.

Окутанные маревом пустынь,
черты лица расплывчаты и зыбки.
Он пережил и взлёт, и прах твердынь...
Что кроется в его полуулыбке?

Песком засыпав чудище на треть,
ветра времён, в непримиримой сшибке,
усмешку с камня не могли стереть...
Что кроется в его полуулыбке?

А этот взгляд из вековой тьмы!
Он что — уже провидел все ошибки?
Что знает он? Чего не знаем мы?
Что кроется в его полуулыбке?

Что гением великого творца
сокрыто в этом звере-человеке,
знакомое с начала до конца,
не познанное присно и вовеки?

На фотографии улыбка не видна:
она как эхо растворяется в эфире...
Она такая, может, не одна,
а, может быть, единственная в мире.

Дон Кихот

Напев старинного романа
звучит, теряется во мгле.
Я — Дон Кихот. Мой Санчо Панса
трясётся рядом на осле.

А тени к вечеру длиннее...
Осёл и конь смирили прыть.
И я пред местной Дульсинеёй
спешу колено преклонить.

Но Дульсинея варит ужин,
и у неё полно хлопот,

и ей заведомо не нужен
высокоумный идиот.

Она всерьёз не принимает
моих возвышенных речей
и сдобным телом приникает
к тому, чьи ласки горячей.

И ей ни зелий приворотных,
ни слов не надо, ни вина,
ведь запахом подмышек потных
она всю ночь опьянена.

Она залиvisto смеётся,
а мне опять, наверняка,
наутро потирать придётся
дубьём намятые бока.

И петь романс, где доминанта
в одну мелодию вплела
глухую поступь Росинанта
и дробный стук копыт осла.

Неразменный пятак

То, что в скрыне ещё оставалось от княжеской дани,
подчистую ордынцы забрали на ханский ясак,
потянулась рука за ножом и случайно в кармане
натолкнулась на медный, донельзя затёртый пятак.

Неразменный пятак... он любому прибытку основа.
Хоть отдашь за долги, хоть кому-то отвалишь за так,
он вернётся назад, и добро наживёте вы снова,
если в вашем кармане лежит неразменный пятак.

Манускрипт раскопали в развалинах царства былого:
закорючки на глине... Но вот посреди закавык
отыскалось одно, лишь одно, неразменное слово,
и с него возрождается напрочь забытый язык.

На поверку стихи — выплеск чувства и мысли наружу,
свет того, что вошло в мою суть, в мою плоть, в мою кровь:
отдаю без остатка свою неразменную душу,
и она неизменно ко мне возвращается вновь.

К сожалению, жизнь наша так далека от мажора,
но и, глядя в ту даль, что лишь брезжит едва впереди,
не теряйте надежды среди дряг и житейского сора
неразменную истину у себя под ногами найти.

Воспоминание*

И вздохнули души, задрожали ресницы,
Зашептались тревожно шелка...

Александр Блок

В забытой глухомани, где дотолё
о Блоке не слышали вообще,
его стихи нам декламировала в школе
учителька в брезентовом плаще.

Детей войны, познавших бед немало,
хлебнувших вдоволь горя и невзгод,
она к поэзии высокой приобщала
в холодном классе в тот голодный год.

И виделись нам в свете мутных окон
морщины измождённого лица,
побитый ранней сединою локон
и медный отблеск вдовьего кольца.

Но распускалась в мире том недобром,
улыбка на учительских губах,
она читала и входила в образ,
и вся преображалась на глазах.

Её слова, невнятные вначале
и трудно различимые подчас,
чем дальше, тем свободнее звучали
и волшебством окутывали нас.

Она рукой к отрепьям прикасалась —
и вспыхивала перстнями рука,
и тридцати оборвышам казалось,
что плащ её струится, как шелка.

И в воздухе носились перед нами
видения ещё не ясных грёз,
и веяло туманом и духами
от серебристых волн её волос.

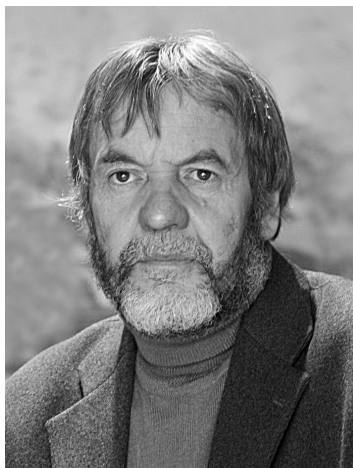
А голос звал в неведомые дали
и музыкою лился неземной,
как будто скрипки пели и вздыхали
в пространстве за саманною стеной.

И явственно средь леденящей стужи
была капель весенняя слышна:
то, видимо, оттаивали души,
которые нам заморозила война.

**Во время чтения именно этого стихотворения 14 апреля 2010 года в доме-музее художника Ивана Шишкина в Елабуге поэт Пётр Прихожан внезапно потерял сознание. Приехавшие врачи не смогли вернуть его к жизни. Из уст одного из них прозвучало: «Фатальная аритмия». Накануне поэт был полон сил и замыслов. В феврале ему исполнилось 70 лет.*



АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН



«Радость моя, молю тебя...»

РАССКАЗЫ

Скотник Еремей

Памяти Василия Шукиина

Чудом дюжил колхоз «Заря Прибайкалья» ...власть уже добивала горемычное село, и без того лежащее под святыми ликами... но и «Заря», избитая, изволоченная, зачала на обморочном закате усталого века. Обмелели колхозные пашни и покосы в долине Иркутта, заросли травой-лебедой, осотом, чертополохом с лиловыми шишками; и стали нивы похожи на мужика, забородатевшего по самые очеса, залохматевшего, почерневшего от палёного спирта; и лишь увеселяли взгляд озорной березняк и осинник, стаями кочующие по житным полям. Сдали на убой обредевший скот, и Еремей Мардарьевич Андриевский, потомственный скотник, лишился работы. Виногато погладил унылую бурёнку ...слеза

БАЙБОРОДИН Анатолий Григорьевич родился в забайкальском селе Сосново-Озёрск, где и окончил среднюю школу. По окончании Иркутского государственного университета (филологический факультет) работал журналистом в сельских и областных газетах Восточной Сибири. В 90-е гг. — преподаватель стилистики русского языка факультета филологии и журналистики ИГУ, создатель курса и пособия «Русская народная этика». Возглавлял издательство «Иркутский писатель». Литературный редактор православного альманаха «Иркутский Кремль». Автор книг: «Старый покос»: повести (Иркутск, 1983); «Поздний сын»: повесть (М., 1988); «Яко божию землю нареки»: очерки (М., 1991); «Боже мой...»: роман / предисл. В. Распутина (М., 1996); «Диво»: сибирские байки, сказы, рассказы (Иркутск, 2001); «Не родит сокола сова»: роман, повесть (М., 2011); «Озерное чудо»: рассказы (М., 2013) и др. Составитель книг: «Россия древняя и вечная»: книга о русской народной культуре (Иркутск, 1992); «Русский месяцеслов. Обычаи, обряды, поверия, приметы русского народа» (Иркутск, 1998); «Думы о русском с древнейших до нынешних времен» (Иркутск, 2016). Лауреат премии имени Святителя Иннокентия Иркутского (1997), Большой литературной премии России (2007), премии Губернатора Иркутской области (2014), премии «Литературной газеты» имени Дельвига (2016). Живёт в Иркутске.

блуждала в седой щетине... и в слёзной мгле попрощался со скотным двором, дрожащей ладонью обласкал лиственничные прясла ворот, вышарканные до бурого блеска, с присохшей коровьей шерстью. Как чалка сдох — и мужик засох: затосковал Еремей, поминая скотный двор, бывало оглашённый сытым мычанием, поминая и чалого коня: взял степняком, не ведающим узды, седла и хомута, объездил и лет десять пас тёлок и бычков.

Эх, было времечко, ела кума семечки! От кумачового рассвета до глухого дымного заката жизни Еремей обихаживал рогатый скот, и хотя ещё не ночь, а синеватые житейские сумерки, хотя ещё поработал бы вволюшку ...раззудись, плечо, размахнись, рука... да нет, Ерёма, сиди дома или дремли на завалинке, копти небо махрой и гляди: в багровых закатах до слёз тоскливо чернеют скелеты бывших овечьих кошар, ферм, скотных дворов, где сутулыми тенями слоняются мужики, обезумевшие от палёного пойла. Слушай, Ерёма, как рыщет, свищет варначий ветер на былых пашнях, треплет лихие сухие травы, словно седые старческие космы; и, словно светлые призраки, лишь Еремею видимые, плывут по ниве миражные виденья — бывлые комбайны, трактора, стада, отары, табуны... Эх, сплыло времечко, осталось лишь беремечко!

Сидел бы по-стариковски на завалинке положи зубы на полку, коль пенсию пока не дали, да голод не тётка, погнал в тайгу, где Еремей валил строевой лес на хозяина; да шибко уж мерзко было на душе от пакостного воровского ремесла, да и лес жалко. «Эх, что за народ люди?!» — сокрушался Еремей, перво-наперво себя и коря; и если бы его укоризненные думы обрели книжную обличку, то выглядели бы, наверное, так...

Хотя у Бога и милости много, не как у мужика-горюна, и не по страстям и похотям жалостлив Бог, но попустил скорби и печали, ибо, отрекаясь от старого мира, от брехливых попов, люди изуверились в бессмертие души, отвергли Царя Небесного и Царство Небесное, возжелали земного утробного рая без Бога и помазанника Божия. Но, отрекаясь от Вышнего, братолюбивый народ не отрёкся от ближнего, не отрёкся и от Божиих заповедей, запечатленных в Нагорной проповеди, а посему, в поте лица своего созида утробный рай даже не себя ради, но ради грядущих потомков, рвал жилы, ломал спины. И уж вроде замаячил «рай», но избаловался, скрутился народец, даже деревенский, не говоря уж о городском; на Бога не уповая, зажил народец своеумно и своевольно, как савраска без узды, а своя воля — страшнее неволи. Воистину, посельга беспутая: робили шалаяй-валяй, через пень колоду, а с получки, бывало, гуляли даже в сенокосную страду, когда всякий солнечный денёк на вес золота. Лонясь гуляшки, да нонесь гуляшки, вот и по миру побрели без рубашки... Трудяги, матеря лодырей, из остатних сил держали колхозы и совхозы на матёрых плечах, но... тут, изъеденная крысами, рухнула держава и погребла трудяг в камень, пыли и крови.

На Руси кудеса — дыбом волоса: на окровавленных камнях, напялив маскарадные хари, кобели и сучки по-пёсьи лают и соромные песни поют. Выросший подле богомольного деда Прокопа, а когда богомольцам дали волю и сам облаченный во Христа и даже в храме Божиим золотым венцом повенчанный с дояркой Нюшей, Еремей с горечью написал из Божественной книги: «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. Земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями...»

Попустил Господь: морок печали и скорби укрыл чёрными тучами васильковое сельское небо, и счернели, обуглились солнликие подсолнухи... О ту злокозненную пору палёное пойло косило деревенских мужиков, словно курносая со стальной косой на плече, и деревня Шабарша обезлюдела, а могилки зловеще разрослись в отрогах степного увала. Скотник Еремей и раньше, не сказать, что запивался, но пил редко да метко: ежели шлея попадала под хвост, мог за присест литр осадить, а потом люто хворал, яро проклинал гулянку и зарекался. Ну, да зарекалась блудливая имануха в чужой огород не шастать...

И неожиданно на исходе лет Еремей попрощался с зеленым змеищем и ...чудно для деревенского скотника... привадился к чтению, отчего бабы сердобольно вздыхали, а мужики, косясь на книгочея, крутили пальцем у виска: мол, у Ерёмы не все дома, в тайгу ушли. А Еремей — на всякий роток не накинesh платок — плевал на суды и пересуды с

пожарной каланчи; и, бывало, выкинет навоз из-под коров, отложит совковую лопату, из внутреннего кармана телогрейки явит на белый свет Библию и читает. Книжечку с ладонь, похожую на резной ковчежец, книгочей разорился и купил в свечной лавке Ильинского храма, куда за пять верст похаживал на Всенощное бдение и заутреню.

Почитывал Еремей Святое Писание, а безбожные книги, кои, помнится, в школе проходили, в руки не брал, чурался — страшился искуса, как и царь Давид: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалищи губителей не седе... но в законе Господни воля его, и в законе Его поучится день и ночь...»

* * *

На закате лет забывалось ближнее, но чаще и чище, отраднее виделось дальнее, или воображалось, ибо о ту пору ещё пешком бродил под столом. Злым и тоскливым, волчьим воем выла крещенская метель, грызла венцы, зелёными зрачками пучилась в заросшие куржаком окошки, ведьмой плакала в трубе, но благодатью, покоем дышала жаркая русская печь. Лютые крещенские морозы загоняли домочадцев в избу: отроки полеживали на печи, а мать Ерёмы, пряха смолоду, сидя на изножье пряслицы, тянула нить из кудели, словно из белёсого облака, мотала нить на юркое веретено; отец, вековечный пастух и скотник, посиживая на низкой лавочке, под ласковым печным боком, чинил хомуты и сбруи и, до слёз умиляясь, слушал, как набожный дед Прокоп, привязав к ушам круглые очки, придвинув мерцающий жирник-светильник, степенно читал Четьи-минеи о житие-бытие святых угодников. Бывший древлевер, потом единоввер, скудный книгочей, коего в церковно-приходском учении азы, буки, веда страшили, яко медведи, тихой поступью, бережной ошупью, по слогам одолевал дед Прокоп божественные глаголы про пустынников, скитских постников и молитвенников, вечевых юродов, страстотерпцев, а по весне поведал и о пророке Иеремии. Из дедова бормотания Ерёма уразумел лишь то, что Иеремия, словно бык впряжённый в соху, ходил с ярмом на шее; но, зажив за полвека, Еремей самолично прочёл житие страстотерпца, и даже красного словца ради выписал в заветный свиток из святого Иереми: «Сие глаголет Господь: Я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром; а вы вошли и осквернили землю Мою, и достояние Мое сделали мерзостью... Раб Мой и домочадец, как резвая верблюдица, как дикая ослица, рыщущая в пустыне, в страсти души своей глотающая воздух, сказал: не надейся, нет! ибо люблю я чужих и буду ходить путями их... И вот за то, что они поступают по упорству злого сердца своего, Я приведу на них с севера бедствие и великую гибель...»

В память о святом Иеремии по святцам и с молчаливого родительского согласия богомольный дед Прокоп, самочинно окрестив, нарёк отроче младо Еремеем; и чаду с ветхозаветным имечком вроде ничего не осталось, как, заматерев, сунуть шею в ярмо скотника.

Коли пророк Иеремия бродил с бычьим ярмом на вые, зримо запечатлев безбожным евреям грядущий полон и рабство, коли память святого юрода пала на зачин вешней страды... пора пялить на быков ярмо, запрягать тягловую скотину и сеять жито... то мужики повеличали первое мая по старому стилю — Еремей-запрягальник, Ярёмник, проще говоря. И может, не случайно, и власть, хотя и безбожная, а все же народная, день Еремей-запрягальника намалевала в численнике красным цветом: мол, гуляй подъярёмный труженик серпа и молота.

Еремей явился на белый свет в месяц травень-цветень, когда деревенские мужики и бабы с хмельной и тихой радостью, с молитвенным упоением, всем сердцем чуяли, сколь щедра и красовита, сколь обласкана Богом Русская земля, будто воистину в месяц травник, в пору юных зеленей и робких цветов, среди вешнего половодья древний сказитель воскликнул о земле Российской: «О светло светлая и украсно украшена, Земля Руськая!.. Всего еси исполнена Земля Руськая, о правоверная вера хрестиянская!..»

В честь рождения Еремей полыхало зелеными таёжное и степное Прибайкалье; девыми щеками зардел сиреневый багул на таёжных солнопечных угорах; зацвела черёмуха и боярка в поймах рек, и жор напал на карасей, коих мужики гребли и бродниками, и сетями,

и удами. Хвалили старики май: травень леса наряжает, лето в гости поджидает; явился май — под кустом рай; радовались конюхи и скотники: май — коню сена дай, положи вилы на сарай, а сам на печь полезай. Лишь коню и нужен навильник сена, а коровы и овцы на вольном выпасе прокормятся. Хотя деревенские темноверы сокрушались, мол, родился в мае — век промаешься, в мае женишься — от венца добра не жди. Еремей же, уроженец мая, и женился в мае на доярке Ньюше Житовой, и лишь под старость познал маету, когда овдовел, когда и деревня овдовела, осиротела, запустела.

Помнится, дед Прокоп говаривал, глядя мутными, слезливыми глазами в сельскую старь: де, к Еремею-запрягальнику мужики чинят плуги, бороны, телеги, дуги, сбруи, хомуты, а бабы и девки ткут из конского волоса личины — сетки от мошки и комаров и прочего летучего гнуса. Ждут мужики, когда земля прогреется; смышлёные, расторопные навещают поля и, преклонив колена, кладут обе руки на пашню, гадают: тепла ли мать-сыра земля? А то пошлют старика, хлебороба вековечного, и старче, дабы проверить, поспела ли земля для сева, прогрелась ли — он скидывает порты и садится на пашню, яко насадка цыплят выводить. Дед Прокоп поминал: «На Еремея погоже, то и уборка хлеба пригожа. На Еремею-запрягальника и ленивая соха выезжала в поле. Да-а! Одни мужики, бывалочи, пашут пары, другие под пашню вздымают залежи — отдохнула заморенная земля, иные орут залог — у тайги отвоевали пашню. В мае же, паря, начинают сеять яровые. Перед севом мужики на заутрене в церкви молились — душу очищали; а глядя на ночь — в бане парились: плоть омывали, хворь из костей изгоняли; и с бабой не спали — упаси Бог! Но жили не тужили. А в поле, снявши шапку, молились на солнцевосход: батюшка Илья, благослови семена в землю бросати. Напои мать-сыру землю студёной росой, дабы снесла пашня зерно, всколыхала зерно, возвратила зерно щедрым колосом... Плох овёс — наглотаешься, паря, слёз; не уродится рожь — по миру пойдёшь; а безо ржи, паря, жеребцом ржи...»

* * *

Науськанные лукавыми мудрецами мира сего, галдели пустозвоны: «Перестройка! Перестройка! Порушим былое и заживём, как за бугром, а там народец как сыр в масле катается». Поверили... Ждали обоза, а дождались навоза! Спohватившись, начальство, кто за гриву, кто за хвост растащило весь колхоз; дурнопьяным бурьяном заросли пашни, где пахотные мужики с Еремею-запрягальника сеяли жито. Лишилась деревня и скота, и обредело полесное поселъе. Иные, опившись, заселили могильный угор, иные уковевали в губернские города и живые села, лишь приросло к подворьям старичьё, а мужичьё либо глухо спивалось, перебиваясь случайными калымами, либо, исповедимо обзаведясь скотом, инвентарём, пахало от зари до зари, абы выжить да ребятишек выкормить, выучить. Отчаянные, подрядившись у барыг, кинулись пластать тайгу — валить строевой лес, трелевать, возить на нижний склад; и... застучали колёса по рельсам, погнали сибирскую тайгу в страну восходящего желтого солнца, а барыши мимо государевой казны с золотым зловещим звоном посыпались в сусеки мироедов.

Слава Те, Господи, отец Еремею, Мардарий Прокопьевич, раненый, контуженый да и умалишенный, не узрел мерзости опустошения... Иисус Милостивый лишил старика дольного ума и, может, одарил горним... не видел вековечный пастух и скотник... сердце бы лопнуло... как супостаты полонили и разорили землю. Схоронив богоданную, что надорвалась в войну на лесозаготовках, Мардарий Прокопьевич коротал век подле Еремею... иные сыны и дочери рано упокоились либо разбрелись по земле... но жить в избе старик не пожелал, а ради молитвенного уединения заковевал в тепляк. Истово молился, страшась воздушных мытарств, когда ангел-хранитель поведёт грешную душу по лестнице на небеси, а тут налетят чернокрылые ангелы, заграят, закаркают, лихо зашипят: «Греш-шник!.. Греш-шник, наш!..» И повлекут в тартарары. И оборонят ли белокрылые ангелы?..

Ньюша кормила, поила, обихаживала старого Мардария, а Еремей беседовал; вернее, старик пытал, сын отвечал. Раненько, зажив лишь за восемьдесят, отец оскудел земным

разумом, потерял память. Но, странно, забыв ближнее, ясно и живо зрел дальнее, довоенное и доколхозное, когда Прокоп Андриевский и сын его Мардарий пасли пять коров, восемь тёлочек и бычков, трёх коней и дюжину овец, а после Покрова Божией Матери, когда выстаивался снежный наст, креп санный путь, промышляли ямщиной. А ныне Мардарий, остаревший, выживший из ума, вопрошал Еремея, когда тот заворачивал в отеческий тепляк: «Ты коней-то, сына, напоил?» — «Напоил, тятя, напоил». — «А коровам сенца кинул?» «Кинул, тятя, кинул», — послушно отвечал Еремей, хотя из живности бродил по усадьбе лишь лохматый сибирский кот да вяло брехал одряхлевший пес. «Гляди, сына, в оба: Зорька стельная, со дня на день отелится. Не заморозить бы телка». Для интереса Еремей другой раз перечил: «Кого стельная? Зорька же нонче ялова...» — «Ты меня не путай, баламут! У меня чо, шарабан совсем не варит?! Я же сам Зорьку к быку водил...» — «Дак ты, батя, не Зорьку, ты Красулю водил...» Так и судачили сын с отцом...

Погрѣб Еремей тятю, затем сына винопивца, что однажды дозелена упился палёной водки, а год назад и жену, Богом данную, и, вдовый, безработный, удумал кочевать в Иркутск, где в Знаменском предместье бобыльничала старшая сестра, которая и сомущала в город.

В канун кочевья собрался на могилки, где утихомирился сын, от безбожья, безробья и тоски запивший, да так во хмелю и загинувший, где упокоился и прах сердобольной Нюши. Еремей волочился на могилки, устало шаркая подошвами. Шёл прощаться, просить совета у Нюши: кочевать или век в Шабарше доживать? Брёл по улице пустынной, добела опалённой августовским зноем, тоскливо озирал гнилые чёрные избы, утаённые в сырых и заплесневелых сумерках черёмухи и боярки, высматривая выбитые глазницы окон, выломанные двери. Словно слепцы-христорадники очутились посреди степи без поводыря, затащили кручинную старину, и ветер, по-волчьи подвывая, треплет лохмотья, укрывающие иссохшую, костистую плоть. Угрюмо дыбились и добротные пятystenки, рубленные из матёрого леса да, как повелось в притрактовых деревнях и сёлах, крытые на четыре ската матёрым тёсом. Кулацкие хоромы, счерневшие, словно облачённые в предсмертные монашеские рясы, с мрачной горделивостью, не падая ниц пред супостатами, молчаливо и страстотерпно глядели в небеса крестообразно заколоченными ставнями. Иные усадьбы уже смела лихая судьба чёрным дымным хвостом; рассеялся дым, осел пепел, и вместо изб, амбаров и бань ныне чащобный березняк и осинник.

Чахла лесостепная деревенька Шабарша, вытянутая в поредевшую избами, притрактовую улицу, похожую на обезумевший и обеззубевший, провалившийся старческий рот, обмётанный сухим ковылём, где вольно гулял и ночами разбойно свистел гулевой ветер, бухал ставнями, взвизгивал калитками.

Глухо в закатной деревушке; лишь подле речушки Шабарши, что тихонько шабаршила среди буйно зелёной осоки и лохматой кочкары, Еремей встретил Настасьё, костистую, жилистую бабу, что по-соседски подсобляла горемычному вдовцу по хозяйству и, сама давно уж овдовевшая, в душевном потае, похоже, метила в хозяйки. Но Еремей, и тоскующий по жене, и палимый виной перед покоенкой, чтит Настасьё лишь как пособницу да сестру во Христе, дружески склоняя её ко святому крещению и тоже подсобляя, если в усадьбе нужна была мужичья рука. Настасьё черпала воду во флягу, умощённую в детскую коляску без кузова, и при виде Еремея заговорила было, но сосед лишь кивнул головой. О чём толковать, коль с утра перетолковали?

А подле магазина Еремей рысью обогнал родича... дальний, седьмая вода на киселе... который раньше пахал без продыху, а ныне пьёт без просыху. Миновал торопливо, иначе взаймы попросит, и, как обычно, без отдачи: дай мне, а возьми на пне. Проморгал родич Еремея — спорил с козлом по прозвищу Борька, которого винопивцы привадили жевать окурки и, злобясь на президента, величали иной раз Николаичем, прости, Господи, пьяных безумцев, не ведали, что творили. Ещё вчера рослый и русокудрый, ныне счерневший, оплывший, до срока оплешивевший да и завшивевший, родич шатко сидел на магазинском крыльце и, глядя мутными, заилёнными глазами, вопрошал козла, повинно опустившего рогатую башку:

— Эх, Борька, Борька, сука ты лагерная, обычай у тя бычий, а ум телячий. Ты чо, пахан, решил народ голодом уморить?! Коровью бурду лопают... Кого, кого?.. чо?.. чо говоришь? Чья бы корова мычала, твоя бы молчала. Сам-то, сука, коньяк хлещешь. Пять звёздочек! А мы — катанку, палёнку. Кого? Не ври? Кто врёт, тому — бобра в рот. Видали мы тебя в гробу в белых тапках...

«Пропал мужик, — обернувшись на ходу, посетовал Еремей. — А был механизатор широкого профиля; губерния гордилась, грамот полон комод и две медали; а как рухнула держава, рухнул и мужик. По первости хоть и заглядывал в рюмку, но, бывало, и калымил на лесоповале, трелевал лес на тракторе; а ныне каждый день да через день пьяный в дымину. Пропил мозги, коли с козлом скандалит. Чудится, видно, что Борька ему ещё и перечит...»

За порушенной поскотиной... жерди мужики растащили на дрова... среди будылей бродила жалкая дюжина коров... а вроде ещё вчера Еремей пас стадо... в небе, что добела выгорело на палящем августовском солнце, одиноко и сиротливо кружил ястреб-куроцап...

На могилках, кои слезливо и понуро разбрелись по степному увалу, Еремей заупокойной мольбой помянул спящих родичей, а перво-наперво отца Мардария Прокопьевича, потом деда Прокопа, бабу Настасью и горемычного сына. «Эх! — Еремей покаянно заскрипел зубами, заплакал, поминая сыновей. — Надо бы растить не всё лаской, а ино и таской: старший бы не пил, младший бы по белу свету не блудил. В люди бы вышли. Старики же говорили: толк-то есть, да не втолкон весь. Ремнём-то и втолкал бы через задние ворота. Брать бы сосновую орясину, чем ворота подпирают и варнаков угощают, и выхаживать через день да каждый день. Ноне бы руки целовали. Мужик умён, пить волён, мужик глуп — пропьёт и тулуп. Вот и мой!.. Царствие ему Небесное... — Вина вновь опалила Еремееву душу. — Слава Богу, хоть окрестился».

А вот и Ньюшина оградка, словно женой и крашенная васильковым цветом. Еремей виновато уложил на могильный бугорок голубоватые и белые ромашки, со вздохом вспомнил, что сроду не дарил Ньюше цветы, сроду не пел в её уши о любви — стеснялся, пень горелый, а Ньюша любила ромашки. Издалека, из юности, тихо доплыла песня: «Если б гармошка умела всё говорить, не тая... Русая девушка в кофточке белой, где ж ты, ромашка моя?..» «Да-а, где ж ты, ромашка моя?» — Еремей тяжело вздохнул, вгляделся в морщинистый пепельный крест, в замытую дождями, хоть и застеклённую туманную карточку, и накатила рябь в глаза, и лицо Ньюши поплыло, стало далёким-далёким, заоблачным, бесплотным. Но лишь отвёл взгляд от креста, увидел Ньюшу живой: крепко сбитая, но махоня, Бог росту не дал и красы бабьей, да коль отпахнутые глаза лучились любовью, а с бугристых губ не сходила странно виноватая, смиренная, ласковая улыбка, с чем и почила, то на Еремееву жену соседи, бывало, налюбоваться не могли. А что уж говорить о муже... Правда, сырая уродилась, слезливая: ладно бы в горе, а то, бывало, и в застолье радостном люди поют и пляшут, а Ньюша улыбается и слезами уливается.

Еремей трижды перекрестился на солносход и, давно уж вызубривший молитвы, промолвил заупокойную:

— Помяни, Господи, душу усопшей рабы Твоея Анны, и прости вся согрешения вольная и невольная, даруй ей Царствие Небесное и причастие вечных Твоих благих и Твоея бесконечныя и блаженныя жизни наслаждения.

Молитвенно помянув жену, пал на колени, сунулся лбом в щетинистый, могильный бугорок и, даваясь слезами, глухо зашептал:

— Прости, Ньюша! Прости Христа ради! Настрадалась ты, Ньюша, подле меня. Ох, настрадалась, прости мя, Господи, — Еремей осенился крестом и покаянно вжался лбом в сырой могильный бугорок, словно надеясь услышать прощение из земного чрева. — Прости, и попивал, бывалочи, и гулял. Очухался, дак и жизнь за увалом. Наплакалась, Ньюша, прости меня грешного...

И вдруг Ньюшин голос почудился, но не тяжкий, из могильной глубины, а ветерком спорхнул с облака, плывущего в синеве, колыхнул чахлую листву кладбищенской берёзки:

— Бог простит, Ерёма, а я не виню тебя. Без стыда рожи не износишь, без греха век не изживёшь. Един Бог, Ерёма, без греха. А слёзы мои... слёзы — роса: ночью пала, а утром солнышко слизало. Да лишнего-то не приспирывай. А год лежнем лежала — дядя за мной ухаживал?! Мыл, горшки выносил, кормил и поил?! А ты и скотом не попускался.

Помолчав, собравшись с мыслями, Еремей поведал нынешнюю беду и просил благословить на кочевье:

— Надумал я, Нюша, кочевать в Иркутское, к сеструхе. Тяжко в деревне, один же как перст...

Помянулась дочь, что мотается по белу свету за мужем офицером; помянулись и сыны: один в деревне угорел от водки, другой на Тихом океане болтается, как навоз в проруби, вроде треску и селедку из океана гребёт совковой лопатой да шлёт изредка весточки: мол, жив-здоров, лежу в больнице, с переломом поясницы, но скоро гряну с долгими деньжисками. Но, однако, уж пятый год грядёт. Нюша, бывало, в печали родительского сердца молилась преподобному Сергию Радонежскому и великомученику Евстафию Плакиде за чад, неизвестно летающих по белу свету. А за сына, палимого вином, денно и нощно Иисусу Сладчайшему: «Де, умоляю Тя пощадить мое чадо и избавить сына от пьянства греховного. Истреби зависимость мерзкую и навлеки на сына волю дерзкую. Пусть к питью он не притронется, и тяга его успокоится...» Но опоздала заздравная молитва, заупокойной пришёл черёд.

— Лихо мне в деревне, Нюша, глаза б не глядели, как деревня загибается. А в Иркутском, Нюша, хоть душа родная — сеструха. Зовёт. Тоже одна кукует. Говорит, в Иркутском и пенсию оформишь. Ничо меня в Шабарше не держит, Нюша. А вот как с тобой расстаться?..

— Езжай, Ерёма, с Богом. С родной душой и доживёшь век. Вот и будете на пару домовничать. А добрая баба подвернётся, дак и женись, не монах же. Вон и Настасья одна горе мыкает. О могилке не печалься, в могилке — прах, а в город укочуешь, сходи в церкву, поставь свечку на помин души рабы Божьей Анны да помолись о многогрешной.

— Помолю-юсь. Чего не помолиться? Да вот беда, услышит ли Бог: во грехах, как в шелках... Писание-то почитываю, а...чо уж греха таить... лоб перекрестить забываю. Да! Помолюсь, конечно, помолюсь, Нюша, и ты молись за меня, грешного.

— Молюсь.

Еремей хотел бы молвить ходовое, могильное, мол, «пухом тебе земля», но смекнул, что костям безразлично: земля — пух, камень, корень, песок, суглинок, а вот душе!.. А посему повторил заупокойную мольбу:

— Упокой, Господи, душу усопшей рабы Божией Анны, и прости ей вся согрешения вольная и невольная, и даруй ей Царствие Небесное...

«Даровал, поди. Недаром батюшка и отпел на святую Анну-пророчицу. Ежели Нюше рай не даровать, дак кому тогда? И Богу молилась, и билась как рыба об лёд, всем пособить норовила. Никого не осудила. И сроду худого не помыслила. Век прожила, на чужом дворе щепки не подобрала. Крутилась, как берёста на огне: и на дойку поспеть, и свою скотину обрядить, и домочадцев накормить...»

Вернувшись с могилок, словно во сне, неприкаянно бродил по усадьбе, глядел сквозь слёзный туман, и везде — в коровьей, куричьей, овечьей стайках, в амбаре, на сеновале, в сенях и избе — везде виделась Нюша: плечом к плечу городили, обихаживали подворье, что досталось от деда Прокопа. Старик, а тогда ещё мослатый мужик, срубил избу, стайки, амбары и баню не в лапу, как привадились иные плотники, а по старинке — в охряп, когда, высунувшись из угла, венцы светятся, словно череда солнц. Даже баня — опять же от деда Прокопа. Еремей поменял лишь нижние венцы и полы... даже баня, как встарь, топилась по-чёрному, дым валил через волоковое окошко. Не рушил Еремей заведённой стариком подворной облички, и когда верей, на коих висели тесовые ворота, подгнили у земли, вкопал свежие лиственничные столбы, а заодно поменял и тёс на воротах и на двухскатной крыше. Потом обновил свежим лесом и бревенчатый заплот. А сколь в завозне выжило дедова инвентаря, начиная от стожней, длинных трезубых вил для метания сена в зароды, и кончая кожемялкой.

Сгруппа Еремей пытался продать усадьбу, но даже по дешёвке никто не брал, коль и брошенные гнили под дождём-сеногноем. «Оно и ладно, может, не заживусь в Иркутском, прибегу в Шабаршу, — подумал Еремей. — На всё воля Божия...»

По-доброму-то погодить бы до бабьего лета, выкопать картошку, моркошку, свёклу, ссыпать в подпол, но не лежала душа, всё валилось из рук, и мужик попустился; огородину на корню отдал соседке — сгодится: через три дома от Еремея жила Настасьина невестка, безработная, овдовевшая с тремя чадами, мал мала меньше. Муж, тридцатилетний Настасьин сын, по первости горбатился на воровском лесоповале, и крох, что хозяин кидал с барского стола, едва хватало семью прокормить, а надо и голь прикрыть. Благо, мать подсобляла, выкраивала из пенсии на внуков, благо, корову, бычка да кур держали, а то хоть по миру бреди с холщовой побирушкой-помирушкой. Если при народной власти сельские, а ино и городские прыткие мужики мотались за длинным рублём на севера и великие стройки, то сын соседки, отчаявшись, завербовался на кавказскую войну, где и сложил буйную головушку. Да так сложил, что и отыскать не могли сразу; друзья-однополчане нашли обезглавленное тело. Мать от горя почернела, а невестка все глаза повыплакала...

Еремею собраться — подпоясаться; укутал в наволочки дедовы иконы и семейные карточки, набитые в узорчатую раму, лобзиком самолично выпиленную из фанеры, потом собрал скудные пожитки в заплечный сидор и чемодан, повесил на сенные двери ржавый амбарный замок без ключа, земно поклонился родному подворью, в заветном укроме души чая вернуться, и тронулся с Богом.

* * *

Поселился у сестры. Слава Богу, у вековой бобылки водилась за душой двухкомнатная квартирёшка в древнем бараке Знаменского предместья, затаённом в тополевои чаще. Ветхое жильё, сырое, зябкое, но век доживать можно.

По приезде огляделся, прописался, вспомнил, что пора пенсию выхаживать, и рванул в собес ...так по старинке звал Еремей пенсионный фонд... и подивило мужика: пенсишки — грошовые ...хлеба купишь, на чай занимай... а собес — роскошный дворец, похожий на муравейник с гору ...задерёшь башку, чтобы крышу узреть, фуражка падает... а в муравейнике мельгешат чинуши мурашами, бумагами шелестят, перьями скрипят, меж собой судачат на тарабарном говоре, где изредка мелькают словеса русские.

Долго потомственный скотник выхаживал пенсию; пластался по собесу как савраска без узды; в муравейнике то выходной, то проходной — поцелуй пробой и вали домой. Да ещё на кого нарвёшься. Еремей и нарвался на пучеглазую, дебелую деву, маскарадно крашенную, со взъерошенной копной белесых волос. Про эдакие причёски в деревне говорили: «Не одна я в поле кувыркалась», да приговаривали: «Щёки свекольно напмадила, глаза насурьмила — чёрные да узкие, как у дикой тунгуски, корольки на шею надевала в три нитки и пошла трясти подолом, мужиков сомущать».

Топорно рубленный в охряп, скуластый, в чёрном коробистом пиджаке, на лацкане которого алел знак «Ударник коммунистического труда», Еремей стеснительно мялся с ноги на ногу подле стола, тряскими руками скручивал в жгут фуражку с долгим, похожим на клюв, жёстким кондырем. Мысленно бранил себя: «От чучело замшало, от чухонь, и кого начепурился?! Ещё и фурагу американскую напялил. Смешно смотреть, сидит на башке, как седёлка на корове».

Похожая на сову, дива пучеглазая валяжно посиживала, растёкшись крупом на вертлявом стуле, и, не глядя на мужика, кроваво крашенными коготками скребла бумажную гору, лениво листала бумаги.

Над её лохмами в бурой слизистой раме висел кичливый, горделивый президент, вылитый тать придорожный, атаман разбойный. Еремею почудилось: глаза президента, как у быка необлегчённого, вспучены хмельной удалью; и отчаянные, мутные думы забродили в Еремеевой голове; но если обличая варнака придорожного, поведать мысли книжным слогом, думы горемычного простеца обрели бы эдакую обличку...

С упованием на чудо, с надеждой на грядущего отца народа, и выживало бабьё и мужичьё, а то и просвета в ночи не зрело. Под чужебесный шабаш кремлёвской нежити, что за тридцать сребреников продали Русь, под звериное рыканье кабацкого ярыги — кремлёвского самозванца-самохвала, — холопы тьмы и смерти похабили и грабили Россию, хитили тати российское добро, что отичи и дедичи кровью и потом добывали, а для содомской утехи и потехи изгалялись, нетопыри, над русским словом, древним обычаем и отеческим обрядом, чтобы народ и голодом-холодом уморить, и душу народную вынуть и сгноить. О ту злочастную пору смешно и грешно было бы стучаться в кремлёвские ворота с горестями; се походило бы на то, как если бы мужики из оккупированной смоленщины и белгородчины били челом германскому наместнику, лепили в глаза правду-матку и просом просили заступиться: мол, батюшка-свет, наше житьё — вставши и за вытьё, босота-нагота, стужа и нужда; псаря твои денно и ночью батогами бьют, плакать не дают; а и душу вынают: веру православную хулят, святое порочат, обычай бесчестят, ибо восхотели, чтобы всякий дом — то содом, всякий двор — то гомор, всякая улица — блудница; эдакое горе мыкаем, а посему ты уж, батюшка-свет, укроти лихомцев да заступись за нас, грешных, не дай сгинуть в голоде-холоде, без поста и креста, без Бога и царя... Пожалел бы чужеверный правитель горемышное русское народишко, как пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву: ухмыльнулся бы в рыжие арийские усы и подпалил сигарету от горящей челобитной.

Еремей тут же покался в душе, что всяко высрамил президента; все мы — день во грехах, ночь во слезах, да и речено же в Писании: не судите, ногами не топчите, а то и сами в лоб схлопочете.

С горем пополам вырыла дива Еремеевы документы, которые он давненько уже всучил собесу, и стала заполнять бланк.

— Ере...мей... Мар...дар...евич... — диве почудилось имя смешным, а отчество ещё потешнее, и она едва сдержала смех, распирающий пышные щёки. — Еремей Мардарьевич? Верно?

— Верно.

— Вначале «мар» или «мор»?

— «Мар». Не от «морды», от «мар» и «дар».

Вспомнился колхозный ветфельдшер Яша Ягодицын — конский врач по женским болезням, как величал себя во хмелю, — лысоватый, узенький, суетливый мужичок с ноготок, который, знакомясь в застольях, протягивал сухонькую, нервную руку: «Ягодицын — не от ягодицы, от ягоды...»

С фамилией у Еремея ладно — Андриевский, а вот с именем, а тем паче с отчеством, ох, не подфартило! Боговерущий дед Прокоп, начитавшись житийных сказов, одарил внука эдаким имечком, от коего Ерёмушка наплакался в школьном отрочестве — потешались сверстники, дразнили: «Ерёма-дрёма, сиди дома, вокруг дома бродит бома¹...» Бывало, впорхнёт Ерёмушка в избу, размазывая слёзы по щекам, пожалуется деду Прокопу, а дед утешает, поучает: мол, дразнят, а ты им: не ставь кулёму на Ерёму — сам попадёшь. Сплошь Владимиры в память об Ильиче, повально Юрии в честь парня, что небесной тропой обошёл землю, а тут Ерёма... дрёма. Отчество же и того хлеще — Мардарьевич. И угораздило же отича родится по святцам в день памяти святого Мардария. Отроком Ерёма подслушал, как хмельной отец жалобно пытал деда Прокопа: «Отец, а отец! Ты пошто меня Мардарием назвал?» «По святцам, сына, по святцам, — дед Прокоп кивал по-птичьи махонькой, белопушистой головушкой. — Ты же, сына, родился в память святого Мардария, киево-печерского рачителя нищеты...» «А получше-то имя не нашлось? Чо, в святцах один Мардарий был? Видел я в святцах и Сашу, и Вову, и Колю, и Женю. Ты пошто, отец, мне страшное имя-то дал?» Дед хитро и ласково глянул на сына: «А для смирения, сынок».

¹Бома — одно из многочисленных имен чёрта.

Хотя Еремей на своём веку встречал имена и похлеще, навесные волчьими ветрами: в деревне померла древняя Изаида² Ивановна, избачка, так в досюльные лета звали библиотекарей в избе-читальне; колхозом одно время правил Мэлс³ Исакович, а на районном слёте доярок, пастухов и скотников — запомнилось же! — вручала похвальные грамоты секретарь райкома партии Даздрамыгда⁴ Ибрагимовна Мухутдинова.

— Год рождения? — спросила дива, глядя в бланк сквозь синие ресницы.

— Тридцать седьмой.

— Место рождения: деревня Ша-бар-ша... — дива опять ухмыльнулась.

Еремею хотелось тихо и зловеще попросить: «А вот этих ухмылочек не надо, а то мы тоже можем...», но что мы можем, мужик не ведал, а посему лишь кивнул головой и далее отвечал послушно. Лишь споткнулся, замешкался, когда дива пыталась насчет образования.

— Образование?

— Образование! — дива раздражалась.

— ШРМ.

— Это что, колледж?

— Школа рабочей молодежи! — отчеканил закипающий скотник.

— ШРМ... — крашенная дива не удержалась, рассмеялась: похоже, от созвучия, соцветия ШРМ с «шарашкой» и «шарамыгой».

Еремей, отроду комолый — так в деревне звали безрогих быков и смиренных мужиков, что муху не обидят, — нынче, словно блажной, психанул и, катая желваки под скулами, про себя зловеще предупредил: «Смотри, тёлка, не лопни!»

— Кем работали последние годы?

— Скотником.

— Профессия такая? — опять ухмыльнулась дива.

— Профессия... за коровами говно убирать.

— Вы как разговариваете?! — вспыхнула дива. — Вам здесь что, скотный двор?!

— А чо ты мне, халда, дурацкие вопросы задаёшь?! И хайло распазила. Не с той ноги встала?..

Еремей не глядел на диву, а вроде лаялся с президентом, холодно и презрительно глядящим на скотника из глубокой и грузной резной рамы, словно из лакированного гроба. И вроде стило усмехается, пуская мимо ушей Еремееву брань: собака лает, ветер носит, караван бредет...

Дива презрительно глянула на потомственного скотника и, грозно молотя копытами, ускакала из кабинета. Еремей подивился: и как она, дура, ходит на эдаких высоченных каблуках, словно на скоморошских ходулях? Лодыжки же вывернешь, упадёшь, убьёшься! Не успел Еремей додумать горестную думу, как дива ворвалась с начальником, таким же стильным, молодым, хотя и с брюшком, начальственно нависающим над брючным ремнём. Оглядел Еремей начальника, глянул на размалёванную красу, и мужичье чутьё подсказало: блудят исподтишка.

— Вы почему грубите?! — начальник со свинцовой тяжестью уставился на Еремея сквозь толстые очки.

— А кого она смеётся?! Прекраса, кобыла савраса. Чо смешного? ШРМ да ШРМ. Я с четырнадцати лет пошёл в колхоз чертомелить, из-под коров навоз выгребать. Отец хворал... раненный с войны пришел... и мать хвора. Вот и доучивался в ШРМ.

— Мужик, нам до фени твоё грёбаное ШРМ! Ты, хамло, извинись перед соотрудницей! — по-рачьи пуча зенки под очками, багровея опухшим лицом, начальник пёр брюхом на мужика. Дива заполошно кудахтала, словно кура, кою петух оттоптал, но Еремей уже худо слышал, худо видел: уши забило сенной трухой, глаза заволокло жарким туманом. И привиделось во мгле: вроде парень — бульдог с тупым рылом — бежал, бежал, хрясь об столб — и харя плоская, и глаза налиты кровью, а дива — долгая такса. И не люди, а псы лают на него, потомственного скотника.

²Изаида — иди за Ильичом, детка.

³Мэлс — Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин.

⁴Даздрасмыгда — от сокращения лозунга «Да здравствует смычка города и деревни».

Еремея затрясло, как в родимчике.

— Ты норки-то не раздувай, не раздувай, не боюсь! — это звучало молитвенно: «Де, страха вашего не убоимся, ниже смутимся: яко с нами Бог...» — И на арапа не бери, глотку-то не рви, глаза не пучь. Ты чо, думаешь, я пыльным мешком из-за угла пуганный? Не на того нарвался. На Руси не все караси, есть и ерши. Страну разворовали, сволочи!.. Да, вам... — Еремей обречённо махнул рукой на президента, — вам хоть наплюй в глаза, всё Божья роса!..

Как пробка вылетел из собеса, пал на садовую лавку под корявым тополем и, когда дрожь унялась, гнев утихомирился, горестно сплюнул в ржавую траву: «Тьфу! И поче, балда, облял мужика и девку?! От язык, а!.. Прежде ума рыщет, беды ищет...» А тут ещё и голос Нюши померещился: «Эх, Ерёма, Ерёма, сидел бы ты дома, точил веретёна! Кого ты на них накинулся, будто пес цепной?! А дед Прокоп, помню, говорил: злое слово и добрых обращает в злых, а доброе слово и злых обращает в добрых».

В Еремеевых глазах потихоньку разъяснелось, словно ветер-верховик угнал стадо серых туч, и в стыло синих небесах привиделось: мужик молодой, а весь оплыл, мамон, как у бабы на сносях, лицо одутловатое, багровое, однако, паря не заживётся на белом свете. До слёз стало жалко мужика: палит душу, гневливый, горделивый, надсаживает тело, любит крепко выпить, закусить, чревоугодник. Пузо лопнет — наплевать, под рубахой не видать. Не долго протянет, бедолага... И дева приблизилась: пустоцвет, махом отцветет, опадут лепестки в осеннюю лужу, где кочуют облака, обнажится жалкий пестик, и рванёт октябрьский ветер-листождёр, сломит хилый стебель, — словом, женатый мужик ...в поле ветер, в штанах дым... с коим жила в блюде, бросит её, увядшую, бесплодную ...грязно выдавила плод, сгубила душу ангельскую... и запьёт, и запоёт лазаря обеспокоенная бабонька, и озлобится, да следом за мужиком и улетит в тартарары.

Выветрилась обида, и томительная жаль стиснула душу, словно сам и породил парня с девкой. И так стало жалко горемычных, что, преодолев сомнения, робость, Еремей вернулся в кабинет, где, как и ожидал, застал начальника и подопечную. Сидят и поди его мужичьи кости перемывают. Смутно помнил Еремей, как путано — чухонь чухонью же! — бестолково извинялся, но врезалось в память, что вдруг и начальник извинился, потом и дива смущённо опустила глаза синими ресницами...

А в сестрином бараке, некогда сиреневом, ныне облупленном, утаенном в тополином плетеве, у Еремея впервые мучительно защемило душу, кинуло в жар, перед глазами поплыла цветастая рябь, и белый свет померк. С горем пополам доползла до Знаменского предместья «скорая помощь», утартала сердечного в губернскую клинику. Пенсионные документы оформляла сестра, а Еремей, выйдя на волю, опять занедужил и лежал под святыми образами, едва живой, как осенний лист, как догорающая лучина.

Но прежде веку не помрёшь — одыбал, и подолгу сидел недвижно, томился, непривычный к праздному сидению без заделья. А истомившись без дела, пошёл искать, хоть завалящую, работёнку, но нигде не брали пенсионера, невзрачного и нерослого. По настоянию сестры, богомольной бобылки, прибил к Знаменскому собору и, почитывая Писание, исповедуясь и причащаясь Святых Тайн, стал помышлять о Царствии Небесном, куда, полагал, скоро Господь поманит. И однажды после литургии, укрыв левую ладонь правой, пробился к батюшке под благословение и посетовал на то, что мается без работы. Батюшка и пристроил Еремея церковным сторожем. А уж дворничал бескорыстно: в отраду прохладным летним утречком подмести ограду, в утеху, рдея щеками, пихать, кидать хрусткий снежок.

Но лишь оттепело и городской снег побурел, набух влагой, Еремей, чуя себя кукушкой без гнезда, по-вешнему остро затосковал по дедовой избе. Даже виновато плакал ночами, словно и не избу, а мать родную бросил. И мать, одинокая, скорбная, печалится у калитки да, заслонив ладонью закатный свет, долго глядит сквозь слёзный туман в край улицы: не покажется ли блудный сын? Оно и перемогся бы, перехворал бы тоской... пенсию выходили, выхлопотали, и работа благодатная при храме... но скучно стало Ерёмушке на

чужой сторонущке. Да вдруг от шабаршинской соседки Настасьи ещё и письмо пришло, где после вестей... кто спился, кто утопился, кто женился, кто родился, кто крестился... Настасья писала: «...бывший зоотехник Илья Гантимуров, у которого два магазина и заправка, надумал хозяйство открыть, скота держать. Говорят, уже справил бумаги на землю и ферму, что возле речки, хорошо хоть не успели её растащить. На собрании говорил, что по весне будет скот закупать. Работников нанимает, и тебя спрашивал. Чо уж у Ильи выйдет, Бог весть, но мужики надеются...»

Сколь ни отговаривала сестра, по весне Еремей собрался в родную Шабаршу: мол, пора картошку садить.

Сентябрь–октябрь 2015 г.

Блажь

Радость моя, молно тебя, стяжи дух мирен,
и тогда тысячи душ спасутся около тебя.

Преподобный Серафим Саровский

— Опять ты в тайгу наладился?! — привычно, абы уж отвести вечно переживающую душу, корила мать великовозрастного беспутного сына, подсобляя тому уложиться в путь-дороженьку, скорбными глазами присматривая, как сын суетливо и раздражённо, потя и краснея набыченной шеей, пихает в заплечный вещмешок мало-мальские харчишки и запасную одежонку, замызганный красками этюдник и стоящий коробом от налипшей краски брезентовый мешочек с художническим скарбом. От брезентового сидорка, добела выжженного солнцем, чиненого-перечиненого, кажется, уже тёплыми миражными волнами плывёт смолистый сосновый дух.

— Природу нюхать? — со вздохом покосилась мать на выдавший виды сидорок.

— Её, матушку... — выжал смущённую улыбку сын, поморщился и пуще покраснел, словно виноват: он-то убегает в тайгу от житейских хлопот, сжигающих душу подобно легиону бесов, и будет счастлив в таёжном храме, а мать останется в городе, обойдённая таёжным счастьем. Будет одна куковать в каменном мешке, долгими часами высиживая на лавочке возле подъезда, вяло от жары и приторной асфальтовой духоты судача с товарками, с такими же маломощными старушками, многие из которых, как и она, покинули родные деревеньки, чтобы скоротать век подле детей.

— Да сходи, Коля, в овраг... за домами сразу... полынки нарви и нюхай свою природу, нюхай, хоть занюхайся, — через силу улыбнулась мать, и в глазах её, заморгавших от приливающих слёз, сизо притуманилась печаль. — Может, глядишь, и полегчает — полынка, она, паря, шибко пахнет, за версту слышать. И незачем будет в эдаку даль переться, ноги да время убивать. От тоже блажь-то!.. Носки-то, носки-то овечьи положи, не забудь, — тут же заботливо спохватилась мать.

— Да у меня на ногах тёплые носки — хватит, куда мне их, солить?! — отмахнулся сын, уже сопревший от долгих сборов. — Ты бы мне ещё ватное одеяло завернула и подушку.

— Ничо, ничо, сгодятся — запас карман не тянет.

— Куда класть?! И так уж мешок полный.

— Положи, положи, не задавят. А там мало ли что: ноги промочишь — на ночь сухие носки наденешь, да и ночи-то студёны пошли. Илья уж отошёл, бросил в озеро подкову, и вода остыла. О такую пору мы уже и не купались, не, остывала вода. Ой, беда, парень, с тобой, бединушка! Хошь бы уж поясицу пожалел, опять загинаясь будешь, идол окаянный! И какую холеру ты в тайге творишь, ума не приложу.

— Порисую, напишу.

— А зачем с ночевыми-то?! Обудённой бы сбежал за город да и нарисовался досыта — за городом лес тоже бравый, с листьями.

— Не люблю я обудённой: к обеду добрался, а вечером назад топай — дорога сплошная; а с ночевой в тайге — красота... Попутно и брусницу буду брать...

Чтобы не дразнить мать, не пугать сибирскую крестьянку, недавно ставшую горожанкой, иркутянской, и по деревенской породе не терпящую праздности в тайге, сын не стал договаривать самого заветного, что просто будет жить в тайге коротенькое отпускное времечко. Просто будет ходить, часами сидеть на замшелых колодинах в глухой урманной тайге, сидеть и слушать мягкую хвойную тишь, пахнущую груздями, прелью лоняшней травы, мхами, чушачьим багульниковым, можжевельниковым духом. А вечерами, прихватывая ночь, будет полёживать на сухом облыске под матёрой сосной и, поджигля сучком костерок, станет слушать, как бурчит в глухом распадке ключ, то вынырывающий среди кочек и высоких кустов голубичника, то опять пропадающий под землёй. Скрадывая лешачье ворчанье ключа, будет следить омороченным взглядом, как растут и опадают синеватые лопухи огня, ласково и вдумчиво обнимая прикопчённую медную манерку, где уже запыхивала омутно, по-комариному засипела бочажная вода, и вот-вот можно будет заваривать крепкий чай с брусничным листом и шиповником. И вдруг падёт на ум непостижимо простенькая, ясная мысль: «Господи ты мой милостивый, всюю-то жизнь бы вот так прожить! А то бегаем, носимся, словно с цепи сорвались, бьёмся, хлещемся как рыба об лёд, а зачем, почему — Бог весть. Поди, оттого и носимся как угорелые, чтобы сжечь век по-быстрому, света Божия не видим, устаём бегать в потёмках, избитые, изволоченные. Да так и сжигаем век, не поняв, на какую потребу отпущена была жизнь и в чём счастье».

А не счастье ли душой услышать смущённый, с придыханием, лепет рябиновых листьев, тронутых реденьким предночным ветерком? Не счастье ли слушать и смотреть на тихо уплывающие в засиневшее поднебесье стволы берёз, от коих девичьим многоголосьем повеет вдруг закатная русская песня? А там, глядишь, и ночь выспела: взошли, леденисто позванивая, звёзды — Божьи светлячки, но с пугающим шелестом пролетают незримые впотьмах полуночные птицы-нетопыри, опахивая холодом чуть шаящий углями костерок и твоё лицо, замершее в таинстве ночи. Кто-то в дремотной темени вдруг ухнет и заплачет навзрыд, защемив болью и страхом твоё сердце. Чья же бесприютная душа маётся, кружит над землёй? Скоренько подкинешь в костёр сушняка и всмотришься, как, приплясывая, колыхаясь и раскачиваясь, хороводятся над полымем ночные крали — бабочки-метляки; багрово взблескивая, они падают в огонь с опалёнными крыльями. «Господи милостивый, — подумаешь мимолётно, жалостно и печально, — как это похоже на нашу юность...» А уж с черёмушного неба станут срываться усталые звёзды и полетят встречу твоему взгляду, словно метя тебя в ночи бесплотным сиянием. Но благодно коротка летняя ночь: лишь стемнеет, глядишь, уже и рассинеется небо над лесом, и берёзовая грива под сухой хребтиной нальётся по самые края птичьим журчанием. Серебристо засияют в распадке инистые травы, и помянется сенокосное отрочество, послышится властный клич отца, долетит похожее на звон бубенцов звяканье молотка, отбивающего литовку на железной бабке. А тебе, мокроносому парнишонке, так не хочется вылезать из балагана, крытого лиственничным корьём и сеном, угретою за ночь материнским и отцовским теплом. Так не хочется выбираться на зябкий воздух и окунать голые ноги в студёную росу; тебе хочется спать, и ты с головой кутаешься в баранью доху, стараясь растянуть сладкие остатки сна. Но подкрадётся старшая сестра и прыснет в лицо водой, набранной в рот, отчего ты подскочишь как ужаленный, выкатишься из балагана. А тут и отец подоспеет, поочерёдно вытянет по хребтинам волосяной путой, которой на ночь спутывал коня, чтобы не убрёл далеко от покоса.

Помянешь сенокосное отрочество и, умываясь из таёжного бочажка, припрятанного в кочках, отдуешь хвоинки, былинки, заглядишься в своё отражённое в воде лицо и опечалишься о судьбе, изрывшей и взбороздившей лицо. И полвека не прожил, а сколь уже накопилось и скорбно мудрых, и злых морщин, сколь довременной устали тенью легло у

насмешливо скошенного рта, возле прищуристых глаз! Может, в тайге посветлеет, разглядится лицо... И благостно будет, если в таёжные дни и ночи, словно в храме Божиим, покаянной души не коснутся корысть, гордые помыслы, отупляющая похоть. Благостно будет, если души коснётся по-детски зоревым, богородичным духом лишь смиренная природа — дивное Творение Божие. И не пытайся искушать её, непостижимую в Небесной тайне, чтобы не замутить в душе родниковый, певуче подрагивающий восторг или бесконечную небесную задумчивость. В эти редчайшие таёжные часы, возлюбив отмягшей и отпахнутой душой всё живое и сущее на земле, может быть, прикоснёшься лёгким сердцем к Всевышнему, отчего уже не так будет черен и страшен исход души, и не жуткая глухая темень привидится за жизненным краем, а замерцают далёкий-далёкий, вечный и ласковый свет.

* * *

Сын не поведал матери об отроческих видениях, да и постеснялся бы — столь сокровенно, и лишь, досадливо вздыхая, отмахивался от назойливых материных наставлений, от её жалостливых взглядов.

— Брусницы наберёшь? — насмешливо переспросила мать, обиженно подбирая иссохшие губы. — Дак это чо, надо в магазин бежать, куль сахару брать. Ягоду-то чем засыпать? Да шибко-то много не бери, а то проквасим. О-ой, не свисти, парень! Метёшь языком, что помелом. Брусницы он наберёт, ага! Держи карман шире! У меня от твоей брусницы ещё с лоняшнего лета оскомины на языке. Наберёт он, ага... Голову-то хошь не потеряй, назадь принеси.

— Четыре ведра хватит?

— Четыре?! О-ой, ой, ой!.. — мать испуганно округлила глаза, отвернулась от сына и замахала обеими руками, потом поднялась и, тяжело вздыхая, потирая согнутую поясницу, пошла накрывать стол.

Чтобы не мешать ей... тесна городская куть... сын вынес раздутый пузырьём вещмешок в прихожую и уже оттуда досказал:

— Вот увидишь, полный горбовик напластаю. Горбовик сошью из бересты. Бери сахар, не прогадаешь. Я же фатовый, — усмехнулся он. — Спорим, горбовик добуду?

— Кто спорит, тот назьма не стоит, иди-ка ты, ботало коровье, — мать обречённо и ласково махнула рукой. — Ведёрко принесёшь, дак впору Боженьке свечку зажигать, а то и с полыми руками воротиться.

— Но уж, с пустыми руками сроду из тайги не выходил. Лоняшнее лето сколь брусники приволок?

— Ведёрко за семь дён. А харчей сколь перевёл? Одежонку, обужонку испластал в труху. Да Бог с имя, с харчами, с одежонкой, обужонкой, сам-то измотался. Брусницы он напластает, ага! Корней да коряг наташит. Всю избу сучками завалил, адали⁵ в тайге живём. Ой, горюшко с тобой, парень! Сбежал бы обуденкой, не маялся. Пошукал, да, глядишь, и по оборушам бы ведёрко набрал. Много нам надо...

— Да, мама, не в бруснике дело, — не утерпел и проговорился сын, в раздумье прислонившись к дверному косяку, поглядывая на мать, гоношашую обед. — Устал я, мама, замотался, отдышусь в тайге.

Но мать, разворчавшись, пустила мимо ушей сыновью скорбь.

— Вон сосед наш, выше живёт, Борода⁶, из тайги не вылазит, дак тот и черемши добудет, и жимолости, и черники, и брусники, и орех колотит кулями — ничем не попустится. Тёща так на базаре сиднем и сидит, торгует. Борода и тайги нанюхается по самые норки, ишь щёки-то жаром горят, хошь портянки суши, и деньги гребёт совковой лопатой. Себе легковушку взял, теперичи и сыну купил «Порожню».

— «Запорожец», мама.

⁵Адали — будто, вроде.

⁶Борода — нарочито искажённое имя Володя.

— Подороже? Во, во, я и говорю, подороже. И в избе обстановка, как у министра.

— Ты что, у министра в избе гостила? — улынулся сын, прижимая коленом заплечный мешок, потуже затягивая горло.

— У министра? Гостила, гостила. Похохочи, похохочи... Потом спохватишься — близенько локоток, да не укусишь. У Бороды птичьего молока не хватает, остальное всё есть. А кто он, Борода? Вахтёр на проходной: сутки дежурит, трое отдыхает, копейки получает. Вот с тайги-то и кормится.

— Ну и молодец, пусть кормится с тайги, — ответил сын, пройдя в куть, где мать уставляла стол горячими, только что вынутыми из духовки творожными и брусничными шаньгами и пирожками. — Не ворует — и ладно, своим горбом добывает. Оно, конечно, пуп рвёт. Да и не в коня овёс — злой стал как собака: напьётся — даёт жару домочадцам. Милицию вызывали...

Жалеючи мать, сын опять умолчал, что по былому, скорбному опыту ведаёт: насадные, свирепые деньги, что гребут из тайги озверевшие таёги, мало кого осчастливили. Бог весть, что творится у басурман, у русских же бешеные деньги — бешеная жизнь: иные кутили с куражом и размахом, до нитки спуская в кружалах добытое потом; бывало, и спивались, семьёй попускались; иные, редкие, вроде Кошечки бессмертного, чахли над туго набитым бабьим чулком, не ведая, где вывернуть чулок наизнанку... воистину, некуда деньги девать... а, не ведая, бегали, по-собачьи вывалив парящий язык, доставали, меняли, перепродавали и... на полном бегу влетали в кедровую домовину, не успев и смекнуть: зачем жил, зачем барахло копил, зачем небо коптил?.. И наряды в гроб не упакуешь, — не сундук же, что богатые невесты, запирая, прижимали коленом; и положат тебя в старом френчике, в ношеной сорочке, дожелта застиранный ворот которой стянут шелковой удавкой с дешёвой булавкой; и мощну в могилу не возьмёшь, — рай не купишь, тартарары — задаром; разве что родичи закажут лаковый гроб — дольше гниёт, оградку чугунную, надгробье из мрамора да поминки сытней и пьяней, чем у бедных. А душу, заросшую дикой шерстью нераскаянных грехов, ступившую на лестницу, тут же ухватят крылатые ночные духи и унесут в тартарары, где огонь, сера, червь неусыпный и крик неумолчный... А ведь Царь Небесный упреждал маловеров: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие... Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше... Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них... Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?..» Эх, не слушали мы глас Небесный...

Но коли на зависть нищих сребролюбцев свирепые добытчики и процветали в миру, то всё едино, эдакие заядлые таёги, вроде Бороды, были обижены судьбой: шныряли по тайге, порой ненавидя и безбожно матеря тайгу, ежели скупо отворяла закрома. Носились сломя голову, словно седалище скипидаром смазали, рыскали по тайге с хрипом, стоном и лаем, без огляда либо опасливо озираясь. Бегали глухо и слепо, и души не чуяли певучего восторга от синеватых рассветов, когда ты — не добытчик, грешный и суетный, но созерцательный молитвенник, вдруг неземно polegавший, уже не чувствуешь одышливую плоть, кружишь блаженной душой над кедровыми кронами, возносясь к звёздным россыпям.

С Бородей художнику довелось колотить шишку в байкальских кедрчашах, и, глядя на ночь, прихлёбывая курительный чай с брусничным и смородинным листом, толковали о тайге. «Таёжные добытчики, пусть браконьеры, они ведь, паря, урона тайге не приносят, — внушал Борода, — они речек и озёр не губят, и Байкалу от браконьеров нету вреда. А вот Байкальский комбинат, да Селенгинский в придачу, эти да-а-а, эти гробят озеро...» Ясно море, таилась доля правды в оправданиях и обличениях байкальского промысловика, но художник чуть было не усмехнулся в багровое лицо Бороды: мол, тайгу и озеро вы, разбойники, может, и не разорите, а душу-то запустошите. В бане месяцами не моетесь, пню

горелому молитесь; живёте без Бога и царя в голове, гонитесь за долгим рублём, стыда не ведая. Стыд вам помеха, вот и рыбу гребёте, зверя бьёте, чихая на запреты и сроки. Потом родной народец обдираете как липку: такие цены ломите, что даже богатенький мужичок в затылке поскребёт и покачает изумлённой головой. А проснётся совесть, ужалит душу, но тут же и отмахнёшься, словно от комара: де, ничего страшного, кому надо, тот купит. Мне выложит, на производстве украдёт — деньги не пахнут.

Но ни словом не упрекнул художник нахрапистого таёгу, ибо и сам день во грехах, ночь во слезах, ибо рече Господь: «Что же видиши сучец, иже во оце брата твоего, бревна же, еже есть во оце твоём, не чуеши?.. Лицемере, изыми первее бервно из очесе твоего, и тогда узриши изяти сучец из очесе брата твоего».

* * *

Пока наш художник предавался скорбным думам, мать вынесла из кухни мешочек с теплыми постряпушками, велела сыну развязать вещмешок и сунуть подорожники.

— Ну да Бог с ней, с одежкой, да и с ягодой, сам-то намаешься, вот горе, — вздыхая, ворчала мать и, обиженно поджимая губы, досматривала сыновьи сборы.

Мать печалилась, ибо не могла уразуметь деревенской сутью сыновью тягу в тайгу, а сын тайну прятал глубоко в душе, боясь, что на свету, в суесловии полиняет, обтреплется сокровенность и святость тяги к таёжному уединению, или уж не умел путно обсказать матери, разумеющей тайгу, как заготовку дров на зиму, веников для бани, жердей на заплоты, сбор ягод и грибов, и не ради наживы, а лишь для законного прокорма. Похоже, матери было и боязно отпускать сына в тайгу ... без материнского догляда окажется, бедолага; она потому и умирать боялась... и печально было оставаться наедине с каменными стенами; похоже, мать и бессознательно ревновала сына к тайге, словно сын уходил к иной матери, кою любил не меньше, чем её, а вдруг и больше...

Хотя... хотя и мать в цветных и сокровенных снах и видениях, похожих на голубичное мерцание, поминала благодать Божию, когда с деревенскими подругами бродила в таёжном распадке, выискивая курешки⁷, где голубицы синим-синё. Насадит, бывало, старый свекор девок и баб в телегу, где уже увязаны две-три бочки, и покатили в ближний лесок. Благо, голубица синела сразу за поскотиной, и всем за глаза хватало — бери, не ленись; а прозевал, неоглядные голубичные поля прибуёт инеем, и уже не взять ягоду, отмягшую и водянистую. И вот, бывало, отведут душеньку: все песни перепоют, едучи лугами, потом тенистым просёлком, усыпанным жёлтой лиственничной хвоей, перевитым вспученными корнями. А уж в лесу гаевун в руки — и хлещешь голубичник этим сплюснутым бездонным ведром, похожим на воронку. Впрочем, домовитые молодухи красовались берестяными гаевунами — лёгонькие, ухватистые и голубичник не бьют. И вот уже на ветреной елани⁸ раскидывают добела выгоревший брезент — набил ведро, тут же провеял, и синеватым рясыным снегом сыплется голубица, летит в траву лист. И опять сельская песнь плывёт над еланскими травами, над кучерявыми красными саранками и белыми ромашками, над синими черевичками, что кукушка сронила на лету.

Схлынет азарт, разогнёшь сладостно занемевшую спину, оглядишь благостным взглядом вековые листья, вольно вкривь и вкось торчащие из зарослей голубичника, и от полуденного леса повеет в душу ласка, и томное лицо озарит блаженная, беспричинная улыбка. Легко, светло на душе, и даст Бог силы для натужной послевоенной жизни. Словно десять лет махом скинешь с плеч, и чуешь, как умягчается натруженная спина, как весёлая, тугая, забродившая кровь приливает к щекам, как слетает с глаз серая житейская пыль, и глаза светятся вольно, будто озёрная вода, когда растает потемневший ноздреватый лёд.

Похоже, нынче и мать потянуло вслед за сыном в тайгу — вся-то жизненка в тайге да подле тайги прошла. Мать, хотя и таила, не показывала виду, а всё ж завидовала сыну. Но

⁷Курешки — ягодные поляны.

⁸Елань — таёжная поляна.

без заделья, впустую бродить по тайге, любоваться на берёзовую гриву, на зеленоватую речушку, лешаком бормочущую в студёной тени буреломов, а любясь, тешиться безлюдьем и одиночеством — этого мать не могла смекнуть крестьянским разумением и, не понимая, тревожилась за сына, словно тот страдал неведомой ей хворью. И, чтобы не выказать боль на людях, не омрачить их души, чтобы и самому не опозориться, чтобы не расстроилась мать, нет-нет да и убегал в тайгу подлечиться. Звериным чутьём ищет рыскающая собака целебные травы, лечится диким разнотравьем-разноцветьем, чаровными кореньями, вот и человеку, похоже, издревле Бог отсулил сокровенное знание целительных путей, ведущих к спасительному храму. А и тайга — храм, где купол — небеса, беледые и знойные либо по-вешнему синие, либо черёмушные, усеянные звёздами. Властная тяга сына к глухومانному уединению пугала мать. Однажды почудилось: вроде изурочили унылого. И мать невольно прошептала ветхий заговор от изуроченья, что запомнила от бабки с деревенским прозвищем Ромашиха: «Под восточной стороной стоит белая берёза, под белой берёзой белый камень, под белым камнем рай-щука; у рай-щуки губы медны, зубы железны, глаза оловянны. Сними, рай-щука, с раба Божиего Григория уроки и призоры, и шепоту, и лому, и страх, и переполох...» Спихватилась мать: Господи, помилуй! Что ж она, христианка православная, кланялась не Царю Небесному и Царице Небесной, не ангелам, архангелам, херувимам и серафимам, а щуке, твари водяной?! И, божась, крестясь, молилась мать: «Владыко Вседержителю, Врачу душ и телес, смирай и возносяй, наказуй и паки исцеляй раба Божия Григория, немощствующа, посети милостию Твоею, простри мышцу Твою исполнену исцеления и врачбы: и исцели его. Ей Господи, пощади создание Твое во Христе Иисусе, Господе нашем, с Нимже благословен еси, и с Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

* * *

— Пожалел бы ты себя, парень, — не унималась мать, глядя, как сын правит оселком небольшой ладненький топорик. — Лучше бы в конторе путёвку выколотил да съездил бы отдохнул на курорте, как путние люди-то делают.

— В Сочи на три ночи, — улыбнулся сын.

— А ты не скалься, не скалься, идол окаянный. Забыл уже, как весной загибался, поясницу не мог разогнуть. Пропадёшь же, хошь бы уж подлечился мало-мало, раз отпуск дали. На Аршан⁹ бы съездил...

— Ничего, мама, живы будем — не помрём, ещё спляшем и споём, — отозвался сын, пробуя пальцем бриткость топора прежде чем сунуть его в кирзовый чехол. — А в тайге самое лечение — кострища нажгу, на горячий пепел пихтового лапника настелю и прогрею поясницу... и Машка не царапайся, и Васька не чешись. Всю хворь и лому как рукой снимет.

Мать покосилась на сына, снисходительно усмехнулась:

— Вроде охотник ранешний.

— Да я в тайге про все болезни забываю.

Сын опять умолчал, что и год-то дюжил мечтой: сойдут снега, отвзвоят ручьями полые воды, нальются распадки сочной зеленью, а там уж и до августа рукой подать, там уж тайга, а после... после можно греться и тешиться воспоминанием. Смолчал сын и о том, что уже свалил четыре листвяка и дюжину сосен, раскряжевал под будущие избяные венцы, ошкурил, уложил в штабель и ныне, Бог даст, начнёт рубить зимовьё. Для какой требы надумал рубить зимовьё в буреломном таёжном укроме, в потаённой Божьей пазушке, он и себе не смог бы ответить, но душа просила, загадывая далеко вперёд его судьбу.

— Однако пошли чай пить, — позвала мать.

— Ой, мама, не охота. Недавно же чаевали, — вспотевший, издёрганный, измученный виной перед матерью, сын опять суетливо укладывал и перекладывал, ворошил манатки в распухом мешке и об одном лишь мечтал — скорей бы уж вырваться из дому на простор.

⁹Аршан — курорт.

— Попей на дорогу, когда ещё сегодня придётся чаёвничать, и некому будет потчевать.

— Ладно, — согласился сын, чтобы лишний раз не обижать матушку, — пошли, попьём чаю.

— Ой, парень, парень, — опять завздохала мать, усевшись за стол напротив сына, скорбно подперев голову рукой, — говори не говори, всё как об стенку горох. Ладно бы, на день-два, а то ить почти на месяц. И что тебя манит в тайгу, ума не приложу. Аль присушила тайга, чисто девка красная, мёдом мазанная. Уж поскорей бы женился, да взяла бы тебя баба в ежовы рукавицы, всё бы лишняя блажь из головы вылетела. И шатался бы, шатун, пореже.

— Я не шатаюсь.

— Ох, самое бы время на Аршан ехать, — снова да ладом толковала мать про курорт. — На Аршане бы, глядишь, и девку присмотрел. Люди-то баят, девки и бабы вдовы на Аршан за мужиками ездят.

— Ага, там их на курорте припасли, мужиков-то, — засмеялся сын. — На пляже штабелями лежат, а бабы ходят выбирают, как в лавке.

— Вот, глядишь, и тебе поддует.

— Ну ты, мама, сказанёшь так сказанёшь, хоть стой, хоть падай. Ага, поеду я за тыщу вёрст киселя хлебать — бабу искать. Делать мне больше некого. Надо будет, так и в городе найду.

— Ой, не говорь, кума, про пряжу, сама лажу. Чего тогда сиднем сидишь, кукуешь, как старуха-вековуха?! По таким летам в деревне уже и внуков нянчили.

— Давай, мама, лучше о погоде поговорим, — сморщился сын, нервно прихлёбывая чай.

— Да кто за тебя, шатуна, пойдёт?! Какая дура?! Одна была, да и та сплыла: подол задрала и скрутилась, крутель белого света.

— Мама!.. — сын мрачно поглядел на мать, чтобы не сыпала соль на рану, ещё кровотокащую; было лихо поминать жену, сбежавшую вместе с сыном к сноровистому художнику.

— А ты не обижайся, не обижайся. Кто тебе скажет, ежели не мать? А я, сына, тоже не вечная. Ты бы ладом жил, семьёй обзавёлся, дак мне бы и помирать легче. Было б на кого оставить. А то живёшь бобылём, мохом уж зарос. Аль добрых девок нету, аль всё по той страдаешь, по... — мать хотела прибавить перчёное словцо, но удержалась. — И не дуйся, не косись на меня. Думаешь, легко мне глядеть, как ты убиваешься. Вот и в тайгу бежишь, а по мне дак лучше бы в церкву сходил, помолился, причастился. Оно бы и полегчало.

— Женюсь, мама, женюсь, не переживай. Такую молодуху приведу, закачаешься. Будем на пару в тайгу ходить.

— Во, во, испидиторшу найдёшь. Добрая-то баба разве ж будет по тайге шастать с мужиками?

— Зачем шастать? Я, может, со временем в тайгу укочую. Может, в таёжную деревеньку, вроде займки. Женюсь, ребятишек наплодим, заведём корову и коня, буду рыбу ловить, сено косить, грибы, ягоды собирать.

— О-о-ой, мели, Амеля, твоя неделя!.. — мать замахала руками на сына, хотя тот живописал такую отраду её деревенской душе. — Корову он заведёт, коня... Будете на пару природу нюхать, а потом — зубы на полку. Борода с помело, а брюхо голо, — мать жалостливо и скорбно покосилась на сына, гривастого, русобородого. — Нишкету вам разводить, лодырям, а не скота.

— Ладно, мама, пора трогаться, — сын вылез из-за стола, перенёс в прихожку увязанный сидор и вскоре предстал перед матерью уже в брезентовой куртке, в кирзовых сапогах, смазанных дёгтем. Приобнял мать за плечи, чему-то вдруг засмеялся, но смех его горько потрескивал, словно перекалённый, и всё казалось, вот-вот незаметно перевалит в плач, в надсадное, неутешное рыдание. — Ты уж тут не переживай, ладно, если будешь переживать сильно, мне там будет тяжело. Да я нынче по-быстрому вернусь. Давай приедем на дорожку.

Мать, трижды перекрестившись на божницу, трижды земно поклонившись, прошептала вялыми, усталыми губами:

— Милость Божия, Покров Богородицы, молитвы святых рабу Божию Алексею во всем путешествии. Святой отче Николаю, заступничек Божий, моли Бога о путешествующем рабе Божиим Григории...

Мать измождённо опала на стул, сын примостился прямо на вещмешок, и, помолчав, повздыхав, поднялись.

— Уж ты, сына, в лесу-то поосторожнее будь, не залезь куда, — сквозь слёзы просила мать уходящего сына и шептала подорожные молитвы, часто и мелко крестя иссохшими перстами. — И пошто один-то ходишь? Подпарился бы к мужику, да и на пару бы. Одному в тайге несподручно, рискованно, не дай Бог, ногу подвернёшь. Ой, беда-бединушка с тобой, парень...

— Ничего, мама, не переживай, не впервой же, — прокашливаясь, прочищая запершившее горло, заверял сын, отомкнув и отворив дверь. — Тут, скорее, наскребёт кот на свой хребёт, а в тайге бояться нечего. У меня и ружьишко доброе, и балаган обжитой, и час ходу — там лесник живёт, так что не переживай.

— Ну, с Богом, сынок! — мать ещё раз перекрестила сына, по древлему благочестию высоко вознося сурово скрюченные персты.

— А ты сахар-то запасай, запасай, бруснику будем засыпать, — через силу улыбнулся сын, торопливо поцеловал мать в покрасневшую дряблую щёку и чуть не бегом кинулся по лестнице вниз.

* * *

Всю дорогу от каменной жилой башни до автобуса томительно маячило перед глазами материно лицо, припухшее от слёз и сникшее, словно в последний путь провожала. И раздражённо ворошились в усталой голове вечные думы: Господи ты мой, и какая злорадная сила смахнула мать с земли, выдернула из глухой сибирской деревни, из родной избы, от доживающих век родичей, из полей и берёзовых перелесков, от синеющих озёрных плёсов и ржанных полей? Выдернула, заточила душу в каменную башню, из окна которой только и виделись ей такие же серые девятиэтажные башни да небо с овчинку. Сын вроде запомнил, что сам же и сорвал мать из таёжной деревеньки, привёз в город ...не куковать же старухе одной в древней избушке... а не захотел же осесть возле матери, в город смотался. Хотя как ему, художнику, в деревне жить?! И ясно увиделись заострённым в печали взором чёрные крылатые демоны, кои на потребу лукавую поснимали народ с отчих сёл и деревень, пораскидали по городам и северам, чтобы навек угасла тяга к земле, к отчине с избой и вербой. А выгнав и сманив из деревень, лихая сила приставила народишко, словно роботов, к мёртвым машинам, освободив руки от ремесла с художеством, а потом ещё и грядущей смертью нависла над матерью-сырой землёй.

Оно, может, и сгоряча решилось, в сердцах, но художник помнил по деревенской юности, как манили их, молодых, из деревень на севера и стройки, какими героями рисовали шатунов, кочующих по стройкам. В лихорадочных огнях новостроек смутно виделись родные деревеньки, в зверином рыке машин и турбин смутно слышались старинные речения: где родился, там и сгодился; где сосна выросла, там и красна. Хотя, опять же, надо было державе и машинную мощь созидать. Но и деревню грех было разорять и пустошить.

«А может, в родную деревеньку махнуть, чем по тайге-то шататься? — спросил художник душу. — Трудно отказаться от городских благ, но ведь надо же и прибиваться к одному краю». Душа молчала, это ж не с разбегу на телегу! Но мысль запала в душу, и художник понял: теперь уже не даст покоя.

Когда, сшибаясь с людской рекой, будто на прибойных волнах, выплыл на остановку, когда раздражённо ждал опаздывающий автобус, злобно глядя на непрерывный и плотный хоровод машин, морщась от выхлопной вони, когда с боем, в яростной давке влез в автобус, чтобы добраться до автовокзала, то уже подумал обречённо и сострадатель-

но: «Страшно и суетно живём. Но, может, человеку необходимо пройти и эту толчею, чтобы на последнем издыхании вернуться блудными сынами и дочерями к спасительной природе, к здоровому, слитому с природой, земному житию, кое благословило небо? Ибо мать-сыра земля в силах вытерпеть человека лишь до пределов крестьянской и ремесленной общины...»

Думы, хотя и заунывные, всё же обуздали раздражение, и чтобы пуще успокоиться, художник с блаженной улыбкой вообразил, как сойдёт в крохотной таёжной деревеньке, пойдёт вначале жёлто-хвойной просёлочной дорогой, затенённой могучими лиственничными кронами, как потом свернёт на горную тропу, чуть видную среди мхов и низкого чушачьего багульника, и, перевалив хребет, в узком распадке у ручья разведёт костёр, заварит чай с мятой и богородичной травой, с листьями дикой смородины и брусники и в шуме кедровых вершин, в шелесте листьев и трав, в говоре ручья услышит благословение.

1986 г.

ПОЭЗИЯ



АРОН ГААЛ



Это — моя жизнь

* * *

*«Быть или не быть» —
Как хочет Девочка из Хелсингора...*

Само Лицо, все прикосновения, чувства, тепло,
Всё, как и Слова, что я рисовал на стекле
Своими пальцами для Вас, — остаётся Невидимым...
Хотя, возможно, они были самыми красивыми строчками
О любви — моим самым сильным стихотворением,
Что я написал за всё моё творчество, — Вам!
В конце моей жизни, когда надо сдавать отчёт обо всём, там,
Пред Небесными Вратами, получу ли я пропуск к Белым Душам?
Я буду загадочным скелетом Средневекового рыцаря
Для исследователя, который станет искать ключ к моим тайнам,
Что я называл так: это — моя Жизнь... Такая, какая она есть...

ГААЛ Арон, известный венгерский поэт, художественный переводчик, эссеист. Родился в 1952 г. в Будапеште. Окончил столичный лицей и университет. Проживает в Пилишясфалу (пригород Будапешта в районе Буды). Президент Европейского культурно-художественного фонда «EOS – 2007» (Будапешт). Директор Международного Фестиваля «Sea and Word / Море и Слово» (Будапешт) и One step closer together — Rendezvous along the Danube / На один шаг ближе друг к другу — Встреча на берегу Дуная» (Будапешт). Член Союза писателей Венгрии «EMIL». Член Союза писателей XXI века (Россия). Дебютировал в 1969 г. в журнале «NIMROD» (Будапешт). С 1972 по 1987 г. — «период творческого молчания поэта», когда по политическим причинам его произведения не публиковались в литературных журналах. Автор «Гимна Ясов» (венгерских аланов), переведенного на 18 языков мира. Его стихи, сказки, рассказы, эссе в переводе опубликованы почти в 100 литературных журналах 14 стран. Автор 18 сборников (издательства России, Украины, Румынии, Германии, Сербии, Израиля, Испании). Переводчик 8 книг. Международные литературные премии: «Эндре Ади» (Сату Маре, Румыния), «АПЛЕР» (Бухарест), «Дети Ра» (Москва), «За творчество» (Тель-Авив и Иерусалим) и др.

Но тогда все мои пылкие аргументации
Покроют года, десятилетия, столетия...
Как рыцарь отдыхает под жёлтым холмом в мире,
Так буду лежать и я, пусть без коня, без меча и без брони —
Моя голова отдохнёт от стольких ямбов и хореев...
Тихо-тихо... Ведь от звуков, которые я выговорил когда-то —
Ни от ласковых звуков, ни от понимающих,
Ни от заунывных, ни от вопросительных, ни от молитвы, —
Не останется уже ничего! Пламя Мысли гаснет... и остаётся
Пыль и Пепел?... — Нет! — Буквы, Слова, Знаки препинания,
Акценты, Фрагменты, Строчки, Рифмы... БОГАТСТВО
Души! — которая была в гостях на нашем Земном Шаре
До поры до времени... Закону Языка, Закону Стихотворения, Закону
Любви, АЛЬФЫ и ОМЕГИ — этим законам — жизнь Поэта...
Тогда не от объяснения, а только из строчек можно понять
Все эти «Я БЫЛ» когда-то. Всё на этой земле: Реки,
Луга, Ледники, Гроза над Морем, Буря в Городе,
Капля росы — на траве, капля слёз — в глазах,
Следы повозки на просёлочной дороге, ноги — на расплавленном асфальте,
Любви — в Душе, звуков — на губах, стихов — в Человеческой Мысли...
Но всё это уже нельзя будет увидеть в моих глазах...
Послушать в моих звуках... Прочитать
В моих поцелуях... Почувствовать в моих объятиях...
Как скелет Рыцаря — белые кости рук и ног — как СЛОГИ
И Череп Князя — СТИХИ, которые написали внутри
Череп — ПОЛНОЕ ПИСАНИЕ, ещё неизвестные сочинения
Череп на столе в одной комнате — ТЯЖЕСТЬ на тетради —
На пустой белой бумаге, что ждёт строчек так, как
Я ждал Вас! Как я ждал Вашей Любви! Белой Душой —
Череп в руках Гамлета — Его мысли — Строчки Шекспира —
«Быть... или... не быть?..» — как хочет Девочка из Хелсингора...

Вечер и ночь августа

О Ваших улыбках напоминают мне этим вечером и этой ночью августа
Светлячки в траве и на столе праздничные огоньки свеч.
О Ваших улыбках напоминают мне те розы в тёмном саду,
Которые пахнут глубокой ночью, нарядившись в белые, голубые, красные одежды.
О Ваших улыбках напоминает мне высокое небо над нашими головами,
Где Вы гуляете босиком по четырнадцати звёздным тропинкам.
О Ваших улыбках напоминают мне все несказанные слова и
Стихи, которые разговаривают друг с другом тихонько в сновидениях.

2013 г.

Поэт

Сколько ни ходите — Вас уже
Приговорили к смертной казни.

Миклош Радноти

Это — Моя Кровь высыхала на белой бумаге...
Она останется там навсегда — чернильным пятном.

Я изумлялся: как это всё случилось со мной?
Почему я вдруг умираю, если я ещё жив?!

Или моей Жизнью было то, что до..? — разочарование
От всех плутов, измен и лжи вокруг меня?

Я жил здесь, среди вас, абсолютно наивный,
И постоянная боль не давала покоя моей Душе,

Я уходил в слова, и иногда хотелось умереть,
Но мой Ангел брал меня за руку и спускал меня

С лестницы, ведущей в Ад или в Рай...
Я летал на крыльях Света, затем падал во Тьму,

И только однажды, да, только однажды я почувствовал себя
Счастливым! — Колокола звучали в моём Сердце!

Но Кресты на куполах Храма кровоточили!
За меня... И я спохватился: угасает моя Звезда

На небосводе! И в эту минуту на белой бумаге
Красной тушью, чернильными пятнами

Кровь моя проявилась в том химическом соединении,
Чем я был здесь... Напишут после о моей эпохе: «Потомство...»

Но ни в ласковых руках Женщины, ни в улыбках Ребёнка
Я уже никогда не увижу себя, как в Зеркале!

Это Закон! Моё Наследство — удары кулаком в лицо!
Боль — Вой — Смерть — Вопросы Души — и ответ: «Никогда!»

Нет больше тебе здесь места! —
Твоя Кровь, сохшая на белой бумаге, превратилась в Чернила...

(В авторском переводе)

Странник

Я всегда бродил среди вас,
Но немного решил отдохнуть.
Я хочу ноги вам умыть
И иначе на мир взглянуть.

Крошки хлеба хочу я есть,
Дайте мне вина хоть глоток.
Я отправлюсь в свой путь в рассвет
До того, как петух пропоёт.

Равнодушно смотрите вы
На судьбу человека всегда.
Ненавижу холод души —
И давно чужим для вас.

Я по свету буду бродить
До того, как закончится путь.
И не нужно мне слов пустых,
Ведь не в них заключается суть.

Вечно буду молиться за вас.

(Перевод с венгерского Лаймы Дебесюнене, г. Каунас, Литва)

Трёхстишие. Только ветерок знает...

Где Вы гуляете сейчас,
Спрашивают меня тропинки в глубине парка,
Где я блуждаю весенней ночью один...

Кому Вы шепчете на ушко сейчас
Нежные, ласковые слова между погружениями в мечтания,
Спрашивают меня листья жалостной ивы...

Чья рука Вашу талию обнимает сейчас,
Спрашивают меня ветки расцветающих жёлтых кустов,
Которые прикасаются ко мне мягко...

Кому Вы губы целуете сладко, горячо,
Спрашивает меня бледный месяц, в небесном водовороте облаков.
Ответы только та далёкая скамейка знает и ветерок.

15 марта 2015 г.

(В авторском переводе)

Четверостишие. Масленица

Снегопадом купает своего ребёнка наше Небо,
Голосами птиц оно украшает Мир.
Слышится непомытое пение Облаков:
Солнце-Блин* сегодня — горная горлица с нимбом над головой.

(В авторском переводе)

Царапина

Утром январским холодным
Заледенело оконце —
Ты нацарапал на нём
Абрис тонконогой арки,
Как будто по спине бедняги прошла плеть.
Лето явилось, и арка осталась в прошлом,
Только стекло силуэтом её завладело:
Рамы распятие осеняет
Оконный проём...
Кровь прильёт к голове,
Когда навь завладеет глазом,
Словно окон кресты —
Преддверие в Льдистую зиму...
Шрам на сердце твоём —
Тот, что кровью и болью оплачен,
Малый след от десницы Творца,
Что рисует ногтем
На теле твоей судьбы...

(Перевод Ирины Лежавы, Москва)

Жар

Я смотрю на Жар в себе, как он топит печку в моём теле,
Это — отдельный Мир, как город, где центральная площадь —
Сердце, откуда можно добраться до бульваров кровообращения...
И огонь в холодной Осени на моих внутренних улицах,
И необычные вьющиеся растения начинают расти быстрее:
Мгновенно разные белые, жёлтые, красные цветы расцветают.
Их плети сильнее опутывают мои ноги и руки...
Они раздуваются и становятся анакондами, я не могу защититься:
Они нажимают на мою грудную клетку и обнимают за шею,
Пробираются одурью в Чувства... Вы теперь можете увидеть
Моё лицо, украшенное цветами, если решите
Приехать ко мне на крылатой лошади Мысли,

*Солнце-Блин — метафора из стихотворения Наталии Наумовой «Масленица», которое опубликовано поэтессой в авторском сборнике «Свет и Тень» в переводе Арона Гаала.

И плети Жара — мифическую многорукую Женщину,
Что вьётся змеей вокруг Мужчины, провожая его объятьями в Нирвану.
Но мысль о том, что будет после, не даёт мне возможности
Забвения хоть на несколько минут, её бездушная сладкая песня
Увлекает меня за собой в дрему, и я чувствую, что проваливаюсь!
В Неизвестное — Чёрное, глубокое, куда я ещё НЕ ХОЧУ ИДТИ!
На Пути неудержимого течения готовлю Отчёт о моей Жизни:
Сколько плюсов и сколько минусов? Сколько небрежности и
Упорства? Форсируются ответы! Но у меня на уме другие
Глаголы... Прилагательные... Наречия... И Имя —
Ваше Имя! И рифмы... Так встречаются друг с другом два Слова...
И ритмы... Ритмы Ваших шагов, когда Вы заходите в комнату,
И шуршащие одежды обмахивают моё лихорадочное лицо.
И Вы склоняетесь над моей усталой Душой...
«Где Вы оставили свою крылатую Лошадь?» — не двигаются мои губы,
Но Вы понимаете. «Там ждёт — у колонны на террасе возле лестницы...»
«Как холодно здесь! Я горю...» «Ведь затопили печку... Жар...»
«Это всё — Ваш сон, а я — Действительность! И Вы сейчас
Во мне разбудили жар иной... Жар ЛЮБВИ...»
И я смотрю на Жар в себе, как он топит печку в моём теле.
Это отдельный Мир, как город, где центральная площадь — Сердце.

(В авторском переводе)



ВЯЧЕСЛАВ АРХИПОВ



Искры на воде

ПОВЕСТЬ

1

Широкая лента водной глади огромной змеёй выползала из-за горы. Медленно и бесшумно проплывала мимо, завораживая своим величием. Только слегка всхлипывали ветки тальника, купаясь в набегающих струях, да солнце, распавшись на множество мелких искр, разлилось по всей прибрежной полосе на противоположной стороне реки. Искры, расшавившись, разлетались в разные стороны, затем, снова собирались вместе и исчезали в прибрежной траве. Появлялись в другом месте, и всё повторялось до тех пор, пока солнце не коснулось макушек огромных сосен на вершине сопки, прислонившейся к реке. Когда уставшее за день светило стало прятаться за деревьями, искры вдруг превратились

АРХИПОВ Вячеслав Павлович родился в 1959 г. в деревне Камышлеевка Тайшетского района. В 1966 г. семья переезжает в Тайшет. Служил в армии в войсках ПВО. Демобилизовавшись, работал на дистанции сигнализации и связи электромехаником, а с 1983 г. — в Иркутске на заводах и стройках. В 1994-м по состоянию здоровья вернулся в Тайшет, на прежнее место работы. В 2001 г. уезжает на постоянное место жительства в Израиль на историческую родину жены. Прожив на чужбине пять с половиной лет, в полной мере ощутил тоску по родине. В 2007 г. возвратился в Тайшет. Литературным творчеством пробовал заниматься в армии, писал стихи. В 80-е гг. входил в состав литклуба «Бирюса». Первый рассказ был напечатан в местной газете в 1981 г., потом ещё два. Затем более двадцати лет он не заявлял о себе. В 2009-м, осмыслив пережитое, снова взялся за перо. Написал три повести: «Искры на воде», «Камышлеева деревня», «День Победы», роман «Братья», более шестидесяти рассказов, объединённых в циклы «Невыдуманные истории», «Беседы на завалинке», «Дед Ермолка», а также сатирическую сказку «О царе Лупаре, о делах при дворе, о народе и солдатах, ну и разных бюрократах» и целый цикл стихотворений. Публиковался в сборнике «Литературный клуб «Бирюса», в литературном альманахе «Новый Енисейский литератор».

в огромное багровое пятно. Оно то расплзалось, то собиралось в кучу, принимая невероятные формы. Солнце зашло. Ещё какое-то время зарево окрашивало небо, но тяжёлые сумерки поглотили все цвета. Несколько мгновений стояла абсолютная тишина, словно все одновременно затаили дыхание, но вдруг сразу громко зазвенел гнус, до сих пор таившийся в траве. И не только зазвенел, но и направился на поиски своих жертв.

Проказница Бирюса всей своей красотой представляла перед очередным притоком. Туманшет был вполтину меньше. Он, шумный и своенравный в верховье, здесь успокаивался и тихо соединялся с более мощной сестрой. Две реки вытекали из гор, но после слияния левый берег становился равнинным, поросшим редким тальником. Разливаясь вниз по течению, он всё больше уходил в сторону, расширяя свои просторы. В половодье река заливала эти места, образуя озёрца и болота. Это был рай для водоплавающей птицы. Разные виды уток выводили здесь своё потомство, гуси и лебеди использовали озёра и луга для кормёжки и отдыха во время сезонных перелётов. На правом берегу высокие холмы ещё долго тянулись вдоль реки, уходили в сторону, а потом опять прислонялись прямо к самой воде.

На сухом, ровном, как стол, месте, возле самого устья Туманшета, расположилась Пеленгутская волость. Одно из немногих поселений на берегу реки, в которых постоянно проживали котты, совсем немногочисленный народ, прижившийся в бассейне рек Бирюса и Кана. Теснимые южными соседями, кеты стали кочевать на север, в низовья Енисея. Небольшая часть их пошла на восток по Ангаре, потом свернула на Ону и Кан. Поднимаясь вверх по течению Бирюсы (Она), кочевники не остановились, а пошли на реки Пойма, Тибишет, Туманшет и Тагул. Со временем они стали зваться коттами, или остяками (так звали их казаки, успешно осваивавшие сибирские просторы). Котты — народ, не имевший мест постоянного проживания, летом ютился по берегам рек, а зимой уходил в тайгу на промысел. Добывали мясо и рыбу для своих нужд и пушнину для обмена на необходимые товары. Только несколько постоянных поселений, среди которых были и Пеленгуты, стояли в устьях рек Туманшета, Тагула, Тибишета. Жители в них освоили несвойственные им изначально ремёсла. Занимались шитьём разной одежды, кузнечным делом, шили обувь, изготавливали разные поделки для себя и на продажу. Там и проходили торги в середине лета, когда все охотники спускались по рекам в поселение. С низовьев Бирюсы лодками и обозами прибывали купцы.

Посреди селения стояло жильё, наполовину срубленное из леса, верхняя часть которого, собранная жердями под конус, была загорожена досками и укрыта землёй и дёрном. Наполовину землянка, наполовину чум. А зимой утеплялось шкурами лосей и оленей. Рядом находилось загороженное пространство, загон для скота, который разводили котты, постоянно проживавшие в поселении. Таких полудомов, получумов было немного — десятка два. Два дома полностью срублены из дерева, покрыты двускатной тесовой крышей. Здесь проживали торговые люди, здесь же приезжие купцы раскладывали свои товары.

Вокруг них стояли чумы, крытые алатаем (берестяным покрытием). Здесь обитали охотники, приплывшие с верховья Туманшета, Тагула, Бирюсы на своих больших, собранных из кедровых досок лодках-илимках. Можно было жить прямо в них, приспособленных для этого, но и чум было поставить недолго, при этом находиться в гуще всех событий. В лодках обычно проживали подростки, сторожившие их от свободно слоняющегося вокруг скота. Воровство коттам было неизвестно. Они обменивали пушнину, шкуры лосей, оленей, камус, поделки из бересты на товары, которые нельзя добыть ни охотой, ни рыбалкой, брали медную посуду, котлы, чайники, для дорогих гостей приобретали и фарфоровые чашки. Покупали чай, табак, сахар, крупу, соль добывали сами на солёном озере, которое находилось недалеко от реки. Воду набирали в низкие специальные ёмкости из бересты, она испарялась, а соль собирали в кожаные мешочки. Загружали свои огромные лодки мукой, разными продуктами, одеждой, материей, другими необходимыми предметами, украшениями, которые очень любили девушки.

Возле чумов уже горели костры, на них в больших медных котлах, начищенных по случаю, варили рыбу, кипятили чай. На гнус мало кто обращал внимание, потягивали трубки и обдавали себя облаком дыма, и мошкара не летела близко к костру.

Старый Шалгу уже много часов сидел молча. Сначала он наблюдал за игрой света на воде на закате солнца, теперь смотрел на искры костра. На его изрезанном морщинами, измождённом лице иногда появлялась едва заметная улыбка. Длинные седые волосы космами торчали во все стороны, нечёсаная борода была взъерошенной. Очередной раз набив свою старенькую трубку, вырезанную из корня старого кедра, Шалгу раскурил её и снова стал разглядывать искры, порхающие над костром, вспоминая прошлое.

Самое раннее, что помнил Шалгу, это большую реку да лодку-илимку, которую тащили всей семьёй за верёвку по берегу. В этой огромной лодке всё лето они и проживали. В тот год несколько семей погрузили всё своё нехитрое имущество в судёнышки и отправились на новые земли. Начались притеснения от казаков, появившихся в этих местах. И тунгусы заходили с севера в охотничьи земли. Тесно стало на Бирюсе, и коттовские роды расходились по южным притокам этой реки. Отец Шалгу, его братья с жёнами и детьми большим семейством одними из первых тронулись в путь. Шалгу сидел в лодке и смотрел по сторонам.

Земли оказались свободными. По пути встретили охотника, кочующего на олене, спросили его, где можно остановиться, не мешая другим. Охотник оказался из рода карагасов (тофов), кочевого народа, обитавшего далеко в верхах рек, редко спускавшегося в эти края. Тогда и пошли родичи Шалгу осваивать Туманшет и близлежащую тайгу. Добрая оказалась и река, и тайга, там и вырос Шалгу. Вспомнил старик, как потом и сам таскал лодку по реке. Но ни отец, ни сам Шалгу не изменили этим местам, прижились. В тайге было много белок, лосей и изюбров, в реке много рыбы. Родились и выросли дети в этих местах, ставших им родными. Много воды утекло, много лодок пришлось сменить с тех пор.

Ещё на несколько дней Шалгу вместе со своими сородичами останется здесь. Завтра начнёт делать маленькую лодку-ветку. Осина, из которой предстоит её выдолбить, уже лежит готовая на берегу, осталось только приложить руки. Старик — один из немногих умельцев, у которых лодки получались лёгкими, крепкими и удобными. Казалось, чего там делать, выдолбил по форме, развёл борта — и всё. Так-то оно так, да только лодки получались разные. Шалгу делал лучшие во всём этом краю ветки. Только ему давали хорошую цену за работу, по всей округе знали, что он большой мастер. Лучше его никто не мог сделать и лук. Много секретов таил хороший лук: как выбрать берёзу, листовницу, как высушить. Осетровый клей, которым склеивали детали орудия, Шалгу варил сам, сам выбирал хрящи и воздушные пузыри, которые вываривал на медленном огне. У него были свои тайны, которые он хранил, не желая передавать их кому попало. Каждый охотник мечтал о таком оружии.

Старик ещё с утра приготовил тёсла и остальной инструмент, осмотрел дерево, приготовленное для лодки. Всё было готово. Вторую половину дня Шалгу сидел и настраивался на работу. Потом мысли улетели в прошлое, разбредив душу. Таким мыслям только дай волю, они вывернут всё наизнанку. Вспоминается разное, но хорошего всё же было больше. Нечасто в жизни приходилось есть толчёную еловую кору с порсой, порошком из сушёной рыбы, обычно хватало мяса и юколы до нового сезона. Только два года помнит Шалгу, когда не было еды, и то это было давно.

Хорошие охотники в роду у Шалгу, умеют добыть лося и дикого оленя и по мелкому снегу, и по глубокому, и по насту. Есть чем порадовать живот длинными зимними вечерами. А когда все сыты, то можно и послушать разные истории, покуривая трубку. В чуме тепло, только вьюга подвывает за пологом, раскачивая сосны за макушки да сбрасывая шапки снега с еловых лап. Сам Шалгу один далеко не ходит за добычей, ноги стали подводить, не может старик угнаться за своими сыновьями. Старший Чалык уже имеет свой чум, у него есть жена и двое маленьких сыновей. Они ещё цепляются за материну юбку — вырастут. У Чалыка есть время ждать. Неплохой охотник получился, много добывает белки и соболя. И мясо всегда варится в котле. Его жена Кутега из рода карагасов привезена из верховьев Бирюсы четыре года назад. Хорошая невестка. Всегда лучший кусок мяса получает Шалгу. На следующее лето надо выбрать жену для Нюннам. Всю зиму младший сын будет охотиться, чтобы приготовить хорошие подарки невесте и её родственникам. Шалгу

хочет и вторую невестку взять из рода карагасов. Хорошие невесты из этого рода, умеют всё делать, даже охотиться научены, не пропадут. Старик уже расспрашивал знакомых чёрных асов (тофов), в какой чум прийти с подарками, где есть лучшие невесты. Только бы добыча была хороша, а с хорошими подношениями в любом чуме будут рады встретить, не выбросят дары, не перевернут котёл. Подарки для невесты принято подавать в котле, если его не перевернут, значит, готовы принять и жениха.

— Нюнням, — сказал старик младшему сыну, — будешь помогать лодку делать.

— Хорошо, — Нюнням никогда не задавал лишних вопросов и говорил совсем мало. Больше слушал и смотрел, пытаясь всё запомнить. Он был выше отца, лицом в красавицу-мать, удачей и ловкостью — в Шалгу. Нюнням был предметом незаметных девичьих взглядов и в стойбище, и в Пеленгутах, но не замечал их. Ходил он всегда в сопровождении своей собаки. Четыре года Нюнням растил Чура, так звали кобеля, таскал его по лесу, брал на рыбалку. Все охотничьи инстинкты со временем проснулись в собаке. Чур слушался только своего хозяина, даже старик Шалгу не мог заставить кобеля подчиниться себе, как всех остальных собак. Чур был выше своих сородичей, чёрный, с жёлтой подпалиной на широкой груди. Свою силу он давно показал своре и верховодил всеми собаками в стойбище. В драках не участвовал, но выходил из послушания и бегал со всеми кобелями в очередной сучьей свадьбе. Природа брала своё. Кобель был из редких охотничьих собак, работавших и по зверю, и по птице. Одинаково хорошо облаивал белку и брал соболя, гонял косуль, держал сохатого и медведя, даже доставал сбитую утку из воды, облаивал глухаря. Своим собачьим чутьём он всегда знал, что надо делать на охоте, никогда не ждал команд, просто делал своё дело — и всё.

Два года назад отец сделал младшему сыну большой подарок, специально для него склеил лук. Радости не было предела. Не каждый охотник был достоин подобного дара, а он, совсем ещё мальчишка, имел такое сокровище. Нюнням спал с луком в обнимку.

— Не опозорь меня, — сказал отец, подавая оружие.

Прочные крепкие стрелы, выструганные из берёзы, всегда находили цель, словно лук сам выцеливал добычу. В первый же день к вечеру Нюнням принёс домой козу. Когда Чур вдруг сорвался с места и исчез в кустах, молодой охотник затаился у огромной сосны. Он приготовил лук и стал вслушиваться в однообразные звуки леса. Вдруг где-то далеко раздался звонкий лай Чура и послышался треск сучьев. Коза выскочила на полянку перед охотником, лук хлопнул тетивой, стрела пронзила шею добыче. По инерции коза сделала ещё несколько прыжков и рухнула. Нож доделал дело. Вечером в стойбище было весело. Вырос охотник, вырос кормилец и добытчик! Ему вручили лучший кусок мяса в знак признания, Чур тоже получил свою долю.

Длинный летний день подходил к концу. Шалгу и Нюнням сидели на бревне и разглядывали результат своего труда. Перед ними лежала ещё не лодка, но уже и не бревно, которое они начали обрабатывать с восходом солнца. С первыми лучами Шалгу вытащил из сумки своего божка, что-то пошептал, спрятал его и взялся за тёсла. Нюнням стал выдалбливать середину, а Шалгу делать форму будущей ветки. К концу дня всё лишнее было отсечено, осталось только развести лодку, сделать её широкой. Поставить шпангоуты, сделать сиденья, просмолить — и судно вызреет, словно кедровая шишка осенью, можно его пробовать на воде. Целый день вокруг них на небольшом расстоянии сидели любопытные и наблюдали за работой, надеясь выведать секреты старика. Некоторые мастера не любят, когда за ними наблюдают, прогоняют всех, Шалгу скрывать нечего. Есть глаза — смотри. Не всё, что увидишь, можно сделать, да и секретов особых нет. Нужен острый глаз, твёрдая рука и много терпения. Одно неловкое движение — и можно всё испортить безвозвратно. Лодка получается тонкая, и случайно прорубить её насквозь можно очень просто. Шалгу сам заканчивал последнюю выборку. Знал, что Нюнням не испортит дело, но хотелось показать своё искусство. Отец с сыном раскурили трубки и, довольные выполненной работой, пускали дым и щурились от удовольствия. Любопытные подходили к лодке, смотрели, трогали руками, пробовали на вес и восторженно галдели. Пришёл и охотник, заказавший ветку. Оценив ее, подошёл и молча присел рядом с мастером. В глазах теплела улыбка.

— Завтра приходи, будешь смотреть. Воду опробуем через день, — сказал Шалгу, не поворачивая головы.

Охотник кивнул и ушёл. Разошлись все по своим чумам, только Шалгу с сыном ещё сидели возле лодки.

— Пора готовить подарки, — сказал старик. — Много белок ловить. Хорошую невестку буду искать. Богатые подарки надо готовить.

Нюнням сразу всё понял, раскраснелись его смуглые щёки. Но он ничего не ответил, словно и не слышал слов отца. Шалгу поднялся и медленно побрёл к чуму. Большую работу сделал мастер, устал, но не показывал вида.

Много повидал старик, всё чаще стал задумываться о прошлой жизни, подводил какие-то итоги. Жизнь катилась ближе к вечеру, и хотелось достойно встретить закат. Осталось женить младшего сына, и он будет готов встретиться с Есь. Всё чаще всматривался в небо Шалгу, пытаясь поймать взгляд повелителя. Он точно знал, что бог Есь уже посматривает в сторону старика, хотя ещё и не зовёт его. Его жену Чннга забрала к себе злая Хоседэм. Пять лет уже прошло. Старуха на лодке переплывала на другой берег собирать луковичи сараны. Топляк — затонувшее бревно, едва видневшееся из воды, опрокинуло ветку. Чннга ударила головой о дерево, и Хоседэм утащила её на дно. Похоронили Чннга на высоком берегу Туманшета. С тех пор старик стал понемногу сдавать, хотя крепился и старался выглядеть бодрым.

Утром Шалгу с сыном разложили длинный костёр, на котором можно было полностью прогреть лодку. Ждали, пока нагорят угли. Лодку лучше прогревать на углях, тепло равномерно расслабляет влажную податливую древесину. Прогретую ветку клинышками начинают разворачивать, с каждым разом увеличивая длину клиньев, снова и снова прогревая лодку; чем медленнее разводить дерево, тем меньше возможности порвать борта. Зрителей вокруг было ещё больше, не часто можно увидеть, как из куска дерева рождается судно. Люди сидели молча, если и восхищались, то делали это бесшумно, не мешая мастерам. Нюнням и помогал отцу, и что-то делал самостоятельно. Шалгу удивлённо поглядывал на сына, но молчал, не мешал, видел, что он делает всё правильно. «Хороший мастер будет, — думал старик. — Всё правильно видит. Острый глаз у Нюнням. Хороший охотник, хороший мастер. Есть кому отдать секреты».

К вечеру лодка была готова. Всё, что надо, стояло на месте. В последний раз её прогрели, чтобы все натянутые места ослабили, приняли форму. Ветка получилась ладной. Осталось просмолить, и можно спускать на воду. Завтра день уйдёт на последние доработки.

К концу следующего дня, когда лодка была готова окончательно, спускать её на воду собрались почти все жители Пеленгут. Люди с любопытством и тревогой смотрели на последние приготовления. Провести испытания взялся молодой мастер Нюнням. Когда он сел в ветку и приготовился оттолкнуться от берега, к нему запрыгнул Чур. Он быстро улёгся в носу лодки и стал поглядывать вперёд. У зрителей на берегу это вызвало смех. Люди улыбались и кивали головами. Это был добрый знак, хорошая собака в плохую лодку не прыгнет. Нюнням немного поплавал возле берега, покачал ветку и вернулся на берег. Теперь должен опробовать хозяин. Охотник с напускным равнодушием взялся за весло, долго пускал лодку туда-сюда, поворачивал, плыл задом. Потом, причалив к берегу, подошёл к Шалгу, сидевшему на камне и равнодушно наблюдавшему за происходящим, протянул кожаный кисет с табаком, угощая мастера, стараясь быть серьёзным, сказал:

— Хорошая ветка, — на его лице блуждала довольная улыбка, выдавая восторг.

— Добрая, — кивнул старик, раскуривая трубку.

— Я доволен. Ты лучший мастер.

Старик кивнул, поднялся с камня и, не оглядываясь, отправился к себе. Люди ещё долго не расходились, обсуждая работу.

— Шалгу! — окликнул охотник. Старик остановился, не оборачиваясь.

— У меня ещё заказ есть.

— Приходи завтра, — старик скрылся среди чумов.

Вместе с восходом с реки поплыло молочное облако тумана, накрывая всё вокруг. Солнечные лучи только делали белое марево ещё более белым, но не проходили насквозь. Туман стал преобразовываться сначала в мелкие капли, рвался на куски, прилипал к траве и, наконец, осел большими прозрачными бусинками на листьях и стеблях. Воздух становился прохладным, освежающим. Всё на мгновение замерло, но вскоре солнце стало греть сильнее и съедать росу. Поселение зашевелилось, ожило. Между жилищами сновали люди, уже горели костры, в котлах готовилась рыба, варился чай.

Шалгу курил уже вторую трубку, когда пришёл охотник, получивший вчера лодку. Он молча присел к костру, тоже закурил. Двое мужчин сидели рядом и думали о своём, наконец, охотник выбил остатки табака из трубки, спрятал её за пазухой.

— Все знают, что лучше тебя никто не делает лук. Далеко вокруг идёт слава.

— Лук сам не стреляет, нужна крепкая рука охотника, острый глаз.

— Это верно. Всё верно. Я хочу такой лук. Постараюсь не опозорить твоё имя, Шалгу.

— Это будет не скоро.

— Я буду ждать сколько надо, — сказал охотник и пошёл прочь от костра.

Илимку, большую лодку, наполовину покрытую берестой поверх согнутых ивовых прутьев, приготовили к отплытию только после обеда. Никто не торопился. Судно придётся тащить верёвкой всем, кто на это способен. Илимка хотя и имела низкую осадку и хорошо скользила по воде, но на этот раз она была сильно нагружена. Только муки загрузили до следующей торговли, а это будет не скоро — через год. Много и других товаров, своих вещей. Хороша лодка, много можно погрузить, и ещё есть место для людей.

К вечеру ушли на большое расстояние. Шалгу, Чалык, Нюнням и другие мужчины тащили илимку, Кутега стояла на носу лодки и отталкивалась багром от камней. Только маленькие сыновья Чалыка сидели и вертели головами по сторонам. Женщины шли по берегу и собирали разные травы и листья, нужные и для чая, и для настоев. Сначала шли неохотно, но потом втянулись, и стало легче. Когда солнце зацепилось за макушки сосен, Шалгу остановил движение. Илимку привязали к дереву, сами стали готовить место для ночлега. Кутега быстро развела костёр и повесила два котла: один для чая, другой для рыбы, другие женщины помогали ей. Всё делалось легко и ловко. Старик сел на огромный валун и раскурил трубку. Нюнням на ветке быстро перегородил тихую заводь сетью, а Чалык прошёл по берегу и палкой похлопал по воде. Сеть затрепыхалась, там оказалось несколько шук. Нюнням выбрал самых больших, а остальных отдал собакам. Любимец Чур получил лучший кусок. Вскоре от костра потянулся вкусный запах варёной рыбы. Пока готовилась еда, Нюнням повесил на кусты сеть сушиться, вытряхнув запутавшуюся траву и сучья.

— Закрой всё в лодке и привяжи её получше, завтра будет дождь, — тихо сказал Шалгу, не вынимая изо рта трубки. Нюнням ничего не спрашивал, просто сделал, что говорил отец, старик зря не скажет. Большими кусками бересты юноша прикрыл ветку и проверил верёвку. Чалык притащил несколько сухих валежин: будет чем поддержать костёр.

— Только завтра к вечеру закончится дождь, будем ждать здесь, — добавил Шалгу.

Кутега позвала на ужин. Ели молча, поглядывая на чернеющее небо. После еды верёвками и кольями стали укреплять шалаш.

Очень часто здесь дожди сопровождаются грозой, а гроза в лесу страшна. Ветром раскачивает макушки деревьев, высоченные сосны начинают трещать и свирепо скрипеть, а берёзы сердито размахивать длинными ветками, скручивая их в верёвки. Если дерево находится недалеко от шалаша, то становится страшно, кажется, что оно вот-вот рухнет на голову. Грозы такие сильные, что редко обходится без последствий. Обычно молнией разбивало одно-два дерева, особенно высоченные лиственницы. Хорошо, если будет сильный дождь, а то не миновать лесного пожара. Когда Шалгу был ещё молод, ему приходилось убегать от огня. Хорошо, что река была рядом и там стояли лодки. Вместе со всеми сородичами попрыгали в них и отплыли на середину реки. Следом летели горящие

головёшки, словно страшная Хоседэм швыряла вдогонку свои проклятия в виде горячих сучьев. Пожар бушевал много дней, продвигаясь вдоль берега, пока не пожрал всё. Шаманы выпросили дождь, только тогда огонь сник и погас, когда Есь залил всё новым дождём. Много чего забрала себе Хоседэм всего, только людей не тронула. Плохие времена наступили для Шалгу и его сородичей. Пришлось перебираться на другое место подальше от пожарища. Строить новые чумы, налаживать жизнь. В другом месте пришлось ставить новые кулёмы, плашки, мастерить черканы, ловушки для ловли белки, соболя, горностая. Тогда-то и стал учиться Шалгу делать луки, сооружать лодки. Быстро освоил секреты искусства, потом только сам прибавлял к своему мастерству. Учился варить осетровый клей, выбирая нужные хрящи, воздушные пузыри, другие части рыбы. Научился выискивать подходящие берёзы и лиственницы, из которых делали луки и черканы, подбирал ели для изготовления лыж, тонких, лёгких и очень прочных, искал толстые осины для лодок-веток. Не всякое дерево подходило для работы: то сучьев много, то гнилое внутри...

Шалгу долго сидел у костра. Разные мысли роились в голове, словно осы возле осиного пузыря. Все уже улеглись в большом шалаше, сделанном из веток, накрытом кусками бересты и свежим лапником. Нюнням тоже сидел поодаль и курил свою трубку, он не мог оставить отца одного. Нюнням заметил, что Шалгу всё чаще стал задумчиво сидеть в одиночестве. Что-то мучило старика в последнее время. А спросить было непозволительно для сына: молод ещё.

Только дождь, налетевший с первыми порывами ветра, заставил Шалгу зайти в шалаш. Гроза началась не сразу. Ближе к ночи загрохотало и засверкало. В отблесках молний косые потоки воды просто лились с неба. Сильно сердился Есь, много шума сделал. Ближе к утру стихло, и только ровный и уже тихий шёпот дождя шелестел в листьях, нагоняя сон.

Утром третьего дня продолжили путь. Останавливались, отдыхали и снова двигались вверх. Только через десяток дней показались чумы родного стойбища. Собаки встретили дружным лаем, а потом виноватым поскуливанием провожали до самого стойбища. Прибежали ребятишки. Стайкой птичек они порхали с места на место, громко гомонили. Помощи от них немного, только шум. Вышли встречать те, кто оставался в стойбище: женщины, подростки да старики немощные. У мужчин много дел и вдали от женских юбок. Кто ремонтировал котцы (ловушки для рыбы), кто готовил к охотничьему сезону снаряжение. Подростки рыбачили, охотились на птицу, набирающую силу. Женщины занимались домашними делами, шили одежду, выделывали рыбы шкуры, смотрели за детьми, кухарничали. Скоро начнётся котцевый сезон. Нужно будет наловить, навялить и засушить много рыбы, сушёную перетереть в порсу, натопить рыбьего жира — первейшее лекарство зимой, а она длинная. Ещё заготовить луковиц сараны, листьев брусники, шиповника да разных трав. Все эти припасы хранятся в мешочках из кожи рыб, мягких и непромокаемых, и в берестяных коробах, чуманах и туесках, которые тоже мастерят женщины.

К вечеру в стойбище пришли все. Собрались возле костра, приготовились слушать, хорошо ли удался торг. Когда Чалык стал вытаскивать товары и раздавать подарки, люди заулыбались, довольные славной торговлей. Хорошо, что есть много хлеба, табака, чая. Не скучно будет слушать разные истории в сезон холодов. С кружкой чая да с трубкой доброго табака всегда легче пережить суровые времена. Женщины разглядывали разные цветные материи, как белки цокали языками в знак одобрения. Будут у них новые красивые наряды. Иголки, нитки, разноцветные бусы, другие украшения вскоре разошлись по рукам, обретая своих хозяев. Новые медные котлы да чайники стояли рядом. В каждой чуме будет своя посуда. Привезли войлока, который нужен был для утепления чума, а ещё из него шили зимнюю обувь, сукно для одежды тоже понравилось. Всё было нужным и ко времени. Не скоро угомонилось стойбище, обсуждая приятные события. Не часто радовались люди в этой тяжёлой жизни, не часто бывали здесь праздники.

Утром следующего дня всё было как обычно. Мужчины занимались своими делами, у женщин и подростков — свои заботы. Они заготавливали ягоду, разные корешки, которые пригодятся потом, когда вьюга завоет за пологом чума и выходить будет совсем неохота. Скоро созреет орех, потом заготовка рыбы. На каждый день своя работа.

Шалгу некоторое время сидел у костра, курил, потом поднялся и позвал сына.

— Нюнням, собирайся, пойдём, — старик зашёл в чум, взял свою котомку, накинул на плечи и направился в лес.

Младший сын, не спрашивая ни о чём, взял лук, стрелы, свой мешок и пошёл следом. Чур последовал за хозяином. Сначала он плёлся позади, но потом, словно стряхнув с себя лень, кобель обогнал отца с сыном и исчез в лесу. Половину дня охотники шли молча. Отец впереди, по одному ему ведомой тропе, сын позади на небольшом расстоянии, чтобы не мешать старику и не раздражать его. Шалгу неожиданно остановился, посмотрел по сторонам, присел на валежину.

— Ночевать будем здесь, — сказал старик. Нюнням стал готовить шалаш. Через некоторое время всё было сделано. Стоял балаган, крытый лапником, горел костёр. Нюнням с котелком пошёл в распадок, набрать воды; когда вернулся, то увидел, что старик так и сидел, раздумывая о чём-то своём. В котелке заваривался чай из кореньев, листьев и ягод. Нюнням вытащил несколько сушёных рыбин и лепёшки. После обеда он собрался поохотиться возле стоянки, порадовать старика свежим мясом, но Шалгу неожиданно сказал:

— Не ходи. Сегодня не надо. Все дела утром, а пока отдыхай.

Сын улёгся на приготовленный лапник и стал смотреть на огонь, Чур рядом свернулся калачиком и спрятал нос от мошкары, которая подлетала к костру. Нюнням впервые был здесь. Догадывался, куда они пришли. Священные места — мольбища — находились далеко от стойбища, чтобы лишний раз без дела не беспокоить духов. Только перед сезоном охоты приходили сюда и просили у духов хорошей добычи и удачи. Ещё не время для охоты, но сейчас нужно было всё здесь привести в порядок, очистить священные места от травы и веток. На мольбищах было множество разных изваяний духов, которые вырубались из дерева в виде человеческой фигуры. Это были грубо высеченные части головы и лица. Иногда бревно высотой в два-три человеческих роста имело на конце голову, вырубленную топором. Таких фигур на родовом мольбище могло быть несколько десятков. Чем больше, тем лучше. Каждую весну и осень их добавляли, делали и высокие, и маленькие, аккуратно прислоняли к специальным опорам.

Нюнням знал, что ему предстоит вырубить несколько изваяний духов, которые будут помогать ему на охоте, на рыбной ловле, во всех его последующих делах. Они принесут ему удачу, стоящую добычу. Ещё Нюнням надеялся, что духи помогут Шалгу найти хорошую жену для него. Юноша знал, какую он будет делать фигуру, как он не только пальмой, но потом и ножом станет придавать красоту своим духам, и они отплатят ему добром. Размечтавшись, он и не заметил, как сон сморил его.

Утром Нюнням свалил сосёнку и стал разрубать её на части. Получилось три хороших заготовки для божков. Юношу никто не учил этому делу, но словно какая-то непонятная сила водила его рукой. Лезвие аккуратно выбирало лишнее дерево, оставляя только необходимое. Сколько прошло времени, Нюнням не помнил, но когда все три фигуры были готовы, солнце уже покатилося к макушкам сосен. Шалгу сидел у костра и курил свою старую, как и он сам, трубку. На костре в котле варился глухарь. Пока сын, словно заколдованный, делал своё дело, Шалгу походил вокруг и подстрелил птицу. Он не потерял навыков, хватало ещё силы в руках. Пронзённого глухаря старик принёс к костру, снял мешком шкуру вместе с перьями и отдал собаке. Все потроха, сердце, печень и желудок, самое вкусное, старик отнёс своим духам, тем, которых делал сам, которые всю жизнь помогали ему. Шалгу нравилось, что его младший сын так старательно делает божков для себя. Значит, есть в нём какая-то сила, которую заметили хозяева леса, реки, животных и птиц. Значит, будет у него удача. Ладным охотником станет Нюнням. Дух всех животных Койгусь будет помогать ему. В этом году Шалгу пойдёт на охоту вместе с младшим сыном. Пока нет у него жены, некому помочь ему, но летом найдёт Шалгу жену сыну, будет охотиться своим чумом, будет и отцу место в чуме сына, будет старик зимой греться у чувала и слушать рассказы охотников, а летом, как старый пёс, сидеть и греться на солнышке да, пока слушаются руки, мастерить луки и ловушки.

Утром отправились в обратный путь. Немного не доходя до стойбища, Шалгу свернул на закат солнца и пошёл по гребню скалы. Когда стемнело, он остановился, осмотрелся. Нашёл старый шалаш и стал поправлять его.

— Я делал его давно. Ещё целый. Здесь у нас есть одно дело. Завтра закончим и пойдём в стойбище.

Старик улёгся в шалаше — устал. Нюнням сварил только чай, есть не хотелось.

— Ты думаешь, зачем старик привёл тебя сюда?

Сын пожал плечами.

— Здесь самое хорошее место для духа реки. Он помогает нам жить, надо сделать ему глаза, пусть смотрит на реку, пусть видит, когда людям трудно, когда нужна его помощь. Давно я присмотрел место, только не могу сделать всё как надо. Искал того, кто сможет. Вчера посмотрел, как ты делал духов, понял, ты тот, у кого всё получится.

— Я буду стараться, — кивнул сын.

Едва рассвело, Шалгу тронул сына за плечо и позвал с собой. Они немного поднялись по склону и оказались на самой вершине. Перед ними целый мир. Река извивалась вдоль горы и, резко повернув, уходила в сторону. Далеко видно блестящую водную дорогу. Она то прячется среди леса, то снова искрится в лучах восходящего солнца и уходит вдаль, где и теряется в зелени леса. Солнечные лучи, освещая всю излучину реки, раскрашивали её всё новыми яркими красками. Зрелище завораживало. Отец с сыном смотрели, не отрываясь, боясь упустить что-то важное.

— Пойдём, — сказал Шалгу. Он подвёл сына к огромной сосне, одиноко стоявшей на самой вершине. — На этой сосне ты должен вырубить лик духа реки. Сделай это до вечера. Я пойду к шалашу, ты должен сделать это сам. Ты сможешь.

Нюнням взял пальму и размахнулся. Полетела щепка, словно жёлтые брызги. На срезах выступили капельки смолы. И стали проявляться черты лица «хозяина реки». Нюнням справился. Солнце ещё радовало теплом, когда последняя щепка упала на траву. Юноша, обессиленный, прислонился спиной к дереву, не решаясь посмотреть на своё творение. Так он и просидел, пока совсем не стемнело. Тогда он пошёл к костру, без сил опустился на приготовленный лапник и закрыл глаза.

— Ты хорошо сделал дело, — старик подал сыну кружку с горячим чаем. — Возьми, это тебе поможет.

— Я не знаю, достойно ли сделал. Посмотреть не решился.

— Завтра вместе посмотрим. Но я знаю, ты не испортил свою работу. Сейчас спи, завтра у тебя будут силы.

Шалгу опять закурил трубку. Он не ходил смотреть на то, что сделал сын, но по тому, каким он пришёл к костру, Шалгу понял, что получилось как надо. Только хорошая работа забирает все силы. Теперь ещё меньше остаётся незаконченных дел, которые остались у старика. Давно Шалгу присмотрел это место, никому не говорил, хотел сам сделать лик, но каждый раз, когда он брал в руки пальму, силы покидали его. Несколько раз пытался, но потом понял, что это должен сделать не он. Долго искал достойного, но только через много лет таким человеком оказался его младший сын. Шалгу рад, что завтра он увидит то, о чём давно мечтал.

Они стояли рядом и смотрели на «хозяина реки». Казалось, что он улыбался им. Отец и сын оглянулись и увидели то, чему улыбался «хозяин». Там, далеко, всё расцвело новыми красками. Даже Чур, ничего не понимая, сел рядом и тоже стал смотреть вдаль.

К вечеру охотники вернулись в стойбище. Никто не решался спросить, куда они ходили — было не принято.

Кутега вместе с другими женщинами стойбища делала печь для выпечки хлеба. Занятие не сложное, но требующее достаточно времени и терпения. Обычно печь делали на берегу реки, где много камней и глины. Дети, крутившиеся возле матерей, натаска-

ли крупного галечника, из которого выложили основание. Крутой глиной выложили дно печи, чтобы оно было ровным, затем из деревянных веток и прутьев делали свод. Когда изделие принимало нужную форму, приносили жидкую глину и набрасывали её на ветки, постепенно получался глиняный свод, который аккуратно обмазывали и изнутри. Сооружение некоторое время просушивали на солнце, замазывали маленькие трещины и снова сушили. Кутега осмотрела печь и осталась довольна, к тому времени дети натаскали дров. Сначала женщина разожгла небольшое количество мелких веток, подождала, пока они прогорят, только затем наложила хороших дров и пошла заводить тесто. Вокруг печи расселись любопытные и смотрели на пламя. Огонь всегда завораживал не только детей, но и взрослых. Такая сила в нём, такая тайна, что только диву даёшься. В огне и жизнь, и еда, и страх, и — погибель; но без него не проживёшь.

Тесто замешивали в больших берестяных чашах, которые были специально для этого и сделаны. Кутега вымешивала тесто, остальные женщины стойбища сидели рядом, готовые в любую минуту и помочь, и, если нужно, заменить. Тяжёлая работа — вымешивать тесто на всё стойбище. Женщины работали молча, только изредка перекидываясь некоторыми замечаниями. Нельзя делать дело и заниматься пустыми разговорами. Для этого ещё будет время, впереди долгая зима, когда мужья уйдут на промысел, женщины будут вместе с малыми ребятишками коротать длинные холодные вечера за рукоделием, вот тогда и наговорятся.

Готовое тесто разделили на лепёшки и поставили отдыхать, дожидаться, когда прогорят дрова. Когда печь прогрелась, Кутега выгребла угли, оставив только белый пепел, на который и будут выкладываться лепёшки. Хлеб в печь клали маленькими деревянными лопатками, выструганными из осины. Равномерно разложив лепёшки, Кутега закрыла отверстие деревянной крышкой. Осталось только ждать. Это ожидание было особенно томительным, потому что печь была новой и никто не знал, что за хлеб из неё выйдет. Кутега осторожно вытащила первую лепёшку. Высокая, поджаристая, душистая, она околдовала всех. И женщины, и дети затихли. Постепенно лица расплывались в улыбках. Удалась печка, добрый хлеб выпекается. Нечаянная, мимолётная радость, но сколько ещё будет разговоров по вечерам! Каждый раз, замешивая хлеб, будут вспоминать этот самый первый опыт.

Нюнням, словно неприкаянный, слонялся по стойбищу. Другие мужчины ушли готовить котцы — загородки в реке для ловли рыбы. Осенью, когда начинает опадать листва, рыба с малых речек скатывается в Туманшет, на ямы. На устье речушек еловыми кольями перегораживали русло, делая узкий лабиринт, по которому рыба выходила в загородки, откуда её черпали прямо саками. Котцы за лето портились, и перед сезоном мужчины из стойбища ремонтировали загородки, меняли сломанные и сгнившие прутья. Народу там хватало, и Нюнням не стал мешаться. К вечеру он взял Чура и пошёл посмотреть прошлогодние ловушки на белку и соболя. Белку ловили плашками, кулёмами и черканами. Плашки и кулёмы работали одинаково, только последние были больше, и груз, которым придавливали зверька, был потяжелее. В них ловили соболей, белки попадались редко. Зато плашками ловили много. И шкурка не портилась. Черкан — это насторожённый лук, стрела в котором была своеобразная. Вместо острого наконечника у неё была рамка, которой и прижимало зверька к земле или к дереву. Черкан настраивался у дупла или норки, где обитали белки, горностаи, колонки.

Нюнням решил не болтаться без дела в стойбище, а проверить свои ловушки. На этом участке тайги раньше охотился Шалгу, но он стал старый и редко ходит на охоту один. Только когда Чалык с семьёй собирается на промысел, тогда и Шалгу с ними идёт, и Нюнням, у него нет ещё своего чума. Вот когда у него будет жена, тогда будет и свой чум. Шалгу сказал, что через год будет искать жену для Нюнням. У них в роду жён брали в других стойбищах, даже у других народов. У брата Чалыка жена из карагасов. Кутега хорошая хозяйка, всё умеет делать. Она лучше многих женщин из их стойбища. Шалгу будет искать жену Нюнням тоже из карагасов. Он хочет, чтобы и у младшего сына была хорошая жена. Нюнням будет очень стараться на охоте этой зимой. Много белок надо добыть, хорошие подарки надо дать. Пусть все знают, что Нюнням добрый охотник. Хорошему охотнику нужна и жена хорошая.

Ровесников в стойбище у Нюнням не было. Были старшие, были младшие. Много охотничьих навыков он постиг сам. Старшие его не брали с собой, а с младшими самому нет желания ходить, вот и охотился один. Добывал уток, глухарей. Уток бил из лука, а на глухарей и косачей настраивал слопцы, специальные ловушки, ловил птицу на ямы. Всему этому научился сам, подглядывая за взрослыми. Но когда он совсем ещё мальцом притащил в стойбище глухаря с себя ростом, Шалгу сказал:

— Охотник. Будешь ходить со мной.

Многому научил сына Шалгу, но самое главное — научил понимать тайгу, слышать лес, каждый шорох, треск, различать звуки. Научил стрелять из лука, стрелять острой стрелой по птице, зверю и тупой — по белке. А ещё научил Шалгу делать разные стрелы. Летят утки над водой и не думают садиться, так Нюнням пускает специальную стрелу, которая издаёт крик хищной птицы. Утки камнем падают на воду. Не каждый хищник может взять утку с воды. Она может нырнуть и появиться совсем в стороне. Пока утки на воде крутят головами, выискивая опасность, хороший стрелок уже подстрелит несколько штук, только доставай, а для этого есть собаки. Вот специальные стрелы — это уже секрет Шалгу. Старик знает много разных звуков, которые может испускать стрела в полёте.

Нюнням по пути настроил несколько ловушек на глухарей. Наложил тоненьких веточек на яму, посередине — гроздь вызревшей рябины. Глухарь ходит по тропинке, выискивает камушки, увидев рябину, идёт за ней и проваливается, из ловушки самостоятельно птица не выберется.

Юноша успел ещё поправить несколько плашек, когда стало темнеть. Приготовив себе постель из лапника, Нюнням развёл костёр. Есть не хотелось. Можно было и не разжигать огонь, ночи были ещё тёплые, но у костра лучше думается. Мысли улетели в следующее лето. На лодке-илимке они опять спустятся в Пеленгуты, там будут искать невесту. Может, придётся ещё куда-нибудь ехать. Или возьмут лёгкую лодку-ветку, которая послужит и волокушей, в неё много можно положить подарков. А потом на лодке по реке и сплавляться. На лодке хорошо, рули понемногу — и всё. Обо всём передумал Нюнням, только не мог представить себе, какая у него будет невеста. Каждый раз, когда он пытался представить себе девушку, перед глазами появлялось лицо вредной девчонки из стойбища, которую звали Тега. Она была немного младше, но всегда подсмеивалась над ним. Отлупить бы её, да только кто будет с девчонкой связываться! Приходилось терпеть. Незаметно Нюнням уснул. Всю ночь снилась Тега, которая показывала ему язык. Во сне он отмахивался от неё, да так, что преданный Чур, недоуменно разглядывая своего хозяина, отодвинулся от него.

Утром охотник направился дальше в обход своего участка. До вечера были проверены и поправлены ещё ловушки. По пути Нюнням добыл себе на ужин пару рябчиков. Ночёвку на этот раз устроил у ручья. Сварил чай, на углях зажарил рябчиков. Достал лепёшку, испечённую Кутегой, поделился с собакой. Сытому человеку и мысли приходят хорошие. Юноша опять размышлял о невесте. На этот раз сон сморил его быстрее, и спал он спокойнее. В стойбище Нюнням вернулся через несколько дней, притащив связку пойманных глухарей, птиц было более десятка. Дома его встретили одобрительными возгласами. Особенно радовались мальчишки, будущие охотники. Вечером всё стойбище лакомилось птицей, запивая её бульоном. За лето надоела рыба, хотелось и мяса. Косточки бережно собрали и закопали в лесу. Люди верили, что кости пригодятся для новых птиц.

— Ловушки проверил? — спросил Шалгу сына.

— Да.

— Много сломанных?

— Нет, не много. Я подправил все, скоро надо будет ставить.

— Я так и подумал, что ты делом занялся. Я собрал тебе новый лук. Этот слабый для тебя. Ты уже совсем мужчина.

— Где лук? — улыбка расплзлась по лицу охотника.

— Завтра покажу, потом и испытаем тебя...

Чалык сплавился на лодке-ветке вниз по течению. Полдня ушло на дорогу. Только там, куда он приплыл, находилось место, где ловился осётр. Здесь было удобнее рыбачить

самоловами — это длинный шнур, на который привязывали поводки с большими, крепкими и очень острыми крючками, перетягивали через реку и чуть притапливали. Осётр натёк на крючок, запутывался всё больше, собирая их на себя, крючок вонзался в тело, рыба была обречена. Самоловы нужно проверять часто, если рыба «уснёт» в воде, она становится ядовитой, её нельзя давать даже собакам. Осётр — редкость в Туманшете, немного её заходит из Бирюсы, видно, маловата река для такой рыбы, нет ей простора. Только в низовье реки и бывает она временами. Мясо белое, вкусное, так и тает во рту. Но на еду намеренно не ловили, мало осетра в Туманшете. Ловили щуку, налима, окуня, было много хариуса, ленка, тайменя. Эти благородные рыбы не хуже осетра, только нет в них такой икры, как в осетре. Рыбачил Чалык по просьбе Шалгу. Старик варил из осетров клей для изготовления луков. Клей можно и купить летом на торгах, его привозили из низовья Бирюсы, да только Шалгу использовал только тот, который делал сам. Даже Чалык, его старший сын, не знал секрета изготовления клея — ни к чему. Старик видел, что Чалык не интересуется этим ремеслом, потому и не открывал своей тайны. Верил, придёт время и найдётся ученик, которому понадобятся его знания.

Чалык поставил самоловы, приготовил место для ночлега. Собрал удочку и стал ловить кузнечиков, стрекочущих в траве. Вечернее солнце плескалось в быстрой прибрежной струе воды, затем вместе с потоком влетало в омут и расплывалось волнами на всю ширину реки. Насадка полетела в самый конец струи, и только коснулась воды, как большой чёрный хариус, с длинным широким крылом на всю спину, украшенным разноцветными точками, схватил её, да так сильно, что Чалык едва не выронил гибкое черёмуховое удище из рук. Рыба кувыркаясь, взмыла в воздух и упала на гальку, прямо у ног рыбака. Чалык откинул её ногой подальше от воды и сменил насадку. Скоро у него было с десяток крупных рыб, больше ловить не стоило. Хариус — рыба вкусная, хорошая, но быстро портится. Её сразу надо вялить или морозить. Чалык вырезал несколько прутьев, насадил рыбу и поставил к углям. Рыба, приготовленная на рожне, так называется этот способ, сочная и нежная. Когда во время листопада хариус спускается с малых рек, наступает пора ловить его котцами. Тогда в стойбище праздник. Несколько дней подряд готовят хариуса на рожне, потом вялят, сушат.

Чалык стал жарить всю выловленную рыбу. Несколько штук он съест сейчас, а остальные оставит на завтра. Если будет удача и ночью попадутся осётры, то прямо с утра он отправится в стойбище, а если нет, тогда придётся оставаться ещё на одну ночь.

Крупные капли росы с прибрежных кустов звонко шлёпались в воду. Влажные листья блестели и искрились. Песок сердито шуршал под ногами. Чалык попил свежего чая, сваренного из листьев смородины и малины. Речная вода, сдобренная утренней росой, делает чай особенно вкусным и полезным. После завтрака Чалык спустил ветку на воду и поплыл проверять самоловы. Ночью ему показалось, что он слышал всплески воды там, где стояли снасти. Сквозь сон снова послышались шлепки по воде, но в темноте не поплывёшь проверять крючок — опасная штука самолов. Неосторожное обращение — и рыбак может оказаться на месте рыбы. Можно и погибнуть, запутавшись в снастях. Четыре осетра попались на крючок, этого должно хватить Шалгу для приготовления клея. Переложив рыбу мокрой травой, Чалык сложил снасти в мешок и отправился в обратный путь. Там, где течение быстрое, приходилось тащить ветку на верёвке, по тихой воде можно было плыть. Чалык торопился, чтобы не испортить улов да порадовать Шалгу. Старик затеял сделать несколько луков, он уже собрал детали, теперь ему нужен был клей. Можно было сварить его из другой рыбы, но он был бы с запахом и не прозрачный, а из осетра клей выходил такой, какой требовался. Теперь старик будет доволен. Уже стемнело, когда Чалык увидел костры своего стойбища. Дружным лаем его встретили собаки.

Шалгу распотрошил осетров. Вырезал плавники, хрящи, забрал внутренности, мелко порубил и бросил в небольшой котёл. Налил немного воды. Вытащил воздушные пузыри, промыл их и тоже бросил в котёл. Когда вода закипела, старик поставил котелок рядом с огнём, чтобы клей варился медленнее. Уже давно съели приготовленную женщинами рыбу, все поделились впечатлениями, похвалили Чалыка за добычу. Уже затихло стой-

бище, а Шалгу всё «колдовал» над своим варевом. Он добавил какие-то порошки, хранившиеся в специальном кожаном мешочке, помешивая палочкой, посматривая, как с неё тянется тонкая ниточка клея. Потом старик снял котелок с костра, поставил в сторону и накрыл старой шкурой. К утру клей будет готов. Завтра Шалгу склеит лук для Нюннiam. Хорошо, что его нет в стойбище. Младшему сыну нужен самый лучший лук, и Шалгу сделает такой. Старик видел, что Нюннiam интересуется всем, что делает Шалгу. Ничего не спрашивает, просто смотрит и запоминает, старается понять суть. Вот ему и передаст свои секреты старик, но не сейчас, а когда у сына будет свой чум. Только тогда можно показывать всё, что знает и умеет Шалгу. Ещё есть сезон охоты, ещё есть время подготовиться и лучше присмотреться к сыну. Шалгу сам пойдёт с ним на промысел. Когда будет время, старик понемногу начнёт рассказывать всё, что знает. Много секретов знает он, да только молчит пока — не время!

Утром Шалгу склеил лук, связал в нужных местах полосками вымоченной сыромятной кожи, — когда она высохнет, ничем её не порвёшь, — повесил лук сушиться на ветки старой берёзы, чтобы тот был в тени и никто его не видел. Разный глаз у людей. Лук ещё не набрал силу, чтобы противостоять дурному глазу. Для тетивы давно были приготовлены медвежьи жилы, только не было случая применить их. Много луков сделал Шалгу, но на них ставил жилы оленей, лосей, а медвежьи всё не решался; теперь пришло время. Завтра этот лук будет передан самому достойному в стойбище — его младшему сыну. Так решил он, как отец, а самое главное, как мастер.

Лук получился большим, больше, чем у любого охотника не только в стойбище, но и по всей реке. Такого Шалгу никогда не будет делать, другие будут тоже хорошие, лучше многих, но не этого. Все мужчины стойбища вертели его в руках, разглядывали, примерялись. Оружие понравилось всем, но только один счастливчик будет владеть этим сокровищем. Нюннiam сиял, как начищенный речным песком новый котёл. Ему не терпелось скорее опробовать лук. Да только разве может показать охотник своё нетерпение. Он рассмотрел лук и протянул его старику. Первым должен показать свою работу мастер. Шалгу взял орудие, стал разглядывать, словно не он его делал. Выискивал изъяны. Потом взял стрелу и выпустил в одиноко стоявшую лиственницу. Лук фыркнул, стрела зашелестела и воткнулась в середину дерева. Нюннiam выпустил свою стрелу. Она воткнулась рядом с отцовской. Охотники одобрительно закивали головами. Острый глаз у юноши и крепкая рука. В хорошие руки попал лук, много добычи принесёт он владельцу. Шалгу подал сыну колчан со стрелами.

— Осторожно, стрелы пропитаны ядом. Можешь охотиться на зверя. Для белок дам другие, когда придёт время.

Шалгу делал отраву для всех охотников стойбища из пропавшей рыбы. Ему просто приносили стрелы, а старик пропитывал наконечники в яде, который делал

— Спасибо, — только и вымолвил счастливый юноша. — Давно я мечтал о таком.

— Не опозорь мастера, — сказал Чалык.

— Не опозорю.

Шалгу зашёл в чум и до самого вечера не выходил, не было сил. Только вечером он вышел к костру, пил чай и бесконечно курил свою трубку.

4

Недолго до листопада осталось. Отсверкали звездопадами тёмные августовские ночи, пожелтели берёзы, раздумянились осины, потемнели ели и сосны, зазолотились лиственницы. Постоит так немного, порадуется теплом, а потом налетит холодный ветер с дождём и снегом, размочит да сорвёт листву, обнажит деревья. Нечем будет прикрыться тоненьким стволам берёз и осин, и будут сгибаться они под порывами ветра, пока не укроет их снегом зима.

Пока не наступили эти дни, нужно сделать ещё много дел. Шалгу вытащил лыжи и стал осматривать камус. «Нужно сделать ещё пару новых, — решил старик, — приго-

дятся». Ещё весной по снегу Шалгу нашёл и спилил добрую ёлку, волокна ровные, без кривинки. Надрал дерёва (так называют заготовки для лыж), соби́рался раньше сделать, да не получалось всё, теперь есть время. Лыжи смастерить недолго. Выстругать дерёва потоньше, разварить концы да загнуть, потом подобрать да поставить камус, чтобы легко было по снегу ходить. С хорошим камусом лыжи не катятся назад. Камус снимают с лосиных и оленьих ног, с оленьего шьют себе обувь, а лосиные годны для лыж. Нужны ещё и лыжи-голицы, бегать весной по насту. Надо торопиться. Незаметно пролетает время, словно журавлиный клин; не успел вовремя заметить, так только и останется провожать взглядом. Торопится жизнь, торопится.

Наступило время, когда можно «лучить» налима и щуку. Перед листопадом вода в реке становится холодной и прозрачной. В это время можно добывать рыбу острогой. Правда, щука более пуглива и попадает редко, а вот ленивый и сонный налим — добыча важная. Для этого на нос к ветке прикрепляют шест с железной корзиной, в неё накладывают смолёвых щепок и поленьев, смольё горит ярко, без треска и лишнего дыма, просвечивая воду до самого дна. И видно, как возле камней стоят и отдыхают огромные рыбины, едва пошевеливая хвостами. Острога, закреплённая на длинном шесте, готова к работе.

Чалык поплыл лучить с братом, Нюннiam сидел на вёслах, его дело было управлять лодкой, стараясь не плескать вёслами по воде и не пугать рыбу. Занятие привычное: лучить все научены с ранних лет. Чалык взял острогу не потому, что не доверял брату, просто самому хотелось немного отличиться, показать ему, что он старший и тоже неплохой добытчик. Дело пошло сразу. Первым же ударом Чалык выхватил из воды здорового налима. Только пару раз промахнулся рыбак. Но к тому времени рыбы в лодке было уже много.

— Попробуешь? — предложил Чалык брату.

— Давай, — осторожно поменявшись местами, они продолжили ловлю, пока ещё достаточно горело смольё. Нюннiam так же уверенно стал вытаскивать налимов. Младший брат был немного повыше старшего, но худой и жилистый. Единственное, что в нём было не такое, как у всех, так это его поведение. Охотники и так не сильны в красноречии, но Нюннiam говорил совсем мало. Неделями мог не произнести ни одного слова. Чалык пытался иногда поговорить с братом, но тот только кивал головой и слушал, отвечая одним или парой слов. Вот и все разговоры. Такое поведение, конечно же, достойно мужчины, но не настолько же. Всё же Чалык любил брата, может, и за то, что он такой молчаливый и самостоятельный. Жена Чалыка Кутега много раз пыталась разговорить Нюннiam, но он только улыбался и кивал головой.

— Как ты будешь говорить со своей женой? — спрашивала Кутега. — Так и будешь кивать? От тебя жена сразу убежит.

Нюннiam краснел, поднимался и уходил.

Огонь в корзине догорал.

— Поплыли домой, — сказал Чалык и стал разворачивать лодку к берегу.

Лодка, как привидение, не издавая ни звука, понеслась к берегу.

Пролетели первые утки. Скоро полетят основные силы. В этот период все мужчины собираются промыслять птицу не поодиночке, а всем стойбищем. Не много есть мест в округе, где садятся утки на отдых и кормёжку. Ниже по течению Туманшета есть заливные луга, на которых раскинулись небольшие озёрца да лужи, там и нужно ждать птицу. На реку утки редко садятся, и то в тех местах, где тихая вода. И как искать по реке добычу, когда размеры реки необъятны?

На лодках-ветках охотники отправились на сезонный промысел. Несколько дней, пока не закончится пролёт, они будут жить и охотиться на озерах. Вот здесь и понадобится умение пользоваться луком и стрелами. Вот здесь и видно, кто какой охотник! В стойбище все мужчины достаточно умело владеют этим оружием, учатся с детства. Когда утки начинают кружить над озером, высматривая опасность, запускается стрела томбр, испускающая в полёте звук пернатого хищника, специальная стрела с утолщением на конце, просверленным особым образом. Тогда все утки падают на воду. Здесь и показывают своё умение

обращаться с луком охотники. Когда пролёт уток закончится, скорее надо везти добычу в стойбище. Женщины уже ждут: нужно всё мясо переработать, чтобы ничего не пропало. А охотники уже готовятся к пролёту гусей. Эту птицу добывают на тех же озёрах и лужах. Высаживают чучела гусей, вблизи которых садятся настоящие, — тут уж не зевай!

Наловили рыбы котцами, по всему стойбищу расставили вешала, на которых крупные рыбины вялились, а мелочь сушилась, потом её перемелют на порсу. Много нужно муки, зима длинная. Неизвестно, будет ли мясо ещё. Даст бог Есь удачи, или старуха Хоседэм покажет свою силу и попрячет всю добычу, не разгневается Койгусь да не разгонит всех зверей по тайге, а с порсой можно коротать длинные зимние вечера, добавляя в муку или заваривая её с кашей. Старики помнят времена, когда порсу толкли вместе с корой, чтобы дожить до весны, — было и такое. Вяленой рыбы тоже много надо, её едят не только сами, но кормят собак, когда лютые морозы не дают высунуться из чума. Бывает, что в котцы и зимой заходит рыба, тогда прорубают прорубь и саками вычерпывают её прямо на лёд. Рыба тут же замерзает, и её собирают в мешки. Хороша зимой похлёбка рыбная, которой запивают куски мяса, да хороши большие щучьи головы, сваренные в котле. Но до морозов ещё далеко, есть время подготовиться.

— Завтра пойдём на гору, — сказал Шалгу Чальку, — передай всем. Пусть никуда не уходят.

— Я прямо сейчас и пойду, — сказал Чалык и вышел из чума.

Охота на зверя — дело общее. Здесь нужны загонщики, чтобы гнать добычу прямо в приготовленную яму, стрелки, которые не промахнутся. Работы много, а удача не часто радует охотников. Неглупое животное олень, а лось может и постоять за себя. Если разозлится, тогда попробуй останови его. Нужно много людей. Но самая главная помощь должна быть от бога Еся. Настало время просить его об этом.

— Где Нюнням? — спросил старик Кутегу.

— Он и так в чуме не бывал, а теперь с новым луком, я и забыла, как он выглядит. Женить его пора, — добавила она. — Может, и остепенится.

Шалгу не любил болтливых людей, и женщин в том числе. Но Кутеге он прощал всё, она одна заботилась обо всех в чуме, потому что у неё руки работали ещё быстрее, чем язык. А когда у женщины дела не стоят на месте, еда варится в котле, в чуме горит огонь, пусть болтает, раз язык такой у неё скользкий и плохо держится на месте.

В стойбище зашумели. Кутега выглянула из чума и сказала:

— Стоило вспомнить, он и явился.

Шалгу вышел из чума. Посреди стойбища стоял Нюнням, у ног его лежал олень. Рядом, высунув язык, расположился Чур, он поглядывал на добычу и на хозяина, знал, что и ему достанется вкусное мясо. Он тоже причастен к этой охоте.

— В яму загнал? — спросил Шалгу.

— Нет, Чур выгнал прямо на меня, едва успел стрелу пустить. Хороший лук. Это он принёс удачу.

Кусок ещё тёплой печени Нюнням вручил Шалгу. Старик был рад подношению, но вида не показал: ни к чему! Так и должно быть. В стойбище был праздник, первая стоящая добыча в этом сезоне. Не забыл Нюнням и своего друга Чура. Долго горели костры этим вечером, слышны были разные охотничьи истории. Славно начинался сезон охоты.

Пришёл месяц замерзания земли. Скоро все разойдутся в разные стороны от стойбища в поисках удачи. Шалгу тоже пойдёт вместе с сыновьями. Но прежде надо сделать ещё одно главное дело. Утром Шалгу повёл всех охотников туда, где ещё недавно был с сыном. Теперь каждый будет просить помощи себе, а Шалгу будет камлать и просить духов помогать всем охотникам его рода. У них в стойбище не было шамана, и Шалгу выполнял эти обязанности. Как самый старший и уважаемый охотник, он просил за всех и за каждого в отдельности.

К вечеру добрались до места. Ночевать остановились в старом балагане. Попили чаю, выкурили по трубке табака и устроились на ночлег.

Утром каждый охотник стал обновлять и делать новых божков. Привязывали цветные тряпочки с пожеланиями на священное дерево, стоящее поодаль. Каждая тряпочка — со-

кровенное желание, про которое никто постороннему не расскажет. А вечером провели обряд камлания. Развели большой костёр. Охотники расселись по кругу и стали смотреть, как старый Шалгу начал стучать в бубен и выкрикивать заклинания. Так продолжалось долго, пока Шалгу без сил не рухнул на землю. Старика не трогали, пока он сам не поднялся и не пошёл в балаган. Никто не проронил ни слова. Немногословны охотники. Только Нюнням в первый раз присутствовал при ритуале, для других это было не ново. И каждый верил в силу заклинания и в призывный голос бубна. Потом, если и случалась неудача, то винили только себя, веря, что высшие силы не могут ошибиться, и если что-то пошло не так, то виноват только сам охотник. Сидя у костра, молча думали о своём, у каждого свои дела. Уже скоро всё стойбище разойдётся по тайге, а чтобы было легче, теперь каждый просил удачи. Совсем немного! Ещё день охотники были на мольбище, месте, где без надобности никто не может появляться. Но когда приходится бывать здесь, никто не торопится уходить, стараясь попросить обо всём, ничего не забыть.

Назад охотники шли впереди. Шалгу с Нюнням отстали от них, сын не мог бросить отца, а тот или не мог или не хотел идти вместе со всеми. Когда охотников не стало слышно, Шалгу сказал:

— Зайдём ещё к хозяину реки, посмотрим, как он живёт.

Нюнням кивнул, соглашаясь.

Уставший осенний лес молчал. Ни птичьего щебета, ни шелеста ветра в кронах огромных сосен, стрелами взметнувшихся в небо. Огромные деревья нехотя расступались, давая место едва приметной тропинке. Хотя и сердит лес, но хорошо в нём, спокойно. Нет тревоги, и дышится легко. Много дней можно идти и не устать. Только Шалгу, видно, отходил своё, ему нужен был отдых. Не мог он, как молодые, подниматься и идти много дней. Старик пытался не показывать вида, но силы быстро покидали его, и разные недобрые мысли всё чаще лезли в его седую голову. Однако он решил твёрдо, что в этот сезон он не будет поддаваться слабости, проведёт его, как споёт последнюю песню. Надо. Много надо рассказать и показать сыну.

Хозяин реки встретил их улыбкой, словно насмехался над слабостью старика или был просто рад единственным своим знакомым, посетившим его. Легко стало на душе у Шалгу. Добрый сегодня хозяин реки, ласково встретил, значит, всё будет по-доброму. Старик даже взбодрился.

— Хороший день сегодня, — сказал Шалгу. — Нам здесь рады.

Отец с сыном присели на валежину и стали смотреть в ту сторону, куда смотрел хозяин реки, пытаясь впитать в себя увиденное и понять то, что заставляет улыбаться изваяние. Каждый из них поймал себя на мысли, что тоже рад разглядывать красоту и простор, расстилающийся перед ними. На сколько видят глаза, простираются разноцветные дали, обильно украшенные осенью, удаляясь и сливаясь с голубоватой дымкой на горизонте. Блестящая ленточка реки извивается, прячется в лесах и снова выбегает на простор редких лугов, раздваивается островами и снова соединяется и блестит, сияет серебром на разноцветной кайме тайги.

Утренняя изморозь выбеливала росу. К полудню от инея оставались крупные прозрачные капли, искрившиеся на уже плохо греющем солнце. Лист упал, буро-жёлтым ковром устилая всё вокруг. Сосны и ели опустили ветви, смирившись с надвигающимся холодом. Наступило время для изюбриного рёва, брачных боёв быков. Изюбры, лесные красавцы, целый месяц будут биться за право произвести потомство. Потом их сменят лоси. Охотники мастерили специальные дудки, которыми подражали рёву зверя. Изюбр шёл на зов, выбегая на поляну, чтобы сразиться. В это время он опасен. Его острые ветвистые рога не знают пощады, зверь теряет страх и может напасть на зазевавшегося охотника, как на соперника. Лось, кроме рогов, использует и копыта. Ударом передних может переломить небольшую берёзу. Даже медведь боится лося и старается нападать на него из засады.

Шалгу гудел в рожок, подзывая изюбра, он выводил замысловатые рулады изюбриного рёва. Где-то далеко отозвался бык. Шалгу ещё раз прогудел. Уже стал слышен треск сучьев, возбуждённый изюбр спешил на бой с соперником. Нюнням сжал лук, внима-

тельно всматриваясь в заросли. Шалгу указал рукой место, куда должен выскочить зверь, Нюнням согласно кивнул и приготовил ещё одну стрелу. Бык выскочил на поляну и стал озираться, выискивая соперника. Первая стрела, выпущенная молодым охотником, проткнула шею, вторая застряла в передних лопатках. Изюбрь с диким рёвом взвился на дыбы и упал на спину, угодив прямо в яму-ловушку. Пока зверь летел, ещё несколько стрел других охотников вонзились в тело обречённого. На лицах мужчин блуждали удовлетворённые улыбки. Все были довольны. Часто бывает, что совместная охота не заканчивается успехом. Охотники расслабились и стали готовиться вытаскивать добычу из ямы. Неожиданно на поляну выскочил ещё один красавец. Растерявшиеся люди чуть не стали лёгкой добычей для быка. Только Нюнням, находившийся в стороне от ямы, выпустил стрелу. Она угодила изюбру в горло. Рядом воткнулась вторая стрела — Шалгу.

Вечером в стойбище был праздник, в котлах варилось много мяса, разделанное полосками, оставшееся — сушилось на вешалах. Как славно начался сезон, удачно! Новый хороший охотник появился в стойбище. А это — удача для всех.

Выпал первый снежок, небольшой, но сверкающий, праздничный. Полуденное солнце съест его в чистых местах, но в тени, в густых тёмных ельниках, он уже останется до весны. И пока снег не растаял, Нюнням пошёл посмотреть следы белок, находящихся поблизости. Охотиться ещё рано, шкурка негодная, но определить количество зверьков можно. Кто умеет читать следы, слышать и видеть лес, тот много чего узнает для себя. Чур облаивал белок, глупо вертящих головами на деревьях, не понимая, почему хозяин не реагирует на добычу. Не только белок увидел охотник, но и следы соболя встречались. Не стал пугать зверьков, могут уйти, подстрелил только пару глухарей, двух старых больших петухов. Он снял шкуры с птиц вместе с перьями, они пригодятся для приманки на соболей — кулёмы настораживаются на шкурку глухаря. Соболю-хищнику любит птицу, которую и сам часто добывает. Нюнням сложил дичь в небольшой лабаз, их ладили на дереве, чтобы прятать от разного зверя свою добычу, там же хранились необходимые запасы еды, если случится беда.

День клонился к закату. Нюнням направился в стойбище, довольный увиденным. До него было ещё далеко. Вдруг юноша обратил внимание на странное поведение своей собаки: Чур скалил зубы, шерсть на загривке вставала дыбом, но он не лаял. Нюнням присел на колени и обнял собаку за шею.

— Что? — спросил он.

Чур смотрел на небольшую кучу валежника. Нюнням стал всматриваться и вдруг понял причину такого поведения собаки. Там находилась медвежья берлога.

— Молодец, Чур, — погладил собаку охотник. — Молодец.

Но ещё не время охотиться на медведя. Зверь ещё не совсем улёгся. Днём тепло, и надо подождать несколько дней, пока морозы станут сильнее и выпадет побольше снега. Нюнням снова придёт сюда, проверит, остался медведь или ушёл. Охотник вместе с собакой далеко обошёл это место, чтобы не спугнуть зверя, если медведь уйдёт сейчас, его не догонишь.

Уже в темноте Нюнням пришёл домой.

— Белка есть? — спросил Чалык.

— Есть. И соболю есть.

— Хорошо, — сказал Шалгу и раскурил свою трубку и прищурился. То ли от дыма, то ли от своих мыслей.

— Завтра сети поставим, — сказал Чалык. — Уже есть закоски. Рыба стоит, сам видел. Закоски — это забереги, лёд, прихвативший воду, где течения совсем нет.

Утром братья на ветке поставили сети вдоль прибрежного тонкого льда, накрывшего тихую заводь.

На реке начала появляться шуга, первый мелкий лёд. В чистых водах сибирских рек лёд образуется со дна, тонкими, колючими иголками поднимаясь вверх. Эти колючки беспокоили рыбу. Она заходила в тихие места, пережидая это время.

— Давай! — крикнул Чалык.

Нюнням стал колотить длинной веткой по льду, разбивая его с треском. Сеть мгновенно побелела и стала тонуть. Чалык быстро вытащил её и поставил другую, чтобы не терять времени. Вторая сеть тоже оказалась полной. Из этого жирного ельца будут топить рыбий жир на зиму — первейшее лекарство от многих болезней, и ещё в ней много икры.

— Завтра ещё поставим сети, — сказал Чалык брату. Тот просто кивнул в ответ.

5

Первый снег как добрая новость, а уж хороший снег да морозец — так и вовсе широченная улыбка на лицах охотников. Пришла их пора. Радуются не только люди, но и собаки. Бегают по стойбищу, хватают пастью летящие снежинки и катаются по снегу, очищая шерсть. Вот и пришло время проверить: выходная белка уже или ещё рановато тропить свои пути, настраивать кулёмы, плашки и другие ловушки? Начинается сезон «малой ходьбы», сезон, когда женщины, дети и старики находятся в стойбище, а охотники осваивают ближние угодья. Те, кто остаётся, особенно подростки, которых ещё не берут на настоящее дело, ловят зайцев да бьют птицу, если улыбнётся удача. И охотники не откажутся от глухаря или нежной зайчатины. Все заячьи шкурки идут на пошив одежды и украшения, их никто никогда не продаёт и не меняет, используют только для своих надобностей.

Нюнням завязал на голове платок, зимний головной убор охотника. В любой мороз они ходят в платочке, который совсем не защищает от холода, но позволяет слышать каждый шорох в лесу. При охоте на белок это очень важно — слишком много копошится она да шуршит, на морозе каждый шорох разносится далеко, слушай да определяй место. Только когда совсем будет холодно, на лоб надевают сшитый из беличьих хвостов тёплый налобник.

Чур почувал работу, растревожился и с нетерпением крутился у ног хозяина. Снег неглубокий, можно ходить без лыж, так ещё и удобней. Бакари — обувь охотника с голенищами до паха, хорошо справляется и с большими сугробами, и с неглубоким снегом. Легкая, тёплая, сшитая из шкур, она выручает добытчика весь сезон. Чур первым рванул в лес, оглядываясь, проверяя, идёт ли хозяин.

«Пусть порезвится, — подумал Нюнням, — скоро не будет снег зря топтать, нарабатывается. Главное, чтобы куда не нужно не помчался раньше времени». Нюнням думал о берлоге. Интересно, залёг хозяин в неё или нет. Надо проверить. Но это ближе к вечеру. И собака подустанет, легче справиться с ней будет. Очень хотелось юноше добыть медведя. Не каждый мог похвалиться победой над таким зверем. Те, кто добывал медведя хотя бы раз, были в почёте.

Право первого удара даётся тому, кто нашёл берлогу. Непросто это сделать первый раз в жизни. И даже не страх, а какая-нибудь неловкость, небольшое промедление может стоить весьма дорого. Медведь не позволяет шутить над собой и ничего не прощает. И Нюнням знает, что надо делать, хотя он ни разу не участвовал в такой охоте, но по вечерним рассказам в сезон «длинных ночей» он досконально запомнил весь порядок охоты. Главное, не дрогнуть и не совершить ошибку. А Нюнням не дрогнет. Когда знаешь, как действовать, бояться нечего. Только бы медведь не ушёл.

Охотник направился немного в сторону, хотел добыть несколько белок и посмотреть, насколько выходная шкурка. Если мех не подошёл, придётся ещё подождать немного. Довольный Чур, словно понимая, что настало его время, залаял громко, с привизгом, как лает на белку. Нюнням подошёл к огромной сосне и стал слушать и всматриваться, пытаясь определить место. Белка сама себя выдала. Шевельнулась, и свежие снежинки полетели вниз, раскручиваясь на лету. Фыркнула стрела, и зверёк, сбитый с ветки тупым наконечником, полетел вниз. Ошалевший, он даже и не сообразил, как попал в зубы Чура, тот придавил зверька и положил рядом.

— Молодец, умница, — Нюнням погладил собаку. Провёл по меху рукой, дунул на него. Мех оказался добрый. До полудня добыли ещё с десяток белок и повернули обратно.

По дороге Чур облаял ещё пару глухарей, которых Нюнням подстрелил, всё больше радуясь своему луку.

К берлоге подбирались тихо, стараясь не шуметь и не спугнуть зверя. Совсем близко подходить не стоило — он чутко спит. Нюнням подозвал собаку, обнял её за шею и стал всматриваться в то место, где было логово, надеялся увидеть хотя бы какие-нибудь приметы присутствия медведя. Собака никак не отзывалась, видно, снегом скрыло все запахи. Нюнням уже было собрался подойти совсем близко, да вдруг увидел, что на кустах у земли накопилось немного инея.

— Там. Там хозяин, не ушёл.

Охотник завернул собаку и пошёл от берлоги. Завтра можно будет смело приходить сюда с охотниками. И Нюнням первый раз будет добывать такого зверя.

— Пойдём, Чур, домой. На сегодня хватит. Ты молодец, хорошо поработал.

И они опять по кругу обошли берлогу и направились в стойбище. По дороге Нюнням в который раз прокручивал в голове свои действия, которые он должен будет предпринять завтра. Всё выходило гладко, осталось только прийти и добыть медведя.

В стойбище, уже при свете костров, Нюнням взял пальму — берёзовое древко, на конце которого привязан нож, шириной в ладонь и длиной в три ладони, заточенный с обеих сторон, подошёл к костру, где сидело несколько охотников, недавно пришедших со своих угодий и покуривавших трубки. Юноша древком ударил о землю, а потом так же стукнул о землю луком. Следующим движением был несильный стук пальмы о лук. Все затихли. Охотникам понятен это жест. Вслух говорить о медведе было запрещено. Этим жестом говорилось, что найдена берлога и нужна помощь. Все поняли, какая удача улыбнулась Нюнням.

Он вошёл в юрту и положил добычу. Глухарей сразу забрала Кутега и пошла варить. Шалгу взял беличьи шкурки и стал разглядывать. Растягивал, встряхивал, дул на мех, клал одну, брал другую.

— Годные шкурки, можно добывать, — сказал старик. Ему уже было известно о берлоге, хотя об этом вслух никто не говорил.

— Завтра и пойдём. Погода подходящая. Лучшего не будет, — закурил старик трубку.

— Хорошо, пойдём завтра, — кивнул сын.

В чум вошёл Чалык. Он тоже ходил, торил тропы в своих угодьях. Добыл немного белок. Шалгу пересмотрел и их, определяя, а не рано ли охотники вышли на промысел; изъёнов тоже не нашёл.

— Пора, — только и сказал он и добавил: — Завтра поможем Нюнням, а потом — каждый за своей добычей.

Вскоре в котле уже варилось мясо. Приятный запах щекотал ноздри. Кутега помешивала варево да подкладывала дрова. Нюнням сидел в своём углу и смотрел на огонь. Пытался что-то высмотреть в каждом языке пламени. И увидел много девичьих лиц, пытался определить, кто же будет его невестой. Но все девушки вдруг показали ему язык. Нюнням присмотрелся, а вместо разных лиц везде было только лицо вредной Теги. Юноша отмахнулся и проснулся. Отец с братом рассмеялись, только Кутега молча подала ему кусок горячего мяса и кружку с бульоном.

— Ешь, завтра будет трудный день, — сказала она. — Не слушай их. Они шутят.

Юноша некоторое время сидел, не понимая, что произошло, чем ещё больше рассмешил мужчин. Потом молча съел мясо, выпил бульон и сразу снова уснул. Шалгу усмехнулся, а Чалык сказал:

— Умеет Нюнням спать, как дитя.

— Молодой ещё, — согласился Шалгу. — Придёт время, и ему будет не до сна.

Утро выдалось пасмурным, но не холодным. Охотники собрались посреди стойбища. В руках у некоторых были пальмы, у других только луки. Об охоте никто не говорил, курили, смотрели по сторонам, ждали, пока выйдет Шалгу и поведёт. Чалык тоже был среди всех. Только Нюнням со стариком о чём-то говорили в чуме. Старый охотник давал последние наставления. Смелость — это хорошо, но надо и дело знать.

— Мы жерди просунем в берлогу, чтобы он не выскочил сразу, а ты тогда не теряйся. Знаешь, что делать?

— Знаю, — ответил юноша.

— Пошли, — кивнул Шалгу. — Пора.

Отец вышел из чума, за ним сын. Нюнням шёл первый по праву нашедшего берлогу, за ним Шалгу. Остальные неторопливо шествовали следом. Собаки носились вокруг, чувствуя что-то необычное. Чур бежал впереди хозяина, изредка оглядываясь. Не доходя до места, охотники остановились, вырубili четыре берёзовых жерди. К берлоге подходили тихо, чтобы до времени не спугнуть зверя, а то пойдёт по лесу, попробуй тогда его взять. Потом будет блудить, вредить всем.

Когда подошли совсем близко, собаки, как ошалелые, кидались прямо в «чело», вход в берлогу. Чалык и ещё двое проворно вставили жерди в «чело» наперекрест, чтобы не дать сразу выскочить зверю, задержать его на несколько мгновений, которых должно хватить охотнику. Нюнням, держа в руках пальму, стоял немного в стороне. Шалгу и Чалык стали шурудить жердями, стараясь поднять зверя. Медведь поначалу не реагировал, затем стал отбивать жерди лапой, потом зарычал. Собаки вились возле него, мешая людям. Один молодой кобель нырнул в берлогу, раздался визг, и сразу назад вылетело распластанное собачье тело. Никто даже не успел рассмотреть жертву, как показалась медвежья голова. Шалгу резко защемил жердь. Шея медведя на мгновение оказалась зажатой. Зверь взревел, оскалив клыки. Верхняя губа затряслась, разбрасывая слюну. Маленькие серо-жёлтые глазки глядели пронизывающе, страх обволакивал охотников холодной пеленой. Нюнням смотрел прямо в то место, куда нужно было нанести удар, пропуская всё остальное мимо себя. На какой-то миг движение замедлилось, и он с силой всадил пальму в шею медведя. Чур вскочил на холку зверя, вцепившись в неё клыками. Рёв перешёл в дикий вой, и зверь стал осаживаться назад в берлогу. Наскочили другие собаки. Медвежий рёв, смешанный с собачьим лаем, стал терять силу, переходя на хрип со свистом. Шум оборвался, только доносилась молчаливая возня. Вскоре Чур выскочил и просто стал лаять, потом и вовсе замолчал.

Охотники подошли к самой берлоге. Внутри злобно рычали, кашляли собаки, выплёвывая шерсть. Чалык рассмотрел, что там внутри, и резко сунув руку в «чело», выдернул одну собаку, потом вторую. Медведя привязали за лапу и вытащили на поверхность.

Снимать шкуру взялся Шалгу. Если бы берлога была недалеко, то зверя притащили бы целиком и разделяли прямо в стойбище. Но сейчас это будут делать на месте и заберут только всё нужное. Мясо аккуратно обрежут с костей, не разламывая их, затем разделят по суставам, очистят и положат всё вместе, они пригодятся ещё для другого медведя. Заберут и шкуру, которая теперь будет украшать чум добычливого охотника. Нюнням внимательно смотрел и запоминал порядок разделки. Возможно, когда-нибудь придётся и самому делать это. Он стоял отрешённый, и Чалыку показалось, что брат «не в себе». Он тронул его за плечо:

— Ты не заболел? — пошутил он. Нюнням встряхнулся от своих мыслей и ответил:

— Нет.

— А почему так стоишь? Испугался?

— Нет. Смотрю, как нужно снимать шкуру.

— Запомнил?

— Запомнил.

— Хорошо ударил, — сказал Шалгу. — Верно нацелил. И собака у тебя ничего, не лезет без дела, но и момент не упустит.

— Чур — стоящий пёс, — согласился Нюнням. — Можно с ним охотиться.

— А моего кобеля порвал, — Чалык кивнул на шкуру, не произнося вслух слово «медведь». — Есть ещё пара, буду охотиться с ними.

— Дурной был. Совсем дурной, — сказал старик сыну.

— Молодой был, — возразил Чалык.

— Шибко дурной, хоть и молодой, — повторил Шалгу.

Закончив снимать шкуру, он отделил голову, вытащил глаз и подал его Нюнням. Молодой охотник должен проглотить его, не разжёвывая. Если он сможет сделать это, то его ждёт долгая счастливая жизнь. Юноша взял глаз и, не раздумывая, положил его в рот. Все смотрели на него, и Нюнням проглотил медвежий глаз. Восторженные крики раздались одновременно. Затем развели костёр, стали жарить мясо на рожне и есть.

Это было великое воссоединение медведя и человека.

Затем танцевали вокруг костра, пели заклинания. Наевшись, курили трубки и улыбались. Шалгу взял медвежью голову, вставил в пасть палочку, чтобы тот не смог схватить охотника, воткнул в ноздри пихтовые палочки, — так медведь не найдёт след, и понёс голову подальше от костра. Несколько человек пошли за ним. На расстоянии полёта стрелы установили череп на срубленный пенёк. Отделённое от кости мясо положили рядом. Придёт время, и здесь возродится другой медведь, который не будет злиться на них. Он будет думать, что его убили другие люди, и будет искать их. Так думают охотники.

После празднования и отдания почестей медведю, собрали мясо, взяли шкуру и направились в стойбище. Шкуру несли задом наперёд, чтобы запутать обратную дорогу.

Вечером в стойбище был большой праздник. Мясо варили в котлах, жарили на рожне. Ряженые в медвежьи шкуры и маски взрослые и дети танцевали вокруг костра и водили хороводы.

Только Нюнням сидел, наблюдая за происходящим. Хоровод иногда раскручивался и вокруг него, он молча улыбался, но не танцевал. Нюнням был удовлетворён: теперь он такой же охотник, как и все, и даже лучше некоторых. Не каждый мужчина из их стойбища добывал медведя. Не у всех в чуме есть медвежья шкура. Юноша был рад всему этому, но радость была тихая, не было восторга, который погнал бы его в круг танцующих. Шалгу присел рядом, долго раскуривал трубку, покашливал, смотрел то на веселящихся людей, то на костёр, потом тихо произнёс:

— Сегодня от тебя ушло детство. Помни о нём, оно было добрым к тебе.

— Да, — кивнул уже не юноша, а настоящий молодой охотник, который только что подошёл к черте, за которой большая жизнь. Осталось сделать только один шаг — завести семью, поставить свой чум. И черта эта совсем рядом: за морозами и снегами, за весёлыми ручьями, весенним буйством птичьего разноголосья, за шумом ледохода, первой грозой над сопками. Совсем рядом, надо только идти.

6

Вот и настало время для «малой ходьбы». Наступил охотничий сезон, пора, когда душа добытчика начинает петь, когда наступает настоящая работа для мужчин. Пришла пора добывать белку. В период «малой ходьбы» охотники промышляют недалеко от дома, на расстоянии двух-трёхдневного перехода. И всегда возвращаются в стойбище, принося добычу с собой. Женщины обрабатывают шкурки, выделывают их, готовят к продаже. Подростки заготавливают дрова и промышляют зайцев рядом со стойбищем. Женщины, кроме выделки шкур, занимаются разным рукоделием, шьют и украшают одежду и, конечно, болтают. Наконец-то наступило время, когда можно вдоволь поговорить. Собираются в одном чуме, и пошла беседа, перемоют косточки всем, наговорятся на год вперёд. Старики вяжут сети из крапивной нити и помалкивают. Только зацепи длинные женские языки — не отвяжешься! Оплетут, как сеть неловкую рыбину.

Рано утром Нюнням вместе со своей собакой направился в тайгу. Пока только на день, а там будет видно. Что принесёт этот сезон, пока никто не знает, но для него он будет очень важным. Нужно не только показать зрелость в этот первый сезон, но и добыть много шкурок, впереди его ждёт важное событие, к которому нужно подготовиться.

Чур сразу убежал в лес, а через некоторое время раздался его лай. Нюнням по голосу кобеля определил, что тот облаивает белку. На каждого зверя или птицу у собаки свой, едва различимый тон. Добрый хозяин знает, на кого лает пёс.

К обеду было добыто с десятков белок. Нюнням разжёг костёр, повесил котелок со снегом над огнём. Вытащил из заплечного мешка лепёшку, чай, перемешанный с разной

травой, кусок вяленой рыбы. Лепёшкой и рыбой поделился с кобелём, а сам стал медленно жевать, ожидая, когда закипит чай. Когда вода забулжила, достал берестяную кружку и налил душистой жидкости. Пил долго, мелкими глотками, продлевая удовольствие. Налил ещё, раскурил трубку и долго смотрел в костёр. На душе было хорошо и спокойно. Докурив трубку, допил чай, собрал пожитки в мешок, затушил снегом костёр и пошёл дальше. Пока не наступили сумерки, Нюнням добыл ещё несколько белок. Чур работал достойно. Он то уходил куда-то, то вертелся рядом. Когда пёс в очередной раз ушёл по кругу, выискивая следы, случилось неожиданное. Нюнням краем глаза увидел шевельнувшиеся ветки на сосне, машинально взял стрелу из колчана. Но не успел поставить её на тетиву, как вдруг большая тень полетела с сосны прямо на него. Дальше всё произошло неосознанно, сработал инстинкт охотника. Нюнням выставил перед собой руку со стрелой остриём вперёд, а другой оттолкнул нападавшего зверя. Только рысь не боится нападать на человека просто так, ради охоты, или не понимает опасности. Она прыгает со спины, стараясь ухватиться клыками за шею. Если добыча оказалась удачливей и смогла противостоять первой атаке, рысь спасается бегством на дерево. Здоровый кот прыгнул охотнику прямо на спину.

Только стремительность и ловкость движений спасла Нюнням. В любом случае надо было скинуть зверя со спины, тогда он уйдёт, если успеет. Но в этот раз рыси не повезло: прямо в полёте она наткнулась на стрелу, которую охотник держал в руке и которая проткнула её насквозь, повредив внутренности. Охотник успел выхватить нож, но добивать не стал. Кот вскрикнул, потом стал громко фыркать и крутиться на снегу, оставляя кровавый след. Нюнням понял, что рыси досталось изрядно и не стоит больше портить шкуру. В это время примчался Чур, словно почувствовав, что хозяину нужна помощь. Кобель вцепился в горло коту и держал до тех пор, пока зверь не затих. Нюнням сел прямо на снег, закурил трубку. Он в первый раз встретился с рысью. Только по рассказам бывалых охотников знал, как надо противостоять этому зверю.

Докуривая трубку, Нюнням почувствовал, что немного саднит щека. Потрогал рукой и увидел кровь: успел зверь поранить охотника когтями в последний момент. Нюнням вытащил из-под снега сухой жёлтый лист, полизнул его и прилепил на рану, вскинул затихшего кота на плечо, пошёл назад.

День, как вспугнутый глухарь, быстро удалялся, растворяясь в кронах деревьев. Лес, проглотив последние лучи солнца, мгновенно посерел, а потом и почернел. Только снег, лежавший повсюду, не давал темноте совсем опутать всё вокруг, словно светящиеся гнилушки, путался под ногами.

Стойбище дымами встречало охотников, возвращавшихся с промысла. Дым поднимался ровными столбами, не сгибаясь, не расползаясь, только там, высоко, за пределами самых высоких деревьев, дымы соединялись в один и поднимались ещё выше. Все знали, что завтра будет морозец. Не сильный, не сковывающий всё вокруг, а только румянящий щёки и покрывающий инеем кусты.

Нюнням пришёл после Чалыка. Тот уже успел попить чаю и отдохнуть. Шалгу рассматривал белок старшего сына. Нюнням вывалил свою добычу. Старик с удивлением стал разглядывать рысь.

— Стрелой добыл? — спросил Шалгу.

— Стрелой, — кивнул Нюнням.

— Далеко стрелял? — поинтересовался Чалык. Рысь в здешних краях несчастный гость.

— Не стрелял. Не успел, стрела в руке была.

— Зверь напал первый? — заинтересовался Шалгу.

— Да. Едва заметил.

— Хорошая добыча. Мне не приходилось добывать рысь.

Старик долго вертел зверя в руках, а потом сказал Чалыку:

— Ты отдохнул, снимай шкуру. Надо мясо варить, говорят, очень нежное белое мясо у неё. Будем пробовать.

Кутега подала чаю молодому охотнику.

— Завтра я пойду с тобой, Нюням — сказал Шалгу. — Не могу сидеть и слушать женские сказки. Пока нет морозов и снег неглубокий, я смогу добывать белок.

— Пойдём, — согласился сын. — В лесу можно ходить и без лыж.

— Правильно, — поддакнул Чалык. — Сидит хмурый, я думал, что ты заболел, а ты без охоты такой.

— Ещё будет время сидеть. По большому снегу я уже не смогу бегать за вами, да и холодно будет. Буду как женщина сидеть, шкуры скоблить да языком чесать.

— Много ты говоришь, уши болят, — заметила Кутега. — За день два слова не сказал, будто язык замёрз и отвалился.

— Мне ещё парку до пяток надеть и бусы собирать осталось, — буркнул старик. (Мужчины носили парки до колен, а женщины до щиколоток.)

— Кутега! — окликнул жену Чалык, понимая, что отец сердится. Женщина замолчала и стала кормить мужчин. Дымящееся мясо, вытащенное из котла, приятно щекало ноздри. Лучший кусок Кутега подала Шалгу, по обычаю. Он принял и кивнул в знак того, что он не сердится на невестку за её болтливый язык.

Огонь в чувале ровно горел, тепло приятно расплзалось по чуму. Дрёма стала одолевать всех. Первым в свой угол залез Нюням и затих. Вскоре и Чалык улёгся, а Шалгу ещё долго сидел — не дают уснуть разные мысли, и лезут, и мучают, не отбиться никак, а если не выходить из дома, так вовсе хоть пропадай. Вот и собрался Шалгу убежать от них в лес, там будет не до разных думок. Тайгу нужно слушать. Каждый шорох, едва различимый, укажет, где смотреть белку или соболя. Шалгу и без собаки может найти не одного зверька. Столько знает старик, умеет услышать то, что надо слышать. Хотелось ему передать свои секреты сыну, многого тот ещё не ведает, молодой ещё. Так и задремал Шалгу сидя, не выпуская изо рта трубку.

Утром, едва стало светлеть небо, он уже был готов к походу. Попив чаю, выкурив трубку, сел у чувала, выжидая время. Нюням тоже был готов. Тронулись только тогда, когда стало совсем светло. Чур бежал впереди, за ним шёл Шалгу, замыкал шествие Нюням. Охотники ступали тихо, стараясь не смешивать звуки леса с треском сучьев под ногами и скрипом снега.

Перед обедом Чур залаял как-то особенно. Нюням понял, что кобель нашёл след соболя. Шалгу вопросительно посмотрел на сына, тот утвердительно кивнул. Голос Чура удалялся. Но вдруг кобель стал привизгивать.

— Остановил, — сказал Нюням и побежал на лай собаки. Шалгу тоже поспешил. Чур лаял на поваленную осину. Дерево лежало давно и наполовину сгнило. Кобель не только лаял, но и пытался грызть его. Шалгу внимательно осмотрел валежину и показал место, куда залез соболя. Старая осина сгнила изнутри, и там образовалась пустота на всю длину дерева. Шалгу «аттесом», полуметровым ножом, заменявшим топор, пробил отверстие посередине, потом прорубил такое же отверстие с другого края. Срубив пару небольших берёз, они с сыном стали с двух сторон толкать прутья в середину осины, постукивая сверху. Соболя выскочил из среднего отверстия, пробежался по голове Чура и отпрыгнул в сторону, попав в снег, провалился с головой. Пёс попытался схватить соболя, но тот пустил в ход свои острые зубы, стараясь вцепиться собаке в нос, самое болезненное место, но кобель не давал ему такой возможности. Зверёк не сдавался, он рычал, фыркал, прыгал прямо на собачью морду. Но опять угодил в снег, оказавшийся роковым для него. Чур схватил соболя поперёк, и послышался хруст, зверёк сразу затих. Нюням подошёл, погладил псину:

— Хороший, Чур, хороший.

Пёс благодарно смотрел ему в глаза. Ласковые слова и для собаки радость. Она чувствует добро. Нюням поднял соболя, посмотрел на свет, дунул на шкурку. Это был не совсем чёрный зверёк, который особенно ценился, но всё же соболя. Первый соболя в этом сезоне. Шалгу осмотрел шкурку, встряхнул зверька и сказал:

— Ничего, пойдёт. Первый нынче соболя. Славный у тебя кобель, умный, такого бегать надо, удачу принесёт.

— Сам всё знает, я не учил.

— Разве собаку научишь? Тут или будет работать, или нет, — сказал Шалгу. — Собака от рождения способна к охоте, нужно просто не загубить эти знания.

День удался. Добыли пару соболей, полтора десятка белок. Надо радоваться прошедшему дню, надо радоваться и будущему дню, с плохим настроением, без надежды на охоту не стоит ходить. А что ещё умеет делать лесной житель? Рыбачить да охотиться, без этого не проживёшь, без этого и смысла жить нет. Что нужно человеку? Вырастить детей, показать им дорогу, по которой они пойдут. Вот сейчас Шалгу пытается направить Нюнням, а он и сам идёт по верной тропе. Все идут по нужной дороге, так уже заложено в крови у народа. Только как идут по этой самой тропе, по этой самой жизни? Многие свой путь осилили, кажется, и всё у них хорошо, да только кто их знает, таких людей, живут и живут себе, а спроси: «Кто это?» — Пожмут плечами и скажут: «Человек, кет». Наверное, это и не плохо, только Шалгу не просто человек. Он был лучшим охотником, он и сейчас лучший мастер на всём Туманшете и Бирюсе, который делает лодки-ветки, самый лучший мастер делать луки, которые славятся и на Енисее. Шалгу хочет, чтобы и Нюнням был мастером. Если взялся за какое-либо дело, то надо быть лучшим. У него есть такая жилка, которой нет у Чалыка. Старший сын неплох, и на охоте не последний, и рыбу ловит не хуже других, но не лучше всех. И жену хорошую Шалгу нашёл для Чалыка, и мастерица, и на охоте помощница добрая, и всё у них ладом, но и только.

Шло время. Нюнням то один, то с отцом каждый день ходил на промысел. Холодало, выпало уже достаточно снега, чтобы встать на лыжи. Чур бежал следом, только изредка, что-нибудь учуяв, кидался в сторону, проваливался в снег и виновато смотрел на хозяина. Теперь охота шла на ловушки и кулёмы. По определённому маршруту охотник шёл и проверял ловушки, забирал добычу, настраивал по-новому и шёл дальше. Приходилось ходить далеко и ночевать в лесу, иногда даже две-три ночи; разводил костёр, выбирая приличную валежину, которая будет гореть всю ночь, готовил лапник и залазил в усень (спальный мешок из оленьих шкур). Даже в морозы можно было коротать ночь, не боясь замёрзнуть. Собираясь на несколько дней, Нюнням брал с собой небольшую волокушу, на которой вёз всё необходимое, на ней же доставлял то, что удавалось добыть. Несколько раз Нюнням привозил и мясо. В густых ельниках натёкался на изюбров, диких коз и даже лосей. Свеженине все рады, а если удавалось сделать и небольшие мясные запасы, это было хорошим подспорьем запасам рыбным, которые заготовлены с осени.

Наступала пора коротких дней. Охотники выходили с промысла. День и так был мал, а тут ещё начались сильные морозы, укрывавшие всё туманами, словно белым покрывалом. Они, бывало, и совсем не рассеивались. Охотиться в такую погоду не на кого. Все лесные обитатели тоже прячутся от холодов, стараясь зря не высовываться, питаясь заготовленными запасами.

Несколько дней охотники отдыхали, отсыпались в чумах, потом безделье надоедало. Стали собираться в одном чуме и рассказывать сказки, больше для детей, но и взрослые тоже с интересом слушали, многие не по первому разу. Говорили в основном про бога Еся, про старуху Хоседэм. На этот раз сказителем стал сам Шалгу. Дети расселись вокруг старика, чтобы было лучше слышно, чтобы не упустить ни одного слова. Он раскурил трубку и начал:

— Жил старик Есь со своей старухой Хоседэм. Был у них сын. Как-то сын говорит:

— Я на охоту пойду.

А Хоседэм ему отвечает:

— Холодно уже, надень шубу.

— Нет, не холодно, — сказал сын. Не послушался матери и ушёл не одетым. — Кто ходит на охоту в шубе? Не надо мне шубы!

Пошёл сын, далеко пошёл. Есь, его отец, говорит:

— Я его пугну, пушу холодный ветер.

И пустил он холодный ветер. Сын побежал домой. Бежал, бежал, упал и замёрз в лесу. И старик знал об этом, он ведь был бог Есь.

— О-о, мой сын замёрз, — завопила Хоседэм. Стала ругать мужа всякими нехорошими словами. Старик тоже стал браниться, и поссорились они.

Хоседэм кричит:

— Ты зачем моего сына заморозил?

Старик Есь толкнул её в гнев, и она упала вниз. И говорит старуха снизу:

— Теперь я буду богом внизу, а ты будешь богом сверху.

Так и появились два бога: добрый Есь сверху и злая и тёмная Хоседэм внизу.

— Расскажи ещё сказку, — попросили дети.

— Какую? — спросил Шалгу.

— Расскажи сказку про гагару, — попросил Чалык.

— Это было давным-давно. Ничего не было тогда на земле. И земли самой не было. Был только один сплошной океан, над которым летала одна единственная гагара. А на небе жил бог Есь. Гагара летала над океаном, купалась и отдыхала прямо на воде. Однажды Есь позвал птицу к себе и велел ей сотворить землю. Захотел Есь расселить на той земле и зверей разных, и птиц, и людей всяких. Сказал Есь гагаре:

— Ты, гагара, хорошо плаваешь, хорошо ныряешь, достань со дна океана кусочек земли да растяни его, чтобы твердь получилась.

Много раз ныряла гагара, но неудачно: не могла она достать земли. И вот собралась в самый последний раз нырнуть. И получилось достать кусочек земли. Утвердив землю на поверхности, гагара стала растягивать её. Растягивала она, растягивала, и хватило земли на всех. Стали жить в мире, сотворённом гагарой, разные звери и птицы. А от гагары светлый народ произошёл. Кетами зовут тот народ.

— А где сейчас этот народ? — спросила Кутега.

— Жил тот народ в верховьях Енисея. Потом стали приходить плохие люди с юга и с запада, забрали хорошие леса, где водилось много зверей, и кеты погрузились в лодки-илимки и поплыли по Енисею вниз. Искали себе хорошее место. Но все было занято, и кеты плыли дальше и дальше. Некоторые не захотели больше плыть вниз, а пошли по реке Бирюсе. Стали они зваться коттами. Нашли они хорошее место на реке Туманшет, где мы и живём. Наши предки звались кетами. И мы вышли из кетов. Значит, все сказки про нас, — сказал Шалгу и набил табаком себе трубку. Все слушатели заулыбались, остались довольными. Хорошими, светлыми людьми были их предки.

— А те, которые ушли вниз по Енисею, где сейчас?

— Там и живут. На самом краю земли. Там, где «огонь Еся» (северное сияние) освещает землю, трещит и пугает.

— Это далеко, наверное? — продолжала Кутега.

— Далеко. Хватит на сегодня, — сказал уставший старик.

7

Утром, когда Нюнням проснулся, Шалгу сидел около чувала и пил чай. Делал это он медленно, степенно. Важность во всём виде старика говорила, что это неспроста. Нюнням вышел на мороз, чтобы лучше проснуться. Лень и безделье в дни «коротких дней» забирают все желания, парализуют волю, так бы и спал себе, ничего не делал, да только еда сама в котёл не ходит, и дрова для чувала тоже надо принести.

Захватив поленья, Нюнням вернулся в чум. Там было тепло, пахло дымом и чаем, который заваривал сам Шалгу. Старик медленно набил трубку и прикурил от маленького уголька на кончике ветки.

— Хватит сказки слушать, — сказал он сыну. — Покажу тебе, как собирать лук.

Остатки сна быстро улетучились. Нюнням давно ждал этого, надеялся, что отец откроет ему свои секреты. И вот настал этот день. Шалгу достал заготовки, спрятанные им до поры, и старенький котелок, в котором варил клей. Котелок поставил рядом с огнём, чтобы не перегреть и не переварить клей, и стал примерять заготовки, подгонять берёзовые и лиственничные пластинки друг к другу.

— Смотри, чтобы щелей между пластинами не было. Иначе клей неровно ляжет, и будет их коробить. Лук станет кривым, стрелы полетят мимо, белки будут смеяться над охотником. Обязательно вымеряй середину сразу, а не потом, когда склеишь и придётся ножом срезать лишнее дерево. Оно этого не любит. Могут появиться небольшие трещины, которые ты сразу и не увидишь. Но потом они себя выкажут, и лук может подвести в самый неподходящий момент. Старательно делай дело, не торопись. Хорошее дело не терпит спешки. Быструю работу только сороки и оценят, долго будут стрекотать.

Нюнням сидел и смотрел во все глаза. Всё было так интересно. Шалгу раньше никогда не показывал, как собирает и склеивает лук, как готовит клей. Теперь же Нюнням не только смотрел, но брал своими руками заготовки, примерял их, осматривал все зазоры, спрашивал, что было не совсем понятно. Восторгу не было предела. Когда клей согрелся, Шалгу сказал:

— Склеивай, я посмотрю, буду подсказывать, если что не так будешь делать.

Старик словно и не обращал внимания на сына, собирал ещё один лук, который прошлым летом обещал сделать рыбаку из Пеленгут. А тот, что делал Нюнням, пойдёт на подарки за невесту. Пусть сам себе мастерит, пощупает своими руками упругость берёзовых и лиственничных пластинок раздельно, потом почувствует упругость и силу склеенных в одно целое. Сила дерева не удваивается, а утраивается, когда сделано всё правильно. Шалгу не делает ошибок, потому и луки, собранные им, ценятся так высоко. Нюнням тоже будет добрый мастер. Старик видит, что есть у младшего сына искорка умельца в душе. Теперь надо раздуть её в огонь, главное, не погасить. Нюнням всё сделал верно, ни разу не вмешался Шалгу, ни разу не поправил. Вскоре два лука, подвешенные для просушки клея, красовались над чувалом. Чалык мастерил туеса из бересты и совсем не интересовался работой других. Он думал так: «Есть мастер Шалгу, пусть и делает. У него получается хорошо. Чалык умеет охотиться, как и другие, умеет делать туеса, если нужно, выстругает из дерева, что понадобится. А вдаваться в такие тонкости, как собирать лук или вырубать лодки из дерева, у него нет желания. Ловушки-кулёмы, плашки Чалык смастерит, а черканов Шалгу уже наделал столько, что хватит на многие годы. Только лови белок да соболей». Говорить об этом вслух Чалык не хотел, чтобы не обижать отца. «Белок Чалык добыл поменьше, чем брат, ну и что? Им с Кутегой хватит. Дети пока маленькие, много ли им надо? Проживут не хуже других. Кутега ловко и добротнo выделывает шкурки. Никогда не испортит, не порвёт. Шкурки мягкие, мех горит, искрами брызгает. Ничего, можно жить. Не обязательно делать луки да лодки долбить. Вон в Пеленгутах кузница есть, там железо, как глину, мнут, ножи делают, другие разные штуки. Разве много нужно ножей Чалыку? Много лет служит хороший нож, оселком поправил лезвие — и хоть шкурку снимай, хоть мясо режь. Нет, не надо премудростей Чалыку, не надо! Пусть Шалгу с Нюнням чудят себе, раз им интересно».

Долго тянулись дни и ночи, окутанные снегом, инеем и туманами. Щедра здешняя земля на морозы. Прижмётся он к самой земле, накроется туманом и не даст солнцу места для лучика. Только солнце начинает осиливать туман, так и день закончился. Лес вокруг, покрытый куржаком, не шелохнётся, не скрипнет. Тишина. Разве иногда холодом разорвёт дерево изнутри, оно громко хлопнет, словно бог Есь сверху ударил палкой, чтобы разбудить своё сонное царство. За эти дни много дел переделано. Выделаны шкурки соболей и белок, добытых во время «малой ходьбы». Готовая пушнина упакована и сложена в лабазы, чтобы не поточили мыши и бурундуки. Починены лыжи, которые сейчас очень сгодятся. Без лыж никуда — снегу навалило по пояс. Подготовлены маленькие нарты-волокуши и для охотников, и для их жён. В них есть места и для малых детей.

Уходили семьями надолго, брали всё что нужно с собой. Семье Шалгу будет намного легче, чем другим. У них трое взрослых мужчин и женщина, четверо нарт, много можно взять с собой, разделить по нартам, будет легко.

И пришло это время. Шалгу вышел утром из чума, посмотрел на небо. Постоял, понюхал зимний, морозный воздух и сказал:

— Можно собираться.

Весть полетела в каждый чум. Люди враз зашевелились, словно только этих слов и ждали. И захлопали берестяные разрисованные двери, несмотря на холод. На двери в каждый чум нанесён какой-либо рисунок: или лес с рекой, или лось, трубящий по осени; дверь без рисунка, как голова без лица, поэтому и рисовали все, кому что нравилось... Идти можно будет через несколько дней, но уже надо собираться, хотя всё основное давно готово. Надоело мять бока в чумах да слушать разные истории. Старика Шалгу совсем замучили просьбами поведать о чём-нибудь, ведь он родился летом, а все верили, что если сказки рассказывает человек, родившийся в тёплое время, он быстрее приближает его. Эта вера пришла с ними из далёких енисейских краёв, когда они были в большой единой семье кетов, светлых людей, которых поселил на землю добрый бог Есь и которых мучила разными сквернами старуха Хоседэм. Шалгу перестал рассказывать истории, решив, что своё дело он сделал хорошо, теперь осталось ждать. Он сидел, не выпуская из рта трубку, думал о чём-то, изредка улыбаясь своим мыслям. Видно, стоящие думы посещали старика.

С утра быстро разобрали чумы, сложили в нарты и двинулись в разные концы. Шалгу со своей семьёй потащили четверо нарт прямо на юг, там были их уголья, там всегда охотились его предки, там охотился он сам и его дети. Каждый охотник следит за своим участком, хотя разве устроишь за всем, когда расстояния измеряются десятками дневных переходов. Есть свои путики, по которым тянут волокуши, есть свои затёсы и приметы. Чужому в угольях делать нечего, но если кто и попадёт ненароком на соседний участок, то большой беды не случится. Пройдёт человек, может и попользоваться чужим добром, если беда случилась, никто не будет возмущаться. Наоборот, порадуются, что сделали добро человеку. А тот, кто был, обязательно оставит свою метку, чтобы хозяева знали, кто был у них гостем. Этим знаком охотник обязуется вернуть всё то, чем воспользовался. Других людей в тайге просто нет. Остаток зимы и всю весну, пока не вернутся назад в стойбище, никого из людей не увидят. Велики просторы тайги, редко пересекаются дороги, всем места хватает.

Первым тащил свои нарты Чалык. Он прокладывал дорогу для других. Тем, кто следовал за ним, было немного легче. Шли неторопливо, стараясь держать один ритм, чтобы не уставать зря. Нюнням тащил свою поклажу вместе с Чуром. Для него была привязана особая ляпка. Пёс старательно работал, изредка поглядывая на хозяина. Через некоторое время Нюнням опередил брата, давая тому возможность отдохнуть. За ними шёл Шалгу, последней тянула свой груз Кутега. На её нартах сидели дети, укутанные в олени шкуры. Когда солнце перевалило за полдень, путники остановились отдохнуть и пообедать. Весело потрескивал костёр, мальчишки сидели на нартах, протягивая руки к огню. В котле варился чай. Рассевшись у костра, люди обедали лепёшками и кусками мяса, разогретого на костре. Мясо было сварено и заморожено преднамеренно для перехода. Некогда долго засиживаться, короткие зимой дни, надо успеть пройти большое расстояние. Не только добраться до места, но и поставить чум. Место для него известно, не первый раз идут.

Уже стало смеркаться, когда все дружно стали сооружать жилище. Здесь были заготовленные заранее дрова, в дневном переходе во все стороны стояли ловушки, которые дожидались своего часа с прошлого года. Уставшие, но довольные, поужинали при свете огня в чуме, закурили трубки.

— Чалык, ты пойдёшь завтра один на запад: ты знаешь, где находятся кулёмы и плашки. Надо подстрелить какую-нибудь птицу, чтобы сделать приманки. Лучше, конечно, глухаря. Мясо будет на котёл. А мы с Нюнням пойдем в другую сторону. Я ему покажу остальные ловушки. Остановимся здесь на пять дней. Участок большой, добычи должно быть много.

— Хорошо, отец, — кивнул Чалык.

Первый день был не очень добрым. Он прошёл не впустую, но особой добычи не принёс. Второй оказался совсем даже неплохим. Почти все ловушки сработали. Попалось полтора десятка белок и три соболя. Несколько оказались пусты, хотя и схлопнулись.

Через пять дней собрали чум и двинулись дальше. Часть груза оставили здесь. На сле-

дующее утро Нюнням пойдёт в эту сторону ещё раз проверить ловушки, потом и заберёт. Так и продвигались к границе своего участка; день шли, ставили чум, охотились неделю, потом направлялись дальше. Уходя, закрывали ловушки, чтобы зря зверь не пропал. Забирали с собой только черканы. Складывали их на нарты и везли. Кормились добытыми глухарями, зайцами. Без мяса много не наохотишься.

Дни становились длиннее. Полуденное солнце уже стало ласкать лицо, но порой пурга так закруживала, что не выходили из жилия по нескольку дней. Постепенно холода отступали. От постоянной ходьбы стали уставать охотники. Шалгу уже не каждый раз ходил на охоту, оставаясь в чуме. Он выходил днём и бродил неподалёку, что-то выискивая. Однажды вечером сказал:

— Завтра пойдём добывать мясо. Сегодня присмотрел место, где стоят лоси. Без мяса плохо ходить, ноги ленивые стали.

У Кутеги загорелись глаза. Ей надоело выдумывать еду, которой можно было кормить охотников. Один глухарь или один заяц на столько мужчин — это просто насмешка. Если будет много мяса, то всем будет хорошо.

Утром, как только рассвело, охотники тихо, след в след, пошли к видневшемуся вдалеке ельнику. Там и заметил Шалгу лосей. Подошли так тихо, что они и не слышали. Определились, какого быка будут бить, прицелились сразу все. Три стрелы пронзили молодого лося. Остальные звери шарахнулись по сторонам. Пробежав по глубокому снегу немного, они обернулись и стали смотреть, что же там произошло. За ними больше никто не гнался и не тревожил. Потом, учуяв запах крови, они всё же ушли в заросли и больше не появлялись. Охотники разделали сохатого, поели горячую печень, запивая кровью. Завернули мясо в шкуру, сложили на нарты и пошли назад. Этот груз был не в тягость. Вернулись быстро. Встречая, лаяли собаки. Их с собой не брали, привязав к чуму. По глубокому снегу лось спокойно может поднять пса на рога. На лыжах охотник быстрее собаки.

— Завтра будем отдыхать, — объявил Шалгу. — Пусть желудки поработают, а ноги отдохнут.

Оба сына кивнули в знак согласия.

8

По утрам уже не было туманов. Морозы ещё ярились ночами, только силушку свою подрастеряли. К обеду солнце, ярко расплескавшись по белым сверкающим сугробам и снежным шапкам на деревьях, слепило, понемногу ласкало обветренные щёки. Снег какое-то время терпел, не поддавался тёплым лучам, потом понемногу стал отпотевать за день. Ночью, замерзая, образовывал крепкую снежную корку. По насту охотнику легко бегать, как по дороге. Лыжи-голицы, не подбитые камусом, катились сами. Это было время для добычи лосей и оленей, они не могли бегать по насту, острыми краями разрезая ноги.

Старик Шалгу в последнее время не ходил на охоту. Устал. Охота на пушного зверя закончилась. Меха стали слабыми, негодными для продажи. В период «бурундуков» лишь на них ещё и охотились. Шкурки использовали только для себя. Шили лёгкую одежду для детей и делали украшения женщины. В это время добывали мясо, готовились в обратный путь. Заготавливали его потому, что другие запасы подходили к концу. Дорога была неблизкой, много раз придётся ставить чум на новом месте, возвращаться за оставленным грузом. По пути охотники забирали добычу, хранившуюся в лабазах. Когда приходили в стойбище, ещё лежал снег, река, покрытая льдом, светилась бирюзовым светом. Ещё долго ждать, пока солнце да вода осияют зимний панцирь и скинут его, возвещая об этом треском и скрежетом льдин, наползающих на берега и друг на друга. А пока приходится ловить рыбу в прорубленных полыньях, в котцы её заходит совсем мало.

Стойбище жило размеренной жизнью. Возле чумов дымились небольшие костры. Неугомонные мальчишки сновали туда-сюда. Собаки грелись на солнце, лениво переворачиваясь с боку на бок. У костров сушили женщины. Мужчины сидели и курили трубки. День клонился к закату. Вот тут-то и затрещало. Словно огромной дубиной о дерево

хрястнуло, потом ещё и ещё. Заскрипело, захлюпало. Двинулся лёд на реке. Всё население стойбища от мала до велика двинулось на берег, разница только в скорости: ребяшня сломя голову, а взрослые степенно, но на душе у всех было одинаково: «Случилось! Пошёл лёд!»

Люди стояли на пригорке и обсуждали произошедшее. Некоторые «знатоки» пытались по каким-то им известным признакам определить по ледоходу, какое будет лето. Посветлели лица у жителей стойбища. Такое событие, происходившее раз в году, радовало всех. Начинался новый период жизни, более лёгкий и тёплый. Хотя и будет много работы, но с зимой не сравнится.

Чалык столкнул новую лодку на воду и направился посмотреть, где можно было бросить сеть и попробовать поймать щук. Очень хотелось свеженькой рыбы после зимы. Пока после ледохода вода небольшая, нужно сделать запас. Когда начнёт обильно таять снег в лесу и на сопках, вода поднимется, тогда много не порыбачишь. Река станет мутной, много валежин будут ее прочёсывать, воруя не убранные вовремя сети. Топляки свободно могут перевернуть лодку и утопить рыбака. По большой воде не рыбачат, только по необходимости пользуются лодкой. Чалык нашёл подходящее место и забросил сеть. Поплавки из скрученной бересты стали подрагивать почти сразу. Чалык решил подождать немного и проверить сеть. Пристав к берегу, он набил трубку. Сладкий дымок окутал обветренное лицо. Охотник смотрел на воду, раздумывая: «Хороший выдался сезон. Много добыли белок. Нюнням тоже удачно поохотился. Больше тысячи беличьих шкурок привезли они с Шалгу. Знатные подарки будут у Нюнням невесте. Не опозорится охотник перед будущей родней. Чалык даст ещё шкурок брату, если понадобится. И у него будет свой чум. Жалко, что отец уйдёт вместе с ним. Но ничего не поделаешь, так заведено. Отец уходит к младшему сыну, когда у того появляется своё жильё».

Чалык вдруг заметил, что поплавков нет на поверхности воды. Выругавшись на себя, подумал, что какая-нибудь коряжина сорвала сеть. Оттолкнув лодку, он подплыл ближе. Сеть опустилась на дно и шевелилась от рыбы. Вскоре в лодке плескались крупные щуки, окуни, была и пара ленков. Оглушив несколько ретивых рыбин веслом, Чалык увидел, что сеть опять стала дёргаться и опускаться. Домой он вернулся с богатым уловом. Все помогали выгребать рыбу из лодки, потом у костра её варили, жарили на рожне, хватило всем. Немного надо лесному человеку для радости. Хороший костёр, сытый желудок да трубка доброго табаку.

Большая вода, как и всё плохое, пришла ночью. Перед этим несколько дней стояла жара. Не по-весеннему палило солнце. Всё это закончилось большой грозой, первой в этом году. Молнии зажгли неподалёку лес, но дождь вскоре погасил огонь. Ливень бесновался всю ночь, а потом пришла большая вода. Пришла валом, сметая с берегов всё подряд. В стойбище утащило лодку, вместе с лозой, к которой она была привязана. Другие лодки, вытащенные на берег, остались целы. Днём напор стихии только усиливался, выворачивая деревья и кустарники. Заливало прибрежные луга и лес на противоположной стороне, там был ровный берег. Стойбище, стоявшее достаточно высоко, не пострадало. Нюнням, смотревший через реку на другую сторону, сказал стоявшему рядом Чалыку:

— Завтра поплывём на тот берег, там рыба должна выходить на луга, бросим несколько сетей. Может, хариус попадётся.

— Поплывём. Не сидеть же здесь. Ночью весь хлам понесёт, вода будет почище. Там и ямы есть на лугах. Если вода быстро уйдёт, в ямах рыба остаётся, не успеет уплыть, можно много хариуса поймать или ельца.

Утром следующего дня братья на двух лодках отправились рыбачить на другой берег. Закинули несколько сетей, потом поплыли к сухому месту раскурить трубку. Сидели молча, болтать попусту было не принято, а важных тем для разговора не было. Покуривая, они грелись на солнце. В стойбище курили все: и мужчины и женщины, и дети лет с восьми. Никто им не запрещал, не считалось это вредным занятием. После полудня Чалык и Нюнням сняли сети. Рыбы попало немного, но хватит всем порадоваться вечером.

Вода сошла через неделю. Мужчины стали готовить котцы к ловле. Много поймали рыбы, много и нужно было. Готовили ещё и чучела уток и гусей. Скоро наступит пролёт

птицы, тогда можно заготовить мясо. Чучела ставили на озера и в тихих старицах. Птица, увидев собратьев, садилась отдохнуть и подкормиться, здесь её и стреляли. Сначала уток, потом гусей. Затем их коптили, сушили, готовили на лето. У птиц и животных будет молодь, стрелять её никто не станет до осени, вот и пригодится это мясо да рыба, которую ловят все летние месяцы.

Дни проходили буднично. Каждый приносил свои дела и радости. Люди готовились к торгам. Проверяли и упаковывали пушнину, готовили разные поделки из бересты и шкур рыб: туески, мешочки, разную посуду. Столько мелочей набиралось! Готовили и лодку-илимку, всю зиму простоявшую на берегу, смолили дно и борта, поправляли покрытие кают. Скоро наступит день, когда часть людей из стойбища поплывёт вниз в Пеленгуты, чтобы выгодно продать или обменять всё добытое богатство на нужные товары. Каждый надеется, что уж этот год будет лучше, чем прошлый.

Нюнням один сидел на берегу, ушёл подальше, чтобы не мешаться в чуме. Много хлопот, каждый что-то ищет, собирает. Молодому охотнику нет дела до этой суеты. Без него приготовят всё, что нужно. Чего зря под ногами толкаться! Слушать, как беззлобно переругиваются Кутега и Чалык? Шалгу курит, не переставая, иногда спрашивая про какие-то вещи. Нюнням сидел и раздумывал о прошедшем сезоне, о том, что его ждало впереди. Именно в это лето должно свершиться самое важное в его жизни, хотел или нет этого охотник? Конечно, свой чум это хорошо, Нюнням сможет прокормить семью, но он не представлял себе, с кем ему придётся жить. Понравится ему будущая его жена или нет, хотя бы одним глазком посмотреть бы на неё перед женитьбой. А вдруг попадётся какая-нибудь страшная или сварливая? Что тогда будет делать охотник? Ведь жена не худая рукавица, не сбросишь в снег. Мысли, как трясогузки, перескакивали с одного на другое. То он пытался представить себе невесту, то вдруг внимательно следил за полётом какой-либо птицы или разглядывал раскачивающиеся макушки берёз, потом вспоминал охоту, как впервые добыл медведя, не дрогнул, не подвёл отца. Мысли чередой мелькали перед глазами, так бывает, когда нет цели. Когда шёл, знал зачем, а когда осталось совсем немного, забыл, зачем шёл. И тогда он лихорадочно пытался вспомнить цель. Нюнням знал, что от него сейчас ничего не зависит. Конечно, Шалгу постарается сделать как надо, но ведь у Нюнням есть своя голова. Шалгу ни разу не спросил, какую жену хочет младший сын. Так принято, что выбор сделает старший, а младший должен согласиться с чужим выбором. Всё это мучило юношу, и как противостоять неизбежному, он не знал. Да и надо ли противостоять? Когда послышался лёгкий шорох по речному песку, Нюнням не сразу среагировал. А потом и не стал оборачиваться, понимая, что идёт кто-то лёгкий и быстрый. Чур едва приподнял морду и снова закрыл глаза. Значит, кто-то свой.

— Можно присесть? — раздался девичий голос. Нюнням сразу узнал её, это вредная девчонка из их стойбища — Тега.

— Разве ты когда-нибудь спрашивала об этом? Просто садилась и вредничала.

— Мне уйти? — тихо спросила она.

— Нет, сиди, — Нюнням с удивлением стал разглядывать ту, которая портила ему жизнь при любом случае. Тега сильно изменилась за зиму, столько не виделись они, её семья охотилась совсем в другой стороне, в стойбище они пришли недавно. Девушка стала выше и стройнее. Вместо озорных искр в глазах теплилась грусть.

— Ты изменилась, — сказал Нюнням.

— Говорят, что тебе невесту будут искать, это правда?

— Кто говорит?

— Все говорят.

— А тебе-то что? — Нюнням с любопытством посмотрел на неё.

— Ничего, — девушка посидела ещё несколько минут и медленно пошла в стойбище.

— Ты чего приходила? — крикнул он вдогонку. Она не ответила.

«Странная какая-то стала», — подумал Нюнням и снова обернулся, разглядывая удаляющуюся фигурку. Что-то шевельнулось у него внутри. Если бы она стала дразнить или смеяться над ним, тогда было бы всё понятно. Что от неё больше ожидать? А здесь — словно другой человек. Теперь мысли о девушке стали донимать его.

— Что с тобой? — спросил подошедший Шалгу.

— Сижу, смотрю на воду.

— Кто это был?

— Не узнал? Это Тега. Я её тоже не узнал.

— Чего она хотела?

— Не знаю. Спросила про женитьбу и ушла.

«Вот почему она сама не своя, — подумал Шалгу, — неспроста это».

В последний день перед отплытием в стойбище стало особенно шумно. Все жители были в приподнятом настроении, и те, кто направится на торги, и те, кто останется здесь. Горели костры, в котлах варились большие шуки и налимы. На рожне жарили ленков и хариуса. В печах пекли лепёшки. Все готовились к празднику, который устраивался каждый раз, когда отправлялись на торг. И хотя в стойбище не все были родственниками, но жили одной семьёй. В одиночку не проживёшь, в трудные времена делились последним. И сейчас всё готовилось для всех.

С восходом солнца Шалгу поднял Нюнням и позвал за собой. Взяв лучшие куски рыбы, приготовленные с вечера, старик пошёл на гору. Юноша последовал за ним. Казалось, никому и дела не было до этого, только одна пара глаз тайно провожала их. Кто-то знал, для чего они пошли в лес накануне отплытия, а кто не знал — не спрашивал: не принято. Если пошли, значит, так надо, зря не пойдут. Чур, потихоньку виляя хвостом, бежал впереди. Охоты не было, и спешить не надо. Шли долго. Извилистая, едва приметная тропа вела прямо на вершину горы. Хотя и было тяжело, но Шалгу ни разу не остановился. К полудню они добрались до старенького, обветшалого шалаша, в котором ночевали прошлым летом.

— Разожги костёр, — попросил Шалгу сына.

Нюнням быстро собрал сухие веточки, отрезал небольшой кусочек бересты, ножом наскоблil мелкие ленточки. Несколько точных ударов кремнем о кресало — искры густым пучком ударились в берестяные полоски, и они задымились. Появились язычки пламени, через минуту уже горел небольшой костерок.

— Потом поставишь чай, — сказал отец, — а сейчас отойди немного в сторону.

Нюнням поднялся на пригорок и сел на валежину. Чур улёгся рядом, свернувшись в траве. Нюнням стал наблюдать за Шалгу. Старик поначалу сидел возле костра молча, закрыв глаза. Потом протянул руки к огню, плескал пламя, словно воду в реке, затем омыл пламенем всего себя, взял припасённую еду, тоже словно омыл пламенем, и пошёл к сосне, на которой год назад Нюнням вырубил лик духа реки. На вытянутых руках Шалгу протянул подношение, положил под дерево, потом стал чем-то тереть лик, протянул руки к нему и долго говорил. Нюнням не слышал слов, но понимал, что старик просит о помощи духа реки, покровителя всего стойбища. Чтобы ловилась рыба, чтобы торги прошли успешно, чтобы всё задуманное свершилось в точности. Шалгу много говорил, потом упал к подножью сосны и долго-долго лежал. Юноша уже хотел пойти узнать, не случилось ли чего, но отец медленно поднялся и направился к костру. Нюнням тоже подошёл к огню. Налив в котелок принесённой с собой воды, стал варить чай. Когда он был готов, прежде чем налить в кружки, Шалгу бросил в котелок какой-то порошок. Они медленно пили горячий напиток. Потом сидели, отрешённые, думая каждый о своём, словно заглядывая в будущее. Шалгу видел только одно, что свадебный котёл, в который они положат подарки для невесты, не опрокинут, а наоборот, примут с радостью. Он видел, что все жители стойбища довольны прошедшими торгами, видел много счастливых лиц и своих сородичей, и незнакомых людей и брызги солнца на воде, которые весёлыми искрами играли в её струях, а потом прятались в прибрежной траве. Ему становилось тепло и спокойно.

Нюнням сидел с закрытыми веками, но перед его внутренним взором, словно наяву, показался чум. Его чум с красивой дверью, на которой было нарисовано солнце на закате, зацепившееся за ветку сосны. У костра склонилась над котлом девушка, хозяйка жилища. Рядом с ней вертит хвостом Чур. Лица девушки Нюнням не разглядел, но фигура её ему знакома. Ещё он видит удачный промысел в пору охоты. Много добудет он белок и другой

пушнины. Много мяса всегда будет вариться в котлах его родных. И ещё он чувствует себя легко, словно птичье пёрышко на ветру.

— Увидел? — неожиданно спросил Шалгу.

— Да, — кивнул Нюнням.

— Доброе увидел?

— Да.

— Это хорошо, что увидел. Сейчас неважно — доброе это или недоброе, но ты разглядел, значит, дал тебе бог Есь другие глаза, которыми можно видеть не то, что видят все. Это очень хорошо! — старик был искренне рад.

Подтвердилось его предположение. Нюнням может стать главным в стойбище. Если ты стоящий охотник, это замечательно, твоя семья не будет голодать. Если ты знатный мастер, прокормишь семью своим ремеслом. Удачливый рыбак тоже неплохо. Но не каждый из них может разговаривать с духами. Не в каждом стойбище есть шаман. Тем более подлинный шаман. Общаться с духами — не метко стрелять из лука. Редко у кого есть этот дар. А в стойбище должен быть человек, который кроме всего прочего умеет вызывать духов. Шалгу умеет говорить, но найти себе преемника не получалось. Теперь Шалгу спокоен, Нюнням сможет заменить его. Главное, что он видит то, что другим не дано. После того, как Нюнням перейдёт в свой чум, Шалгу научит его, как правильно общаться с духами.

В стойбище они вернулись к закату. Их ждали. Увидев добрую улыбку на лице Шалгу, все обрадовались. Всё будет хорошо. И началось веселье. Взрослые сидели у костра и радостно болтали о пустяках, просто потому, что у всех было хорошее настроение, говорили о разном, о том, что всем известно. Молодые прыгали через костёр и водили хоровод, галдели, смеялись, радовались. Нюнням, не имея ровесников, сидел в стороне, стараясь не попадаться на глаза веселившимся людям. Не потому, что он не любил или не хотел веселья, просто он не умел танцевать и потому стеснялся. Сидел, смотрел, радовался потихоньку, не выражая восторга, как это делали другие. Преданный Чур примостился рядышком, вот его ничего не интересовало! Свернувшись у ног, он спокойно спал, не обращая ни на кого внимание. Только вдруг тихий шорох побеспокоил пса, он приподнял морду, взглянул в темноту и опять уснул. А увидел он Тегу. Она, словно лисица, совсем не поднимая шума, пробралась к охотнику. Если бы не Чур, и не услышал бы Нюнням гостью, увлечённый звуком плясок и гомоном людей.

Тега присела рядом. Они некоторое время сидели молча. Нюнням уже не настораживался в присутствии девушки, не ожидал какой-нибудь проделки. Она, несомненно, изменила своё отношение к нему.

— Ты почему не танцуешь? — тихо спросила она.

— Не умею. А ты почему?

— Не хочу. Я тоже поеду завтра.

— Ладно, — он неопределённо пожал плечами.

— Я рада, что меня взяли. В первый раз поеду.

— Хорошо.

— Ты уже был много раз, всё там знаешь, наверное.

— Знаю. Там увлекательного мало, просто народу разного много.

— Но интересно?

— Да, в первый раз — да. Потом — ничего интересного. Продают, покупают, меняют. Только там река есть, больше нашего Туманшета. Красивая. Сильная.

— Знаю. Бирюса. Мне отец рассказывал. Но я ещё не видела её.

— Вот и увидишь.

— Да. Тебе там невесту будут искать?

— Чего ты привязалась? Кто её потерял, чтобы искать?

— Так говорят. Вот возьми, это тебе. Потом нельзя будет дарить, — и она протянула ему вышитый бисером кисет для табака. И исчезла так же тихо, как и появилась. Нюнням пытался разглядеть подарок, но было уже темно, к огню не пойдёшь рассматривать. Он решил подождать до завтра.

Утром гружёная лодка-илимка отчалила от родного берега. Часть людей находилась в судне, управляя им, а охотники направились пешком по берегу, надеясь добыть к обеду какой-нибудь дичи. Так было всегда, в лодке не хватает всем места, в стойбище только она одна такая, кочевать далеко не приходится, только единственно раз в году на торг. В другое время лодка стоит на берегу. Идти пешком для охотников — дело привычное. Многие даже и не хотят находиться в илимке. Разве что пару веток, привязанных к большой лодке, используют для рыбалки в местах остановок. Так и идут несколько дней, кто пешком по берегу, кто плывёт на судне. Останавливаться на долгое время не нужно, расстояние невелико, только короткие ночёвки на берегу, отдых у костра. А с рассветом снова в путь, через пять-шесть дней все достигнут конечной цели. Уже там будут обустраиваться, ставить чумы, сделают глиняную печку для выпечки хлеба. Будут жить своим маленьким стойбищем. Подождут, пока соберутся все торговцы, если будет возможность, распродадут всё сразу, но так бывает крайне редко, сначала настоящую стоимость никто не даёт, ждут, пока товару прибавится, — и цена упадёт.

Шалгу остановил лодку в небольшой протоке, совсем рядом с устьем. Протока была знаменита тем, что здесь кормилась молодь ельца. Огромные стада мелочи гуляли туда-сюда, никого не боясь.

Род Шалгу всегда останавливался только в этом месте. Все это знали, и никто не занимал чужой уголок. Лодку надёжно привязали, спустили трап. Быстро поставили чумы. Стойбище появилось настолько скоро и органично, что казалось, оно было здесь всегда. Уже дымились костры, над которыми висели котлы, варили пойманную по пути рыбу, заваривали питьё из листьев и корешков. Чай уже кончался, его предстояло купить. Поначалу брали немного, попробовать, насладиться, уже потом, попозже, приобретали столько, сколько нужно на весь год. Так делали всегда.

Нюнням помог установить чум и пошёл на берег Бирюсы. Присев на выброшенное большой водой дерево, он стал вглядываться в набегающие водные струи чужой реки. Сильное течение перекручивало воду так, словно хорошая хозяйка месила тесто, струи подчинялись могучей силе, иногда всхлипывая. Воды Туманшета сразу попадали в это месиво, переплетаясь и постепенно сливаясь с Бирюсой. Уже через расстояние полёта стрелы ничего нельзя было разобрать, где чья вода. Смотреть на неё можно бесконечно. Человек может в ней увидеть всё, что только захочет. Вода примет нужные формы, какие только допустит твоё воображение. Вот бог Есь улыбнулся, словно посмотрелся в реку, как в зеркало. Вот старуха Хоседэм нахмурилась. Вон там Чур пробежал, а здесь старик Шалгу задумался. И всё, всё есть!

Нюнням достал кисет, подаренный Тегой, и стал внимательно рассматривать его, в пути некогда было глядеть: то охотники были рядом, то у костра темно. Он ещё несколько раз ловил на себе взгляды девушки, не понимая удивительное её превращение. Кисет был красив, видно, что мастерица старалась. Хотя одного старания мало, нужно и умение, а вот это есть не у всех, делают все одинаково, но получается по-разному. Кисет был сшит из непромокаемой налимьей шкуры. Шкура, тщательно выделанная, была почти невесомой, но крепкой. Если охотник случайно намокнет где-нибудь, то огниво и табак будут сухими. Это очень важно. Обшит кисет беличьими хвостами и украшен разноцветным бисером. Разглядывая подарок, юноша захотел выкурить трубку. Делать особо нечего, охотиться здесь нельзя, в этих местах добывают себе пропитание местные жители, а вот рыбачить никто не запрещает. Завтра Нюнням возьмёт ветку и поплывёт на другой берег Бирюсы побросать удочку: можно наловить свежей рыбы на обед, и скоротать время приятней на рыбалке, чем болтаться по селению.

С торговлей не торопились. Шалгу узнавал новости и ждал. Кроме продажи, он спрашивал охотников, куда можно идти с подарками для невесты. Но пока ничего достойного не находилось. Вскоре пришёл знакомый, которому в прошлом году Шалгу делал лодку-ветку, ему же старик привёз обещанный лук. Не такой, как у младшего сына, но

очень хороший, таких немного найдёшь во всей округе. Шалгу сидел рядом с чумом и курил как обычно, стоило только отвлечься от работы, сразу одолевали какие-то мысли. Иногда приходили воспоминания из такой далёкой жизни, что казалось, это уже не совсем правда, а просто выдуманная красивая сказка, и в последнее время всё чаще посещали такие «гости».

— Здравствуй, Шалгу, — сказал охотник, присаживаясь к огню. Молча набил себе трубку, кинул уголёк от костра в табак и стал старательно раскуривать. Шалгу кивнул пришельцу. Так они сидели и курили довольно долго.

— Как удался сезон? Всё ли хорошо? — наконец спросил Шалгу. Охотник уже давно ждал этого вопроса, который был предлогом для разговора. Первым начинать общение для него было не по возрасту.

— Всё хорошо. Бог Есь дал удачи. Белки было много, соболь не ушёл в другое место. И мясо было в чуме всегда, лодка послужила на славу: много рыбы поймали. Удача не бросила меня и весь мой род. А у тебя всё ли ладно?

— Всё ладно. Ты помнишь, я просил в прошлый раз узнать про невесту для моего младшего сына?

— Да, я помню. Ходил зимой далеко, к карагасам, узнавал. Есть такая, какую ты просил, но далеко надо ходить. В самое верховье Бирюсы. Те карагасы сами сюда не кочуют. Они спускаются по Уде. Ближе я не нашёл ничего достойного.

— Ладно. Может, это и к лучшему, — сказал Шалгу.

Он снова замолчал, поглядывая на костёр. Гость ещё набил трубку, всё не решаясь спросить про заказ. Но вдруг Шалгу сам сказал:

— Лук я сделал для тебя. Завтра приходи.

— Хорошо, — сказал охотник, едва не подпрыгнув от восторга.

Луки, которые делал старый мастер, славились, поэтому в их качестве не стоило сомневаться. Раз сказал, что сделал, значит, такой, какой надо. Охотник едва смог докурить трубку спокойно. Потом попрощался и пошёл к себе. Ему хотелось бежать вприпрыжку, но он усмирил свой восторг.

Нюнням пришёл после гостя и сел на его место у костра.

— Рыбачил? — спросил Шалгу.

— Немного есть, отдал Кутеге. Приготовит. Или ты хочешь на рожне?

— Поставь чаю.

Уже звёзды мелкими снежинками расхолодили всё небо, плескались в воде, раскачивая реку. Отец с сыном всё ещё сидели у костра и молчали, каждому было уютно в своих мыслях.

«Может, лучше будет сосватать Тегу, — думал Шалгу. — Хорошая невеста выросла. И в чуме у неё будет порядок. И смотрит она на Нюнням непросто, нравится ей сын. И он тоже смотрит на неё внимательно».

Помнит старик: несколько лет назад она часто поддразнивала Нюнням. Шалгу не один раз видел, как сын убегал от неё, чтобы не связываться. А теперь смотри, как всё сложилось! И из своего стойбища. Её родители прибились к ним уже давно. Была там ещё одна семья. В тот год к ним пришёл медведь. Несколько человек погибли, пока убили зверя. Остальные решили, что беда эта не просто так, и ушли из родных мест, путая следы, чтобы старуха Хоседэм больше не посылала к ним хозяина. Их приняли, теперь уже и не помнили, что они пришлые, сблизилась со всеми. В тайге одному прожить очень тяжело, потому и держатся вместе, вместе и заготавливать на зиму рыбу легче, и загонять копытного зверя в ловушки вдвоём не сможешь. Тега не одних кровей, значит, можно и сватать. И далеко не надо ходить. У него была мечта увидеться с дочерью Алгу, которая была замужем далеко в верховье Бирюсы, но, видно, не получится...

Нюнням всё чаще вспоминал Тегу. Она была здесь, в Пеленгутах, но он ни разу ещё не видел её. Наверное, работы много или с умыслом не попадает на глаза. Скоро закончатся торги, тогда опять увидятся, когда будут вместе тащить илимку по берегу.

Рано утром появился старый знакомый за луком, всю ночь он не мог уснуть. Принёс

плату за заказ, он знал, сколько стоит оружие, но за это стоило дать две цены, не нужно жалеть. И охотник не пожалел. Вместе с ним пришли зеваки, всем хотелось посмотреть, за что такую плату дают.

Шалгу с достоинством, но одновременно и небрежно вынес лук из чума, красивые линии вызвали возгласы восхищения. Старик протянул лук охотнику:

— Примерь. Не велик?

Лук мерили шириной рук. Охотник распахнул свои руки, и все увидели, что величина была в самый раз. Взяв из колчана стрелу, охотник с усилием натянул тетиву. Подержал так, отпустил. Ещё раз натянул. Примерялся. Шалгу подал ему колчан и сказал:

— Испробуй. Может, не подойдёт.

Но охотник уже ничего не слышал. Он просто жил в этом луке. Кто-то поставил чурку торцом, чтобы стрелять в неё. Счастливцу пришлось разяснять, куда нужно целиться. Охотник, выпустил стрелу, и через мгновение она хлётко воткнулась прямо в середину чурки. Словно охотник много времени не выпускал оружие из рук! Он подпрыгнул, а потом мелко затопал ногами по земле, до того он был счастлив. Шалгу набил себе трубку табаком и раскурил. Поглядывал на охотника и был доволен, что в таких руках его труды не пропадут. Приятно было отдавать изделие в умелые руки. Радость в глазах старого мастера светилась тёплой улыбкой. Цена ценой, но неумеха может и опозорить его имя. На шум ещё подошли любопытные, а владелец пускал одну стрелу за другой в цель, веселя зевак. Люди курили трубки, цокали языками от удивления, и все радовались за охотника, словно за самих себя. Счастливый владелец лука принёс ещё хороший кедровый корень. Подал Шалгу и сказал:

— Хотел сделать себе трубку, побоялся испортить корень. Возьми, сделай себе. Ты не испортишь. И вот тебе ещё кисет с табаком. Спасибо, мастер, я очень доволен.

— Пусть он тебе принесёт удачу, — сказал Шалгу.

На следующий день прибыли купцы. Торги открыли сразу. Продавали, менялись степенно, соглашались, спорили, но беззлобно. Так продолжалось несколько дней. Каждое утро охотники приносили меха, поделки из бересты и дерева, брали сначала только нужные товары: чай, сахар, табак. Разные материи выбирали женщины. Купленное уносили в илимку, оттуда доставали ещё меха. Шалгу присмотрел для себя только хороший нож, всё другое выберет Кутега.

Товары старик сдавал всегда одному купцу, с ним они были давно знакомы, ему Шалгу делал лук по заказу. Купец на охотника не походил, но плату давал стоящую. И на этот раз заказал оружие к следующему году, взял все товары, не торгуясь. С достойным мастером нужно иметь и отношения достойные! За один такой лук купец покроет все свои недочёты. В другом месте за это оружие дадут три цены, которые он передаст мастеру. Ещё и почёт такой, которого за деньги не купишь.

Вечером Шалгу пошёл в кузницу. Он любил смотреть, как его ровесник Мурда ловко справлялся с металлом, разогревал, стучал, разбрасывая искры. Кузнецом он был неплохим. Мог делать всё, что было необходимо для жизни, железа бы только иметь побольше, его как раз и привозят купцы.

— Посмотри, купил нож себе — понравился, — и Шалгу протянул кузнецу нож.

Тот взял, оценил заточку, попробовал ногтем. Взглянул на свет. Постучал по нему пальцами, послушал, как звенит. Сказал, возвращая нож:

— Ладный. И железо хорошее. Мастер делал. Поди, много шкурок отдал за него.

— Много, — согласился Шалгу.

— Стоит того. Долго служить будет. Ты, я слышал, лук привёз по заказу. Говорили, что хороший лук. Ну и правильно, мастер не будет плохое делать.

— Хороший лук вышел.

— Я хочу заказать у тебя такой же, для сына. Сделаешь? — Мурда посмотрел в глаза мастеру.

— Если сделаю, то привезу следующим летом. Большой ли сын?

— Сейчас придёт, посмотришь.

— Женить хочу своего младшего. У вас есть чум, куда можно нести котёл? — спросил Шалгу больше для поддержания разговора. Он уже решил, в какой чум понесёт подарки.

— Нет, не знаю. Приходи ко мне года через три, подрастёт дочь, — сказал Мурда, улынувшись.

— Ладно. Если не женю до тех пор, приду к тебе.

Шли дни. Уже были проданы товары, но Шалгу не торопился домой. Он всё чаще видел, как Нюнням вместе с Тегой вместе сидят на берегу Бирюсы и разговаривают. И надо было уже нести подарки, но Шалгу всё оттягивал сроки. Он посмеивался про себя над тем, что получилось. У тебя под носом выросла невеста, и до времени никто не заметил. В сваты можно было идти дома, но здесь важнее — пусть будет праздник для всех. Свадьба будет в стойбище, а сватать надо здесь. И он решился.

— Где там у нас подарки для сватов? — спросил он Кутегу.

— Лежат. Есть невеста на примете? Далеко идти? Когда пойдёте? — вопросы посыпались, как искры из костра.

— Пойдём, — сказал Шалгу. — Скоро пойдём. Зови-ка соседку, понесёте котёл.

— Я быстро!

Кутега исчезла ненадолго, привела с собой соседскую старуху.

— Сватать пойдёте Тегу, — сказал Шалгу.

— Правильно, — сказала невестка. — Хорошая девушка выросла. Мы её знаем.

— Вот и сосватайте.

Большой новый медный котёл, доверху наполненный подарками для невесты и её родителей, занесли в чум девушки. Хозяева поначалу растерялись, но потом обрадовались. Поняли, кто к ним сватается: большой почёт для семьи такой жених, один из первых охотников стойбища. Поначалу, как принято, поговорили о молодых годах невесты да ещё о разном, но согласились быстро, боялись, чтобы не ушли сваты. Шалгу сидел возле чума и курил трубку, волновался старик. Был уверен, что не откажут, но червячок сомнения всё же точил его. Когда увидел улыбающихся женщин, понял, свершилось!

Нюнням с Тегой катались на вёрткой ветке вдоль берега быстрой Бирюсы, совсем не догадываясь о свершившемся сватовстве. Молодых никто и не спрашивал. Скажут, что вы жених и невеста, и будь любезен слушаться. Им было уютно и весело вместе, несколько раз едва не опрокинули лодку. В стойбище шли вместе, преданный Чур плёлся позади.

Нюнням никто ничего не сказал вечером. Допоздна он сидел с мужчинами у костра, а рано утром ушёл на рыбалку. Шалгу взял лук, сделанный для подарка сватам, и пошёл договариваться о выкупе, и не к чужому человеку, а к соседу по стойбищу. Посидели, попили чая, сговорились сразу. Лук мастера умел уговаривать любого охотника. Но и Шалгу не пожадничал, хороший выкуп предложил за невесту, половина которого будет отдана ей самой, пусть видят, что не последний охотник в стойбище её жених. Другая половина для родственников. Свадебный пир проведут перед охотничьим сезоном, когда можно будет поставить на стол много мяса. Без мяса свадьба не свадьба. Сваты объявили всем родственникам и невесте сообщили о случившемся. Тега, не ожидавшая такого счастья, едва не упала в обморок, она уже и не мечтала об этом, а случилось чудо. Сколько она просила богов смиловаться, не отбирать Нюнням у неё, и боги услышали. Теперь она просто спряталась за занавеску и тихо плакала, так велико было её счастье, что слёзы всё никак не останавливались.

Нюнням спокойно себе рыбачил, поглядывая на берег. Но Тега не появлялась. Уже и солнце скоро коснётся макушек сосен, уже искры плещутся у кустов на другом берегу реки, становясь всё ярче, а Теги нет, уже не придёт, случилось что-то или помогает матери. Собрав всю рыбу на кулан, вытащив лодку на берег, юноша медленно шёл домой. Он не понимал одного, Шалгу ничего не говорил о сватовстве, а ещё надо было куда-то идти вверх по Бирюсе, уже пора бы. На все походы уйдёт немало времени, а отец не торопится. Может, раздумал? С такими мыслями он пришёл к чуму. Сел на своё излюбленное место, набил трубку. Сидевший рядом Чалык усмехнулся:

— Ты где ходишь? Тебе невесту сосватали.

Нюнням посмотрел на брата, но всерьёз его разговор не принял. Взглянул на Шалгу, но вид отца ничего не говорил. Он было совсем успокоился, брат иногда любил подшучивать. Он был старше на пять лет. Они не были близки из-за возраста — брат и брат. У старшего была уже семья, он заботился о ней, а младший ещё гонял бурундуков рядом со стойбищем.

— Скоро пойдём домой? — спросил Нюнням. — Уже все дела сделаны, можно возвращаться.

— Пожалуй, сделаны, — согласился Шалгу. — Чалык правду сказал, сосватали тебе невесту, будет у тебя теперь свой чум. Рад?

— Чему радоваться? Я невесту ещё не знаю.

— Знаешь. Зовут её Тега, — тихо сказал отец.

Нюнням недоверчиво посмотрел на него, потом на брата. Понял, что это не шутка.

— Нравится невеста? — опять спросил отец.

— Да, — пробормотал сын.

— Ну и ладно. Славное дело получилось. И невестка будет хорошая. Буду теперь с вами жить. Чалык со своей семьёй останется в чуме, а мы поставим себе новый. Вот сделали последнее дело, теперь и отправляться можно.

Отец с братом ушли спать, а Нюнням всю ночь сидел у костра и улыбался. Он представил себе Тегу невестой. Так просторно и легко стало на душе. Теперь больше не надо выдумывать себе лицо жены, оно есть, и очень даже приятное. Чур поднял морду, посмотрел на хозяина и отвернулся от него.

— Ладно, спи, крутишься тут, — усмехнулся Нюнням.

Только под утро юноша уснул прямо у костра, рядом с ним спал его пёс.

10

— Сегодня собираемся, завтра идём домой, — объявил Шалгу своему стойбищу. Люди зашевелились, начали готовиться. Все уже устали находиться здесь, хотелось домой. Больше всего этого хотели Нюнням и Тега. Они ещё не виделись после сватовства. Тега сидела в чуме, занимаясь ежедневными делами, её никто не держал взаперти, но столько новых чувств она не могла нести куда-то, боясь казаться смешной.

Счастливый человек, как и несчастный, сразу бросается в глаза, и каждый начнёт спрашивать о причинах. А разве захочется делиться с кем-то своей радостью, когда ещё и сама не прочувствовала всё до конца? Вот и приходится находиться у себя в чуме. Какие-то мелкие дела не мешают ей думать и наслаждаться счастьем, неожиданно свалившимся на неё. Только в последний день, когда стали собираться в обратный путь, она всё же решила пойти на берег Бирюсы в надежде увидеть там его, того, который нравился ей давно, того, кто скоро станет её мужем, с кем они будут жить в одном чуме. В своём чуме! Тега станет прекрасной хозяйкой, она всё умеет, любую работу знает. В таких мыслях и заботах прошёл день.

Нюнням и его преданный друг Чур сидели на берегу реки. Прощаться с этим местом было и грустно, и радостно. Дома, на Туманшете, всё привычнее, ближе, но здесь тоже неплохо, только жить в Пеленгутах Нюнням не стал бы. Шумно здесь, народ толчётся, проходу нет. Нюнням не любит, когда шумно, от этого быстро устаешь. Но Бирюса большая, можно было бы податься вверх по реке, там потише будет. Хотя Шалгу говорит, что там тоже есть поселения. А далеко-далеко, где синева сливается с зелёной, живут каргасы, люди, кочующие на оленях. У Нюнням там живёт сестра, и он обязательно посетит её, однажды решится и пойдёт к синим горам, туда, где рождаются реки, любую дорогу сможет осилить молодой охотник.

Тега подошла тихо. Даже Чур, уловивший знакомые шаги, не поднял голову. Она присела рядом. Долго молчали, потом она сказала:

— Правда, красивая река Бирюса? Сильная. Но у нас роднее и лучше.

— Да, у нас лучше.

Незаметно они взяли друг друга за руки и так сидели, не подвигаясь ближе. Каждый радовался молча. Разве можно рассказать словами то, что они чувствовали сейчас?

Шалгу сидел возле чума и смотрел на две фигурки на берегу. Солнце клонилось к лесу, раскрашивая в ярко-зелёные тона макушки сосен. В реке, где вода была спокойней, просто отражалось большое яркое пятно на зелёном фоне, а там, где водные струи расталкивали друг друга, это пятно распадалось на множество ярких искр, то расплываясь, то собираясь вновь. Тени от леса стали длиннее, постепенно приближаясь к противоположному берегу, вытесняя солнце. Искры на воде из ярко-светлых превращались в огненно-красные и расплзались в прибрежных кустах, потом в последний раз сверкнули и исчезли. Только две фигурки, окрашенные заходящим солнцем в красное, выделялись на фоне воды, вселяя надежду на новый день.

Постепенно зашло солнце, захватив с собой все яркие краски, оставив только серое и тёмно-зелёное. Но двое ещё долго виднелись на берегу, постепенно исчезая в медленно наступающих сумерках.

На мгновение наступила полная темнота, пока не набрали силу вспыхивающие звёзды. Шалгу один сидел у костра и смотрел на огонь, зрелище никогда не надоедавшее. Легко на душе было у Шалгу. Сделано самое главное дело. Теперь у младшего сына будет свой чум. Теперь станет спокойней старой Чннга, которую уже давно забрала к себе Хоседэм, он выполнил всё, что надлежало отцу, осталось дать сыну последние знания, которые предназначены не для всех. Есть ещё силы у Шалгу, успеет научить Нюнням многому. Оставит после себя достойную замену в стойбище. Уже сейчас сын первый в охоте, но настанет время, когда станет первым во всём. В стойбище нужен человек, на которого можно положиться в любом случае. Хорошо бы иметь шамана, но его нет поблизости. Много умеет делать Шалгу, обряды при рождении детей и похоронах можно проводить и без шамана. Просить у духов удачи на охоте, камланию и чтению заговоров — вот чему будет учить Нюнням отец, вот какие знания передаст он ему.

Короткая летняя сибирская ночь стала уже гасить звёзды, а Шалгу всё сидел, вспоминая прошлое. Мало что изменилось в жизни, только годы забрали силы да выросли помощники. Теперь будет всё ладом, у каждого есть своя тропа, по которой нужно идти самому и тащить гружёную нарту. В этом и есть смысл, чтобы донести свой груз и ничего не растерять по дороге. Шалгу потерял жену. Его ли это вина или нет, кто ему скажет? У кого спросить? Но хоть так и случилось, Шалгу не бросил нарту, а тащил её до конца. И вот выполнил последнее, что должен был сделать как отец.

Он набил очередную трубку, улыбнулся. Нет, не всё выполнил. Свадебный пир, на котором будет присутствовать всё стойбище, ещё не провёл. Но это только радость, разве на пиру бывает плохо?

Рассвело. Дымились последние костры у чумов, которые скоро начнут разбирать. Когда лёгкий утренний ветерок смахнул туман, накрывший Бирюсу, Нюнням и Тега, взявшись за руки, пошли к стойбищу.

После обеда тронулись в обратный путь. Начинался месяц нельмы — белорыбицы.



МИХАИЛ БАЗИЛЕВСКИЙ



Где сливаются две глубины

5 марта 1953 года

Весть истошно стучала в висках,
Весть ревела белугой,
Трепетала, как птаха в силках,
Над страной, над округой.

И, срастаясь тенями, листы,
Как живые, дрожали
И нестёртую грань маеты
Пустотой окружали.

И рука, соскользнув со стола,
Покачнула равнину
И, как луч на закате, вошла
В непокорную глину.

Но осталась в озябшей стерне,
В цепенеющем прахе
Только память о сгинувшем дне,
О несгинувшем страхе.

БАЗИЛЕВСКИЙ Михаил Сергеевич. Родился в 1974 г. в Иркутске. Окончил исторический факультет Иркутского государственного университета. Работает в Музее истории города Иркутска. Стихи печатались в журнале «Сибирь».

Сказание о немецкой бутылке

Она осталась в русском чистом поле...
Храня её от памяти людской,
Ей время, приоткрывшись поневоле,
Вложило в горло временный покой.

Но горло говорить ещё умело.
И дожидалось часа своего
В чужой земле оставленное тело,
И мрак стоял над именем его.

Здесь пили «за поверженного зверя».
Восточный ветер глотки обжигал.
Вставала зверем каждая потеря,
Но Ганс в те дни потери не считал.

Он землю брал, цены её не зная.
Хлестал сквозь пальцы яростный огонь.
И травы проходили, вырастая,
Сквозь горло и застывшую ладонь...

Сменялись годы. Травами земными
Хранимые от памяти людской,
Они восстали, и восстали с ними
Их тени, потерявшие покой.

Одна легла, к стеклу ребром прижавшись.
Другая — возвратилась в чернозём.
И только травы, в поле задержавшись,
По-прежнему молчали о былом.

* * *

— Эта ноша тебе по силам?
Эта ноша тебе — легка?
И ответила, как спросила:
— ...если нет его — мужика.

— Если нет его... — по оврагам
Билось эхо, пронзая тьму.
И шагал через тьму бродяга,
И служила она ему.

Чем служила? О том не знали
Ни овраги, ни дальний звон.
Только руки чего-то ждали,
Так, как ждут они испокон.

В поднебесье неслись ухабы,
Да мелькала полынь-травя.
Бился век в подоле у бабы,
Так, что кругом шла голова.

Бился век. И над ним тревожно
Бились руки живой волной.
И казалось: да как же можно
С веком ей вековать одной?

Как безумная, вековала.
И сходились над ней века.
И земля перед ней лежала —
Бесприютна и широка.

* * *

Дыханьем касаясь поникших трав,
В упругое тело сгребая дух,
Скулой к очерствевшей земле припав,
Лежит человек, напрягая слух.

Так, что же ему открывает век,
Калёные веки над ним сцепив:
Настойчивый гул непочатых рек?
Бестрепетный лепет несмятых нив?

Поди-ка, попробуй о том узнать,
На тропку свернув «о добре и зле»,

Когда разливается тишь да гладь
По мягкой, укутавшей путь золе.

Поди-ка, ступи от ночной росы
До утренней меты последний шаг,
Когда вдоль шеренги уселись псы,
Как будто от века сидели так...

И вновь по руке пробегает дрожь
Безмолвно лежащей под ней земли.
И свет неминуемый так похож
На тот, что когда-то блуждал вдали.

* * *

На волну наступает волна...
Это действо, во все времена
Принимая обличье свободы,
Человечеству будет и впредь
В раскалённые очи смотреть
Там, где сходятся в схватке народы,

Так над прахом вставали сыны
И, коснувшись седой старины,
Поводили невидящим оком.
И срывался с иных берегов
Чей-то зов, откликаясь на зов, —
Слово слышалось в поле широком:

Где на путь натывается путь,
И на оба нельзя не взглянуть,
Застывая меж ними в молчанье,
Где, волной размыкая уста,
Отпадает от них немота,
И в ладонях трепещет преданье...

— Это рати, как воды, грядут
И великую тяжбу ведут —
В день закона и в час благодати.
— Видишь, тьма над востоком горит?
Слышишь, звон над равниной парит?
Слышишь? Это сшибаются рати.

* * *

Не лебедей это в небе стая.

М. Цветаева

А на завтра души их венчали
С ними рядом вставшие века.
Что там было? Лебеди кричали.
Криком их наполнилась река.

Шли сыны, испрашивая воли
У припёртой к зареву земли.
Лишь печаль осталась на престоле,
Да престол тот воды унесли.

Криком их наполнились овраги.
Ночь звездой качнулась под уклон,
И над степью полыхнули стяги...
А над Доном занимался звон...

А метелям — не было печали.
И несло, несло во все концы:
— Что ж так долго лебеди кричали?
— Что ж так мало пели бубенцы?

* * *

Кому подмогой нежные слова,
Когда на стены лезет татарва
И дым несёт над выжженным посадом?..
На зорьке, помнишь, вышла со двора...
И тишь такая... Помнишь ли?.. Вчера
Земля тебе не представлялась адом.

А нынче, глянь, гостей, как саранчи.
А нынче — стань дыханием свечи
И горькой медью разлетись над сводом...
Пока закат не выпадет из рук,
Он — соглядатай многих ваших мук.
А дальше... что ж, своим ступайте ходом...

Почто невесел, брат мой Коловрат,
На горнем месте у Господних врат?
На этом месте не ищи Рязани.
Захочешь ли на север повернуть —
Иди! А жёнам свой указан путь —
Они до Бога доберутся сами.

* * *

...Так зачем же теперь приплыл —
Отщепенец и самозванец —
В эту местность родных светил?
Набежавшей волны посланец —
Что ты ищешь?
И что найдёшь?
Ни жены у тебя, ни сына.
Только в теле — сухая дрожь,
Только в пальцах застывших — глина...
Значит, сколько ни тки узор,
Ни блуждай по воде стоячей —
Всё же в берег уткнётся взор,
Будь ты трижды, старик, незрячим?

Значит — в берег... Теперь он — твой.
Принимай же свои владенья.
Безутешно, за слоём слой,
Отгибая покров забвенья,
Что увидишь? Изгиб руки?
Нежный луч над парящей бровью?
Уж себе-то, старик, не лги,
Помня долю свою воловью.
На закате не зелен куст,
Затерявшийся в тусклом свете.
Этот остров вовеки пуст —
Только быть не тебе в ответе...
Так зачем же теперь приплыл?

* * *

Надменно качнувшись к массам,
К прожжённым столам и стульям,
Он снимет сейчас гримасу,
В кашне и слегка сутулясь,
Пройдёт, растворяем всеми,
В блуждающий сумрак зала.
И, с медью сливаясь, тени
Сойдутся, чтоб ночь звучала
Закатом седой Европы.
И, слушая шелест Листа,

Её рассекут окопы,
Как боль рассекает лица.
И взгляд соскользнёт нелепо
С двери, с переулка, с крыши
В мазурские воды, в цепи,
В себя. И не станет тише.
И день, загребая тучи,
Ворвётся, такое дело,
Глаза, как воронки, пуча,
В раскрытое настезь тело.

* * *

Качнёт потомок буйной головою...

Ю. Кузнецов

Восстал потомок страшных лет России —
Расколото нутро.
На крик души наброшены стихии.
Надломлено перо.

Ведь надо ж было этакое тело —
Историю горы —
Сорвать с горой и бросить неумело
В бездонные миры.

Каким узлом, какими полюсами
Завязана стезя?
И рухнул он, окутанный слезами.
Поднять бы, да нельзя.

* * *

Я был там, где сливаются две глубины,
Где над чашей прозрачные речи слышны,

И стремление волны узнают облака,
И тенями ложатся на плечи века.

Я был там, где сплетаются правда и ложь,
И нахрапом ни эту, ни ту не возьмёшь,

И со страхом смотрел на седины былин,
Как былинка — на тёмные скулы вершин.

Я отыскивал в чуде земную печаль,
И на землю тогда опускался февраль.

А когда в немоте застывала волна,
Надо мной поднималась веков глубина.

* * *

Девочка играет на песке.
Солнце разливается над миром.
Накрепко зажаты в кулачке
Земли, обнесённые пунктиром.

Девочка играет на песке.
Ветка обеспечивает щебет.
Времечко в укромном уголке
С кредитом уравнивает дебет.

Девочка играет на песке.
Улица размахивает флагом,

Силясь разобраться в узелке
Слов, переползающих зигзагом.

Девочка играет на песке.
Глина, исполняющая сальто,
Помнит, накрывая, о цветке,
Но не забывает и о сальдо —

С пальцами, без дрожи, на виске,
С лицами, вместившими раскаты.
Девочка играет на песке
С «доченькой», и обе угловаты.

* * *

День, будто вкопанный, стоит
Над расплескавшимся пожаром.
И что-то важное сулит,
Катясь по шумным тротуарам,
Листвы осенняя молва.
И, в плеске раннего круженья,
С огнём сливаются слова,
Искавшие преображенья.

И всё под сенью этих крон
Охвачено порывом света.
А свет и сам заворожён
Тем, что не требует ответа
На возглас: «Что это? Когда
Успело чудо совершиться?»
И день, явившийся сюда,
Стоит, боясь пошевелиться.

* * *

В кармане витийствует ветер. И только весна
Ещё обещает, вернее — стоит на пороге.
Очнёшься — звезда окаянная в небе слышна.
Очнёшься — и ты безвозвратно у мира в залеге.

Как воздух весом от навязчивых гулких шагов.
Как всё же они неотступно на что-то похожи.
И дело не в масти упавших на землю снегов,
И дело не в том, что «когда-то мы были моложе».

Слова... Не они ли упёрты в такие пласты,
Что, сколько ни правь, не добраться до их оснований?
Так время тебя донесёт до чужой немоты
И слепком оставит в безбрежье чужих очертаний.

* * *

А голосу не сбиться до щедрот...	Над ними, где не думают о смене
В опальных снах, в пыли полуподвальной,	Эпох, погод, одежд, где черед
Где судей сброд, где мучеников сброд,	Событий не приносит обновленья —
Где тень от тени буковки начальной	Там, в глубине, не ведая стыда,
Её изгиба, шороха её	Он вызреет до эха, до прозренья,
Не узнаёт, не помнит, где ступени	До буквицы, до звука — голос тот,
Ведут не вверх, где высится быльё	Который миру имя подберёт.

* * *

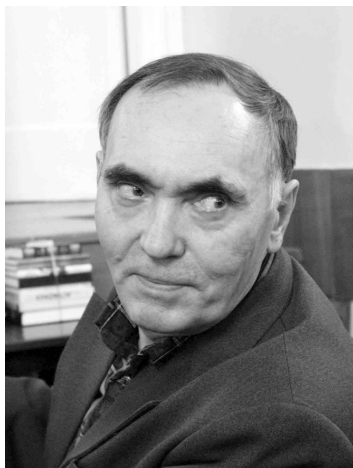
А круги продолжали ползти по воде.	Кто-то новый в ночи говорил о звезде.
Остывали века, изживались пространства.	Раскрывались ладони и хлопали двери,
И ничто не могло обрести постоянства.	Принимая дары и вмещая потери...
Лишь круги продолжали ползти по воде.	А круги продолжали ползти по воде.

* * *

Не озарился пригород, когда	И время, сохранившее свой бег,
Над ним лучи расправила звезда	Для отыскавших временный ночлег
И воссияла недоступным светом.	Не обрело окраску приговора.
И к свету не шагнули пастухи,	
И камни — молчаливы и глухи —	И в двери слуги грозного царя
Не двинулись. Но стоит ли об этом?	Не постучали. Проще говоря,
	Всё обошлось. Лишь кто-то по приметам,
Не пробудились жители. Их сон	По затеям рассеянным искал
Ничто не потревожило: ни стон,	Глоток воды, как некогда — у скал —
Ни гул, ни плач, ни вой, ни голос хора.	Его народ. Но стоит ли об этом?



АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ



Ключи от рая

МАЛЕНЬКАЯ ПОВЕСТЬ

Поход на речку Безымянку

Последним моим открытием в окрестностях нашего селенья была водяная мельница.

Годам к десяти-двенадцати я вместе с друзьями, неутомимыми землепроходцами, уже измерил вдоль и поперёк все поля, леса и косогоры. Побывал в самых отдалённых и запovedных местах — в Уджейских логах с их топкими моховыми болотами, на Скрипкином озере, славном утиными базарами, на горе Градунчихе, откуда в ясный день видны рай-центр Каратуз Казачий и гольцы Саян за ним, даже летом сверкающие ослепительно белыми снегами. Узнал все крестьянские работы — как пашут и жнут, как мечут сено, доят коров, стригут овец и обьезжают молодых коней. Постиг тайны многих редких ремёсел, заглядывая в кузню и столярку, в шорню и пимокатку.

ЩЕРБАКОВ Александр Илларионович, коренной сибиряк, родился в 1939 г. на юге Красноярского края в селе Таскино в крестьянской семье. В различных вузах окончил факультеты истории и филологии, экономики и журналистики. Работал учителем, корреспондентом краевых и центральных изданий, возглавлял Красноярское отделение Союза писателей России. Александр Щербаков — автор более 20 книг, в т. ч. прозаических: *«Свет всю ночь»*, *«Деревянный всадник»* (Красноярск, Москва), *«Месяц круторогий»*, *«Душа мастера»* (Красноярск), поэтических: *«Трубаچی весны»* (Москва), *«Глубинка»*, *«Хочу домой»*, *«В краю снегирином»* (Красноярск). Печатался в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Уральский следопыт», «Сибирские огни», «Сибирь», «День и ночь», «Дальний Восток» и др. Заслуженный работник культуры РФ. Лауреат краевых премий, победитель Международного конкурса им. А.Н. Толстого на лучшую книгу для юношества (проза), дипломант Московского международного конкурса поэзии «Золотое перо». Живёт в Красноярске.

Но мне долго не удавалось ознакомиться с мельницей. Она располагалась не просто далеко, а в местах, негласно «принадлежавших» пацанам с другого конца села. Стояла на небольшой, но быстрой речке Безымянке, которая только начиналась на нашенских землях, а далее текла к деревне Худоноговой, в соседний Минусинский район. В общем, мне с моими приятелями туда не лежала дорога. Побывать там с отцом тоже не получалось. Как и многие мужики, он обычно ездил на мельницу осенью, после уборки хлебов, чтобы до ледостава намолотить «новины». Или весной, когда мельничный пруд распирало от полых вод и жернова крутились без перерывов. Но меня в эти поры держали школьные занятия.

И всё же мечта моя сбылась. Припозднившись с весенним помолом, отец засобиравшись на мельницу июньским летом, когда я уже гулял на каникулах, вольный, как птица, и сам пригласил меня с собой. Сборы он начал с вечера. Я вызвался помочь ему проветрить пшеницу. Двумя руками крутил нашу колченогую сортовку, менял ведра под желобками для зерна и охвостьев, держал мешки, в которые отец ссыпал очищенную пшеницу. Их получилось целых два, да ещё с гаком. И когда наутро меня разбудили, чтобы ехать на мельницу, то я увидел, что этот гак — в полмешка с лишком — отец нарочно поставил в дрожки поверх пузатых кулей и подмигнул мне поощрительно:

— Твой привесок. От прошлогоднего заработка.

И хотя я понимал воспитательные уловки родителя, мне было приятно увидеть свой пай, приготовленный к помолу. Тем более, что я и впрямь минувшим летом неплохо потрудился на сенокосе — возил копны на старой кобыле Мухортухе и заработал двадцать три трудодня и сорок соток. Рядом с ним, с этим привеском, и усадил меня отец, когда взял в руки вожжи, чтобы тронуться в дальний путь, к Минусинской грани.

Мы проехали вдоль всего села. Я очень сожалел, что мои друзья ещё дрыхли в этот утренний час и не видели меня, восседавшего на мешках вроде «медвежонка на плоту» в городошной фигуре. Как бы они позавидовали мне, ехавшему на водяную мельницу! Неважно, что многие из них уже бывали там — поездки на мельницу всегда оставались желанными и почётными.

Спустились под Шелехову гору, зимой служившую катушкой, не спеша одолели долгий Петуховский тянигус и выехали за поскотину. Здесь начиналась уже как бы другая страна, подстепная, называемая Минусинской котловиной. И если прежде, равнодушно скользя глазами по знакомым дворам и деревьям, я было начинал позевывать, то теперь разом оживился, заворожённый панорамой, открывшейся перед нами. Отсюда, с возвышенных пашен, видно было всё наше селенье, с сизыми дымками над крышами, с рыжей горбушкой Татарской горы за огородами, с голубой змейкой Тиминой речки у её подножия, с белыми коровниками у околицы. И все это — в окружении зелёных рощиц, две из которых, ближе других шагнувшие к домам, были сельскими кладбищами — «мирским» и «староверским».

Видом на наше село мне доводилось любоваться и ранее, с той же Татарской горы или с пожарной вышки. Но, кажется, так широко и величаво оно смотрелось только с этих полей, через которые уходили от нас самые дальние и влекущие дороги — к реке Тубе, оглашаемой настоящими пароходными гудками, к старинному городу Минусинску и на колхозную водяную мельницу. Эта третья дорога пролежала под Мельничным маяком, давшим название всему здешнему урочищу, которое отличалось хлебобородностью полей и грибными березниками, и рясной клубникой на залежах между ними. Но хлеба ещё были всходами, клубничники на солнечных полянах лишь начинали цвести, а грибами в лесу вообще не пахло, потому всё моё внимание было отдано маяку. Прежде я видел его только издали, он чернел на горизонте буквой «А». Но теперь, когда мы подъехали к нему совсем близко, маяк удивил меня своими громадными размерами. К тому же оказалось, что он стоял не на двух, а на четырёх ногах из кантованных брёвен, имел не одну, а несколько поперечных обвязок и завершался шпилем, на котором в этот миг сидела крупная крючконосная птица, похожая на коршуна.

— Канюк! — махнул отец кнутовищем в её сторону. — Сусличат высматривает.

И тёмно-бурый канюк, словно в подтверждение своего прозвания и ремесла, встрепе-

нул, снялся со шпиль, пронзительно заканючил «ки-и-и», «ки-и-и» и поплыл над полем, изредка останавливаясь в полёте и тряся крыльями.

Но вот изумрудные поля кончились, дорога пошла по лысоватому холму, и вскоре перед нами открылся широченный лог с крутым спуском. Над узкой дорогой нависал глинистый обрыв, изрытый норками береговушек. Внизу ложбину пересекала высокая плотина, подпиравшая пруд, истоки которого уходили в ивовые заросли. На другом, более пологом берегу зеленел берёзовый лес с вкраплением черёмуховых куртин. А у самой плотины возвышался башней бревенчатый амбар с крутой крышей. Верхнюю часть его соединяло с плотиной подобие мостков на сваях, а к нижней, прямо в раскрытые двери, вела извилистая дорога. От башни исходил шумный плеск воды и словно бы чьё-то частое дыханье.

— А где водяное колесо? — спросил я, сообразив, что высокий сруб и есть мельница.

— Там, за амбаром, — махнул отец.

Он приостановил лошадь, взял стежок, лежавший в телеге, и вставил между спицами задних колёс.

— Притормозим, чтоб Карька воз не растрепал.

И мы начали спускаться к мельнице, оставляя на красноватом суглинке торные полосы от пошедших юзом колёс.

Внизу отец растормозил телегу и повернул к мельничному амбару. Из него в ту же минуту вышел бородатый мельник Евсей Белых, наверное, чтобы посмотреть, кого Бог послал. А я, движимый любопытством, соскочил на ходу с дрожек и помчался вдоль плотины к висячим мосткам, соединявшим её с верхом амбара, за которым скрывалось таинственное мельничное колесо.

Тайна водяного колеса

Первым, что поразило меня, был длиннющий деревянный жёлоб со стремительным потоком, словно бы закрученным в сверкающий жгут. Поток этот брал начало у приоткрытых вешняков — дощатых заслонок, выпускавших воду из пруда. Затем входил в покатый жёлоб, пересекал плотину и далее, все набирая скорость, летел в нём, подвешенном на столбцах, уже как бы по воздуху, покуда не обрушивался на огромное деревянное колесо — по касательной сверху.

Водяное колесо оказалось даже громадней, чем представлялось мне из восторженных рассказов приятелей, видевших его. Оно было как бы двойным — состояло из двух параллельных ободьев, соединённых поперечными корытцами. Наверху они мгновенно наполнялись водой, бившей из жёлоба, и уходили вниз, крутя таким образом колесо. Внизу вода выливалась из них, снова превращалась в речку Безымянку и убегала в тальники.

Этот приводной механизм нашей мельницы, игравший на солнце радужными брызгами, так восхитил меня и грубой простотой, и тонкой хитроумностью, что мне захотелось немедленно поделиться с кем-нибудь своим открытием и нахлынувшими чувствами. И тут, будто по заказу, из верхней половины амбара выбежал на висячий мосток долговязый Мотька Белых и помахал мне рукой. Глаза его хитро поблёскивали, а мятые вихры говорили о том, что их хозяин недавно оторвался от подушки и теперь ищет интересного занятия. Мотька учился двумя классами старше меня, а главное, жил в другом конце села и потому не мог быть моим близким приятелем. Но здесь, на далёкой и таинственной мельнице, почти на необитаемом острове, я искренне обрадовался его появлению. Мотька тоже довольно дружелюбно встретил нового паломника в своих владениях.

— Ну, и как тебе колесо верхнего боя? — явно козыряя познаниями в мельничном деле, спросил он.

— Сильна махина, — ответил я, для солидности сдерживая эмоции.

— А снизу не видал? Во где моща-а! Пойдём — покажу.

Охотно согласившись, я направился было по плотине к дороге, что низом вела к ам-

бару, за которым крутилось, обливаясь водою, мельничное колесо. Но Мотька предложил более прямой путь:

— Иди за мной! — коротко бросил он, сопроводив команду округлым, «пропеллерным» взмахом руки.

Командирский тон его не очень понравился мне, но я невольно повиновался ему. Примушества Мотьки, мельникова внука, который чувствовал себя здесь как дома, были неоспоримы. К тому же мне не терпелось поскорее увидеть все чудеса мельничного хозяйства. Я молча последовал за Мотькой в амбар. Его верхнее помещение, освещаемое подслеповатым окошком, оказалось довольно сумеречным и к тому же без потолка. Вместо него сверху нависали нагие стропила, решётины и драницы крыши с почерневшей от времени изнанкой. Полом и перекрытием между этажами служил настил из плах. Сбоку в нём виднелся лаз с убегающими вниз ступеньками лестницы. Туда-то и поманил меня Мотька всё тем же круговым взмахом.

Однако на сей раз я не подчинился ему. Моё внимание привлёк шумно крутившийся жёрнов, похожий на гигантскую патефонную пластинку. Над ним нависал конус дощатого бункера. Из него сочилась струйка пшеницы. Я непроизвольно рванулся к ним. Мотьке пришлось развернуться у лаза и последовать за мной.

— Видишь, как верхний жёрнов бежит? Его так и зовут — бегун, — не преминул и тут прихвастнуть осведомлённостью мой приятель. — А нижний лежит, значит — лежак. Дед ещё называет его почвенным.

Как замороженный, смотрел я на бегущий и лежащий жернова, вдыхая хлебный дух, источаемый ими, на трясущийся под бункером ящичек, который из дырки сбоку постреливал порциями пшеницы, точно угадывая в круглое отверстие посередке бегуна.

— Это дозатор, по-нашему трясун. Сам отмеряет сыпь зерна, чтоб ровно шло в размол через вон тот глазок в жёрнове.

Да я уж и без Мотькиных подсказок догадался, что к чему. Разобрался во многих хитростях этой установки с бункером-ковшом и жерновами в кожухе, похожем на обечайку сита. Мне было только непонятно, как этот камень-бегун весом, пожалуй, в полтонны мог столь легко крутиться на подобном камне-лежаке, шероховатом и пористом.

— Но они ж не плотно прижаты друг к дружке, — пустился в пояснения Мотька, наслаждаясь глубиной моего невежества. — Бегун-то как бы подвешен, посажен на вертикальную ось и крутится вроде юлы, понял? А лежака только чуток касается, чтоб зёрна растирать.

Мотькину лекцию прервал мельник. В мучной пыли, с белесой бородой дед Евсей Белых, вполне похожий на свою фамилию, на удивление проворно взбежал по лестнице наверх. Заглянул в бункер, опорожнившийся до донца, повернул трясун из наклонного положения в горизонтальное. Зерновой ручеек, и без того заметно оскудевший, пресёкся вовсе. Но бегун по-прежнему «бежал», домалывая остатки заброшенных в глазок зёрен.

— Скоро вашу пшеничку запустим, — добродушно кивнул мне дед Евсей.

И действительно, я тотчас увидел в дверной проём, что на плотине перед мостками остановился наш Карька с телегой. Отец, развязав первый мешок, взвалил его на спину, трусой занёс в амбар и прямо с плеча высыпал в бункер.

— Заскребу мучной ларь да будем пускать, — сказал ему мельник и так же шустро затопал по лестнице в нижнюю половину амбара.

За ним последовал и Мотька. Я тоже решил не отставать от него.

Здесь, в низу амбара, под полком из плах, было заметно светлее — солнышко сияло в боковое оконце да ещё добавляли свету настёжь раскрытые двери, которые точней бы называть воротами. И я с любопытством новичка стал разглядывать разные столбы и перекладины, пересекавшие помещение. Но с особенным вниманием — крутящийся вал водяного колеса, который выходил сюда и завершался другим, сухим колесом, намного меньшим, однако тоже внушительным. С боку его, по ободу, торчали зубья-штыри. Они-то и вращали шестерню «веретена», на котором «сидел» сверху бегун.

Видимо, оценив мой неподдельный интерес к мельничному хозяйству, дед Евсей решил прийти на помощь:

— Ну, постиг мудрости нашей механики? — прищурившись, спросил он. — Колесо — за цевку, цевка — за жёрнов. Всё просто. Прижму я рычажком бегун к лежаку, как ладошку к ладошке, — и они растирают зерно в муку. Смикитил? Тогда отгадай загадку: без рук, без ног, а лапшу крошит?

— Мельница! — обрадовался я собственной сообразительности.

— То-то! — рассмеялся дед Евсей и гладким, как кость, деревянным совком стал зачищать в ларе мучные остатки.

А потом выпрямился и крикнул отцу, ждавшему наверху его команды:

— Хозяин, отпирай трясун: пошло твоё мелево!

И когда из дощатого желобка, круто сбежавшего сверху, в ларь потекла белая мука, он стал устанавливать тонкость помола, подбивая одной рукой деревянный рычаг, а другой лоя и ощупывая мучной ручеек.

В это время спустился по лестнице отец. Подойдя к ларю, он тоже подставил ладонь под мучную сыпь. А дед Евсей и меня подманил пальцем и подтянул мою ладошку под белесую струйку. Я с удивлением ощутил, какая она тёплая, шелковистая, как вкусно отдаёт хлебной корочкой и ещё вроде бы землёй, нагретой солнцем, и спелыми колосьями, когда они ходят волнами под набежавшим ветерком.

— Ну, и как помол, наследник? — почти серьёзно спросил дед Евсей, положив мне руку на плечо.

— Как пух! — воскликнул я.

— О-о, тогда намелем с примолом. Вставляй обруч в мешок да бери пест в руки.

Мотька всё это время стоял рядом, но в разговоры не вступал. Он снисходительно наблюдал за мною, давая мне возможность освоиться в мельничном мире. А потом помогал держать мешок с распёртой горловиной, когда отец ссыпал в него совком пышную муку и тромбовал деревянной толкушкой.

Впрочем, столь рутинное дело нам скоро наскучило, и, заметив это, отец отпустил нас на волю:

— Погуляйте. Сам справлюсь.

Возражать не было резона. Мы оставили ему мешок и вышли на зелёный простор. После амбарных полусумерек я невольно зажмурился от яркого света. Время уже приближалось к полудню, солнце поднялось высоко и заметно пригревало. На травянистой луговине, что расстилалась перед плотиной, пасся наш Карька, привязанный за вожжи к телеге. Рядом распрягал гнедого Рыжку из третьей бригады кузнец Фока Мамаев, тоже прибывший с «мелевом». А с горы осторожно спускался на вороном конторском Грюмиче ещё один помолец. Похоже, на мельнице становилось завозно.

Ключи от рая

— Пошли вниз по речке! — крутанул рукой Мотька и потрусил рысцей к Безымянке.

Я охотно последовал за ним, заранее готовый к любому маршруту, ибо всё здесь было мне в новинку и в диковинку. А на Безымянке, как оказалось, меня ждало ещё одно настоящее открытие.

Возле этой маленькой, но стремительной и говорливой речки, которая словно бы всё никак не могла успокоиться после бурного падения с верху плотины на мельничное колесо, Мотька предложил разуться. Мы сбросили башмаки и закатали штанины. Мотька первым ступил в журчащий поток, я — за ним. Вода, видимо, подогретая ещё в пруду, оказалась не слишком холодной и довольно прозрачной, а песчаное дно с мелкой галькой — даже приятным своей упругостью. Мы сперва пробежали немного, разбрызгивая до берегов воду босыми ногами, потом пошли шагом, мирно беседуя.

Удовольствию от шествия бродом способствовали и живописные берега, почти сплошь поросшие талиной, вербой и черёмухой. Местами они смыкали над речкой свои

ветви, и мы их, как в джунглях, разводили руками, заодно разгоняя зелёными опахалами пока редких комаров. Лето только начиналось. Сквозь молодую траву проглядывали жухлые остатки прошлогодней. Но тем ярче пестрели на этом фоне первые цветы. На смену перераставшим синим медуницам и золотистым петушкам пришли оранжевые жарки, заполонившие всю урёму. Черёмуха уже отцвела и облетела, но прогалины земли под её кустами и широкие листья лопухов и пучек вокруг были густо усыпаны белыми лепестками. От них ещё веяло черёмуховым запахом. Где-то вдаль куковали разом две кукушки.

Когда извилистая Безымянка по очередной излучке привела нас к самому основанию склона, покрытого смешанным лесом, Мотыка резко остановился и указал на него рукой:

— Глянь, там ещё снег!

И я действительно увидел возле кущи берёз в тенистой ложбинке длинную лепёху блеклого снега. Возле неё темнели лужицы воды.

— Я щас! — крикнул Мотыка и, неожиданно выпрыгнув на берег, помчался — босиком! — прямо к этому остатку зимнего сугроба.

Сначала я не понял, чем он так привлёк его внимание. Экая невидаль — снежный обтаек в июньском лесу, да на северном склоне, подумалось мне. Но Мотыка вскоре вернулся с целым снопом толстоногих золотых петушков.

— Они там только расцвели, поздышами растут на холодной-то почве, — сказал он. — Бери, угощайся.

Мы присели с ним на прибрежную коряжину и стали уплетать сочные «петушинные ножки», приятно пахнувшие талой водой и мятой, а золотистые «гребни» — разлапые цветки — бросали в речку, и она стремительно уносила их вдаль.

— А ты знаешь, откуда петушки на земле? — вдруг спросил меня Мотыка.

— Как это откуда? — пожал я плечами. — Из земли, как всякая трава.

— А вот и нет, они — с неба.

— Мели, Емеля...

— Истинный крест, не вру. Бабка рассказывала. Они же с дедом настоящие староверы, читают старинные божественные книги, а там всё, брат, сказано.

— И про петушки, что ли?

— Ну, это у нас их петушками зовут. Да ещё первоцветами. А вообще-то называются они — ключи весны. И есть о них такое предание.

И Мотыка мне рассказал, что первому ученику Иисуса Христа апостолу Петру были доверены ключи от Царствия Небесного. И вот однажды, когда он, как обычно, стоял на страже у райских ворот, ему сообщили верные люди, что кто-то раздобыл поддельные ключи. И хочет попасть в рай без разрешения. Без Божьего суда. Обманом! Апостол хотя и всякое повидал на своем веку, но известие о столь подлой затее наглого грешника так поразило его, что он в растерянности выронил связку золотых ключей от рая. И сорвались те ключи с неба, и полетели от звезды к звезде, а потом и — к нам, в сторону Земли. Пётр, конечно, спохватился и послал вдогонку ангела. Но пока тот пересёк все небеса, весь космос, связка уже упала на Землю и глубоко воткнулась, врезалась в неё. И вот на том месте вырос жёлтый, золотистый цветок, похожий на ключи апостола.

Я с удивленьем смотрел в рот приятно, и веря и не веря ему.

— А ведь он и взаправду ключиками смотрится, а? — потряс Мотыка в воздухе петушком-первоцветом, держа его за ножку, и мне действительно показалось, что золотые «ключики» цветка, подрагивая, тоненько зазвенели.

Мотыка закончил свой рассказ: ангел всё же нашёл и забрал с собой на небо ключи Святого Петра, но остались на земле их отпечатки. Чуть приметные. Из них-то каждый год и вырастают вот эти цветки, ключи весны, которые отпирают людям двери к тёплой погоде, солнечному лету, а ещё — к здоровью. Эти цветы хорошо помогают от боли в суставах, от сердца, от детской золотухи, и всегда держат в кладовке пучок сушёных ключиков весны.

— Так что мы с тобой, брат, не только подкрепились ими, но и подлечились. А теперь — вперёд, на Худоногову!

Голенастый Мотыка спрыгнул в воду и бодро пошагал дальше вниз по речке, вдоль ивовой аллеи, я — за ним.

Усачи плавают стоймя

Опахала ветвей, полные каких-то липучих пушинок, паутинок, то и дело хлестали меня по лицу. И вот однажды, когда я нагнулся, чтобы сполоснуть его в речке, перед моими глазами вдруг промелькнуло, извиваясь, что-то продолговатое, рябовато-серенькое, похожее на ящерицу. И тотчас скрылось в корнях прибрежного куста. Я вздрогнул от неожиданности, одним махом выскочил на берег и заорал с испугу:

— Ящерка! Водяная ящерка!

Встревоженный Мотька, ушагавший довольно далеко, повернул назад и подбежал ко мне:

— Чего блажишь? Какая тебе в речке ящерка?

Я стал сбивчиво рассказывать ему, как из-под моих ног выскочила серая ящерица и, шевеля усами, метнулась к берегу. Мотька сразу всё понял, картинно поджал руками живот и закатился хохотом:

— Ой, держите меня, лопну со смеху! Этот балда принял за ящерку обыкновенного усача! Премудрого пескаря!

Но Мотька напрасно смеялся надо мною. Ведь я никогда прежде не видел в воде рыбы, даже «премудрого» пескаря. До ближайшей реки Тубы, впадающей в Енисей, от нашего села — полтора десятка вёрст. В такую даль, да ещё в чужой район, с удочкой не пойдёшь. У нас же ни в мелкой (под стать Безымянке) Тиминой речке, ни в пруду рыбы вообще не водилось. Как и в озёрах, разбросанных по окрестностям. Правда, позднее в некоторые — Спирино, Бабино, Перешеек — запустили карасей, они там быстро расплодились, и я стал завзятым рыболовом, но это было потом. А в те безрыбные годы пескарь, по-местному «усач», действительно явился для меня диковиной, напомнившей мне ящерицу.

Поскольку я видел рыбу только неживой, лежавшей в посуде на боку, то полагал, что и плавает она в таком же положении. И потому, выждав, когда кончится у Мотьки приступ смеха, спросил вполне серьёзно:

— А почто усач плыл стоймя?

— Как стоймя? — разинул рот приятель.

— Ну, не лежа, а держась ребром.

Тут уже Мотька не просто схватился за живот, а упал на траву и стал кататься по ней, как собака перед ветреной погодой. Наконец, насмеявшись вдоволь, он встал, отряхнулся и скомандовал:

— Пошли! Покажу, как рыбы плавают.

И Мотька повёл меня назад, к началу речки, заставил обуться, сам надёрнул свои чёботы на босу ногу, и мы пошли к пруду. Но уже по другому берегу Безымянки, по лесистому склону, в который упиралась плотина. Теперь я смог вблизи и сверху окинуть взглядом сверкающий поток, что мчал по жёлобу, и мельничное колесо, крутившееся под натиском воды.

Однако Мотька не дал подробней рассмотреть эту волнующую картину. Он шёл впереди и всё поторапливал меня, по обыкновению взмахивая рукой, как пропеллером. Пройдя лес вдоль косогорчика, мы пересекли оконечность плотины и ещё метров двести прошагали берегом пруда. У талиновых кустов Мотька жестом остановил меня и, кивая на колышки в воде, шёпотом сказал:

— Там дедовы снасти, мордами называются. Зайди в пруд и посмотри, как ходят караси, попавшие в ловушку. Понял?

Я покорно сбросил башмаки, снова закатал штаны и осторожно по вязкому дну вошёл в воду. Поверхность её, ещё не затянутая ни ряской, ни рогозником, сияла девственной чистотой. Да и в глубине вода была довольно прозрачной. И когда муть, поднятая моими ногами, снова осела на дно, я усталился в водную толщу и вскоре разглядел, как в ближайшей морде, похожей на большую авоську, растянутую обручами, гибко плавали рыбки вокруг лепёшки квасника. Притом плавали они, как и мелькнувший в речке усач, тоже «стоймя», то есть ребром.

Видимо, заметив меня, караси оживились, заматались в своей ловушке, энергично шевеля плавниками и хвостами. Они тыкались в узкие ячейки, отскакивали от них и разворачивались круто, посверкивая золотистыми боками.

— Ну, хватит карасей пугать! — оторвал меня Мотька от увлекательного созерцания рыбьей пляски. — Пора на мельницу.

— А, может, искупаемся, вода уже тёплая? — предложил я, нехотя выбираясь на берег.

— Нет, тут никто не купается, — как-то поспешно ответил Мотька.

— Глубины боятся, что ли?

— И глубина местами опасная, с ямами, особенно возле плотины, но дело в другом. Есть такое поверье, что водяной со всякой новой мельницы подать берёт.

— Какую подать?

— Известно какую — утопленниками.

После такого уточнения у меня холодок пробежал по спине. Я невольно замолчал, теряясь в догадках, серьёзно это говорит мой приятель или просто дурачит меня на правах старшего.

— Так ведь мельница не новая, — наконец нашёлся я, каким доводом уличить Мотьку в лукавстве.

— Да, самой мельнице сто лет в обед, но пруд-то ещё новый. Его уносило прошлой весной, и плотину, считай, заново делали. А знаешь, кто помог прорвать? Говорят, сам водяной. Недовольный был, что с податью люди мешкают. Вот и теперь, поди, сидит да злится, жертвы поджидает.

Сказав это, Мотька подбросил мне ботинки, и я стал торопливо обуваться, уже больше не предлагая купаний в заколдованном пруду.

По пути на мельницу нам встретилось несколько веселых трясогузок. Светло-серых, почти белых, но с чёрными грудками и в чёрных беретках, сдвинутых на затылок. Они семенили по берегу, потряхивая длинными хвостами, или крутились в воздухе, ловя бабочек и громко выкрикивая то протяжное «цити-цюри, цити-цюри!», то краткое «чтерличь!». При виде их Мотька, не оборачиваясь, махнул мне, шагавшему сзади, и вдруг резко изменил направление — завернул к обрыву в глубине берега. Я послушно последовал за ним. Замысел командира обсуждать не положено!

У обрыва Мотька шагнул на глинистый выступ, поднёс палец к губам, призывая к соблюдению тишины, и осторожно заглянул в пазуху приотставшего пласта. Потом молча уступил место мне. Весь вытянувшись, я тоже уставился в щель. Там, в травянистом гнёздышке с обсиженными краями, плотно друг к другу сидели пятеро птенчат, уже обросших беловатыми перьями. Увидев меня, они дружно разинули рты и запищали. Возле гнезда валялась скорлупа от маленьких яиц, охристо-голубоватых, с бурым накрапом.

— Кажись, недавно вылупились, и вот скоро вылетать будут, — философски заметил Мотька. А потом деловито добавил: — Знаешь, они большую пользу приносят, уничтожают прорву вредных насекомых и личинок.

Я спустился с уступа, и мы пошли к мельнице, рассуждая о полезности и ловкости трясогузок, которые ловят мух и мотыльков прямо на лету. Потом, не сговариваясь, побежали наперегонки вдоль плотины. Долговязый Мотька оставил меня далеко позади.

В мельничном амбаре, когда мы зашли, отдыхаясь, в его нижнее помещение, было намного тише обычного. Сначала я не мог понять, в чём дело, ибо водяное колесо по-прежнему крутилось, как и сухое, вращая жерновое «веретено». Но по истончившейся струйке муки догадался, что верхний жёрнов-бегун приподнят над лежаком и мельница работает вхолостую.

Вскоре белый ручеёк, струившийся из лотка, иссяк вовсе. Но отец продолжал набивать мукой из ларя третий мешок, действуя то совком, то толкушкой.

— Видишь, и твой почти полный, — сказал он мне.

— Как так? Откуда взялось? — удивился я.

— Мельник не бездельник, примол всем даёт, не весом, так объёмом, — засмеялся я в ответ бородастый Евсей, стоявший рядом.

А отец, завязав и впрямь пополневший мой мешок, приставил его к двум другим и кивнул Евсею на остатки муки в ларе:

— Это мельнику за хлопоты. Гарницы, по-ранешнему.

Дед спорить не стал.

— Не ворует мельник, люди сами носят, — шутливо заметил он, подгребая совком муку в уголок.

— Ну, спасибо, Евсей Иванович, — поблагодарил его отец ещё раз после того, как перенёс мешки к дверям, приготовив к погрузке. — Дай тебе Бог здоровья, пусть шумит твоя мельница, а мы с помощником перекусим да — в обратный путь.

— Во, это святое дело! Не зря сказано, что мельница сильна водой, а человек едой. Верно, помолец? — обратился ко мне дед Евсей и потрепал меня по загривку. — Нам с внуком тоже пора червячка заморить, бабка уж звала на щи.

— А в мордах карасей, деда, полно, надо бы вытряхнуть, — озабоченно заметил Мотька.

— Ничего, подождут, невелики господа, — шутливо отмахнулся Евсей.

И они с Мотькой направились к мельниковой избушке, что белела ставнями под горой, в сторонке от плотины. Мотька, широко шагавший рядом с дедом, обернулся, помахал мне рукой и крикнул на прощанье:

— Приезжай ещё, водяных ящерок половим!

Но привычная подковырка его прозвучала уже ничуть не обидно. В голосе приятеля слышалась теплота и даже некоторая грусть расставания. За немногие часы, проведённые вместе, мы с Мотькой стали почти друзьями. Я прощал ему законный хозяйский гонорок, и он, видимо, оценил моё великодушие, выказав напоследок явно дружеское расположение.

Несбывшаяся мечта

Мы с отцом тоже покинули амбар и пошли к нашей телеге. Время в самом деле было обеденное — солнце перевалило за полдень. Отец развязал торбочку с едой. Припасы наши выглядели незатейливо — пол-литра молока да пироги с яйцом и зелёным луком. Но здесь, вблизи мельницы, на краю цветущего луга, в тени от телеги, где мы присели с отцом на развёрнутый дождевик, эти пироги с молоком показались небывало вкусными.

После обеда отец доверил мне напоить Карьку в речке Безымянке. Потом он не спеша запряг его, подъехал на телеге к самой двери амбара, сложил аккуратно мешки, запорошенные проступившей сквозь холст мучной пылью, и накрыл их дождевиком, как пологом. Мой «медвежонок» теперь уже не стоял «на плоту» — он лежал пирамидкой поверх двух кулей, пусть не столь тугой, но почти равный им по длине.

— Садись на него верхом, — подсказал отец.

Сам же привычно сел бочком на дрожки и взял в руки вожжи. Понятливый Карька без понуканий тронул с места и повёз нас восвояси. На крутом подъёме от плотины нам пришлось слезть с телеги, чтобы облегчить Карькин воз. И пока мы шагали сбоку его по красновато-глинистой дороге в гору, я всё оглядывался на удалявшуюся мельницу, на зеркальный пруд в зелёных берегах, на высоченную и длинную плотину, на бревенчатый амбар. И, конечно, на извилины Безымянки, невеликой речушки, по сути — ручья, в котором, однако, как оказалось, водятся премудрые пескари, похожие на водяных ящеров, а на берегу до самого лета цветут золотистые ключи весны — ключи от рая.

Мельница снова заработала. И вся ложбина наполнилась её ни с чем не сравнимым шумом, в котором сквозь журчание и плеск воды слышались иные сложные звуки, похожие на шорох ветра в лесу, на перестук удаляющегося поезда и словно бы на чьё-то тяжкое дыхание со всхлипами. И когда мы уже поднялись на косогор и снова сели в телегу, я ещё, привставая на своём мешке, несколько минут глядел на уплывающую мельницу, пока, наконец, последним островком не исчезла из вида островерхая крыша мельничного амбара.

Надо ли говорить, каким героем я вернулся с мельницы домой! С какой гордостью и вдохновением рассказывал сначала сестре Вале, ни разу не бывавшей на мельнице, а потом и своим друзьям-приятелям о всех подробностях этого чуда, открывшегося мне, — и о водяном колесе верхнего боя, и о жерновах — лежаке да бегуне, и о тёплой душистой муке, текущей прямо в руки. И, разумеется, о речке и пруде, полных живой рыбы.

Наверное, мои рассказы о мельнице были довольно выразительными, коли возбуждали во многих слушателях живой интерес к такому в общем-то рутинному цеху тогдашнего артельного хозяйства, как водяная мельница. По крайней мере сестра Валя загорелась мечтой непременно побывать на ней. Однако её мечтаниям не суждено было сбыться. Дорога ей на мельницу так и не легла. Отец, даже если собирался туда в пору школьных каникул, не спешил её брать с собой как «лишний груз». Но скорее — просто как девочку, которой лучше заниматься домашними заботами и не совать нос в мужские дела.

А после окончания семилетки Валя уехала учиться на бухгалтера в Минусинск, потом — работать в далёкую Туву, и ей стало уже не до нашей мельницы. Однако она не забыла о ней. Прожив год или два в Кызыле, Валя, тогда восемнадцатилетняя девушка, тяжело заболела — сердце — и решила вернуться домой. Это было в начале зимы. В конце ноября выпали большие снега, а потом начались трескучие морозы. Отправиться через Саяны, за полтысячи километров, бедовая голова, догадалась на попутках и вдобавок сильно простыла в дороге.

Сошла в Минусинске, едва добрела от автобазы до нашей колхозной заезжей гостиницы, которой заведовал дядя Яша, материн брат, и слегла. Из Минусинска домой её привёз отец. На лошади, в саниах, завернув в собачью доху и накрыв с головой одеялом. В избу её внесли на руках. Положили в горнице, на мою кровать возле голландки, и она уже с неё не поднялась.

Как это обычно бывает, незадолго до смерти Вале стало получше. Однажды с утра она причесалась сама, покорно приняла лекарства, от которых отказывалась последние дни, и даже поела немного чего-то, каши или киселя. А когда я в передней, куда переселился теперь, сел за стол и разложил учебники и тетради, собираясь готовить уроки, сестра тихо позвала меня:

— Шурик, иди сюда... поговори со мной...

При этих словах вместе с мелькнувшей надеждой на выздоровление сестры во мне шевельнулось какое-то недоброе предчувствие. Я вошёл в горницу. Валя кивнула мне и показала рукой на место рядом с собою:

— Присядь.

Не без волнения и страха я присел на табурет поближе к её изголовью. Теперь, за давностью лет, мне уже не вспомнить всего, о чём мы говорили тогда с сестрой, смутно понимая значительность минуты. Кажется, Валя просто расспрашивала меня о моей учёбе, о моих ребячьих делах, заботах и забавах, а я отвечал ей, как мог. Крепко в память мою врезались только оброненные Валею слова, которыми закончилась та наша грустная, последняя беседа с нею.

— Так я и не побывала на мельнице, — вздохнула она и, видимо, чтобы подбодрить меня, хотела улыбнуться мне, но улыбка получилась горестной и жалостной. — А теперь уж, наверно, не побываю... никогда...

Из глаз её покатались крупные детские слёзы, и, всхлипнув, она отвернулась к стене.

Я не выдержал её слез и всхлипа, мои губы свело, я захлопал, вздрагивая плечами, выбежал в переднюю и упал вниз лицом на отцовскую кровать, разрыдался горько и безутешно.

Вале к вечеру стало совсем плохо. А ночью меня разбудила заплаканная мать:

— Иди простиись, Валя наша умирает.

Лежа на печи, я спрятал было голову под подушку, объятый страхом, но потом, упрекая себя за малодушие и чёрствость, поднялся, прошёл в горницу. Сестра уже металась в предсмертной агонии, крутила головой на подушке, дышала тяжело, говорила какие-то неразборчивые слова. Потом она на минуту затихла. Я подошёл поближе, склонился над

ней. Она открыла глаза, взглянула на меня вполне осмысленно, должно быть, узнала, но ничего не сказала, а только провела рукой по моим вихрам, по лицу и обессиленно опустила её, снова уходя в забытьё.

На мельнице ей и впрямь побывать не довелось. Я же и до, и после того прощания с сестрой ещё не однажды бывал на нашей водяной мельнице. И с отцом, и с пацанами нашего и «чужого» края деревни, с тем же Мотькой, ставшим мне добрым приятелем. И хотя вид мельницы уже не потрясал меня так, как в ту первую поездку, но каждый раз я искренне радовался встрече с нею. Открывал всё новые секреты в её «хитром» колёсном механизме, напоминавшем часовой, а в её живописных окрестностях — новые таинственные уголки. Можно сказать, я полюбил наше мельничное хозяйство.

Позже мне доводилось бывать и на более мощных водяных мельницах — на Худоноговской в соседнем селе, на Маковкиной — под райцентром Каратузом. Но они, несмотря на бешеные потоки в желобах, могучие колёса, мокрые и сухие, на жернова в два обхвата, от шума которых разговаривать приходилось лишь жестами, не производили на меня особого впечатления. Наша мельница, пусть маломощная, на которой, по шутливому слову деда Евсея, «только бы табак чертям молоть», казалась мне куда совершенней, красивей и уютней. И позднее, живя вдаль от неё, я всегда светло вспоминал о ней.

А когда узнал, что взамен водяной в нашем селе поставили вальцовую мельницу, современную, без всяких жерновов и деревянных колёс верхнего боя, то, признаться, испытал сложное чувство. Конечно, порадовался за окрепших в достатках односельчан, которым тесно стало на дедовской мельнице. Но мелькнуло и некоторое огорчение. Надежда на то, что земляки сохранят водяную как резервную или хотя бы как «музейную», была слабой. Мельничка на Безымянке и впрямь простояла недолго. Её, оставленную, по сути, без хозяина, снесло первым же половодьем. Вместе с плотиной и амбаром, жерновыми и колёсами. Думаю, коварный водяной, жадный до «подати», тут был ни при чём. Просто лишний раз подтвердилась правота поговорки, что вода — и мельницы ломает. Особенно, когда за нею некому присмотреть.

Жернова бегущих лет

И вот через многие годы я решился ещё раз побывать на мельнице. Стояло юное лето — «пора прелестных облаков». Было солнечно, тепло, зелено, и душа наполнилась добрыми чувствами и светлыми воспоминаниями. Приехав в родное село, я зашёл к председателю колхоза Юрию Бражникову, с которым поддерживал приятельские отношения.

Юрий Андрианович был не только рачительным хозяином, но и о душе не забывал. Организовал сельский хор, в котором сам пел, открыл местный музей с галереей портретов селян, написанных настоящими художниками. А в его конторском столе рядом с деловыми бумагами лежали поэтические томики Есенина и Твардовского. Невысокий, щуплый, он был начисто лишен начальственного вида, зато в его светлой голове постоянно роились новые планы и замыслы. Вот и в этот раз он пригласил проехаться по окрестностям, обещая показать кое-какие новинки. Я охотно принял приглашение.

Бражников сам сел за руль «уазика», и мы поехали. Новинок и впрямь оказалось немало — целый околотов домов на улице Зелёной, очередной коровник на ферме, машинный двор за сушилкой. Но я, рассеянно осмотрев эти важные объекты, попросил его проехать по старым дорогам. И он с пониманием развернул «уазик» к воротам посёлка. Замелькали за окнами знакомые с детства косогорчики, словно бы осевшие за годы, берёзовые перелески, напротив, вытянувшиеся к небу, плоские лощинки, прежде казавшиеся крутобокими логами. Потом пошли озера Спирино, Кругленькое, Перешеек, обмелевшие, но ещё сохранившие свои «зеркала» с отражёнными в них деревьями и облаками. А когда замаячил среди зелёной и перелесков Мельничный маяк, я не удержался, чтобы не заглянуть и на водяную мельницу. Хотя и представлял примерно, что от неё осталось.

Бражников с готовностью принял предложенный маршрут. Но поехал к мельнице не по старой дороге, и даже вообще не по дороге, а почти напрямик — через холмы и суходолы, по окраинам хлебных полей. Над склоном косогора, с которого открывался вид на бывшую мельницу, он затормозил машину.

— Посмотри, повспоминай, — сказал мне, облокотившись на баранку.

Я вылез из кабины, прошёлся по отлогой макушке горы, молча постоял в невольном смятении. Картина, представшая передо мною, и отдаленно не напоминала ту, прежнюю, которую я с таким восторгом встречал когда-то, приближаясь к мельнице. Ложбина была сплошь затянута тальником и черёмушником. От плотины остались у бывших берегов пруда лишь короткие культи, заросшие травой. О месте, где стоял амбар, напоминали только проплешина среди густого ивняка и тёмный круг глухой крапивы. Речки же вообще не было видно.

— А где Безымянка? — произвольно крикнул я Бражникову.

— Высохла, — односложно ответил он. Потом пояснил: — Точнее, превратилась в сухую речку, в этакий сезонный ручей: весной течёт — летом исчезает. Кстати, если помнишь, она впадает в речку Сухой Жерлык. Та поболее, но у неё такая же история.

И, должно быть, желая, чтобы мои впечатления дополнились подробностями, Бражников подрулил ко мне и открыл дверцу:

— Давай подъедем поближе.

В лощину он тоже стал спускаться не старой дорогой под глинистым яром, которая, хотя и заколодела-замуравела, но сохранилась донныне, а напрямик под косогор. Видно, председательскому «вездеходу» это было в привычку.

У высохшего ложа Безымянки мы остановились. Я без труда определил место, где располагался амбар с водяным колесом. Обошёл по периметру бывший фундамент, о котором напоминали только редкие булыжины. Каменный плитняк, наверное, прибрали сметливые крестьяне для новых построек. В кустах у речки темнели несколько полусгнивших брёвен. Я прошёл по одному из них, как по школьному буму, и вдруг увидел в крапиве кусок широченной дуги. «От водяного колеса!» — мелькнула догадка. А когда присел к нему и стал рассматривать замшелый, щелястый обломок, то заметил за колёсными останками бледно-серые жернова, лежавшие друг на друге. Нижний, «почвенный», глубоко ушёл в землю, но был цел. А у верхнего, «бегуна», сбоку зияла большая щербина. Видно, кто-то пытался забрать и эти камни, чтобы пустить в дело, но, отколов кусок для пробы, счёл, что они слишком пористы и едва ли сгодятся даже в качестве бута. Сложил жернова «стопкой» и оставил их в покое. А, между прочим, камням этим когда-то поистине цены не было. Наши мельники ездили за ними в конец соседнего района, к далёкой Ольховке. Ныне это город Артёмовск, «где золото роют в горах», а прежде ещё добывали особый, редкий камень. Пористый, но вязкий и крепкий, похожий на вулканическую пемзу, он был годен для выделки жерновов, на которых искусные ковальщики насакали лапчатыми молотками радиальные, круговые бороздки. Их-то края-рифы и крошили, мололи тугие зёрна в муку и выкидывали её в обечайку, откуда она, тёплая и запашистая, как свежая хлебная корочка, текла по жёлобу в ларь.

Увидев эти выброшенные и заросшие дурниной щербатые жернова, я, может, впервые со всей ясностью осознал, что за сменой нашей водяной мельницы на вальцовую, железно-механическую, стояло нечто большее — можно сказать, смена эпох. Ведь мельница наша, унесённая внешней водой, как бы завершила уход целого мира сельских мастерских — разных маслобоек, шерстобиток, пимокатов, дёгтегонок, брынзоварен, шорен и гончарен. А с ними и бесчисленных мастеров и умельцев — мельников, маслоделов, пимокатов, ткачих и сновальщиц, смолокуров и шорников, гончаров и корзинщиков, исчезновения которых словно бы никто и не заметил. Где они теперь? И где их дела, ремёсла и промыслы? Всё перемолола мельница времён!

Именно она, деревянная мельница, плескавшаяся за селом, столетиями символизировала нашу крестьянскую страну «с названьем кратким Русь». Любители отечественной истории знают, что с 15–16-го веков по всей Русской земле, почти на каждой приличной

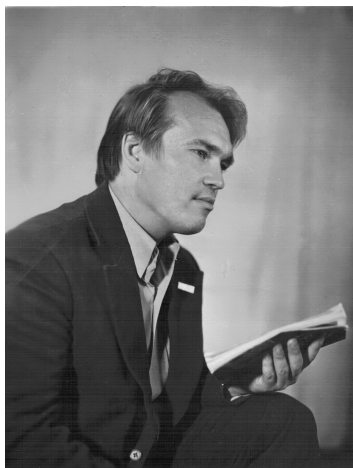
речке, стояли мельницы. Да не одинокие, а целыми каскадами от истоков до устья. Или «верхнего боя» — с прудами, как у нас, или «нижнего боя» — с лопастными колёсами, погружёнными прямо в воду на быстром течении. Они не только мололи пшеницу да рожь на муку, но и «рушили» просо, гречиху, овёс на крупу. А у ловких мастаков ещё и валяли сукно, чесали шерсть, трепали лён и даже выделявали бумагу, ковали железо и толкли порох! И так было по самый 19-й век, а отголоски мельничных времён слышали и мы, дети 20-го века.

Не будет даже преувеличением сказать, что водяная мельница олицетворяла не просто эпоху в жизни огромной страны, а особую русскую крестьянскую цивилизацию. Была её энергетическим сердцем, двигателем. И, может, не случайно моя бедная сестрица, предчувствуя свои недолгие сроки на земле, так жаждала увидеть нашу мельницу. Должно быть, ей хотелось запечатлеть осколок вчерашнего мира перед уходом из нынешнего. А возможно, её притягивало само слово «мельница», в котором слышится отзвук вечного движения жизни, изменчивость «этого света» и бренность нашего пребывания в нём. Ведь и в самом деле, всё на свете перемалывает мельница времён!

А вечны только Бог, Его Царство Небесное да ключи от рая в твёрдой руке привратника Петра. И чудом хранятся пока следы их на земле, повсюду расцветая «золотыми ключиками» в преддверии райского лета, даже — за нашей мельницей, которой давно нет.



ГЕОРГИЙ КОЛЬЦОВ



Опоздал я вернуться...

Дожди на трассе

В просинь по сопкам
опоры пройдут вслед за просекой.
Осенью выцвели
к будке прибитые лозунги.
Планы, расчёты
на стены столовки развешены.
Графики — к чёрту!
И все обязательства — к лешему!
Станешь так вроде
не вальщиком леса, а лодырем...
Вышло из моды
в тайге любоваться природою.
С Кешкой в свой отпуск
за этим скатаемся на море.

В дождь тяжело пусть,
но это не главное самое.
Если нет мужества,
можно зачахнуть здесь заживо.
Да и к тому же —
электропилы на каждого.
И не беда то, что дождь
всю неделю накрапывал.
Лишь бы всегда сердце
нитью пылало вольфрамовой.
Следом шагали бы
высоковольтные линии.
Светом бы вспомнили
в сумерках домики синие.

КОЛЬЦОВ Георгий Николаевич. Родился в 1945 г. в с. Буреть Куйтунского района Иркутской области; умер в 1985 г. в г. Кашира Московской области. Служил в армии в Забайкалье. Участник знаменитого Читинского совещания писателей (1965). Один из авторов коллективного сборника «Зёрна», изданного по итогам совещания (М., 1966), автор сборников стихов «Корни кедра» (Иркутск, 1975), «Спасательный круг» (М., 2015) и др.

Ивану Слепнёву

И в три ручья катился пот со лба.
Бил липкий снег.
Был страх, как паутина.
И если бы не крайняя изба,
Та, что в аду кромешном приютила...

Что стала вдруг нежданно родней,
Где детство на полатах зимовало,
Когда из узких щёлочек ставней
Свет лился,
Словно чай из самовара.

В.М. Щеглову, рентгенологу

Полоснул, как финский нож, фугас!
Окруженье...
Харьков...
Лихолетье...
Сколько пленных
Ты от смерти спас,
Будучи врачом в гросслагерете?!
Время то забыть бы поскорей,
И овчарок бешеных оскалостью...
Адовы круги концлагерей
Сняты ли тебе,
Василь Михалыч?
Там, у жуткой памяти в плену,

Ты в который раз бежишь из плена.
Напугав уснувшую жену,
Вскрикнувший,
проснёшься сам мгновенно.
В снах подкопы продолжая рыть,
Не поймёшь, очнувшись, сразу —
Где ты?..
Знавшая, что бросил ты курить,
Тянется рука за сигаретой.
Выступит холодный пот ручьём!
Сядешь ты, ссутулив зябко плечи.
Вечным, как рентгеновским лучом,
Состраданием к больным просвечен.

* * *

Зорька заневестила
На краю села...
Матушка ровесницей
Октябрю была.
И, как революция,
Так же молода,
Верила, что лучшие
Впереди года.
С юной и отчаянной
Участью страны,
Грековской «Тачанкою»
Летающей со стены.
Всё отстроит заново
Молодой народ.
Уголёк Стаханова!
Чкаловский полёт!
Борозда Ангелиной
И её подруг —
От поступи уверенной
Захватывало дух.
Но в минуту грустную —
Что за ерунда? —
Сердце от предчувствия
Сдавит иногда.
А во снах навязчиво
В небе — сверху вниз —

Огненно летящая
Пара колесниц.
Сны твои разгадывать,
Мама, не к лицу.
Время скатку скатывать
Моему отцу.
И забыть всё кровное —
Песню и любовь.
Как набат: «Огромная,
Вставай на смертный бой!»
Багровел за вспышками
Сорок первый год.
Билась ты с братишкою
Рыбою об лёд.
И, оставив малого,
В выставшей избе,
Не по-бабьи вкалывать
Довелось тебе.
В темноте упрашивать
Бога до утра:
«Похоронкой нашего
Не задень двора».
Чтоб, пусть пулей меченный,
Только бы живой,
Хоть и недолеченный
Муж пришёл домой.

* * *

Весною зеленеют рощи.	Словно жажду,
Цветёт сирень.	Я утолял одним ковшом...
Седает мать.	Там, может быть, сейчас над пашней
О, как я долго жил на ощупь,	Весенний
Как поздно начал прозревать.	Тёплый дождь
Тоску по дому,	Прошёл.

Даурия

Здесь сопки,	Легко плывут,
как наездники,	как сейнеры,
что, от дорог устав,	на север облака.
шатры свои раскинули	Вдали на крыльях беркута
на выжженных местах.	опустится заря.
Их кони не оседланы,	Вечернею поверкою
не взмылены бока.	ночь входит в лагерь.

Приграничье

Пришла заря как разводящий,	Ведь всходит солнце из-за сопок,
Чтоб снять последнюю звезду,	Чтоб светом мир соединить.
И первый луч, скользя по башне,	А тишина вокруг такая
Ребёнком плещется в пруду.	Легла на землю,
Лишь контур сопок, как набросок,	Хоть кричи...
Что различается с трудом.	А жизнь, как женщина простая,
Уйдёт рассветная полоска	С утра хлопочет у печи,
Босой — по травам — за кордон.	А много ль ей для счастья надо!
И протрубит труба	Ей бы успеть хлеба испечь...
Горниста	Бутыль вина из винограда
«Зарю» солдатского утра.	Стоит, готовая для встреч.
Неужто здешняя граница	Там май в любое
Ограничение добра?	Время суток
И как-то жаль,	Напоминает о весне.
Что только сокол	В краю небесных незабудок
Крылами режет эту нить.	Не забывает обо мне.

Июнь

Отслужу я,	Здесь над сопками кружат ветра.
Ту песню сложу ли я,	По себе выбирая попутчика,
Что задумана мной	Обессилев, прилечь до утра,
Не вчера...	Летней полночью ветер опустится
В такте вальса «На сопках	На широкие крылья
Маньчжурии»	Орла...

* * *

Кулисы пахнут пылью,
Кулисы обветшали,
Покрылась сцена ими,
Как старушонка шалью.
А в рамках паутина,
А в ней застрявший смех.
И нету больше сына,
Который старше всех.

Мать

*Стихи М. Газиева,
перевод с аварского Г. Кольцова*

Даже пасмурный день в этот миг голубел,
когда я по камням
к нашей сакле взбирался...
Слово *мать* —
Ты звучишь по-аварски
Эбел!
И нет слова милее для сердца аварца.
Теплота очага
и дымок над трубой.
Детство,
часто менявшее гнев свой на милость,
и родник,
что пробился почти под тропой, —
в это слово,
как будто бы всё уместилось.
Я стою над ущельем,
тебя я зову.
Только вместо ответа лишь эхо растает.
И мужская слеза,
обжигая траву,
прорастёт через миг
голубыми цветами.
Но придавит их
листьев свинцовая медь.
Неужели ты так беспробудно заснула,
что уже не смогу твоих рук отогреть
и читать до зари тебе
песни Расула?
...Постучусь по привычке
в закрытую дверь.
Что тебя уже нет,
позабуду вначале.
Не шаги твои лёгкие встретят теперь
у порога меня,
а — молчанье!..

Опоздал я вернуться

Сыновьям, как птенцам, чтоб скорей опериться,
Нужен звёздный простор, крыльям лёгким под стать...
Ожидание — тяжкий удел материнский,
Часто ей предстоит век одной коротать.

Остаётся пока неразгаданной тайной,
В заведённом не нами житейском кругу,
Почему всех мужчин гонит ветер скитаний,
А всех женщин творец привязал к очагу.

Отводили не чудом, а любящим сердцем
Не они ль от мужей в ратном поле стрелу...
Эти руки меня пеленали, младенца,
Эти руки ковали Победу в тылу.

Все могли эти руки. Мы им неужели
Их минутную слабость поставим в вину? —
Они горько, по-бабьи, повиснув на шее,
Не хотели отца отпускать на войну...

В каждой женщине русской — душа Ярославны
Со времён князя Игоря — вечно жива...
В жизни «на ноги» твёрдо тобой я поставлен,
Мать, простая крестьянка, солдатка-вдова.

Ты прости, что на пристани я не заметил
На глазах у тебя наворачнувшихся слёз.
И меня подхватил тот порывистый ветер,
Что и братьев когда-то от дома унёс.

У окна, мной посаженный, вымахал тополь,
И черёмухи куст не завял на корню.
На скрипучей ворóтине ящик почтовый
Ты с надеждой не раз проверяла на дно.

Я вгрызался в тайгу, в непролазные чащи,
От костров отгонял, как видения, дым,
Забывая о том, что почтовый твой ящик,
Не считая газет, оставался пустым.

Сам от весточки тёплой из дому — зависим,
Как от снега озимые лютой зимой.
Не умел я выкраивать время для писем,
Торопясь даже в снах возвратиться домой.

Сколько ты передумала ночью и денно,
Стоя возле залитых закатом окон,
Ожидая нас, все глаза проглядела,
Поднося к ним ладошку свою козырьком.

Успокоив себя, мол, у сына дела ведь,
Хлопотать по хозяйству, усталая, шла...
И ошибок своих мне уже не исправить —
Опоздал отложить я земные дела.

Август 1980 г.

Южная ночь

За песчаной косою диск багряный погас.
Каролино-Бугаз, Каролино-Бугаз...
Вдоль полоски обласканной морем земли
Мы с тобою вдвоём, взявшись за руки, шли.

В душном летнем театре смолк, выдохшись, джаз.
Каролино-Бугаз, Каролино-Бугаз...
Ночь в приморском посёлке гасила огни,
Чтоб, забыв обо всём, мы остались одни.

И рвались наши души в полёт или в пляс.
Каролино-Бугаз, Каролино-Бугаз...
Засветилась на пляже дорожка луны —
Отпечатки ступней стали чётче видны.

Мне дороже они всех на свете богатств.
Каролино-Бугаз, Каролино-Бугаз...
Но волна, набежавшая наискосок,
Превратила следы наши в мокрый песок.

Вспомню я эту ночь даже в смертный свой час.
Каролино-Бугаз, Каролино-Бугаз...

* * *

Забой глубокий...	Рубали уголь для
Жар, как в пекле...	России,
Над клетью —	Как сталь —
Ржанье лошадей.	Дышали горячо!
В такой работе —	Была их вера
Кони слепли,	Твёрже стали.
Лишь нюхом чувствуя	И на поверхности
Людей.	земной
А люди, даже	Меня, грудного, мать
Обессилов,	Оставив,
Жизнь подперев	С утра спускалась
Своим плечом,	В тот забой.

* * *

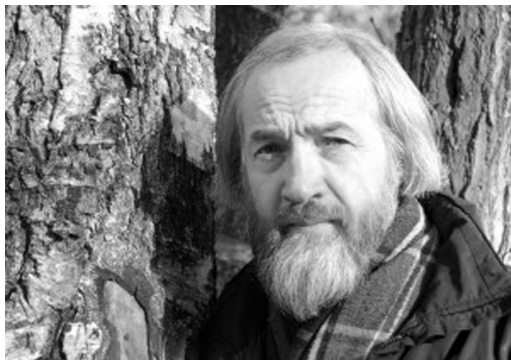
Росой предутренней прохлада
Осядет на землю.
Тогда
Наступит время листопада,
А по-крестьянскому — страда.
Как опустевшая деревня,
Таинственна — в такие дни...
Здесь тени призрачных деревьев
Облокотились на плетни.

* * *

Кружит осень над полем,
Жестью листьев шурша...
Полк свой танковый вспомню —
Там осталась душа!
В тишине предвечерней,
В золотой тишине
Дни и ночи учений
Оживают во мне.
Вырастает над прошлым
Смутной грусти дымок,
Над степным бездорожьем
Тех, походных, дорог.
Где по склонам зелёным,
Оглушая грачей,
Полк растёкся колонной,
Как весенний ручей.
Чтобы в тесной лощине,
Что сгибалась дугой,
Вновь сжиматься пружиной
До предела тугой.



АНДРЕЙ ГРУНТОВСКИЙ



Из плотницких разговоров

РАССКАЗЫ

Журавли

Наверное, в этом есть что-то языческое... В том, как чтит наш народ пролетающие осенние стаи, как любит их. Осталась ли в генах вера, что птицы улетают на зиму в вырий — древний дохристианский рай, — уносят души усопших. А может быть, ощущает русский человек величие Божьего промысла в том, как неотвратимо и точно поднимаются неразумные вроде птахи на крыло и идут, идут вот уже тысячи, а может, и миллионы лет день в день, в любую непогоду одними и теми же маршрутами. Да, птицы — это какая-то магия, знак Божий. Особенно журавли.

Алексей Иванович тюкал топориком помаленьку у себя на дворе — тесал брёвна на почин бани, когда услышал над головой привычное «курлы-курлы». Он поднял руку, прищурился из-под ладони и хотел приветливо махнуть вслед. Но рука его застыла на полдороги, а в глазах мелькнула тревога: на календаре было 29 июля, а журавли уже летели на юг.

— Эй, матка, смотри чего делается... Ваня, Ваня! — кликнул он внука.

ГРУНТОВСКИЙ Андрей Вадимович. Родился в 1962 г. Поэт, прозаик, этнограф, руководитель Театра народной драмы. Окончил конструкторский факультет ЛИСИ. С 1983-го по 1990 г. — работал на строительстве оборонки: от монтажника-верхолаза до начальника стройки (воспоминания об этом периоде жизни отражены в книге *«Плотницкое дело»*). В сфере этнографии и фольклористики выделяется его публикация *«Страна детей»* (1998), посвященная трудам выдающего исследователя детского фольклора В.С. Виноградова. Живёт в Санкт-Петербурге.

Внучок так занят был своими играми (он в подражание деду тоже строил домик из всяких обрезков, колотил, как мог), что даже и не обернулся. А старуха выглянула из окна — услышала «курлы-мурлы». И, вечно ворчливая, поперёшная, «ты мне слово, я те — два», вместо того чтобы взять как обычно деда в распил, застыла, глядя в небо с раскрытым ртом.

— То-то, матка, смотри, не балуй у меня. Ишь чего по нашим грехам учинилось.

— Что же теперь будет-то? — баба чуть не села на месте. — А, старый?

— А то и будет, что по грехам кара.

Станица прошла и скрылась за лесом, будто не было её.

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, — старик перекрестился и опять затюкал топориком. — Может, блажные какие, может, не все полетели? Свихнулись там! Счас, что человек, что птица — есть отчего свихнуться.

Ночью Алексей Иванович не спал. Как уснёшь! И когда услышал в третьем часу «курлы-курлы», так и выбежал одним духом на двор в исподней рубахе да в домашних катанцах. Звёзды высыпали ярко, как никогда, но луны не было, в эту пору она ещё за гребнем леса. И журавлей видно не было, но по долгому и высокому их призыву ясно было — идёт большая стая. Алексей Иванович уставился не мигая. И видно стало, как то одна, то другая звезда исчезала на миг — прикрывали их незримые, идущие высоко над землёй журавли.

Стало не по себе. Алексей Иванович медленно побрёл домой, поставил чайку. Да уже больше и не ложился: что же это такое? На рассвете прошли ещё две станицы журавлей. Что-то не ладно в мире. Не ладно. Старуха-то тоже полночи не ложилась, молилась всё. А после — чудное дело — безо всякого ворчания легла да и уснула сразу. Ну что ж, охи охами — дело бабье, а сон сном, утро вечера, как говорится...

Старик думал: «Надо пойти сказать людям. Они, может, по суете не заметят. А начальники что, они в городах сидят, там журавли не летают...» Впрочем, дело происходило не в старину, а в наши дни. У старика была «трубка», и поутру он принялся звонить. Звонил он редко, а ему и вовсе никто не звонил, разве дочка, когда раз в год «на дачу» соберётся. Был бы колхоз — пошёл бы к председателю. Но где тот колхоз, где председатель... Село позаброшено. Дома кто увёз, кто заколотил. Три дачника и две старушки. Ни одной коровы — какое ж это село!

Но кому звонить — тут Алексей Иванович задумался. В милицию? Он припомнил, как о прошлом годе в райцентре убили его племянника. И он находился в прокуратуру, набегался, насиделся в очередях. «Эх, — говорят, — сам виноват!» А племянничек — мужик-то был не старый, да и не пьющий. А вот как он выразился: «Хочу попробовать бизнесом заняться». Попробовал!

Нет, в милицию Алексей Иванович не позвонил, ещё за сумасшедшего примут. Позвонил пожарным:

— Это вас с девяносто первого километра беспокоют.

— Что у вас — пожар? У нас двести пожаров по области, звоните в район!

Алексей Иванович позвонил в район:

— Это вас с девяносто первого километра беспокоют. Алексей Иванович я...

— Да что вы достали нас звонками! Вышел, вышел к вам бронепоезд.

— ..? Какой бронепоезд?..

— Ну, этот... пожарный поезд... тушит уже.

Лето было как никогда сухое, ни ягодинки в лесу, ни грибка. За железкой горел торфяник. Там с утра, грохоча буферами, маневрировал пожарный поезд. Трубку повесили — длинные гудки.

— Да-а, до Москвы далеко, а район — это район. Надо звонить в Питер. Может, в «скорую» попробовать?.. Это вас с девяносто первого километра беспокоют. Тут у нас журавли летят.

— Ну и что?

— Дак они раньше середины сентября не летят. А сегодня тридцатое июля.

В это время над головой Алексея Ивановича появилась ещё одна станица. Он повернул трубку к небу:

— Вот, слышите?..

— Ничего не слышу. Причём тут «скорая»? Звоните в МЧС.

Тут «трубочные» деньги у Алексея Ивановича кончились — и трубка замолчала. Теперь когда ещё приедет дочь или хоть позвонит и положит денежку на старикову трубку!

Однако там, на Севере, надвигается какая-то небывалая катастрофа, а может, и на всю планету надвигается.

Алексей Иванович с утра слушал «Маяк». Но в мире всё было спокойно: американцы орудовали в Ираке, в Афганистане их били талибы, евреи бомбили Ливан, грузинцы делали вид, что идут войной на Абхазию. Про журавлей ничего не было слышно.

Алексей Иванович стал припоминать: ни он, ни его дед, ни прадед никогда не слыхали, чтобы в июле... да что в июле! — в августе — и журавли! Вот ведь штука!

Но надо было что-то делать. Нельзя же сидеть сложа руки. Может, поехать в Питер? На приём к полпреду президента. И Алексей Иванович представил, как он с вещмешком, в старых ботинках, чуть не в лаптях, придёт на приём. «Да меня тут же — в воронок и упекут куда следует». Ну, в воронок, это он, конечно, хватил, но и в самом деле, кто ж такого примет-то? Другое дело с трубки звонить.

И Алексей Иванович пошёл по селу. У старух какие трубки — дудки во дворе да лопухи, а вот у дачников!.. Он долго толковал дачникам, называл их «соседями». Но что «соседи»? Целый день млели на озере, теперь принялись за шашлыки. То ли парень с девушкой, то ли муж с женой — не поймёшь: ни детей, ни хозяйства. Дачники! Журавлей они, конечно, не заметили. То есть заметили, но без всякого понятия.

Алексей Иванович не дурак человек был: в армии служил в разных местах. Даже в институт чуть было не поступил, но вернулся в село. Помнится, бабка-покойница (два класса церковно-приходской да «колидор») говаривала им, молодёжи тогдашней: «Как же вы жить-то будете, ведь вы ж ничего не знаете!» Ох, не знаем, ничего не знаем! Такое простое дело — журавли, а тут не знаешь, куда бежать. Как в воду смотрела покойница. Она из рода в род всё знала-ведала наперёд, а если чего не знала... Там вон церковь была. Поп бы надоумил.

Но что там церковь! И кино, что в церкви было оборудовано, давно рухнуло и поросло чертополохом. Да если б и не поросло, что с кина толк!

Дачники меж тем разузнали по справочному номер МЧС и набрали, и дали Алексею Ивановичу трубку, глядя не без опаски на заскорузлые его руки.

— Это вас с девяносто первого километра... («Хорошо не со сто первого, — мелькнуло в голове у Алексея Ивановича, — а то как и представляться?») Алексей Иванович я... Вот журавли у нас... — И Алексей Иванович с дрожью в голосе в пятый раз рассказал про сие небывалое дело. Рассказывал и поглядывал на небо — не летят ли. Дачники тоже не без боязни озирались.

— Ну, а что мы можем? Ну, вы в зоологический музей позвоните или в Академию наук, пусть научного сотрудника пришлют.

— Дак на девяносто первый километр не надо присылать. Надо туда, на Север, где гнездятся, — и Алексей Иванович припомнил, как замирает птичий щебет в лесу перед пожаром: ещё и гарью не потянуло, а вся малая птаха ушла — как ветром сдуло. — Вы поймите, дело серьёзное. Может, ледник завтра начнётся, может, глобальный климат. — Откуда такие словечки припомнил Алексей Иванович, и сам сдивовался.

На том конце трубки помолчали:

— А может, не начнётся. Во всяком случае, МЧС тут ни при чём.

— Вы позвоните прямо товарищу Шойгу, он поймёт.

А дачница уже держала Алексея Михайловича за рукав:

— Ну, хватит, хватит — тариф междугородный, — чуть не вырвала трубку и нажала на кнопку. — Вы же видите, бесполезно, а денег сколько наговорили!

— Я вам сейчас отдам, — и Алексей Иванович достал мятую десятку.

— Тут не десятку, тут сотню нужно.

— Ну, сотни у меня с собой нету. Счас пойду дома поищу... А хотите вот яиц лукошко? Свежие яйца.

Дачники переглянулись:

— Приносите.

Алексей Иванович повернул к дому, а мысли прыгали в голове: «Ща от старухи попадёт за яйца, а толку — чуть! Шойгу энтот позвонит разве! Что делать? Не-ет, надо ехать прямо в Питер, к самому товарищу Клебанову. Ба! — Алексей Иванович так и встал: — Да что к Клебанову, надо в ФСБ! Как же я раньше не подумал? — Да, когда был КГБ, то о нём не позабыл бы Алексей Иванович. А вот стало ФСБ — и словно нет его вовсе, а ведь кто должен безопасностью заниматься, как не они? И ведь занимаются, верно! — Точно, в ФСБ надо ехать, прямо в Серый дом на Литейный. А вот интересно, — прыгало в голове у Алексея Ивановича с пятого на десятое, — и в Канаде летят журавли или только у нас?»

Вечером он включил «Маяк». Опять бомбили Ливан, взрывался Ирак, горел Афганистан, в общем, в мире всё было спокойно — никаких журавлей. Уже за полночь Алексей Иванович вышел во двор, кинул взгляд на небо — звёзд высыпало! И Млечный Путь какой-то странный. Тёмен — ночь ли такая? — не светится. Ой, да он и шевелится!

— Старуха, а, старуха! — но старуха или не услышала, или уж отзываться не хотела. А Млечный Путь поехал куда-то на восток и сполз со своего места. — Ба! Да это ж дым с пожараща тянет! Фу ты, Господи! Чего только не примерещится! Хорошо, старуха-то не вышла, опозорился бы: «Млечный Путь поехал!» Смешно вроде, а сердце захолонуло.

Ночью опять не спал. И опять под утро одна за другой прошли две станицы и отмелькали под звёздами «курлы-курлы». И как уснул Алексей Иванович — не приметил. А снилось под утро неладное...

Вот приближается к земле огромный метеорит, а журавли уж знают и потому — летят, летят. Там, в Африке, в верховьях Нила, им будет легче пережить удар. То снилось, что снова, как в ледниковый период, покрылась Россия ледяным панцирем, аж вплоть до Киева. И видит всё это Алексей Иванович как бы с птичьего полёта. То вдруг привиделось, что погружается наш материк в пучину океана, и одна Африка и осталась, омываемая Северным Ледовитым. Но это даже и не с птичьего полёта, а откуда-то из космоса. Под конец приснилось то, что не в кошмарном сне, а на самом деле было в Питере в сорок первом году, перед самой войною. Тогда все крысы покинули подвалы и сплошной серой рекой потекли по улицам, покидая город. Того сам Алексей Иванович не видел, ибо мал был и жил себе в своём селе, но позже слышал от питерских. «Вот ведь, крысы-то знали, что война будет, голод, — помыслил во сне Алексей Иванович, и прошибло его холодным потом, как окатило из ушата. — Хватит, надо просыпаться!» — решил он про себя и, осознав совершенную бесполезность своих действий, представив воочию, как он будет толкаться у парадного подъезда на Литейном, проснулся. Сел на кровати, было темно. Петух ещё спал на нашесте.

— Какое ФСБ, — проговорил вслух Алексей Иванович, — надо ехать в церковь на исповедь. Страшный Суд на носу.

— Чего-чего? — прохватила чутко спавшая старуха. — Какой суд?

— Спи-спи пока. Первым поездом поедом в Питер, в грехах каяться. Ты, старая, сколь в церкви не была?

— Да уж годка три.

— Какое «три». Тридцать три! Вот тебе и весь сказ. А ты спишь ещё... Суд идёт!

Наутро Алексей Иванович встал, вышел во двор, взялся за топор по привычке. Во дворе лежали раскатанные, но недокоренные брёвна. Взялся, да задумался. Ни ночью, ни с утра не было ни одной стаи, верно, все улетели. Он окинул взглядом село. Ни дымка над крышами, ни гомону. Ну, старухи, те тише мыши живут, а дачники, видать, уехали. Даже внучка не было слышно. Он бросил свою «стройку», тихо сидел наверху в горнице. Читал, что ли?

Алексей Иванович воткнул топор в бревно и пошёл собираться в город.

Екатерина

Петька опять поругался с женой. И не то что бы поругался — слова не сказал, но уж та — наговорилась. Прихватил тулуп да и пошёл на сеновал — привычное дело. Он и в баньке спать любил — тоже неплохо, особенно, если после протопки. Так хорошо, запах смоляной да берёзовый! Привык Петька спать без жены — гонит и гонит. Что за баба!

Петька был мастер по плотницкому делу. Не одну избу поставил на веку. Ну, первый венец — от хозяина бутыль. Ну, матицу закатали — опять бутыль же. А конька поставил — снова угощение.

— Ну, рази это пьянство! — говаривал Петька. — Эт-то обычай!

Святая правда — обычай, ну, угостили-выпили. Пьяным по канавам он не валялся. Или вот Катерина, как пятница — мужа по канавам шукает: на плечо — и волокёт до дому. И не потому что жалеет, стыдно, видать, — пройдут люди, скажут, вон, Катькин лежит.

Но Петька никогда так, и Петькиной-то против Катьки — ох, помолчала бы! Избо-то Петька поставил немало. Но вот времечко пришло — на избы моды нет, сиди, соси лапу. Колхоза нет, работы нет. Так, дачники приедут — кому дом подновить, кому что. Но вот появился в Екатериновке батька — народ-то не весь изверился, затеяли «церковь возрождать». Старая каменная большущая в руинах — лопухом поросла.

— А, Петя, сумеешь храм срубить? — батька молодой, чуть не в сыновья годится Петьке.

— А чего не сумеешь, вот изба пустая, да вот, да вон-на — раскатаем да соберём. Да помощники нужны — бревно подавать.

— Я и подам.

— Ну, то сё... гвозди, стёкла, шпунт...

— Народ соберёт.

— Тогда рисуй, батя, сколь на сколь.

— А девять на девять, да алтарь прирубить, да прихожку, да шатёр наверх. Осилишь?

— Благослови.

Эх, сто лет благословения не брал, вспомнил смутно, что надо склониться куда-то да руки протянуть. Склонил свою седеющую уже голову. И его благословили.

И что же, храм вышел на славу. Ну, вместо колокола рельса пока висела. Колокола, бабки говорят, в речке утопили в тридцатом году. Нырлял Петька, нырлял и сам батька,

но где там! Петька на приходе первый человек. Батюшка его в алтарники правит, а он взял да запил. Отродясь так не пил, а тут запил — не может без работы. Строил храм — душа пела. Куда гнал-спешил? Подзорами, причелинами украсил, луковку — чешуёй, иконостас, Голгофу вырубил... что ещё? Нет работы. Вот и попал на сеновал. А сеновал-то отчего? А всё от Катьки: тридцать лет прошло, а любит Петька Катьку, как встарь. И как так выходит на свете: с одной гулял, а на другой женился? Гуляли-то тогда честно, ой, да и после от жены Петька не бегал, и — вот те крест! — помыслов-то блудных особо не имел. А вот любит он Катьку — и всё. По молодости и не думал о том. Иной раз встретит — головой кивнёт. А больше старался не встречаться — село большое было. Умается в работе — сердце вроде утолил. А вот работе конец — тут и запил. И Катька, Катька одна на уме. Вот уж верно говорят, бес в ребро, седина — в бороду. А жена, видать, чувствует, ох, чувствует, вот и понесло. А батька? А что батька — чужая душа потёмки: он-то сдумал, что Петька в алтарники гож. А Петькино дело — при топоре. Стоит топор в сарайке, ржавеет без работы, а Петька — пьёт.

Но послал Господь бурю. Повалила буря липу. О-о-о, липа была! Всем липа липа.

Батька отыскал утром Петьку на сеновале. Какое утро! — бывало с петухами Петька вставал, а уж двенадцатый час — лежит непохмелый.

— Вот что, Пётр Иванович, липу на дрова ведь жалко пилить. Ты знаешь ли, в старом храме была великомученица Екатерина из дерева резана. Осилишь?

Петька с похмелу сперва не понял:

— Чего-о-о?

— Да вот Екатерину вырезать, великомученицу, из липы осилишь ли?

— Осилю. Благослови! — Петька спрыгнул вниз, хмель как рукой сняло.

И его благословили.

Наточил Петька топор, поправил стамеску, косячок (плотницкий ножик так называется). Ну что Петька умел — коньки, балясины да игрушки детям резал когда-то, а тут статуй целый церковный! Эт-т не фунт изюму! Пошёл в храм, стал перед иконой великомученицы Екатерины, с виду все они в один канон — Татьяна, Параскева... Все в Богородицу ликом, как дочери. «Дочки и есть, — размышлял Петька. — Волос убрал, чтоб не светили волосом. Губы — так, намётком лишь, что б не манили. Губы шибко резать не надо. Тут главное, чтобы лик вышел да глаза...»

Пошёл Петька во двор, отпилил у липы серёдку — колоду в две сажени, закатил на два брёвнышка: почти сухая — резать можно, не треснет, пожалуй.

— Ну ты, родимая, не тресни. Мочи нет ждать да сушить, — взялся за топор, перекрестился — только щепки полетели.

Сядет Петька верхом, прикидывает, что да как. Закроет глаза: святую Екатерину видит, откроет — Катька мерещится. И не то чтобы дурное что на уме, а всё не свято как-то.

«Вот мастера старые постились, молчали годами, а кто и в постриге был, в схиме, — думалось Петьке. — А всё отчего? А что б вот это бабье не манило, не светило, не звало. Люди молиться придут, а ты тут неизвестно кого отстругал». Где-то за спиной дятел пристроился. Петька — тук-тук, и дятел — тук-тук. «Тоже — рабочий класс, я стучу — и он стучит, я молчу — и он молчит», — приговаривал Петька и тюкал в долото.

На обед жёнка еле дозвалась. Прибежал, сел щи хлебать.

— Ты, блажной, себе девку деревянну делаешь?

— Катерину, великомученицу, — то ли уж второго слова она не расслышала, то ли не о том думка была, а такое сказала:

— Катьку-то! Ну вот, вырежешь да обнимайся с ей!

У Петьки и ложка упала. Ушёл и щи оставил. Слова не сказал.

Топор, стамеска, косячок. Опять топор.

— А ну-ка на бочок повернём, — и Петька приобнял за проступившую уже из древесины шею, колода была тяжела и так просто не повернёшь. Приобнял и обжёгся. Это уже был не просто кусок дерева, низ ещё скрывался под старой узловатой корой, но верх — белоснежный, свежетёсанный, живой — уже являл собой лик. Рука отдёрнулась. Петька перебежал к комлю, там, где кора — колода колодой. Там ухватился, поворачивая на бочок.

И снова ликом вверх и вниз, и снова на бочок, да на другой — и не один раз. О-о-о, наворочался Петька! И Катька его, как всегда бывало на доброй работе, из головы незаметно и улетела. А Святая Катерина — и она ведь по житию, красавицей была, тут не надо было и икону припоминать — вот она, уже лежала перед ним. Да ещё слой снять надо, да ошкурить ещё. Да до низу дойти — платье до полу, кончики туфель только из-под платья. Работы много ещё, но лик-то уже проступил, светился в сгущавшихся сумерках.

— Дай-ка я тебя... — Петька хотел сказать «голубушка», но осёкся. — Дай-ка я тебя, матушка, приглажу. — И он прошёлся рубанком, выравнивая плат на голове. Резать уже было нельзя, совсем стемнело. Только и было свету, что от свежей щепы, устилавшей лужайку, да от неё. — Была ты, матушка, Липой, Олимпиадой, значит, а тепереча постриглась-посхимилась, наречёшься Екатериной.

А ночью вроде дождь засобирался. Петька побежал за «полетеленом». Склонил четыре кола, накрыл шатром — не дай Бог, замочить. Капли зазвенели по полиэтилену, упали блаженно на усталое, запарившееся тело — уж давно-давно скинул взмокшую рубаху Петька. Под шатром лик, казалось, совсем ожил. Петька отступил на шаг. Припомнилось со школы учёное когда-то наизусть:

*В той норе, во тьме печальной
Гроб качается хрустальный...
Не видать ничьих следов
Вкруг того пустого места,
В том гробу — твоя невеста...*

— Преподобная матушка Екатерина, прости мя, грешного, — и Петька перекрестился, едва сложив персты, натруженные работой.

Вот так стоял он, Петр Иванович, в полной темноте, а выше, над Екатериновкой, бежали озарённые луной тучи. Удивительные они какие, всякий раз — разные. Таких-то больше нигде и нет, наверно.

Чудное небо, чудно. И дождик не дождик, а так — благодать Божья. Хорошо. А жёнка? а Катька с мужиком своим? — они сейчас спят. Чего во сне видят? А Пётр Иванович... он стоит посреди села: справа церковь, слева — сеновал, позади — изба. Перед ним — в «шатре хрустальном» чудо рождается. Дай-то Бог, не сглазить бы!

Стоит он и смотрит в небо. Благорастворение в воздушных. Не надышится никак.

Пиратка

Вот и первые тёплые денечки пришли — май месяц. По нашим местам — весна. Солнышко высоко. Сел я на лавочку у избушки, спиной к брёвнышкам привалился. Благодать. Пух ольховый летит по ветру, да и прочие травы-дерева распушились — так всё и кружится-порхает. А это что такое летит — ни ольха, ни осина. А это пёс наш Пиратка, вылез из будки да чешет задней лапой, где чешется. Линяет лохматый — весна,

и пух его летит по всей окрестности. Этак всюду-то, где его пушинки сядут, Пиратки маленькие вырастут! Это что же будет! Это у нас уже не посёлок будет, а Карибское море.

А ведь он понимает, что это я сейчас о нём, вот, подошел, голову склонил набок, даже про линьку забыл. Что он думает сейчас?

А пёс думал вот что: «Непонятные вы, люди-человеки. Мы, зверьё, так друг друга понимаем, а — вы! И зачем вы там говорите что-то? И вот ещё дело: одно говорят, а другое в то же время думают, понимай как хочешь. Мы, конечно, тоже иной раз пасть разеваем — повыть-полаять. Так ведь это от эмоций — душа просит. А общаемся-то непосредственно. А люди? Что ж они так-то уж не понимают друг друга. Ну, совсем!»

— Что, морда, призадумался? («Это хозяин мне-то!») Вот для чего ты живёшь?

«И вот чудеса — что думает, то и вслух сказал! Не часто такое. «Морда» — это он ласкательно, он ведь любит меня. Правда, не всегда — отвернулся, забылся в людских своих делишках — и всё: нет меня для него. Своё что-то кумекает. А я его всегда люблю. Вот сижу на цепи — дом сторожу. А мог бы бегать по лесам на воле. Что, пропал бы без хозяина? Нет, не пропал бы. Но я для него живу. Что для себя-то? Смысла нет. А хозяин для чего живёт? И сам же и спрашивает — или вправду не знает? Неужели не знает?»

Пес подошёл и положил морду на колени хозяину, и хозяин потрепал его по голове. «Хорошая у хозяина рука, тяжёлая, добрая. Нет, руками он никогда не врёт. Он вообще-то хороший. Хотя и не очень знает, для чего живёт. Ведь до чего дошёл, меня всерьёз спрашивает. А как я отвечу? По-нашему он не может, а по-ихнему — словами — этого не сказать».

И пёс лизнул хозяина в руку, чтобы тот понял.

Но понял ли человек?

Не отврати лице свое

А всё кума... Вот кума — сведёт с ума! А собственно, что кума? Пошёл бы Коля к куме, коль не уела б его в очередной раз жена, ох, пилорама ходячая. Ох, вся-я жись с ней на кувырок пошла. Ну, довела, довела. Но и сам-то хорош! Да, довела, по грехам же. А он опять к куме! Вот не удержался и пошёл, а та и рада!

И ведь противно же наперёд. Загодя тошно, а всё пошёл. Назло, что ли? С тоски. Ну уж лучше б ты, Николай,пил, что ли. Но Николай не пил. Примерный работник. На Доске почёта висит, и — к куме!

Господи ты Боже ж мой! Ну к кому-кому, а то — к куме!

Николай ополоснул лицо в кадке, прополоскал рот, а всё не мог отделаться от липкого мерзкого запаха. Хлебнул кваску — не помогает.

Ну как же так! Как же так! Как же... ох и стыдно, и тошно, и муторно. Николай смотрел в упор на Николая Чудотворца. Старая икона, и уж сколько висит она тут. И дед Николая был Николай, и прапрадед, и так, наверно, через раз, того уже никто не знает.

Тот Николай — на иконе, стыдись, отвёл взгляд. Вот сколько лет висел и всегда смотрел прямо в глаза, в душу, в нутро исподнее, а тут — отвёл, отвратился. Николаю было так тошно, так погано, как и пьянице с похмелья не бывает, и он как бы удивился, что вот — чудо! Но и не удивился, до того уж мерзок был сам себе. А тот Николай, иконный, не только что глаза отвёл, но и уголки губ опустил, и во всём лике его проступила скорбь и боль.

И знает наперёд Николай, что вот пахнет она всё так, кума-то, так, что потом выворачивать будет, а пошёл! Вот ведь едрить-разведрить! Другие хоть как-то духами перешибаются. А кума и умыта вроде завсегда, и в избе вроде порядок, но тленным каким-то несмываемым от неё разит.

Или уж не от неё, а от греха?

Хоть в баню иди. А что жена скажет — в баню наладился в понедельник? Придёт вон сейчас с фермы, чё, мол, нужник чистил, чё ли! Так ведь нет, лих, к куме ходил! Тут ведь сразу догадается, тут топи не топи.

Ведь месяц не ходил — держался, и вот те, бабушка, Юрьев день! — ноги сами принесли. Ох и вредно-от спать поврозь со своей. А уж десять годков так-то. Дети уж большие, в город укатили. Ау — ку-ку! жди их! Внуков нема! Вот не хотят рожать там, в городах-то этих содомских. А сам-то, а сам-то!.. Но и то, правда б, нарожали — повезли бы к бабушке, авось, и тут бы всё наладилось.

Не наладилось. Бес в ребро — седина в бороду, смолоду не гулял, а тут — загулял.

Николай сунул голову в кадку, стараясь избавиться от навязчивого духа, и, сколько хватало дышалки, полоскал рожу в студёной воде, аж виски заломило. Вынырнул, наконец, и сразу — к Николе. С морды, с усов — кап-кап-кап. А тот и вовсе глаза отвёл! Господи! Ни молиться, ни каяться не в силах был Николай. Он смотрел и смотрел с одной безумной мыслью, чтобы хоть чуток, хоть вполглаза оборотился бы к нему Николае.

Но это бред уже, шизофрения, или как там называется.

Церкви в селе не было. Да, хаживал когда-то во храм и Николай. Да что говорить, когда это было!

А кума... А что кума, она что ли приворожила? Это своим-то кишковоротным душком! А тридцать лет убивался Колька, что женился не на той. Вот была бы кума егоной, а егоная баба — кумой! О-о-о, да разве не было б тошнее втрое?!

Николай напротив, на стене, совсем померк. Солнце ли садилось за окошком — а лампада тут и век не гарывала — или уж сам он ликом посмурнел. Заступничек небесный!

А Коля... а что Коля, он ведь наперёд уже презирал себя, а ничего поделать не мог. А оттого презирал и вовсе. Наконец прошибла простая мысль: а что ж и Христос, Спас-то? А Богородица — что же? Уже ль и они отворотились навек!

Замер Николай сердцем, затих и, не шелохнув и головой, повёл глазом одним чуток вправо. Спас, как и прежде, смотрел прямо в глаза — кротко и ласково.

— Господи! Господи! Господи! — взмолился одними губами Николай, и слёзы побежали по лицу его.

А что ещё было нужно?

Нет, более ничего.

Кукушечка

— Ой, ой! Шевелится! Смотри, смотри, поднимается! А-а-а, старый! Смотри, земля поднимается!

Земля на грядке пошла трещинами, вздыбилась, но вдруг замерла, тот, кто поднимал её изнутри, услышал голос старухи, вскочившей с завалинки, и — замер.

— Чё ты, старая? — старик выглянул в окно.

— Мотри-мотри!

— Дак, крот... чё ты!

— Какой крот, мотри, кака горишша!

А гора тихо осела вниз, трещины на грядке сошлись, будто ничего и не было.

Старика и старуху привезли в родную избу. Привезли после нескольких лет отсутствия в избу, где они прожили почти всю свою жизнь, где родились и где хотелось бы им — а вот дадут ли? — умереть. В избу, где родилось не одно поколение их предков и где теперь внуки пожелали иметь дачу в заброшенной, заросшей бурьяном деревне.

Теперь старики назначены были дачниками — три месяца стеречь дом от выходных до выходных — и опять в город. Ни в поле, ни по хозяйству — а какое хозяйство! — где скотина, где животины, даже кур нет. «Вот ещё возиться! — сказали внуки. — И никаких огородов! Всё привезём». И правда, где уж там возиться: дед язвенник, у старухи сердце. Но вообще-то не работать они не могли. Не умели. Это было хуже смерти.

Одурели они, что ли, от городского жития, от чумового телека, от бессмыслицы и мутоты. И вот на родине всё стало каким-то чудным, непривычным, неузнаваемым. Старики, как малые дети, тыкались и мыкались, не зная, как приспособиться к жизни в родном доме.

— Какой крот, рази ж кроты такие бывают! Прёт, как черт... барсук, наверно.

— Барсук на огороде! Ха, ну ты, старая!..

А сад позадь избы порубленный и посохший наполовину, погибал окончательно. Зимой кору погрызли зайцы — а кому было укрыть на зиму! Сейчас по весне, едва зацвело, пошла тля да гусеница, а теперь вот ещё и кроты — всюду виднелись свежие горки чернозёма. Гибнет сад, гибнет. А какие яблочки давал! Не только что людям, а и корове, и свиньям перепало. То есть перепало — то, что падало, то и им. А внуки что? А внуки и не видят ничего, не поняли ещё, что через год-другой могут вообще остаться без яблочка: антоновка, белый налив, коробовка, восковое или медовое ещё зовут, так и светится на солнце. А слива, а вишня, а терн... Особенно славная у деда (это он был старшим по саду — прививал, обрезал, мазал варом) была вишня. И это в нашей-то северной стороне! Большую грибовую корзину (а в неё ведра два входило) набирал дед вишни за раз. Варенье, опять же. И она самая — наливочка вишнёвая. Дед клал вишню (без косточек обязательно!) в трёхлитровую банку (можно в пяти), закладывал сахаром, сверху надевалась крышка с трубкой, опущенной в бутылку. Готовые бутылки, закрытые старыми красными, как морковка, сосками, складывались в погреб. Дед был не пьющий, это так — для гостей. Да и рази ж вишнёвая это выпивка — это нектар Божий.

Малые любили заходить в погреб. Это была небольшая землянка между малинником и баней, выложенная дёрном, с деревянными двойными (от тепла) дверями, с дощатой трубой-тягой наверху. Там, помимо бутылей на полках, хранилась картошка, присыпанная песком морковь, репа (о-о-о, какое объедение печеная в печи репа!)... Соленья и прочую стеклотару старик хранил в подполье. Там было сыро и холодно, а вот в землянке...

— Эй, старый, смотри — коршун кружит!

— Како коршун, это журавель. Крылья-то, крылья!

— Како журавель, вон, вишь, кругом ходит!

— Какое! Вон шея длинна, ноги...

— Не вижу.

— Вот и я не вижу — высоко поднялся. Да нет, всё одно, журавель.

— Коршун. Смотри, к нам подходит. О-о-о, и я ноги вижу.

— А я что говорил, журавель. И чего кружит-то? Оголодал, сердешный.

— У ястреба посмотрелся, перенял, это...

— Не-е, ищет чего-то.

А журавль стал опять подниматься кругами, смещаясь за лес, за гору, и вдруг —

уверенно полетел по прямой. В этот миг старики увидели поднимающуюся с другой стороны небосвода станицу журавлей. Она шла нестройно, но уверенно, нагоняя ушедшего уже далеко вожака. Проходя над деревней, журавли запричитали свой вековечный причет, прощаясь или здороваясь со стариками.

— Это, видать, разведчик был, вожак. Те, чё ль, на болоте отдыхали.

— Север, никак, потеряли?

— Ну.

Уж сколько тут прожито стариками и с детства ведомо, из-за какой ёлки на гребне горы вылетают они по весне и за неё же уходят, прощаясь по осени. От болота к болоту, от Севера до Африки — как по расписанию: к девятому маю прилетели. Но что бы как ястреб!..

Вечер. Какой уж вечер — ночь! Светлая, белая ночь за занавесками. Старик на лежанке греет старые кости, этажом ниже — под печкой — тикает сверчок. Выше — за потолком шоркают стремительными перебежками мыши — шу-шу-шу. Старуха на кровати в углу. Старая кровать на пружинах с бронзовыми шариками в изголовье (материна), с кружевными подзорами — ещё прабабкиными. А где теперь те кружева? Уж не выходит старая с валиком на крылечко, не звенят, как вешний лёд на реке, её коклюшки. И кружева не в моде, и соседок кружевниц нету — на погосте мастерицы-кружевницы: с кем и выходить на крыльцо, с кем вести разговоры!

Вот так лежат старик со старухой — лес слушают или думают о чём. А в лесу соловьи, как когда-то в их семнадцать лет. И кукушка без усталости выводит: ку-ку, ку-ку, ку-ку... Вот уж отгуляли соловьи, и кукушка, наконец, замолчала.

— Слушай, старая, ужель мы столь с тобой проживём? Ишь, как накуковала — конца-краю нет.

— Ну ты, старый... Ты-от и не спросил ё.

Старик понял свою ошибку и, помолчав, с боязнью какой-то в этой странной, затянувшейся тишине пересохшим голосом спросил:

— Кукушка, кукушка, сколько мне жить?

Кукушка отозвалась мгновенно — кукукнула один годок и замерла.

В избе стало тихо. Совсем тихо. Даже сверчок осёкся и замолчал... только ходики: тик-так, тик-так, тик-так... Господи, помилуй!

Настоящее православие

Я помню, батя меня учил: чем, мол, отличается воспитанный человек от невоспитанного. Невоспитанный, если навернётся мордой в грязь, так тут же и выдаст — и так и этак и по такой-то матери. А воспитанный — всё это подумает, но вслух — ничего. Промолчит. Я это вспомнил всё, когда на исповеди был у старца в монастыре одном. Он-то мне другое сказал: чем, дескать, отличается настоящий православный от ненастоящего. Ненастоящий упадёт и, падая, и так и сяк, но про себя, молча. Ибо неудобно, и Бога боязно. А настоящий — хлоп мордой, и при том «Слава Богу за всё» скажет.

Ну, этот разговор давно приключился. А вспомнил я его в один миг, в одно мгновение у меня в мозгу промелькнуло. Пел я, напевал за работой, настроение хорошее, и чуть не Иисусову молитву творил. И тут молотком по пальцу как зашарашил!

— У-у, ч... — неправославное слово вырвалось. И вот когда вырывалось — тогда и промелькнул у меня в памяти разговор тот монастырский. Это как Пётр: услышал петуха — и сразу всё вспомнил.

Стыдно.

Нет, думаю, так дело не пойдёт, не совсем же я человек пропащий, в следующий раз, когда по пальцу стукну, обязательно скажу: «Слава Богу за всё!»

Работаю дальше и ловлю себя на мысли, что вот даже как-то жду этого следующего раза. И чувствую, что если специально по пальцу-то стукнуть, то, пожалуй, стерпеть можно, и тут скажешь по-заученному: «Слава Богу». Но ведь это нечестно. Чего ж я себя обманывать буду! Нет, специально стучать не годится. Но как-то даже, смотрю, и не поётся уже — в ожидании. А долго ждать-то? Ведь плотник я не худой, не из последних, может, до конца сезона по пальцу ни разу и не попаду! А так, чтобы мордой в грязь — и этого ожидать не приходится, не пьяный ведь. Да и грязи на нашей улице не видать.

И всё колочу, колочу, этак-то рассуждая, и так вот жду и напрягаюсь, и не поётся вовсе. Ну, в общем, дурак дураком. Затеял было молитву — какая там молитва! — одно искушение. И работа не в радость — уж скорей бы что-нибудь да стукнуло!

И — стукнуло. Полез по лестнице на кровлю обрешётку подрезать — ступенька гнилая и проломилась. А в руках бензопила заведённая — по ноге полоснул.

— У-у! — вырвалось. А потом: «Слава Богу за всё». Ну, не сразу за Бога, но хоть и ч... не помянул. «У-у» — это уже первая ступенька на лестнице. Сапог разрезал — это жалко, а нога — заживёт. Главное — опять поётся за работой, и не жду ничего. А чего ждать? Чему быть — того не миновать.

Василич

Василич получил позвоночную грыжу — это раз. И какой уж тут теперь работник! Работы-то за зиму провернул гору, да какой работы — книги, семинары, лекции. Словом, к весне накопилось долгов две тысячи этих самых — ненаших, зелёных. Для семейства Василича это был удар.

Вот в таком виде и выехали на дачу: сам Василич, писатель с двадцатилетним стажем и с плотничьим инструментом в мешке, жена его — бывший филолог, а ныне на инвалидности, да трое детишек — мал мала меньше, все мальчишки и все хулиганы, помощники ещё те.

Василич подрядился строить дом. А вот в грядках копаться ему было невмочь. У жены давление, до огорода ли. И это тогда, когда все российское народонаселение роет землю впрок!

По зиме жена запилила Василича: ну кинь ты свою писанину, никому же это не нужно! С голоду подохнем! Василич сам понимал, что плотничать три месяца в году — это маловато. Но бросить писать! Зарыть талант, хоть единожды предать дело, которому служишь?!

А ведь на даче неплохо: детишки целый день на воздухе, то воюют, то стучат и гремят, тоже строят что-то свое, вон все гвозди перетаскали. А то бегают между папкиной стройкой и мамкой. Словом, при деле. Жена «пилит», но в меру. А за работой можно и отдохнуть, и подумать, и, может быть, закончить большую книгу о Нынешнем, что несколько лет уже мучила Василича.

Василич взял арматуру, обошёл весь участок и прошупал матушку-землю: торф, как пух, где метр, где и два и более. Нет, машина здесь не зайдёт. Предстояло вывалить, выкорчевать лес, откопать котлован да засыпать его вручную, а дом — дом уже плёвое дело.

— Ну, Господи, благослови! — Василич перекрестился и пошёл косить мелкоту

топором. Где на полусогнутых, где на коленочках, главное, не гнуться, беречь поясницу. Разобрав площадку, куда валить, Василич взялся за бензопилу. Деревя стоят — будьте-нате — до небес, не так зайдёшь — зажмёт, заклинит, пиши, пропало. Но у Василича был старый, со стройотрядовских ещё времён лесоповальный опыт.

За таким делом невольно лезет в голову всякая чертовщина. О своей книге Василич забыл, в голове под рёв пилы проворачивались страницы солженицинского ГУЛАГа. Обидно было Василичу за собратьев по перу, с самых первых горбачёвских времён так храбро закричавших о свободе. Теперь о свободе продолжали кричать только те, у кого были деньги. Приехал Александр Исаевич, ужаснулся, «Россию в обвале» написал. А кто обвалил-то, кто столпы подпиливал! Теперь диссиденты представились Василичу таким лихим Бармалеем из детского фильма. Проковыряли дырочку в днище корабля, а потом кричат: «Ой, откуда вода?!»

Но Бог с ними. Василич чистил пилу, натягивал цепь и снова заводил — не любил он за собой этого критиканства. Грех осуждения. Но что делать — камни уже вопиют. Лучше ни о чём не думать, чем думать о литературе. Работал Василич насмерть, до упоения и быстро забывался в работе. Настоящая работа лечит человека, и о голоде забываешь, и об усталости, и... но и калечит: забываешь и о своем человеческом, если забыть во имя чего. А во имя чего это я? — подумал Василич. — Домик новому русскому, это, что ли, наше светлое будущее? На кусок хлеба детишкам как некое извинение перед ними за то, что не прокормить нонче своим писательским трудом, не получается. Или во имя свободных ночных часов, чтобы хоть что-то успеть.

Неделю Василич валил, корчевал, копал канавы. Но десять соток нашего лесу — не фунт изюму вам. Идя до дому, Василич ставил инструмент да маленько висел на воротах — чтобы спина отошла.

На выходные приехал заказчик, привёз аванс. Да нет, в принципе, мужик неплохой. Разговорились. У него и фирма — «для поддержания штанов» (хороши штаны! — подумал Василич). А ещё и писатель: «Я по детективам больше...» Ого! — улыбнулся Василич — два писателя на одной улице в маленьком посёлке. Это уже перебор. Но это про себя, ничего не сказал.

— А вы в Союзе-то писателей бываете? — припомнить его лица как-то не удавалось. Впрочем, борзописцы наши все переругались, и союзов теперь пруд пруди. Может, он в другой ходит? — решил Василич.

— Никуда я не хожу. Там, понимаешь, «писатели» штаны протирают, а я деньги делаю. Настоящие книги — это деньги.

Василич ничего не сказал, тот был по-своему прав. Друзья Василича заседали, шумели, «спасали Россию», печатали книжечки (кстати, иногда и неплохие) за свой счет по 300, ну, по 500 экземпляров, чтобы подарить друг другу, — и всё. Неужели это и есть литературный процесс? Те многотысячные детективы — это, конечно, не литература. Прямая погибель. Но что теперь мог сказать Василич — в кармане у него лежал только что полученный аванс. Он вытащил скомканные бумажки:

— Михалыч, а у тебя рублями нет? Где я тут обменяю!

— Рублями нет.

Василич валил и валил. Где-то день на пятый в голове всё утряслось, и будущая книга предстала стройным и чётким сооружением. Не зря же по первому своему образованию Василич был архитектор. Надо было только добыть свою смену, дотерпеть до ночи: и — чердачок, и — стол, тёсаный своими руками, и — чистая бумага, что давно уже ждала Василича к себе. И — дай-то Бог! Главное — не отвлекаться.

Василич заглушил пилу, чтобы спуститься к ручью напиться. Солнце палило, и с Василича лилось, хоть выжимай. Июнь в разгаре.

— Отец, а нельзя ли бересты надрать? — перед Василичем стояло двое не то студентов, не то... Лет по двадцать, навеселе уже. Один с бутылкой пива, другой с си-

гаретой. А на горе, метрах в ста над делянкой, веселая компания парней и девчонок собирала костёр.

— Ну, дерите, вон там берёза распушена, — Василич присел на минутку, а вышло минут на сорок.

— Мы, это... шашлык тут хотим... — одному из парней стало как-то неловко. То ли вид у Василича был такой уработанный и не гармонировал с отдыхающими, то ли... что-то передалось напрямую, помимо слов. Первому сыну Василича сейчас могло бы быть столько же. Но он не любил об этом... А ребята — то ли оттого, что пьяны, то ли день такой светлый воскресный, но... русский человек всё темнит, темнит и вдруг возьмёт и выльет всю душу первому встречному.

— А вы, простите, кто по специальности?

— Сейчас — лесоруб.

— Не-е, а вообще?

Василич увидел тоску какую-то и одиночество во взгляде и решил не отшучиваться.

— Вообще? Вообще был архитектором, в театре играл, — то, что пишет книги и считает это делом жизни, Василич не сказал, это уже слишком.

Второй боец нетвёрдой рукой драл бересту:

— Ну, вот вы с образованием, и здесь лес валите?

— Душеспасительно, — Василич сказал тихо и спокойно, так, что у ребят не улыбка, а тревога отразилась на лицах: на их загорелых шеях крестиков было не видно и ожидать можно было всякого.

— И сколько вы тут получаете?

Василич назвал.

— У-у, да я за месяц вдвое больше сшибаю.

— Погоди, — перебил первый, — дай поговорить!

Солнце палило, жужжало вокруг летучее всякое, благодатный ветерок овеивал сидящих на брёвнах троих мужиков. Разговор полился легко и просто:

— Вы вот в Бога верите?

Василич скинул сапоги и перемотал портянки, посмотрел на ребят, кивнул головой.

— Я вот всё ищу... — упав голосом, вёл первый.

А с горы кричали девчонки:

— Что вы там провалились? — у них уже разгорелся костёр.

— Да подождите там! — крикнул первый. — Кастанэдой, значит, занимался, потом — йогой. Потом кололся, значит, вот. Сейчас...

— А я и сейчас колюсь, — перебил второй.

— Подожди! — первый боялся сбиться, ухватить что-то главное хотел и — не мог. — Всё ишу, знаю, что Бог есть, но вот проблемы...

Василич знал, что если вот так сейчас ляпнуть в лоб: бросай, мол, всё и приходи в церковь, то это оттолкнёт. Сидеть тут на пенёке в роли Учителя — нет, посмиреннее надо.

— Вот проблемы у меня... — первый остановился.

— С девушками проблемы?

— Откуда вы догадались? — покраснел первый, а второй только отвернулся и бросил сигарету. На горе девки уже перестали кричать и заявили, что съедят шашлык без них, а парни, бывшие с ними, обозвали пропавших всякими словами. Но эти двое уже и не откликались.

— Как не догадаться, — вздохнул Василич. — Вот вы с бутылкой не расстаетесь. А пиво да плюс никотин — вот тебе и импотенция. Уж лучше водку пить.

— Я водку пить уже не могу.

— Да лучше-то ничего не пить. Вам, ребята, ведь жить и жить ещё после нас. А после вас?.. А проблемы-то — это во спасение.

— А у вас есть дети?

— Четверо, — это было правдой. Пред Богом — четверо. И всегда будет четверо.

— А вы нам, наверно, в церковь посоветуете.

— Посоветую. Только не спешите. А то вот протрезвеете и перехочется, — много чего ещё мог бы сказать Василич: «С первого захода что-нибудь, мол, не так выйдет. Соблазны будут. Не спешите. Силы надо рассчитать, чтобы дойти. А свернувших с полпути, ох как много...» Но Василич помалкивал — парни-то не дураки, сами поймут.

И они спрашивали и спрашивали, Василич отвечал. Иногда молчал в ответ. Разговор вышел за жизнь, и расставались как-то с грустью. Ребята были не здешние, а так — проездом, и, верно, не увидят им Василича боле, Василичу — их. Оттого и грустно стало.

— Вы уж нас простите, мы вас от работы оторвали.

— Э-э, чего там! Ступайте с Богом.

И они ушли.

Меж тем солнце было уже высоко, и надо было навёрстывать. Бог знает, с какой попытки Василич завёл старенький свой «Урал» и пошёл валить ель да берёзу. Скорей — пока не заглохло, пока не лопнула цепь или ещё что-нибудь. Деревья ухали крест-накрест (так легче потом будет распускать на дрова). И вдруг увидел — малой бежит, прямо к батёке ручонки тянет.

— Васька! Назад!

Большая ель уже пошла и вот-вот должна была накрыть сынишку. Васька на бегу посмотрел вверх, увидел падавшую на него ель и ещё быстрее припустил к отцу.

— Васька, ложись!

Василич уже ничего не видел из-за опускавшейся кроны: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Батюшка-Николушка, помоги!» Земля дрогнула — ель была тяжела. Василич бежал, перемахивая через стволы, к тому месту. Василёк стоял, где застало, и до того напугался, что даже не закричал. Ветви накрыли его со всех сторон, но — чудо! ни одна не коснулась. Василич схватил малого на руки, и тот прижался к нему крепко-крепко.

Василич побрёл было домой — тут метров двести напрямую, да услышал тарахтенье за спиной, повернул, заглушил брошенную пилу. «Вот ведь, когда надо, и не заглохнет!» За штанину Василича ухватился средний — Ванюша, которого Василич сперва и не приметил. Он-то откуда?!

— Пойдём, ребятки, грибков поищем.

— Пап, ты ж говорил, что они через месяц пойдут?

— А пойдём, поищем.

Ясно было, что ребятки соскучились без бати да и убежали со двора. И сейчас, когда на них, да и на нём самом, наверно, лица не было, появляться перед заполошной мамашей было ни к чему. Василич взял Ванюшу за ручку и полез с ребятами в гору:

— Ну, ладно, черники поедим.

Тут раздался истошный крик матки, прибежавшей, видать, по следу мальцов, но с той стороны кучи дерев, что наворотил Василич. Ей никого не было видно.

— Батя! Васька! Ванюша! Где вы? — заголосила она.

— Не кричи, тут мы, чернику едим.

Мать обежала дерева — на ней самой не было лица: то ли видела всё, то ли догадывалась, кинулась к малому ощупывать ручки-ножки:

— Цел? Цел?

— Цел-цел.

— Ах, леший, угробил ведь сыночку! Все сочиняешь на ходу, не видишь ни черта! — и дальше, дальше, чего только не говорила мать! Василич потащил детей в гору: «Пой-

дём чернику есть». Подальше от позору, от крику. Знал по опыту, что бесполезно, что ничего, ничего не объяснишь. Хотя, что бабу корить — ей тошней всего. Василич обернулся: мать сидела на пеньке и плакала. У ног её лежала пустая бутылка и пачка «Мальборо», да ещё куча бересты, так и забытой парнями.

Василич поворотил, взял матку за руку и повёл всех в лес. Поводил, поводил, и вправду, кой-где черника пошла! Привёл домой и снова пошёл на делянку. Жара спала, работа пошла шустрей, и мысли вовсе оставили его. О задуманной книге он забыл напрочь. И когда затемно вернулся, все в доме уже спали. В печи стоял горячий чайник, на печке — картошка под одеялом. О том, что Васек был жив (а это чудо явное!) и мирно спал сейчас в своей кровати, Василич и думать не смел.

На следующий день — Господи благослови! — работа пошла своим чередом. Василич пилил стволы на дрова, а сучья жёг. Тут только успевай — жар от кострища такой, что мокрые пни прогорают в пепел. Тут только пошевеливайся, тут давай. То ли оттого, что работка пошла весёлая, то ли просто время и час, а стал сочиняться рассказ. Василич отделал его в уме в совершенстве и помнил наизусть, но отходить от костров нельзя было ни на шаг. Обед мать принесла сама. Дети, прибежавшие за ней, кинулись кидать ветки в огонь. Василич насилу прогнал их — кострища были велики, трещали и стреляли горящими головнями во все стороны. Малыми кострами жечь — оно безопасней, но только это на неделю, да ещё ходи, присматривай — как бы чего.

К ночи все поле очистилось от бурелома, осталась только поленица в четыре ряда, несколько елей, оставленных на сруб, да три кучи дышащих жаром углей. Василич, весь чёрный, умылся в ручье, побрёл домой, повисел на воротах. И-их, жалко лес-то!

Дети редко когда засыпали без Василича. Вот и сейчас устроили концерт — каждому нужно внимание, а как же! А на часах двенадцать. Мать поставила Василичу тарелку щей, легла и моментально заснула. С неё будет, пусть спит. Но Василичу ещё предстояло. Он затеплил лампадку, ребята притихли — это им нравилось. Помолились кратко за всех. Только Василёк вертелся на полу, он ещё не навыв, а устоять на месте — ну, нет, «милый дедушка, никакой моей возможности!» Старший послушно лёг в кровать, среднему нужно было сказку, а младший сидел на руках — попробуй уложи. Иван-царевич побывал уже и в тридевятом, и в тридесятом царстве, а Василёк всё не засыпал. Наконец уснул и он. Щи стояли холодные. Василич выпил их через край, взял хлеба и полез наверх. Здесь было у него разом и Болдино, и Ясная Поляна. Зажёг лампу, пристроился у стола. Рассказ, так замечательно выходивший в уме, теперь совершенно забылся.

Василич просидел с полчаса, или более, без всякого видимого движения. Порой мысли неслись в бешеном темпе, и сюжет и фразы лепились одновременно, словно там, внутри, некто хотел закончить картину одним ударом кисти. Порой Василич забывал думать, и время останавливалось. Наконец, он взял ручку и вывел заглавие:

Юродивый

Ворона подошла к собаке и дёрнула её за хвост. Собака не реагировала. Ворона дёрнула сильнее — в клюве остался пучок шерсти. Теперь собака обернулась и посмотрела на ворону как бы с интересом. Вороне стало стыдно, и она пошла, пошла куда-то мимо. Собака опустила голову — она была голодна и замерзала, ей было всё равно.

Люди выходили из церкви на мороз. Кое-кто бросал мелочь нищим. Но собаке дать было нечего — деньги ей были не нужны. Нищие тоже замёрзли, но служба уже закончилась, — народ расходился. Скоро нищие пойдут домой. Собака останется...

На этом месте Василич уснул и свалился лицом на стол. Внизу тихо спали дети, за окном звенели цикады, плыла луна, вдохновляя поэтов. Ничего этого Василич не ведал — он спал крепким рабочим сном без сновидений. Посреди ночи он проснулся, затекла рука и шея. Выключил раскалённую лампу, сполз на матрас, что лежал тут же у ног, прямо на полу. О вечернем правиле он и не вспомнил. Главное, поутру надо проснуться раньше ребят, а то не дадут. Собака и ворона... ничего, мать справится... собака... во-ро-на...

Василич взялся за котлован: нет, не зароем, а откопаем, откопаем наши таланты! К вечеру над поверхностью виднелась только голова и плечи Василича, он дошёл до суглинка. Теперь нужно было отвести воду и засыпать щебнем. Щебень был уж на месте, за два прошедших дня шофёр сделал шесть рейсов. Шесть КамАЗов, восемьдесят четыре тонны — считал в уме Василич. Всё это предстояло перекачать тачкой в котлован. Потом будет легче: столько же песку, опалубку сшить, связать арматуру, залить бетон. Полдела сделано.

Тачки хорошо катать под Иисусову молитву, но нынче она то и дело исчезала непостижимым образом. Василич, словно продолжая прерванный диалог, рассуждал сам с собой, пробегая в памяти «Колымские рассказы».

— Что за ерунду пишет там Шаламов. Якобы, он катал тачки со щебнем в 0,25 м³ или даже в 0,5 м³. Это что же выходит — почти тонну щебня? Да ещё на деревянном ходу! Да ещё по трапикам вверх! Быть такого не может. Ну, там 0,1 куба ещё туда-сюда, но полкуба! То ли он их сам не катал и не видел, то ли хотел припугнуть московскую интеллигенцию? И чего её пугать, она и так от одного только слова «тачка» заикаться начинает. Да и вообще, невесёлые какие-то рассказы, без Бога, без света. Полярная ночь. Впрочем, моя ситуация отличается мало. Вот ведь, ни вышек не надо, ни Колымы. Он там мог хитрить — выбиваться из сил, падать и даже вовсе обмануть хозяина — умереть без разрешения. А тут надо вкалывать по-стахановски: 300% плана, и никаких прогулов или там смертей! Полная взаимоудовлетворённость. Славно, славно!

— Э-э-э-х, опять отвлёкся! — корил себя Василич и затевал снова: «Господи Иисусе Христе...»

Вечером Василич, чтоб взбодриться, весь в пыли и цементе — машину разгружал, окунувшись в озеро. Солнце уже уходило за гору, и озеро запарило. Туман змейками свивался, летел, срываясь с поверхности и таял в сумерках. А вода-то, вода, прям молоко! Благодать! Дети стояли на берегу. Смотрели. Темнело. Но вот пришли домой, попили чайку, малых спать повалили, с женой поругались — не без того. И всё же часу во втором Василич залез на своё Болдино. На столе лежал листок:

Юродивый

Ворона подошла к собаке и дернула её за хвост...

Василич перечитал трижды. Да, начало! Но о чём он хотел — вспомнить не представлялось никакой возможности. Василич ругнул себя: «Хоть бы сюжет записал в двух словах, а то гадай теперь, к чему это всё было...» Опять посидел молча. Опять время замерло, претерпевая и не подвигаясь вперёд из уважения к человеку. Глаза словно заволокло пеленой, и не было в них, казалось, ни единой мысли. Наконец, рука пришла в движение, и строчки привычно побежали по бумаге:

Могилка была малюсенькая, и крестик малюсенький, и написано на нём: «Люсенька Петрова». Сирень цвела на кладбище, ландыши, черёмуха. Гроза отошла только, и по могилам, по свежим листочкам, камушкам, лужицам — всюду виднелись улитки. Сколько улиток на кладбище... Боже!

В конце дорожки показалась бабушка с клюкой. Завидев её, вороны, попрятавшиеся было по дождю, устроили гвалт. Снова замелькали ласточки, а то и поползны,

скворцы. Так и шагала она словно по раю со всей своей летающей и поющей свитой. «Слава Тебе, Господи, добралась...» — бабушка перекрестилась, поцеловала крестик и села на скамеечку...

Тут у Василича потемнело в глазах — давление ли прыгнуло или ещё что. Где-то на задворках сознания мелькнула мысль: «Ну, хоть сейчас-то надо сюжет записать...» Но мысль мелькнула и оставила. Василич потянулся за валидолом. Валидол никогда и не помогал ему, но всё же... проплыла рифма: «вали в дол». Всё померкло и оглохло вокруг, и даже мысли ушли. И лишь Имя Божие, не произносимое, но лишь вспоминаемое, ещё цеплялось за краешек бытия. Василич опустился на матрас: «Господи, Господи, нельзя, нельзя... дети...» Зашлось сердце. Гипертонический криз, и сейчас отпустит через минуту. Или инсульт, и — всё уже.

Не скоро, не скоро отошло. Но отошло, слава Богу, и уснул, наконец.

На утро снова: больше бери, дальше кидай. Скверно, совковая лопата не берёт крупную фракцию, уж больно крупна! Щебень грузить — это тебе не песком баловаться. Ладно. Плохо, что и этот рассказ пропал. Даже названия не осталось. Но Василич не унывал: 84 тонны — 400 ходок, всего-то делов! Удивительно другое — как бы ни работал Василич, Господь не попускал болезни (опять же — детишки, долги опять же), а вот за письменным столом — тут приходилось туго. Можно лопатой махать, можно дом рубить, но отсидеть без движения полночи — это уже тяжело.

Опять Болдино, опять стол, опять матрас на полу. Едва Василич стал проваливаться в забытьё, едва взвились и понеслись первые, ещё неясные сновидения, как детский плач вернул его к жизни. Меньшой Васютка, топая босыми пятками по полу, с криком — видать, испугался чего-то во сне — кинулся искать папку. Василич рванул вниз: полезет сейчас, дурачок, на чердак и упадёт в темноте! Взял сынишку на руки, укутал и стал расхаживать по избушке: «Тише, тише, Васенька, разбудишь всех...» Поясницу Василича свело и сдавило — целый день в режиме ручной бетономешалки.

— Господи Боже ты мой, уснёшь ты или нет... — терпение начинало лопаться. Василич запел шёпотом: «Поле чистое турецкое, мы когда тебя, поле, пройдем...», а мысли потекли своим чередом.

Когда Василичу было двадцать с небольшим — молодая кровь, как и положено, гудела и гуляла. И покойная бабуля решила, видно, внука оженить:

— Что ты всё бегаешь, беспутный!

Василич и не блудил никогда, чем среди сверстников и выделялся. Но все же шёл последний курс института, и студенческие вечеринки по квартирам сокурсниц, хотя и вполне скромные, Василич не пропускал. «Хм, беспутный!» Нет, не беспутным назвала его тогда бабуля, а непутёвым. Не глянулась ей девушка, сокурсница Василича, что сама бегала за ним, не сводя жадных глаз.

«Ты приходи ко мне на Пасху, мы к Бусыгиным поедem. Я тебя познакомлю со своей крестницей, — Василич не реагировал или делал вид, что не реагировал, занятый книжкой. — Коса русая до пояса. С тобой познакомиться хотела. А как в церкви поёт! Так вся и светится, как ангел Божий».

О-о, это-то Василича и доконало: «Ну, дура полная — молодая девка в церковь ходит, да ещё поёт!»

Василич с малых лет любил приходить к бабушке с дедушкой на Пасху. Будут пироги есть, кулич, пасху, будут крашеными яйцами биться. И эта старая коммуналка, эти разговоры про деревню, про Первую мировую, про блокаду. Гармонь дяди Лёши, пиджачок с орденами на одном плече, рюмка, покрытая горбушкой, за тех, кто... И обрубки посечённых осколком пальцев по клавишам гармонии. Потом пойдут все вместе провожать гостей — родителей Василича, его самого, сестрёнок. Огни вечернего Питера, звон трамваев по Садовой. С малых лет так — как обряд — из года в год. Замечательно и волнующе. Но вот Василич подрос и к бабуле чтой-то не пошёл, а про-

падал он в компании студенточек своих чернявеньких, не поющих и не светящихся. А там на столе вместо кулича и пасхи были пирог-наполеон, портвейн и водка.

И вот двадцать пять лет, как в пропасть ухнуло, где та крестница, кому светит?

«И что я, — продолжал Василич думку, — со всем своим бредом бестолковейшей жизни. Познакомиться она хотела, а я — нечистый попутал — убежал. И бегал, бегал, полжизни бегал вокруг храма большими кругами. Отчего не приручила меня бабушка к храму с малых лет? И сколько дров наломано и прочего всего. Боже ж мой! Да и сама-то ходила в храм редко, от всех украдкой. Икона спрятана была в шкафу, за бельём (я-то пяти лет знал: вот за стопкой белья на третьей полке — Богородица). Спасибо, хоть крестила тайком...»

Василич запнулся, и весь тот вихрь мыслей, что пролетал в его душе, встал и замер. Васенька пригрелся, укачался на руках и уснул.

«О Господи, прости меня грешного, что я несу!»

Василичу стало стыдно за минутную слабость: «Женись я, что ли, на той — руса коса до пояса — и всё было бы слава Тебе Господи? А эти детки, эта женщина, чьё исстрадавшееся лицо светилось по-своему в полумраке избушки?...»

Женщина, которую он и терпел едва подчас, но всё ж таки любил. Что она была бы сейчас без него и что он без неё? О нет, на всё воля Божья, и ничего переиграть, даже самые тяжкие падения и провалы, он не желал бы. Василич положил сыночка на кровать: «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа! Спи, Васюха». Потом перекрестил другого и третьего, перекрестил жену, себя, свою подстилку в углу и завалился без всякой мысли и размышления. Уцепившись руками за косяк, вытянул до хруста позвоночник. Полегчало. Уснул, быстро проваливаясь в счастливый младенческий сон.

...Ребёнок подошёл к отцу и открыл ему пальцем глаза. Отец проснулся. Ребёнок был мал и не понимал ещё, что отец нуждается в жалости и отдыхе, он был мал и требовал внимания сейчас, а не в будущем, которого для него просто не было. Ну что же: «Подъём, подъём, кто спит — того побьём!»

Василич перечитал начатый листок. «В печку что ли, всё это бросить...» — задумался на миг, бросил на стол и пошёл работать.

Василич взял второй объект — полдня здесь, полдня там. Так легче, дома рядом — сто шагов: притомишься на одной работе, можно перейти на другую. Дом тут стоял почти готовый, но без стен — каркас и крыша. Хозяин умер, не достроил. Рак. Взялся было сосед, но тем же летом утонул. Три года никто не хотел и браться. Вдова зашла к Василичу как бы ненароком:

— Вот вы там закончите... может быть...

— Нечего и ждать, я в перерывах ухвачу.

Василич пришёл, благословился, перекрестил злополучный дом и начал.

Под самой кровлей на стропилах жила ласточка.

— Здорово, соседка, — крикнул Василич, когда ласточка скользнула у него над головой и исчезла в гнёздышке. Василич пошёл колотить блоки да рамы, потом — дюймовка, рубероид да сверху шпунт. Любил он с вагонкой работать — красивая работа. Пока набивал три стены, ласточка была спокойна, летала мимо, пела песенки, кормила птенцов. Когда же Василич взялся за четвёртую, она сообразила, что не залететь ей более в своё гнёздышко, и заметалась туда-сюда. Василич по три раза на дню цеплялся руками за потолочную балку и висел, чтобы спина отдыхала. А нынче, едва он повис, ласточка тут как тут, села на балку возле Василича и смотрит в глаза: «Как же, мол?» Василич всё понял: «Ты не бойсь, я стены зашью, тебе окно открою. А улетишь в свою Африку, тут уж не взыщи, закрою на зиму. По весне вернёшься, давай как все, лепи под застрехой».

Поняла она или нет, а прощebetала что-то и улетела. Теперь повторялось это каж-

дый день: как только Василич повисал на балке, ласточка садилась рядом и объясняла что-то Василичу, может быть, жизнь свою рассказывала.

Наконец, Василич зашил все стены и стёкла вставил. Верхнее окно, как обещано, открыл, только ласточка не хотела летать через окно. Птенцы, видать, уже встали на крыло и исчезли вместе с ней. Василич подождал день-другой, да окно и закрыл: чего зоря дождю заливать. На первом объекте фундамент был закончен. И, пока бетон становился, Василич сидел здесь и занимался внутренкой. Ласточки нигде не было.

Поутру закрытое окно оказалось нараспашку. Василич подумал, усохло, наверно, и сквозняком открылось, — залез и закрыл. На следующие утро окно было открыто снова. Что за мистика — дом словно звал улетевшую до срока ласточку и открывал окна. Василич залез снова и врезал задвижку. Теперь никаким сквозняком открыться оно не могло. На следующее утро, выглядывая в своё окошко, Василич посмотрел в сторону соседского дома не без тревоги. Слава Богу, окно было закрыто. Придя на объект, Василич так и встал — теперь у дома открылось другое окно — на противоположном фронте. Василич перекрестился и уж не трогал окон.

Осенью, когда все уехали, а ласточки улетели, окно захлопнулось само.

Но пока до осени было далеко. Август — в разгаре. Жаркий, пыльный, без единого дождя. Для стройки это славно. Только вот книга не шла, не шла. Рассказы, начатые и не законченные, валялись во множестве. Теперь Василич просто строил, он решил не бороться более с собой, с усталостью, с бумагой и всем прочим. Просто работа, а чего ещё нужно человеку? На большее и рассчитывать грех.

Сегодня за полночь он опять вскарабкался на своё Болдино. На столе лежал позавчерашний начатый листок. Но Василич и не взглянул на него. Нет, не то, совсем не то! Он перекрестил себя и дом, лёг и уснул. Не проспав и часа, Василич, словно кто толкнул его, вскочил на своём лежбище. Сна не было. А слова так и лились — только успевай! За окном звучали цикады, бились в стекло полуночные мотыльки, чуть слышно гудела электролампа, под стать ей тихо шуршала шариковая ручка по бумаге. Василич чувствовал, что вот оно, и расслабляться нельзя — завтра уже не напишешь. Одна беда — спина. Он исписал уже десяток листов убористым и неровным своим почерком, но сидеть больше не мог. Не отрываясь от работы, отодвинул стул, встал на коленки — так было легче. Спина разогнулась, он повис на столе локтями — и дело пошло веселей.

Наконец, Василич поставил точку. Усталости не было. Не вставая с колен, он повернулся направо, где висели картонные иконки, прибитые к стене толстыми гвоздями, отодвинул бумаги, разложил перед собой на полу молитвослов и прочитал вечернее правило. Да тут же без остановки начал и утреннее, потому как солнце уже вовсю лилось в окна. Правда, не дочитал, внизу послышался знакомый стук: меньшей уже проснулся и бежал к Василичу, голенький, перебирая пятками по полу: бум-бум-бум. Прыг — и обхватил папину шею крепко-крепко.

— Пап, а чего у тебя лампа горит?

Папа ничего не ответил, поднялся, закружился по горнице с Васильком на руках, он был счастливым человеком. Поднёс малого к окну и распахнул рамы, одуревший за ночь мотылёк вылетел наружу. А навстречу утренний лес пел в тысячу птичьих голосов. Василёк заслушался, открыв рот.

— Всякое дыхание да хвалит Господа, — чуть слышно пропел папа сыну. Но сын-то знал это гораздо лучше папки.

Тут бы и поставить точку, тут бы и завершить повесть о Василиче. Кабы не накакать чего! Но повесть завершаться не хотела.

А было в тот день — Преображение, Яблочный Спас. Василич поехал с семейством в город. Всё лето, не считая Троицы, работал Василич, грешным делом, без выходных. Всё лето, не считая Троицы, не был Василич в храме.

Вернулись затемно. Василич вынес спящих детей из машины, разложил по кроваткам и — наверх. На столе лежали листы. Василич перебрёл не спеша:

Василич

Василич получил позвоночную грыжу — это раз. И какой уж тут теперь работник! Работы-то за зиму провернул гору, да какой работы — книги, семинары, лекции. Словом, к весне накопилось долгов две тысячи этих самых — ненаших...

Да-а!.. Нет, совсем не об этом хотелось написать. А о чём же? Как русский мужик катает тачку, месит бетон. Ладно, надо хотя бы имя сменить, чтоб не так натурально было. Как бы назвать? Ну, «Вадимыч», что ли.

Что-то тут не так, что-то всё-таки не досказано? Ладно. Утро вечера мудреней.

А наутро опять работа. Опять лесоповал. Теперь брёвна на сруб. Куплены брёвна на корню, тут же, на той же горюшке, где недавно веселилась молодёжь.

С утра у Василича разболелась голова — давило, давило железным обручем. Давление, шут бы его побрал. Но всё же Василич продолжал пилить ёлки. А завалив и пропилив в размер, кидал их с горы. Были тут и коротыши, окна-то Василич делал сразу, а не пропиливал (как вообще-то полагается) потом. Так было легче. Но больше получалось полномерных концов: ведь нужны были венцы над и под окнами. Брёвна, подпрыгивая и сотрясая почву, неслись под угор и застревали где-нибудь на полпути до стройки, зацепившись за пенёк или встречное дерево, поворачивались наискось склона. Последние сто метров Василич волочил их волоком.

Кровушка зашумела, забегала и голова, — слава Тебе Господи! — отошла. И Василич разошёлся: валил, пилил, катал. А сердце уже выпрыгивало из груди. Но что там, главное — голова б не болела! И не так стар был Василич, да и не слаб. И простую мужицкую работу любил пуще всякого иного.

В голове вертелась чужая фраза: «Как нам обустроить Россию?» Он повторял её на все лады, то всерьёз, то с иронией, и со смехом, и сам себе отвечал: «А вот так, вот так и вот так!» и рубил сучья вмах, норовя срубить их с одного удара. «А вот так, и вот так, и вот так!» — подхватывал брёвна и кидал их под уклон. «А так-то вот, так, и вот так!» — накидывал ремень удавкой и впрягался в лямку — даёшь трелёвку! И даже не мелькнуло у него ни разу, что вот, мол, передохнуть бы надо. И он всё — ух да ух. Вверх-вниз, по полной программе. И даже не так тяжело тащить бревно: по хвое да по пожухлому листу, под горку — само пойдёт! — как с каждой походкой неумогу становилось подыматься в гору порожним ходом. Вот где сапоги отяжелели.

Поднявшись в последний раз, он с удивлением увидел, что брёвен боле нет. Оставалось только подобрать пилу и топор. Сучья... сучья сожжём завтра. И тут только заметил Василич, как колотится сердце, как от седьмого нехорошего пота промокли роба и портки. И всё это — трудный этот пот вперемешку с душистым смоляным еловым да сосновым запахом, весь лес с пением птиц, летящим пухом ольхи, звоном комаров, которых давно не замечаешь. Все эти звуки, запахи, всё это живое, летучее и ползучее — всё было свято, всё было Божьим.

И Василич прилёг, где стоял, прямо в мох, в ландыши, в чернику, раскинул руки и загляделся в небо. И мыслей-то у него никаких не было, да они и не нужны были. И если бы и мог он подумать о чём-то в ту пору, то тут бы с порога и прогнал всякую мысль, дабы не мешала счастью вот так лежать, смотреть в небо, ни в чём не сомневаясь.

И тут встало сердце Василича — сколько же можно! — встало.

Вот, наконец, и конец нашей повести.

Впрочем, для тех, кто верит, это не конец, а только начало. Тут-то всё начинается. Но об этом уже не напишешь вот так — словами. Да и не вем, не вем.

Одно плохо: остались жена да дети малые. Не успел взрастить и на ноги поставить. Это он зря. Это не правильно.

Но... Богу виднее.



ВАЛЕНТИН СОРОКИН



У крупного поэта берёзка есть своя...

Синий соловей

Страстью каждого побега
Сквозь пласты немого зла
Из-под снега, из-под снега
Встала яблоня, бела.

Встала, тонкая, — в округе
День цветами закипел,
Соловей, седее вьюги,
На ветвях её запел.

То ли серый, то ли синий,
Свет серебряный он льёт,
Лепестковый зябкий иней
Стряхивает и клюёт.

По очам твоим зовущим —
Кто нам это запретит? —
По плечам, объятий ждущим,
Снег сверкает и летит.

Не с пургой, так с белым ветром
Закружится нам дано.
Я хочу зелёным кедром
Заглянуть к тебе в окно.

Или клёном, или клёном,
Размыкая белый дым,
Но не менее зелёным
И не менее седым.

СОРОКИН Валентин Васильевич, поэт. Родился 25 июля 1936 г. в Башкирии. Около 10 лет проработал в 1-м мартене Челябинского металлургического завода. Член Союза писателей с 1962 г. В 1965 г. окончил Высшие литературные курсы. Вёл отдел поэзии в журнале «Волга» (1965–1967), отдел публицистики в журнале «Молодая гвардия» (1967–1969). Был главным редактором издательства «Современник» (1970–1980). Руководил Высшими литературными курсами (1983–2014). Автор многих книг стихов, прозы и публицистики. Лауреат Государственной премии России, Международной премии им. М.А. Шолохова и др. Живёт в Москве.

Мчится воин

Слава Богу, отбесились ветры.
Степь лежит, жарой обожжена.
И на все прямые километры —
Светлый дождь, река и тишина.

Хорошо родиться на Урале,
Где хранят донине времена,
Как в бою хрипели и скакали
Кони, обрывая стремена.

Диким смерчем, тяжкою метелью
Налетал внезапно Емельян.
Край, безумно кинутый веселью,
Превратился в грозный океан.

Шла расплата, и под скрежет стали,
Вжиканье косы или кнута

Господа и слуги трепетали —
Дыба избавителя крута.

Он кипел, ярился — к роте рота.
Сотрясал корону скорый слух.
Невозможно вырвать у народа
Пламя правды и бунтарский дух.

Величался в зыке колокольном
Царь-заступник, принимая лесть.
Но уже на сговоре окольном
Нёс предатель будущую месть.

Голова на плахе кумачова.
А в глазах казачьих, что ни день,
Мчится храбрый воин Пугачёва
По дорогам русских деревень.

От сказки до былины

Топоры стучат легко и ровно,
Золотые чуть смолятся брёвна.

И с утра над срубом до заката
Кружит солнце жаркое крылато.

А в лесу вокруг хлопочут птицы,
Соловьи и дятлы, и синицы.

Дом растёт, и ясное окошко
Скоро в мир направит он сторожо:

Чтобы из ворот на клик тропины
Дети шли — от сказки до былины!..

Преклонение

Холм зелёный, зелёное поле,
У реки зелёны берега.
И черёмухи белой на воле,
Чуть качаясь, искрится пурга.

Сколько вёсен я знаю вот это:
Даль и небо, и солнца зенит,
Птичий гомон, как будто планета
Только здесь и поёт, и звенит.

И опять я себя повторяю,
Сердцем в жизни назвав красоту, —
Путь теряю и радость теряю,
Крыл бесстрашных сдаю высоту.

Обманусь, натоскуюсь, натешусь
Вечной истиной, и невпопад,
Хлынет гроз неохватная свежесть,
Со скалы забурлит водопад.

Настежь душу и настажь просторы:
Ну, попробуй, шатни или сбей,
За горами горбатятся горы,
За степями — начало степей!

И судьбу я встречаю не одой,
А мятежною долей морей.

Горше совестью, твёрже свободой,
Мерой взгляда, что молний острей.

Правит облако, с думой о лете,
В ночь, где вспыхнет кометовый след.
И в крови моей стоны и ветер,
И черёмухи яростный цвет.

* * *

Дождь просыпался робко и вяло
И на тропы, и на тополя,
Но внезапно заря засияла,
И лучи устремились в поля.

Влага холода, зимняя дрёма
В пробуждённой земле разлилась.
По оврагам бушует ядрёно
Молодая весенняя власть.

Чисто озеро, шорохом, свистом
Птичьих крыл побережье полно.
И в закате, большом и огнистом,
Точит молния стрелы давно.

И во мраке, что в пропасти рудной,
Бродит месяц, и вновь до утра
Непонятною удалью трудной
Бьют под самое сердце ветра.

Успокоюсь, замру и отчаюсь.
Мир гремящий, ты всюду не пуст:
Это я от печали качаюсь,
Как горящий сиреневый куст.

На дорогах бездумного мая,
Там, где звёздный поток нерушим,
Я стою, широко принимая
Камнеглыбные вздохи вершин!

* * *

Давно заметил я,
У крупного поэта
Берёзка есть своя,
Дом, родина, планета.

А очень небольшой
Поэт подобен пытке:

Цепляется душой
За каждый гвоздь в калитке.

Мешает взору злость
И даже мутит лиру,
Принадлежит, мол, гвоздь
Не только мне — и миру!

* * *

Синева тепла и глубока.
Озеро. Гранит мерцает ало.
Может быть, подошва Ермака
На него когда-нибудь ступала.

Всё даётся кровью и огнём,
Яростью ушедших поколений.
Солнечным обласканные днём,
Дремят стаи редкие селений.

Каждый холм — для славы пьедестал.
Здравствуй, синеокая свобода!
В миг, когда рождается металл,
Силы прибывает у народа.

Страсти пролетарские, порог
В светлое, где соловьи и зори.
Только труд, а не обман и торг.
Вздых души, как облако в просторе.

Лишь ковыль волнуется, шурша.
И всплывает песня из тумана
Про высокий берег Иртыша
Над седой могилой атамана.

В седом краю

Там, где рыси и орлиный клекот,
Где медведь малину ест с утра,
Затерялись в мареве далёком
И в горах пропали хутора.

Отцвели гармошки на коленках.
Ленты отшумели у невест.
Ивашла, Успенка и Павленка —
На холме обуглившийся крест.

Словно дед сутулый ищет внука
Или бабка с посохом бредёт.
«Мир усопшим!» — вот и вся наука,
Жаль, её не знал я наперёд.

Я не знал, что вечен запах ила,
Что скала, как мать моя, грустит.

Я не знал, что ни одна могила
Сорок лет разлуки не простит.

Я не знал, что не сулил успеха
Мне, мальчишке, звёздный сеновал:
Жизнь проехал, шар земной объехал,
Ну а этот крест не миновал.

В Индии другие реют птицы,
В Риме — серебрятся родники,
А у ваших речек, зилаирцы,
Завздыхали те же тальники...

И не зря с любого перевала
Вновь я слышу: в дорогом краю
Седина гранитного Урала
Овевает голову мою!

*Редакция журнала «Сибирь» поздравляет
замечательного русского поэта*

Валентина Васильевича СОРОКИНА

с его славным юбилеем — восьмидесятилетием!

*И желает ему крепкого здоровья,
долгих лет жизни и — стихов, стихов, стихов!*

Посвящение в слово

ЭССЕ

Говорят, что книги сами выбирают себе читателей. В этом утверждении много правды. Но почему книга обладает силой притяжения и волей выбора? И что в книге — главное? Умные мысли? Иллюзия реальности, создаваемая яркими образами? Погружение в иной, непохожий на обыденность, мир? Личность автора, близость его твоей душе? («Он передал то, что я чувствую...»)

Главное, конечно, слово. Человеку дан бесценный дар, и он столь велик, что его даже трудно принять во всей полноте. Подумаешь, слово!.. Оно — как воздух, вода, земля — кажется, что было всегда и будет до скончания века. Но точно так, как ныне отравлены реки и прорежены леса, истощена почва и омертвлено море, так и слово, бездумно растраченное, теряет силу. И тогда его начинают «накачивать» мощью электронных медиа: телекартинкой, пиаром, интернет-сетями, мгновенной доставкой во все стороны света. Снаряжённое, как доспехами, техническими новшествами, слово посылают в мир. Покорять избирателей и покупателей, убеждать народ, разить противников, искушать дремлющие души. Слово — оружие, над его действующей силой трудятся лучшие умы современности: лингвисты, программисты, психологи. Слово, эту волшебную Жар-птицу, господа жизни земной пытаются усадить в клетку рекламы и пропаганды и, пленённое, выпускать лишь по желанию хозяев-управителей.

Но... ничего не выйдет! Потому что есть книга — настоящий храм слова. Мы входим в него с душевным трепетом и почти суеверным восхищением: какая работа! Мы прикасаемся к «словам-кирпичикам», из которых сложен удивительный, непохожий на наш, мир заоблачных чертогов. Неужели всё это рождено смертным человеком?! Или... Или Пушкин прав: «Нет, весь я не умру — душа в заветной лире // Мой прах переживёт и тленье убежит»?! Пока звучит в душе русского народа гармоническая лира Пушкина, Жар-птица в небе! И она даже роняет избранным золотые перья...

* * *

Чтобы написать эти слова, чтобы быть совершенно убеждённой в их истинности (а значит, и действенности), я должна была встретить книгу, которая не просто поразила бы моё воображение и ум, но изменила бы русло моего бытия так, как меняют его ключевые, судьбоносные события жизни.

Мне было 16 лет, и я очень любила читать. В раннем детстве, слушая отрывки из «Поднятой целины» Шолохова, глядя в книгу, которую держал отец, я невольно заучивала не буквы, а целые слова, фразы, отрывки. Точно так же вошли в мой ум стихи Некрасова и насмешливость Гоголя. В отрочестве я запоем читала тяжёлые тома собраний сочинений Бальзака и Диккенса, а учебник «Родное слово» одарил меня потрясающим открытием: «Это ты, моя Русь державная, Моя родина Православная!» Иван Никитин написал, наш, воронежский...

Но в 16 лет сердце искало любви, или — в отсутствии избранника — хотя бы достойного её выражения. Самый высокий род слова — поэзия, и она же — кратчайший путь к сердцу. В книжном магазине провинциального городка я раскрыла томик стихов «Посвящение». Первые же прочитанные строки поразили: «Полюби меня крепко, // Чтоб единой судьбой, // Словно дерево с веткой, // Был я связан с тобой».

Я училась в Воронеже, уехала работать в Москву, и везде возила с собой два мешка книг — личную библиотеку, составленную преимущественно из классики. В ней почти не было современных писателей. Из поэзии «отобрался» сборник «Посвящение». Имя автора — Валентин Сорокин — ничего мне не говорило: поэта не показывали по телевизору, не читали по радио. Но стихи из цикла «Разговор с любимой» задевали меня. В них чувствовалось что-то необъяснимо-глубокое, тайное. И это — не отпускало.

Прошло 13 лет со времени встречи с «Посвящением». Слово уже так много значило в моей судьбе, что я решила поступать в Литературный институт. Помню: золотистый август, мы, абитуриенты, шумно обсуждаем предстоящее собеседование. Я невольно отвлеклась от разговора: по двору Литинститута шёл человек — какое благородное лицо! Какие глаза — сколько мягкой красоты и пронзительной силы! Седина — серебристый, сияющий нимб! Я совершенно точно поняла, угадала, почувствовала: человек этот — необычный, не такой как все. В ту же секунду я пообещала себе: если поступлю, буду учиться только у него! Волна радостного предчувствия захлестнула меня: какое счастье, что здесь, в храме слова, есть такие люди!

Первого сентября на традиционном студенческом митинге я узнала, что человек, так поразивший моё воображение, поэт Валентин Сорокин, автор «Посвящения».

* * *

Если бы моя история на этом закончилась, её было бы достаточно для доказательства судьбоносности книг, которые выбирают нас. Но состоялось и продолжение: пришло время, когда в магазине, где я купила когда-то «Посвящение», продавали сборник моих рассказов «Вдвоём». Я не только училась у Валентина Сорокина литературному мастерству, но и написала повесть о нём — «Тайна поэта», в которой выразила восхищение его талантом и творчеством. Наконец, я редактировала многие его книги: «Крест поэта», «За одну тебя», «Сувенир», «Где твой меч?», «Здравствуй, время!», «Русская отвага», «Твои ладони», «Купола Кремля»...

Исключителен ли мой путь? Да — потому что я откликнулась на зов слова, нет — потому что званы были многие. Валентин Сорокин в детстве был очарован поэзией полужаппрошенного Есенина и расстрелянного Павла Васильева. Впервые он услышал их стихи из уст заключённых, работавших в уральской тайге. И мы можем длить эту драгоценную (и драматичную) цепь русской поэтической традиции в классическую вечность, к первоисточкам слова.

Сейчас много издаётся плохих книг, книг-подделок, книг-обманок, произведённых на свет «неестественным путём», недоношенных, поражённых болезнями своих безответственных родителей. Это вполне объяснимо: люди стали слишком неразборчивы к слову, многие утратили понимание его значимости. Но есть и русская классика, есть русская поэзия, она поднимает душу на высоту, недостижимую в обыденности: «Стою один среди равнины голой, // А журавлей относит ветер в даль, // Я полон дум о юности веселой, // Но ничего в прошедшем мне не жаль...»

Классическая русская поэзия — богатство, делающее человека счастливым. Когда мне трудно, я с благодарностью вспоминаю слова Валентина Сорокина: «Поэзия — божье дело, звёздное состояние души. Со стихами ты никогда не будешь бедной или униженной». И жизнь автора «Посвящения» убеждает, что это действительно так.

Лидия СЫЧЁВА



Валентин Распутин не призывал к распаду СССР

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПИСАТЕЛЕЙ ПРИАНГАРЬЯ

25-летняя дата обрушения Советского Союза в недавние мартовские дни стала предметом телепередачи под названием «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Мы уже привыкли к тому, что любую тему можно уложить в развлекательный жанр ток-шоу, и если тема задевает, терпим выплески несдержанных эмоций, шум и одновременный крик семи ораторов — но какое без этого было бы шоу? Хотя важен и смысл. Особенно, если гости передачи — известные политики, деятели культуры, писатели.

Вот и на этот раз разговор проистекал бурно. Ещё бы! Речь шла о событиях, перевернувших жизнь огромной страны, собравшимся выпало в той или иной мере оказаться их участниками, и каждый был искренне убеждён, что помнит лучше других перипетии разломной эпохи.

К сожалению, в спорах рождались новые неточности и заблуждения — вместо прояснения истины трагедии страны, исчезнувшей с карты мира. В том, что случилась именно трагедия, были едины все, и это уже шаг вперёд, однако пришла пора отказаться от тех расхожих клише, что сложились ещё с 90-х годов не без усилий победившей либеральной части российского общества.

Одно из таких клише — якобы причастность Валентина Распутина к развалу Союза. Вот и 17 марта, как раз в дни годовщины ухода из жизни писателя, имевшего помимо официальных званий и наград неофициальное звание «Совесть России», рядом с именами правителей Горбачёва и Ельцина, не удержавших страну на крутом историческом повороте, прозвучало его имя. На Распутина сослался Борис Славин, помощник президента Горбачёв-фонда, желая обосновать неизбежность происшедшего: «Историю делают люди... Были многие сторонники освобождения России от Союза. Среди них был такой гениальный, я считаю, писатель Распутин, который рассуждал о том, что вот мы освободимся от этой периферии, освободимся, так сказать, от всех республик, и мы заживём лучше, потому что основной потенциал есть в России. Это было? Было. Мало того, депутаты поднялись с места и аплодировали, устроили ему овации...»

Было, но по-другому, и аплодировали другому. В утверждении Б. Славина сближены две мысли, принадлежащие двум разным писателям. Не случайно с большим трудом, но всё-таки можно было расслышать реплику, кажется, А. Ципко: «Это Солженицын...» Однако на ней не остановились даже присутствовавшие на передаче писатели, заторопились дальше. И стало совершенно очевидно: выступление Распутина на Первом съезде народных депутатов СССР 1 июня 1989 года, а именно тогда он высказался о судьбе России на переломе эпох, не было по-настоящему осмыслено. Ведь подобные упреки повторяются вновь и вновь.

Лучше всего было бы сегодня, в год 25-летия распада СССР, повторить публикацию этой речи полностью в каком-то известном издании. Она передаёт не только точку зрения самого Распутина, в ней запечатлена общая атмосфера съезда накануне распада державы, — таков, что называется, исторический контекст.

Распутин говорит о необходимости сдерживать «безумство храбрых», о «необъявленной войне против нравственности», о незащищённости от клеветы даже представителей

«самого верхнего эшелона власти», задаёт прямой вопрос М. Горбачёву об угрозе государственного переворота, остро ставит вопросы экологии.

Особенно пронзительна его речь предчувствием близкой катастрофы — крушения СССР, и желанием её предотвратить. Напомним. «Не мною сказано, — говорил писатель, — но кстати повторить здесь в небольшой редакции знаменитые слова: «Вам, господа, нужны великие потрясения — нам нужна великая страна»». Уместен короткий комментарий. «Небольшая редакция» известного высказывания П. Столыпина заключается, в том числе, в замене слова «Россия» на слово «страна», что подтверждает: Распутин имел в виду не одну Россию, а весь Союз. Затем он пытается переубедить представителей союзных республик, точно указывая на то, как сеется раздор. Призывает не поддаваться ему, объясняет, силится достучаться. Выделим некоторые фразы.

«О стране. Никогда ещё со времён войны её державная прочность не подвергалась таким испытаниям и потрясениям, как сегодня... Шовинизм и слепая гордыня русских — это выдумки тех, кто играет на ваших национальных чувствах, уважаемые братья... Но играет, надо сказать, очень умело. Русофобия распространилась в Прибалтике, Грузии, проникает она и в другие республики... Антисоветские лозунги соединяются с антирусскими... Здесь, на Съезде, хорошо заметна активность прибалтийских депутатов, парламентским путём добивающихся внесения в Конституцию поправок, которые позволили бы им распрощаться с этой страной. Не мне давать в таких случаях советы. Вы, разумеется, согласно закону и совести распорядитесь сами своей судьбой. Но по русской привычке бросаться на помощь, я размышляю: а может быть, России выйти из состава Союза, если во всех своих бедах вы обвиняете её и если её слаборазвитость и неуклюжесть отягощают ваши прогрессивные устремления? Может, так лучше? Это, кстати, помогло бы и нам решить многие проблемы, как настоящие, так и будущие. Кое-какие ресурсы, природные и человеческие, у нас ещё остались, руки не отсохли...

Поверьте, надоело быть козлом отпущения и сносить издевательства и плевки. Нам говорят: это ваш крест. Однако крест этот становится всё больше неподъёмен. Мы очень благодарны Борису Олейнику, Иону Друцэ и другим депутатам из республик, кто сказал здесь добрые слова о русском языке и России. Им это позволено, нам — не прощается».

Далее Распутин говорит о том, что не Россия виновата, «а тот общий гнёт административно-промышленной машины...», и единственно о чём просит — «...жить нам вместе или не жить, но не ведите по отношению к нам себя высокомерно, не держите зла на того, кто его, право же, не заслужил».

И где здесь желание «освободиться от периферии, от всех республик»? Вовсе другое — «по русской привычке бросаться на помощь» писатель даже не предлагает, а всего лишь размышляет, обращаясь к тем, кого называет братьями: коли мы вам мешаем жить хорошо, так не лучше ли нам уйти, освободить вас от себя (а не себя от вас!). И чем заканчивает свои размышления? Словами, которые почему-то никогда не цитируются: «А лучше всего вместе бы нам поправлять положение. Для этого сейчас, кажется, есть все возможности».

И как после этого поворачивается язык причислять Распутину к «сторонникам освобождения России от Союза»?

Что касается высказанной надежды — глядишь, и России станет легче, и она сосредоточится на себе, то в этих словах прорвалась давняя боль русского человека. В 1980-е годы многие граждане Российской Федерации пришли к выводу, что их республика по самым важным показателям находится в худшем положении по сравнению с другими республиками Союза. Было даже принято обращение к правительству СССР с убедительными доводами и предложением мер по выправлению такого перекоса. Это и отразилось в чаяньях писателя открыто говорить о российских бедах, преодолевать их. Но и тогда, в том обращении (увы, запоздавшем!) не было призыва выделить РСФСР из других республик, речь шла только о справедливости.

К сожалению, во время перестройки Россия не поднялась, хуже того — часть её населения оказалась в заложниках у бывших братских республик и подверглась гонениям.

Совсем иное говорил Александр Солженицын в своей статье «Как нам обустроить

Россию» (1990). У него были конкретные предложения, как «распрявиться от давящего груза»: надо избавиться от «среднеазиатского подбрюшья» при сохранении союза трёх славянских республик. (Правда, в 1994 году он отказался от радикальных взглядов в отношении Средней Азии.) Уж и впрямь, не перепутали ли двух писателей в горячке ток-шоу?

Почему-то не берётся во внимание ответ Распутина на обвинения в призыве к распаду Союза, которые сразу же посыпались на него со стороны либерального лагеря. Доходило до улюлюканья — дескать, атаман Краснов бы накинулся с шашкой на такого патриота! Распутин, почти никогда не вступавший в полемику, здесь высказался резко.

«Речь идёт о словах: «А может, России выйти из состава Союза?»... Понять их так, как понято Ан. Стреляным, значит, ухватить, что называется меня руками за язык и придержать, чтобы после вопроса ничего, кроме мычания, не последовало, и вопрос прозвучал как утверждение, сопровождаемое угрозой. Истина тут и близко не ночевала...

Жаль, не дано расслышать А. Стреляному в моих словах великую боль и обиду за Россию, на чью голову... выливались поношения и брань как на главного и единственного виновника всех несчастий шестой части суши...» («Интеллигенция и патриотизм», Лит. Иркутск, нояб. 1990 — янв. 1991).

Возражения оппоненту постепенно переходят в глубокое осмысление судьбы СССР и места в нём России, даются прогнозы последствий будущих «разводов» республик, которые сбываются на наших глазах.

И в дальнейшем, в очерке «Что же дальше, братья-славяне?..» 1992 года, во всей публицистике последующего десятилетия Распутин остаётся верен себе как консерватор и государственник-патриот и неизменно выступает против всякого рода разрушений и разрушителей.

Весьма прискорбно, что при всём признании его гениальности, он остаётся по сию пору не прочитан и не понят. Более того, те, кто не сумели или не захотели остановить крушения страны, теперь пытаются переложить на него часть своей ответственности.

Непрочтение и непонимание Распутина, ставившего точный диагноз Отчеству в самые провальные годы конца XX века, ныне является одной из главных причин нашего затянувшегося топтания на месте. В этом нет никакого сомнения.

Члены Союза писателей России:

Альберт ГУРУЛЁВ,

Василий ЗАБЕЛЛО,

Василий КОЗЛОВ,

Валентина СЕМЕНОВА,

Владимир СКИФ,

Валентина СИДОРЕНКО,

Константин ЖИТОВ,

член Союза журналистов России

Голоса на дороге

БЕСЕДА С ОМСКИМ ЛИТЕРАТОРОМ Г.Г. МИНЕЕВОЙ
О ПОСЛЕДНЕЙ ВСТРЕЧЕ С В.Г. РАСПУТИНЫМ

— Галина Георгиевна, вы были близко знакомы с Валентином Распутиным. Расскажите, пожалуйста, как и где вы познакомились.

— Я часто задаю себе вопрос: почему Валентин Григорьевич отыскал меня через много-много лет, почему душа его вдруг зазвала меня в своё сокровенное, хоть и ненадолго, через сорок с лишним лет? Об этом не спросишь у него, да и спроси тогда, он ничего не сказал бы в ответ, а только улыбнулся бы вопросу, склонив слегка голову.

Наши короткие отношения я не назвала бы громко — «близко знакомы», просто на последний отрезок его пути по жизни нет-нет да соскальзывала моя ступня, вроде бы случайно.

В эти годы наших никаких отношений вместились блестящее воплощение его прекрасного таланта, лаконичного и глубокого, как и он сам.

Я расскажу о первой встрече с Валентином Григорьевичем, тогда — автором прекрасной повести «Деньги для Марии». Это произошло в Иркутске, где училась в университете, мы его коротко называли — ИГУ. Училась в группе журналистов филфака. Однажды, когда мы гуляли по Иркутску, Александр Валентинович Вампилов говорит мне: «Слушай, Галка, давай, зайдём к Вальке Распутину, я тебя с ним познакомлю, хочешь?» А как было не хотеть увидеть нашего знаменитого иркутянина, когда все только и говорили о его новой повести.

Это происходило скорее всего летом 1968 года, потому что не было тяжёлой верхней одежды. Вечер. Поднимаемся по серому бетону лестничных проёмов ступенька за ступенькой. Я почему-то заволновалась и сказала Сане, что боюсь. Он засмеялся и сказал: «И поделом, он у нас такой, его бояться должны, особенно молодые девушки».

Дверь почему-то была не заперта, и на кнопку звонка мы не жали. Вампилов, чуть прикусив губы от тихого старания, узкой изящной ладонью коснулся ручки, дверь подавалась, и мы оказались в небольшой, а скорее, очень маленькой прихожей, из которой сразу же была комната, где за откидной доской секретера красного дерева сидел молодой человек, склонив голову над листами бумаги, освещёнными небольшой лампочкой на штативе. Он что-то писал, немало не обратив на нас внимания.

Вампилов, артистично вскинув голову в буйной кудрявой шевелюре, подчёркнуто любовался этой картиной, приглашая глазами и меня оценить этот момент:

— Ты посмотри на него — творец!.. А!.. Валя!

Он торжественно поднял палец и глаза вверх, потом без смеха, серьёзно, чуть понизив голос, мне на ухо: «Классик!.. А это уже без шуток».

У меня до сих пор перед глазами эта картинка: Валя медленно поднимается со своего места, Саня нас знакомит, произнося очень личные слова, оба тихо улыбаются. Мы стоим с Распутиным друг против друга, он — большой и уже очень знаменитый, и я — маленькая студентка. Мы просто молчим.

— Каким вам запомнился Валентин Григорьевич?

— Хочу сказать о его молчании. Это особый распутинский дар — молчать. О нём многие сегодня говорят. Тогда я ощутила его впервые.

МИНЕЕВА Галина Георгиевна. Окончила Иркутский государственный университет им. А.А. Жданова (1966–1971), специальность — журналист. По распределению была направлена в г. Омск, где работала в партийной газете «Омская правда», с 1978 г. на протяжении 19 лет работала редактором художественной литературы в Омском книжном издательстве, которое в то время широко издавало русскую и зарубежную классику, новинки современников, в том числе выпускались и книги В.Г. Распутина.

В молчании происходила жизнь. Уже не было смущённой девчонки, не было Сани, не было и самого Вали... просто была какая-то неведомая временная субстанция, которая являлась и знанием, и чувствованием, и проживаемостью не только данного момента, но и более глубокого чего-то.

Тогда я не понимала ещё, что это распутинское умение брать людей в своё духовное пространство и есть его суть, щедрая суть.

Мы тогда не задержались надолго, чтобы не мешать Валентину работать.

«Каков мерзавец, а! — восхищённо приговаривал Саня, когда мы лёгким скоком спустились по лестницам. — Я же тебе говорил, что мой друг Валька — гений!» Потом, скопив свой хитрый в длинном разрезе глаз, добавил: — «И я — гений! Только попробуй не поверь!»

В мою задачу не входит говорить о его книгах, таланте. Творчество Валентина Распутина уже стало бесценным достоянием русской литературы, и есть много людей, и будет ещё, которые профессионально оценят его вклад в нашу литературную сокровищницу. На мою долю выпало малое, о котором знает только моя душа, но это великое счастье, потому что она соприкоснулась с удивительнейшим человеком нашей эпохи.

— *Насколько он как человек был похож на свои книги?*

— Он и его произведения — одна плоть, одно импульсивное прикосновение к реальности, даже не импульсивное, а импульсное, когда каждое его слово — вскрик не только нервного волокна, как материальной ткани, но и поющий звук, звучащая нота бытия. Может, потому и написал он так немного, что каждую свою героиню он вынашивал, вскармливал, как мать ребёнка, в своей душе мучительно и расточительно, распиная себя жертвенно и бескорыстно.

Почему именно женщина чаще плачет в его душе? Она — не только дарительница жизни на земле, но и её хранительница. Если что-то случается с женщиной, то последствия бывают катастрофическими — вспомним нашу праматерь Еву. Валентин Григорьевич очень тонко чувствовал сетевую атаку, если выразиться современным языком, на главное условие сохранения человечества как вида — не погубить, не извратить, не совратить женщину вновь, и она раздует огонь в очаге, обогреет Жизнь и не даст ей погаснуть.

— *Ваши любимые произведения Валентина Григорьевича, почему именно они?*

— Каждое из них — этап, будь то художественная литература, будь то публицистика. Валентин Григорьевич с такой проникновенностью делится болью за свою родную Сибирь, за каждое местечко под солнцем, которое даровано человеку и доверено ему на сохранение. Распутин никогда не забывает родной земли. Вот несколько слов из письма, которое он написал 29 июля 2012 года: «На днях поеду, вернее, поедem вместе с батюшкой и его сопровождением, на мою родину, в Аталанку (это в 300 км по Ангаре в сторону Братска), чтобы в очередной раз привести к молитве местный народ. Там могилы моих бабушки с дедушкой, отца и брата, да и чуть ли не всей прежней Аталанки...»

А самым любимым для меня произведением является его рассказ «Что передать вороне?». Почему именно он? В этом рассказе я более всего вижу Распутина, его манеру писать, рассказывать, думать и размышлять, как ни в каком другом произведении он открыл свое непередаваемое и позволил побывать в нём читателю.

Сколько бы раз я ни читала рассказ, не могу им наполниться, словно он длится и длится, имея только продолжение, открывая самые сокровенные слова Валентина Григорьевича о себе, о творчестве, о дочери... которые он произносит до сих пор. Бывает страшно — столь сильны и точны совпадения.

— *Чем он жил, болел, что считал важным для себя в последнее время?*

— Жил он жизнью. Радовался вприщурку выглянувшему солнышку, тихонько поварчивал на медицинских сестричек, которые пунктуально напоминали о процедурах, но безропотно и с надеждой их исполнял.

Он болел за Родину, за свою Сибирь, за Ангару, за человека. И боль эта проявлялась не в патетических вскриках, как бывает у некоторых наших политиков, а в тихом слёзном горе, которое и породило его великое молчание. Каждый человек жил в его сердце.

В 2012 году мне довелось быть в Иркутске. Скажу честно — я поехала туда намеренно, хотелось увидеть Валентина Григорьевича, тем более что почти в каждом его письме ко мне он напоминал как бы вскользь, что надо вместе навестить Саню Вампилова в его чугунном одиночестве. Но и не это явилось главной причиной. Для Распутина этот год был особенно тяжёл — ушла из жизни его дорогая жена, родной и любимый человек, его верная помощница. Мне было страшно за Валентина Григорьевича и хотелось хоть чуть-чуть поддержать его в этом горе, отвлечь от тяжких мыслей хоть ненадолго.

Я навестила его в иркутской больнице. Чтобы вывести Валентина Григорьевича из состояния горьких воспоминаний, я предложила ему погулять, пройтись по свежему воздуху. Поскольку накрапывал дождик, заставила его надеть ветровку.

Он повёл меня к своей террасе, где обычно прогуливался:

— Я проведу тебя к моему месту, где люблю посидеть, где почти никого не бывает.

Обочинка была маленькой, идти было не совсем удобно, да ещё зонтик и мелкий дождишко, но больше не он мешал, а резкий порывистый ветер, который выворачивал зонтик.

Это была большая бетонная площадка, где стояла скамейка, спинкой к автогассе. Мы присели. Впереди перед глазами был какой-то бетонный откос, который влюбленными по нынешней привычке писать признания на всяком месте был испещрён страстными, восторженными и безнадёжными признаниями. Валентин Григорьевич посмотрел на все эти надписи и сказал:

— Тут была только одна надпись, там, где про Заюшку... Сажу так, подходит ко мне молодая женщина, не трезвая, подошла и попросила сигаретку, сказал, что не курю, тогда она говорит мне:

— Может, дашь на пиво?

— И на пиво тебе не дам.

— Вот так, — говорит она, — и тебе я противна... А между прочим, самую первую надпись я сделала... призналась в любви своему Заюшке. А потом он меня бросил, мне восемнадцать лет было. И вот такой, какая есть сегодня, он меня сделал. Я слушалась его во всём и думала, что так и надо жить... а теперь... Разве это жизнь!

Валентин Григорьевич горько покачал головой.

Я подошла поближе к этой надписи: «Заюшка, я тебя люблю! От Лены Е. Жене Д.», сфотографировала её. Было что-то в этой истории очень обыденное по нынешним временам и трагическое в своей обыденности, то, о чём талантливо мог бы рассказать только Распутин. Сфотографировала и Валю на его скамеечке, где за спиной — его любимый и дорогой сердцу город, его Иркутск, его люди.

— *Вы навещали его в больнице — я помню фотографию. О чём тогда говорили?*

— Мы возвращались с прогулки по дождю, и долго сидели на скамейке у скверика, перед широкой, высоко и длинно поднимающейся больничной лестницей. Говорили мы о незначительном, больше молчали, слушая присутствие друг друга. Я знала, что он хочет спросить меня об очень важном, как и то, что он этого не спросит, боялась знать и своих слов, которые были ведомы ему и без моей боязни. Мне было более зябко от этого, а не от холодной мороси, я торопилась уйти, а он не хотел этого.

Дорогая Светлана Анатольевна, мы мало говорили, плача внутри друг о друге! За всё то время, что мы пробыли вместе, мы больше молчали, но это был такой напряжённый и насыщенный по силе диалог, что никогда и ни с кем я так много не говорила.

В его июльском письме того года есть шуточные строки: «Как хорошо, Галя, что ты приезжала в Иркутск и как хорошо, что побывала у меня в больнице. Да ещё трижды. Я и мечтать о таком не смел. И, будучи полуживым стариком, воодушевился, стал поглядывать на равнодушных ко мне иркутянок с презрением. И как кстати ты сломала ногу, потому что с двумя-то здоровыми ногами ты бы побежала неизвестно куда, а тут пришлось возвращаться по тому же адресу. И мы таким образом затвердили нашу дружбу».

— *А что случилось с ногой?*

— Да вот, так неудачно возвращалась с этой замечательной встречи, что сломала ногу и повредила позвоночник, но... как говорится у православных — без искушений добрые дела не делаются. Лучше расскажу вам о последней встрече с Валентином Григорьевичем.

Сознаюсь честно, я побаивалась очередной встречи с Распутиным, струсилась, и позвала с собою свою любимую подругу, однокурсницу, которая приехала из Томска в Иркутск в это же время к своим родным. Спросила на то разрешение Валентина Григорьевича, он не возражал, поскольку знал её по нашим студенческим будням.

В разговоре нам было легко — вспоминали наш студенческий Иркутск, как Валя с Саней Вампиловым приходили в нашу 220-ю общежитскую комнату, где мы жили пятью девочками, как мы слушали их рассказы о литературе и писателях, о талантливых новинках, как эти их рассказывания нам помогали получать пятёрки на экзаменах у строгой Тендитник.

Пришло время расставаться. Распутин проводил нас до машины.

Теперь скажу о самом мучительном, об этих прощальных минутах.

Я поцеловала его по-православному, трижды, в правую щеку, в левую, и снова в правую. Обняла его, и он меня. Я видела, как плотно прижаты его губы к сжатым зубам, которые отчаянно удерживали внутреннее равновесие, как напряженный румянец неровными пятнами лёг на его щёки. Казалось, что он еле сдерживается от слёз. Он простился с нами и быстро пошёл по этой длинной лестнице вверх. Не быстро, быстро он отошёл от нас, а по лестнице поднимался медленно, тяжело, склонив голову и опустив плечи, словно нёс невыносимой тяжести груз.

Мы стояли и смотрели, как он поднимается, ссутулившись, не оглянувшись. Мы боялись — вдруг он оглянется, и мы увидим то, чего не должны видеть. Мы сели поспешно в машину и поехали.

Больше я его живым не видела. Последнее прощание было в Иркутске, спустя три года, в марте 2015 года.

— Можете ли сказать, чему научились от Валентина Григорьевича? Как встреча с ним отразилась на вашем жизненном пути, на отношении к жизни, к людям, к творчеству?

— Встреча с ним была для меня важной — имею в виду ещё студенческие годы и всю жизнь. Я уже говорила, что не была его самым близким другом, но в последние годы что-то произошло, что ему захотелось общаться со мною, я не могу объяснить, это его тайна. Возможно, тому причиной моя всежизненная память и боль об утрате Александра Валентиновича Вампилова, а Валентин Распутин был ближайшим и надежнейшим его другом; не скажу вам, в чём тут дело, зачем душа одного человека просится в душу другого. Простите, расскажу сон, который мне часто снился, когда был жив Валентин Григорьевич, сон был один и тот же, только с маленькой вариацией — я поднимаюсь в дом с серыми ступенями, пролёт за пролётом. Подхожу к двери, которая открывается, и на пороге стоит Валя, или я открываю дверь своего дома, а за порогом стоит Валя. Он ничего не говорит, только смотрит, как однажды было в студенчестве. В тот день в комнате никого не было — девочки убежали в библиотеку, а я осталась. Моя кровать у входа, я разложила на покрывале новенький альбом иллюстраций передвижников и, стоя на коленях у кровати, рассматривала его. Дверь была не заперта, и я не услышала, как она отворилась. Когда подняла глаза, увидела Распутину. Он молча стоял и смотрел на меня, а я на него... так и стояла долго — он надо мною, а я на коленях перед ним в обездвиженной оцепенелости.

Такая же молчаливая встреча была у нас в аэропорту, когда после похорон Вампилова я возвращалась в Омск, а Валентин Григорьевич провожал Саниных родственников. Он тогда подошёл ко мне и положил руку на плечо. Но сколько он мне сказал своим молчаливым взглядом! Наверное, и про прошлое, и про будущее.

А моя с ним переписка... Наверное, ему нужна была какая-то поддержка, сути которой мне не разгадать. Он писал мне в письмах:

07.12.2010 «Я смотрю на тебя, Галя, как ещё на одну опору в оставшейся жизни. Для этого много не надо: подарить письмо, услышать слова, которые на душу лягут, вспомнить... даже из небольшого можно вспомнить много.

Храни и тебя Господь!»

16.10.2011 «Завидую тебе: ты всегда в добром духе и смеёшься, радуешься, всегда знаешь, что делать, у тебя есть чем спастись — и как это сейчас нужно и важно!

Кланяюсь с любовью и верой. Искренне — В. Распутин».

4.11. 2011 «Право же — умница и разумница. Не прими за иронию, но, право же, как хорошо и глубоко ты сказала-написала и о России, и о народе нашем, и о себе, и даже обо мне. Нет, тут не одно только образование, но ещё и близость к Господу. Иркутского образования и Омской практики, думаю, было бы недостаточно...»

Если сознаться честно — особой глубины в моих размышлениях не было, было искреннее желание поддержать Валентина Григорьевича в его болезни, отвлечь своим хотя и сумбурным монологом. Мне всегда было трудно писать ему — с одной стороны, я знала, что нужно выводить человека из смутных состояний, которыми сопровождалась его болезнь, с другой стороны, боялась говорить с ним — не с простым прохожим беседую, потому всё сказанное ему почитала никчемным и пустым, хотя находила себе оправдание — я его просто развлекаю, отвлекаю.

Когда я целый год была в Ивановском Свято-Введенском женском монастыре на послушании, где Валентин Григорьевич и разыскал меня, он удивлялся моему решению бережно и осторожно, рассказывая с тёплой улыбкой о себе.

19.02.2010 «Я верующий человек, — писал он, — и в храме бываю, и пощусь (но строго только в Великий пост), и духовный отец у меня есть, и всё же я не из лучших молитвенников. С духовным отцом мы, можно сказать, друзья, вместе строили храм на моей родине в Усть-Уде (строил-то он, а я добывал деньги вместе с другими), и батюшка мой в добрые минуты посмеивается надо мной, а я отвечаю почти серьезно: «Верую, верую, батюшка, но что поделаешь, если я во всём неглубокий человек?» «Господь спросит, почему не углубляй», — грозит он. А я в последний раз перед возвращением в Москву: «Батюшка, я человек грешный, грехов у меня много. Но когда предстану перед Господом, Он прежде всего спросит: «Компьютером, интернетом баловался?» — «Нет, Господи, этим не грешен, Ты же знаешь». И Он определит меня в рай или куда-нибудь недалеко от рая. А ты, батюшка, столько же в храме, сколько в интернете, и мне же придётся за тебя слово молвить».

Вот так приходится изворачиваться».

Далее Валентин Григорьевич писал: «В телевизор я тоже заглядываю редко, смотрю только новостную программу. Но в ноябре мы с женой были впервые в жизни в санатории в Тульской губернии, и там мне дважды довелось слышать на TV о. Амвросия в его программе. Он говорил настолько легко и точно, настолько спокойно и глубоко, что это произвело на меня большое впечатление. И вот, оказывается, он твой духовный отец. Я близости со столь мудрыми и глубокими людьми побаиваюсь, потому что сам косноязычен, а теперь ещё и болен, а имя своё и душу свою в потрёпанном виде показывать не хочется, но тебе завидую. И кланяюсь низко о. Амвросию».

Можно бесконечно говорить о Валентине Григорьевиче, а о своём творчестве мне как-то и говорить не хочется, когда касаешься такого уровня личности, как Распутин, бесконечно стыдно — какое там у меня творчество, так, проба литературного пера, которая тоже началась в монастыре. Валентин Григорьевич называл мои упражнения в литературе «милыми рассказиками».

Чему он научил меня? Тихой радости жизни, помнить всегда-всегда, что она бесценна как великий дар Божий, ещё научил с грустью и радостью помнить март, потому что это месяц его рождения и смерти.

А раньше у меня март ассоциировался только с собственной жизнью: так она выглядит во время исповеди, когда из души вытаскивается всякая мерзость, чтобы освободить дорогу чистой и свежей зелени. Выходит, Валентин Григорьевич помогает мне и здесь, помнить, что март — месяц пробуждения.

— *Главные пять слов, которые, на ваш взгляд, характеризуют писателя и человека Валентина Распутина.*

— Первым словом обозначу — *Любовь*, которая проявлялась в нём самыми высочайшими и искренними качествами, будь то чувство к Отечеству или писательскому труду, к человеку, который в его понимании не социальная единица, а великий исполнитель воли Творца, маленькая, но очень необходимая капля вселенской полноты.

Вторым будет — *Боль* за родную Сибирь, в которой до сих пор живёт эта его вечная тревога за оставленный предками в наследство приют жизни. За Байкал и Ангару, как символы чистоты и цельности смысла бытия.

Мудрость... её не поместить ни в первое, ни во второе, ни в третье слово, потому что она в нём — вечный и глубинный источник постижения Замысла Божия о человеке.

Нетерпимость ко лжи и лицемерию. Это — его основная константа существования жизни в человеческом сообществе — быть активным, бескомпромиссным и яростным бойцом со злом, в какой бы гламурный прикид ложных словес и «истин» оно сегодня ни рядилось. И он был таким бойцом.

Доброта... Валентин Григорьевич был ею, потому что искренне служил доброте всю свою жизнь.

Соединив эти пять слов, пять понятий в единое целое, получим неповторимую жизнь талантливейшего человека нашего времени, подвижника и борца, Валентина Григорьевича Распутина.

А у меня после беседы остаётся только грусть — это извечное чувство вины живых перед ушедшими по дороге, которую он провидчески описал в моём любимом рассказе «Что передать вороне?». Герою принадлежат слова: «Ни неба я не видел, ни воды и ни земли, а в пустынном светоносном миру висела и уходила в горизонтальную даль незримая дорога, по которой то быстрее, то тише проносились голоса. Лишь по их звучанию и можно было определить, что дорога существует, — с одной стороны они возникали и в другую уносились. И странно, что, приближаясь, они звучали совсем по-другому, чем удаляясь: до меня в них слышались согласие и счастливая до самозабвения вера, а после меня — почти ропот. Что-то во мне не нравилось им, против чего-то они возражали. Я же, напротив, с каждым мгновением чувствовал себя все приятней и легче, и по мере того, как мне становилось легче, затихали и выходящие голоса. Я уже готовился и знал каким-то образом, что тоже помчусь скоро, как только буду готов, как только она откроется передо мной въяве, по этой очистительной дороге, и мне не терпелось помчаться».

Но мы-то с вами знаем, что Валентин Григорьевич говорил о себе.

— *Голоса на дороге... Хороший символ жизненного пути вообще. И я теперь буду воспринимать март сквозь призму нашей беседы, размышляя о голосах. Спасибо!*

*Беседовала Светлана Коппел-Ковтун, руководитель
Международного клуба православных литераторов «Омилия»*

Победа. Бессмертный полк



Известный иркутский поэт Владимир СКИФ написал стихотворение «Бессмертный полк», а московский композитор Владимир Беляев написал на эти стихи музыку.

Первое исполнение состоялось 9 мая 2016 года в Москве. Исполнители: хор Детской музыкальной школы Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Художественный руководитель М.Н. Цатурян, концертмейстер И. Бунятян, дирижёр Светлана Ковтун, солисты Полина Климкина, Илья Кочетков.

15 мая 2016 года в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского состоялся гала-концерт детских и юношеских хоровых коллективов образовательных организаций города Москвы «Бессмертный полк», посвященный 71-й годовщине Великой Победы. Гала-концерт патриотической песни. «Бессмертный полк» — одно из самых значительных событий Московской городской комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы».

С прославленной сцены Большого зала Московской консерватории Великой Победе салютовали свыше двух тысяч участников хоровой программы — лучшие солисты и хоровые коллективы образовательных учреждений города Москвы — лауреаты V Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества «Музыкальная Московская». Вместе с лауреатами пел Большой сводный хор московских школьников. Прозвучали любимые песни военных лет, популярные песни советских композиторов. В этот день состоялась премьера песни «Бессмертный полк», которую хор «Морская душа» исполнил вместе с Солдатским хором инженерных войск «За Веру и Отечество».

Обращаем внимание читателей на тот факт, что между стихотворением «Бессмертный полк» и текстом песни имеется некоторое разночтение.

Редакция журнала «Сибирь»

ВЛАДИМИР СКИФ

Бессмертный полк

Несли знамён победный шёлк
Сквозь пули наши деды,
И потому бессмертный полк
Родился в День Победы.

Тот полк навеки не умолк!
Он — в каждом человеке...
Бессмертный полк, бессмертный полк,
Он будет жить вовеки.

Разлился он по всей стране,
Сильней и твёрже стали.
Все те, кто пали на войне,
Ожили и восстали.

Все те, кто пали на войне,
И те, кто возвратились,

В одном строю, в родной стране
Навек соединились.

Глядят с портретов на ребят
Живыми наши деды,
И флаги красные летят
Как вестники Победы.

И не возьмёт Европа в толк,
Откуда эти реки
Людей, портретов?
Это полк, оживший в новом веке.

В нём не угас священный долг
И дух неукротимый.
Идёт, идёт бессмертный полк
По всей Руси родимой.

Из переписки Владимира Беляева с Владимиром Скифом

(ЯНВАРЬ—АПРЕЛЬ 2016 Г.)

Владимир Петрович, сердечно поздравляю Вас с Новым годом и светлыми праздниками! Желаю Вам счастливого года, удач, здоровья и благополучия!

Посылал Вам проект праздника патриотической музыки, который оказался особенно актуальным в свете пожелания президента о развитии работы по патриотическому воспитанию населения. Пока не знаю, удастся ли заинтересовать вышестоящие органы в осуществлении этого проекта на всероссийском уровне, но в регионах это вполне реально осуществить.

Сейчас заканчиваю писать клавиры нашей песни для исполнения Татьяной Петровой с детским хором или академическим хором (два разных решения). Как только закончу писать клавиры — перешлю Вам ноты по Интернету.

Все, кому показывал песню, хотят ее исполнять. Но столкнулся с проблемой первого исполнения, которое хочет оставить себе Татьяна. Учтите это обстоятельство! Песню можно будет отдать в Ваш оркестр, хор, солистам. Мы в Москве постараемся раскрутить ее по своим каналам.

*Всего Вам доброго!
С уважением, В.В. Беляев*

Дорогой Владимир Владимирович!

Спасибо за письмо, за поздравления! Я ответно шлю Вам Новогоднюю здравицу и, конечно же, все мои самые искренние поздравления с Рождеством Христовым! Спасибо Вам за Вашу огромную работу и рождение музыки на мои стихи «Бессмертный полк». Буду ждать ноты, я собираюсь переговорить с некоторыми музыкантами и будущими исполнителями этой патриотической песни. У меня появилась идея, да она ещё и проговаривалась с Татьяной Юрьевной, прислать Вам что-либо из лирических или православных стихов для написания музыки и исполнения этих стихов Татьяной. Высылаю кое-какие произведения в прикрепленном файле. В принципе, если что-то понравится и будут какие-либо пожелания в изменении строк, чтоб пелись, или их сокращения — это всё выполнимо.

*Низкий поклон Вам и Татьяне Юрьевне.
Владимир СКИФ*

Владимир Петрович! Спасибо за поздравления и стихи, которые прочитал с большим интересом. Я Вам уже писал ранее об особенностях песенного текста. Из присланной подборки для песни годятся, пожалуй, только «Вербное воскресенье». Попробую подумать и сделать для Татьяны Петровой. Здесь есть четко обозначенная тема, которая целенаправленно раскрывается, а образы хорошо воспринимаются на слух, а не зрительно. Лирические стихи я не рассматриваю, т. к. любовную лирику надо писать на конкретного исполнителя по его приоритетам, да и ныне непонятно, как и для кого и как надо писать. В остальных стихах я не нашел ни одного «крылатого» образа, крылатой строки, которая могла бы стать заглавной в песне. В созданной песне есть рельефный образ — Бессмертный полк, который раскрывается понятными словами и идеями. Найти для песни такой образ, крылатую фразу — очень сложно, т. к. эта строка и запоминается в памяти слушателя («орлята учатся летать», «на тебе сошелся клином белый свет», «если бы парни всей земли», «знаете каким он парнем был» и т. д.) у меня самая популярная песня зиждется на фразе «Ангелы летели над Россией», причем весь другой текст пришлось переделывать, ибо автор так и не понял, как надо писать для песни.

Сейчас такое время, когда раскручиваются только песни шоу-бизнеса с помощью больших денег. Наша песня имеет шанс получить широкую известность и распространение за счёт темы, профессионального решения в жанре массовой песни, но никак не за счёт Петровой, которая не входит и не стремится войти в шоу-тусовку. Здесь все будет зависеть от наших слаженных совместных действий. Надо понимать, что мы имеем уникальный шанс быть первыми в политической раскрутке важной темы, которая не может быть не поддержана любыми партиями, правительством и пр.

Я Вам высылал проект для патриотической песни, где идея в том, чтобы абсолютно все хоры и певцы взяли в свой репертуар нашу песню. Обычно на раскрутку одной песни у нормальных авторов уходит год жизни. Я предлагаю Вам не искать исполнителей, а попробовать в вашем регионе к 9 мая организовать Праздник патриотической песни, с флеш-мобом, где все участники исполнят под фонограмму нашу песню. Это достойный замысел! Я попробую предложить этот проект компартии Подмосковья, не знаю, как они среагируют. Главное, что есть где развернуться к Дню Победы.

Посоветуюсь еще с Петровой. Всем, кому показывал песню, она нравится и они хотят исполнять, но Петрова хочет быть первой, поэтому пока придерживаю ноты. Я написал два клавира для Петровой — один вариант с детским хором, другой — с академическим хором. Звучать должен симфонический оркестр. Попробуем сделать фонограмму на компьютере.

Пишу Вам в автобусе, возвращаюсь в Москву. На днях вышлю ноты.

С уважением, В.В. Беляев

Спасибо, Владимир Владимирович, за Ваш ясный, вразумительный и полный ответ в части верного понимания песенных задач в поэтическом творчестве. В принципе, я это представляю, поэтому и писал о возможности конечной работы над текстом песни, как таковой, учитывая пожелания композитора.

Ну, что ж! Даже если один текст из присланных стихов подходит для Вашей работы, это уже радостно. Спасибо!

Ну, а по поводу распространения нот и текста «Бессмертного полка» — я берусь показать его многим нашим коллективам Иркутска и Иркутской области. Буду ждать ноты.

*С уважением
Владимир СКИФ*

Уважаемый Владимир Петрович!

Надеюсь, Вы получили два варианта нашей песни — с детским хором и с академическим хором и солистами. Недавно я записал рабочий вариант с детским хором для Петровой. Дети и их родители были в восторге и патриотическом подъёме. Потом я показал эту запись в офисе Бессмертного полка. Им песня понравилась. Туда уже приносят другие песни, а они хотят иметь один официальный гимн движения. Пока не знаю, чем это все закончится.

Тут я попал в больницу с сердечными делами и имел возможность спокойно всё обдумать, и мне пришла в голову интересная идея. Поскольку Денис Мацуев родом из Иркутска и часто туда заезжает, то можно использовать это в наших интересах для пропаганды песни. Для этого надо иметь хороший детский хор, затем дожидаться, когда Денис приедет в город и попросить его записать песню с детьми, солистом, ударником. Он исполнит всё с листа. Главное — сделать профессиональную видеозапись с двух-трёх камер, выложить её в Интернете, предложить на ТВ местное и московское. Если такой проект удастся, то будет обязательное повторение на более высоком уровне, с тем же 1000-голосным детским хором. У нас преимущество в ориентации на детей, другие песни для взрослых. А за право быть первыми идет очень жесткая борьба, и не всегда побеждают лучшие.

Поинтересуйтесь координатами Дениса. Он меня должен помнить — мы выступали 10 лет назад на Красной площади. Посмотрите в Интернете. Надо набрать: «Беляев. Живая музыка победы. Вечер на рейде». Денис исполняет мою композицию, а я перевооружаю ему ноты. Можно предложить ему повторить то же в Иркутске. Но пока, если Вы найдете его электронный адрес, пришлите его мне.

Дорогой Владимир Владимирович!

Да, я, действительно, хорошо знаком и с самим Денисом Мацуевым, и с его родителями Леонидом и Ириной. С Лёней в молодости мы даже были соавторами. Он был неплохим композитором, писал песни и музыку к спектаклям, преподавал в Иркутском театральном училище. Я сочинял стихи на его музыку к дипломному спектаклю кукольного отделения «Вредный витамин». Ну, и что-то ещё. А Ирина (тогда Гомельская) преподавала на музыкальном факультете Иркутского педагогического института, там же, где училась моя жена Молчанова Евгения Ивановна.

У меня есть телефон Дениса, но я хочу узнать у однокурсницы Ирины — Эли Шариковой — его электронный адрес и написать ему обстоятельное письмо. И, конечно же, сообщу адрес Вам. Он, несомненно, должен вас помнить.

А идея Ваша замечательная и надо торопиться воплотить её в жизнь. Спасибо за письмо!

Владимир СКИФ

Владимир Петрович!

Ещё дополнение: хорошо бы найти к этому исполнению юных барабанщиков в форме — на первый план сцены. Я написал партию барабана и это очень эффектно. Можно дать основную партию профессионалу, а остальным — попроще, для картинки.

С уважением, В.В. Беляев

Владимир Петрович!

Я изложил первоначальную идею, если есть такие тесные контакты, то надо просить Дениса подхватить нашу идею и развить её и в Москве и в других городах, где он будет бывать в оставшееся время. А в Москве в Большом зале консерватории 15 мая песню будет петь весь зал в программе «Поют школьники Москвы», в тот же день намечен мой авторский концерт в галерее художника Александра Шилова, где должны петь дети из Мерзляковского училища. У Дениса могут возникнуть и встречные предложения. У него есть свой детский актив, и я могу подписать к исполнению различных солистов-детей: трубача, ударника и др.

С уважением, В.В. Беляев

Владимир Владимирович!

Я уже позвонил маме Дениса Мацуева — Ирине и потом написал ему письмо.

Сообщаю и Вам его телефон и электронный адрес <...>.

Владимир Петрович, я не спрашивал Вас, кому удалось отдать песню в Иркутске для разучивания? Как я писал ранее, будем ориентироваться, в основном, на детский хор со взрослыми солистами, не исключая другие возможные варианты исполнения. Татьяна Петрова последнее время много ездит по стране и распространяет ноты, все довольны и счастливы.

К сожалению, сейчас пропаганда возможна лишь на центральных каналах ТВ, если удастся туда пробиться — песня заживет большой жизнью. Для этого нужна либо политическая воля, либо не трафаретный ход (один из которых я придумал).

А песня стоит того, чтобы за её судьбу побороться.

С уважением, В.В. Беляев

Добрый день, Владимир Владимирович!

Текст и клавиш «Бессмертного полка» я отдал в Иркутский дворец пионеров руководителю детского и юношеского хора Кучеренко Марине Юрьевне. Официально он называется «Образцовая хоровая студия мальчиков и юношей «Байкал-хор».

И ещё передал ноты в Иркутскую областную филармонию лично главному дирижёру Иркутского Губернаторского оркестра Илмару Лапиньшу.

Вл. СКИФ

Голоса молодых



В 2014 году прошла Областная молодёжная литературная конференция «Молодые голоса», по итогам которой «Сибирь» даёт подборку стихов «Час поэзии» лауреатов региональных туров конференции и стихи победителей — дипломантов I, II и III степени. В преддверии новой конференции, намеченной на 2017 год, предлагаем читателям ознакомиться с творчеством начинающих литераторов, во всём многообразии тем и художественных средств, с помощью которых молодые рисуют в своём воображении красочные отражения реального, «прекрасного и яростного» мира, в котором живём мы все.

Светлана ШЕГЕБАЕВА

ВАЛЕРИЯ ДОМРАЧЕВА



Я иду по твоим тропинкам

Личное

Ты мне не друг, не враг,
Не Бог, не учитель, не путь,
Не дом, не любовь, не страх —
Личное подчеркнуть.

Не сила, не слабость, не бред,
Не страсть, что могла потрясти,

Не горечь моих побед —
Личное обвести.

Не мой, не её, не наш,
Не тот, кем могла я жить,
Не судьба, не сума, не багаж —
Личное удалить.

ДОМРАЧЕВА Валерия Андреевна родилась в 1991 г. Получила высшее гуманитарное образование по профессии «Психолог». Работает в ЦБС г. Братска. Участник и дипломант конференции «Молодые голоса» (2014). Диплом за первое место. Печаталась в журналах «Первоцвет», «Сибирь», «Иркутский писатель», в коллективном сборнике «Молодые голоса». Живёт в Братске.

* * *

Что может быть важнее этих слов
На белой неисписанной бумаге?
Ты как исток моих первооснов —
Проклянувшей чести и отваги...

Что может быть важнее этих слов?
Сказать и догореть. А мне — смириться...
Ты был всегда и ко всему готов!
А значит — и во мне — переродиться...

Он не примет тебя

Он не примет тебя —
Инстинкты в нём побеждают разум.
Он привык получать всё сразу,
Никого не любя. Он не примет тебя.

От мужества ничего не осталось,
Один налёт. Он тебя не поймёт.
Не к таким женщинам приучали...
Посмотри на него свысока.
Замечаешь,
Как низок его полёт?

Он тебя не поймёт —
О таком ему думать не доводилось.

* * *

Чтоб каждая полоска совпала на наших рубашках,
Чтобы общее фото красовалось на белых чашках.
Чтоб мы толкались под дождём уходящего лета
И никогда, никогда не пожалели об этом...

Чтобы взглядом друг друга пронизывать и молчать,
На чужие вопросы себе позволить не отвечать.
Чтобы мы встречались по делу, обговаривая число,
Заготавливая темы и нужное количество слов.

Чтобы мы утверждали, что море нам по колено
И торопились проверять это сразу и непременно.
Чтобы мы хохотали у всех на виду и бесили кондуктора,
И счастье стало побочным, а не конечным продуктом.

Его мама

Ты бы в нём убивала всех его злых чудовищ,
Напридумывала бы ему разных прозвищ
И шлифовала б его скулы своими руками.
И говорила бы, говорила о нём стихами...

И смотрела б ему в глаза и читала строчки,
Изучала линии и изгибы его мягких мочек,
И варила вкусный клейкий кисель на ужин,
И боялась бы за него, даже если он не простужен.

И молилась бы, свечки ставила ежедневно,
На работу бы провожала, от двери отходила к обеду.
И так ежедневно повторяла бы всю программу...
Но у него уже есть одна женщина — его мама.

* * *

У меня было всё, что можно бы пожелать:
И цветы каждый день, незастеленная кровать...
И стена из спины, и спина — как окно в миру,
И казалось, уйдёт стена — я здесь же тотчас умру...

Но свободен лишь тот, у кого — ничего взамен,
Синева в глазах и желание перемен...
И стены из спины уже нет, и который год
Чьими-то глазами кажется небосвод.

Не сказала бы, что ищу тебя на пути,
Но, наверно, не прочь была бы найти...

Послание в бутылке

Снадобье выпито, вылитое, внутрь
залито бабье горе,
Слёзы, словно сургуч или ртуть,
и солёны, как море...

Вырыдать, вычеркнуть дурака —
лучше июль, чем март.

Из сотни вытяну наверняка
пару краплёных карт...

Осточертело маяться мне,
но счастье всегда перечит!
Прыгнем — и встретимся на глубине.
И Бог не отменит встречу...

* * *

Я иду по твоим тропинкам,
Что на сердце ты начертил.
Рядом с болью, с мечтой в обнимку...
Ну зачем ты прийти просил?

Я босая, мне больно, колко.
И не хочется снова в плен.
Обещай мне собрать осколки,
Сохранить их до перемен...

Блокнот

Нас эта спешка не покалечит
И не научит, а доведёт.
И будет правдой, что время лечит,
Что время лечит... который год.

Я не болею, я не болею,
Я не болею, я не больна!
Но что-то в чувствах моих редет,
Редет — в том не моя вина...

Я дальновидно бы записала
Все эти мысли свои в блокнот.

Но время — ночь, я опять устала,
И дальновидность мне не идёт.

Мы оказались у двух обочин,
Из чаши выплеснув молоко.
А время, вылечив, не упрочит...
Любовь оставит нас так легко!..

А время — ночь, я опять устала,
И дальновидность мне не идёт.
Я столько умного написала
В тобою выброшенный блокнот...

* * *

Всем он хорош, всё у него получается —
Полцарства, полжизни готов он тебе отдать.
А у тебя в ответ для тех,
кто к тебе приближается,
На лбу бегущие буквы: «Хочу страдать!»

Всем он хорош, всё у него получается...
Но это случайность, что он оказался ручным.
Он будет прекрасным мужем.
Сказка на том кончается —
Тыквой стала карета... И над городом — дым.

Проекция

Учитель мой, я готова, идём к истокам,
Позабыв, что гранит нам не сгрызть вовек.
Что, если до вас от меня три разряда тока,
От которых давно бы умер любой человек?
Мой учитель, до странности вы похожи
На того, кто хотел спасти меня, но не спас...

Вы, пожалуй, сойдёте и за прохожего,
Если нам не вгрызаться до сути фраз.
Мой учитель, вы пишете на моих ладонях
Лабиринты невозможных путей до вас.
Учитель, мне кажется, или тонер
Неожиданно кончился, не допечатав нас?..

Понарошку

Я люблю тебя ненароком,
С плеча сплюнув налево трижды.
Часто тут же выходит боком —
Я из рёбер, понятно, лишнее.

Я люблю тебя нелогично,
Чаще морщась и чуть дыша.

В тебе тихо и непривычно
Умирает моя душа.

Я люблю тебя, понимая:
Всё из прожитого — зазря.
Держу, прихотям потакая,
Пальцы крестиком втихаря...

Колыбельная для взрослых

У тебя за душой мои мысли о том,
Почему мне не близок родительский дом,
Что я наскоро клеила, что берегла,
Как в моём подземелье душевном дела.

И когда меня кожа мурашками выдаст,
Даже если сама я по чувствам — на вырост...
Как ты это удерживаешь в берегах,
Когда тихо качаешь меня на руках?..

Гуттаперчевая

Ты будешь плакать и понимать,
и на вопросы его кивать.
А вместо памяти — пустота,
портрет, заначка и два кота.
И ничего уже не вернуть —
он так удачно сломал твой путь.
Но уложился едва ли в срок,
чтоб преподать тебе твой урок.

Бывали беды и побыстрей:
цунами, подлости нелюдей,
отказ в детдоме, висок на мушке.
Рука на пульсе, потом в ловушке.
И пустота,
пустота повсюду...
— Давай по-быстрому?
— Нет, не буду...

ЕЛИЗАВЕТА ОВОДНЕВА



Глаза мои — девятый вал

* * *

До-верия, до Берии, до эры
Шагнуть и вынести, добиться, донести,
Отдаться перлу выверенной меры,
Как в заповедь войти и соблюсти.

До веры — не до ненависти — горы,
Да годы ворохом, который перезрел.
Где суть за шторы, там ведутся споры,
Ведут слова и души на расстрел.

Крушить не ради, биться не для чтобы,
Родить не за, служить не потому...
Доверие выводят не для пробы,
Ах, если нет доверья к самому.

Доверие не может быть громадой,
Оно приходит, словно тайный гость.
И заслужить, как пёс перед командой,
Доверие нельзя, оно — не кость.

* * *

За церковною оградой
В предрассветное моление
Схороните — буду рада,
За предел благословенья.

Цветом мирных отречений
От слезы и покаяний,
Как ручей, войду в течение
Горней музыки, свиданий.

Я войду в повиновение,
Будто инок перед Богом.
Не споют поминовений
Те, кто выжил перед слогом.

И пусть те, кого любила,
Минут холм скупой и мрачный.
И пусть те, кого сгубила,
Ухмыльнутся в крест невзрачный.

ОВОДНЕВА Елизавета Владимировна родилась в 1998 г. в Тайшете. Закончила 11-й класс школы № 23 г. Тайшета. Участник и дипломант конференции «Молодые голоса», диплом за второе место. Дипломант поэтического конкурса им. А. Немтина (Пермь). Печаталась в журналах «Первоцвет», «Сибирь», «Бийский вестник», «Зов» (Венгрия), в еженедельнике «Слово» (Москва), в коллективных сборниках «Молодые голоса» (Иркутск), «Золотые россыпи» (Ангарск), «И пробуждается поэзия во мне...» (Пермь). Автор книги «Белая ворона» (Красноярск, 2015). Стихи переведены на венгерский язык. Живёт в Тайшете.

* * *

В. Васьковской

Ночь стальными скрипела мыслями
На несмазанных петлях души.
Ночь играла фатальными числами,
Ночь хрипела на ухо — пиши...

На смычке ночевала червонная,
Чёрным змеем шипела из нот.
Зачала череду похоронную,
Вместо сердца оставила глот.

Ночевала ночь в кисти художника,
Зачернив, исчертив чистоту.
Она чёртом пугала заложника,
Обращая холсты в пустоту.

Наконец на рассвете растаяла,
Криком дьявольским вымолчав свет,
И заведомо в душах оставила
Свой стальной отекающий бред.

Москва 1919 года

М.И. Цветаевой

I

Не позабыла года
(Он не забыл меня) —
Кто полюбил свободу,
Не проживёт и дня.

За два рубля поношены
Были мои глаза:
Вечером в тьму заброшены,
Днём стерегли образа.

Руки обшарканы стиркой,
Голос обшаркан бедой.
Сердце со старою дыркой
Выдам за цвет молодой.

Платье моё обветшалое
(Ворон его подарил) —
Мне бы продать за малое,
Только достали б чернил!

II

Сказано — сделано!
Связано — сброшено!
Сказано меньше, чем сделано.
Связано больше, чем прошено.

Угол — безглавый:
Головы в топке.
Грешен вовек даже правый,
В холод смелей даже робкий.

Голод обглодан,
Голос оборван.
Так за копеечку продан,
Так с зелена был сорван.

Грех — займется:
Ад не расстроится!
Так и живём — перемелется.
Так и живём — перестроится.

* * *

В неурочный час
Непривычный звон
Настигает нас
У святых икон.

Как услышишь звон,
Так воздай хвалу
За Всевышний трон
К образам в углу.

Всякий звук в нём песнь
(В каждый дом вошла).
К сердцу, словно весть,
Благодать сошла.

С чистотой души,
Сбив неверья лёд,
Правый путь держи —
То Господь зовёт.

* * *

Мне жизнь отдали по знакомству, Судьбу продали по рублю. Я враг и пленник вероломства, Сама себя на том гублю.	Я, как последнюю копейку, Бродяге-музе всё отдам. И стих свой, словно душегрейку, Для согревания передам.
Душа моя — собрание судеб, Глаза мои — девятый вал. Кто по себе людей не судит, Тот и меня не миновал.	ЭСэСэСэрово потомство, Вы критикуйте, я стерплю, Ведь жизнь мне дали по знакомству, Судьбу продали по рублю.

* * *

Я украла тебя у прохожих, У жены, у детей и у книг, И у дней, друг на друга похожих, И у женщин, каких не настиг.	Я готова! Готова! Готова! Обвиняй в преступлениях меня! Обвиняй! Убегай! Отбивайся! Ну, написано же на роду — От меня хоть в Аиде скрывайся, Всё равно я тебя украду!
Я украла тебя и у слова, Ныне слово твоё — это я!	

* * *

Увозят милых корабли,
Уводит их дорога белая...

М.И. Цветаева

Нас отравила разлука, Яда подсыпав в стихи. Долгая смертная мука Нам не за наши грехи.	И за собою уводит, И за собою зовёт. Ты поклонился вороне, Крошками кинул: «Прости». Долго стоят на перроне, Счастье пытаюсь спасти...
Лодка по Стиксу уходит, Поезд по рельсам плывёт	

* * *

Я не выдам тебя никому Ни в своём, ни в чужом дому. Не шепну твоё имя ветрам. Я тебя никогда не предам.	Крылья тяжкие выброшу ввысь, Я тебя умоляю, держись! Знай, не судят любовь по годам. Я тебя никому не отдам...
--	---

* * *

Не могу делать больно
И не могу не делать...

М.И. Цветаева

W.S.

Последний жест — был жест Помпеи. А я стою... Ну выньте гвоздь Рукой безжалостной Медеи — Я в этой жизни только гость.	Я боль бы причинить не смела, Не смела и не причинить. И вот опять окаменела В руках оборванная нить.
---	--

А ты стоишь немой, ослепший,
И ищешь белым взором след
В душе моей окаменевшей
Уже четыре сотни лет.

И я бы руки протянула,
Но руки тянутся к земле...
Когда-то я сама уснула,
Ища пропавший след во мгле.

* * *

Я верю, что судьба не та,
Ты видишь, что и я другая.
Любовь — пропавшая звезда,
Душа — наложница нагая.

Да что там, даже чувства нет!
Печаль и лёд в душе сроднились.
Из глаз исходит зябкий свет,
Мне те глаза давно не снились...

Душа моя, как тонкий лист
(Теплом уступит паутинке),
А в сердце только ветра свист,
Нет места образам, картинке.

Я вижу, что судьба не та,
Ты веришь — я совсем другая...
Душа, как пленница, — пуста,
Душа, как осень, — вся нагая.

* * *

Приютили? Приютили
Девочку на рубежах.
И любили и губили,
Ночью бились на ножах.

Было счастье, было горе,
Были молодость и страх.

Было небо, было море,
Был полёт, обрыв и крах.

И судьбой своей играя,
Полюбила жизни бред.
И над бездной, встав у края,
Смерть ждала в семнадцать лет.

* * *

Рукой летучею крещу,
И грешным ртом тебя целую.
Я ось земную враз смешу,
Чтоб сжечь твою судьбу былую.

Я за тебя молюсь в ночи
Творцу ли, Богу — я не знаю...
Моё зазнобство не лечи,
Не продавай в людскую стаю.

Мой медный яд — сильнее вина
Ты жадно пьёшь с моих ладоней.
Твоя вина? — моя вина! —
Что возвращаю к жизни дольней.

Мой Серафимый Шестикрыл,
Я, так и быть, отдам Вам крылья,
Чтобы не стали книжной пылью
Вся память и последний пыл.

ВЕРОНИКА ЛУЗГИНА



На берегу стояла я одна...

* * *

Словно письма, я скомкаю мысли
И уйду по остывшей золе
В недоступные горние выси,
Не оставив следа на земле.

Убегу, улечу и забуду
Этот мир, но он вспомнит меня...

И однажды, подобная чуду,
Я ворвусь в свет январского дня.

Распахнутся небесные двери,
И, касаясь тропинки легко,
Не страдая, не плача, не веря,
Я уйду далеко-далеко!

* * *

Вот и всё... Наши встречи закончены —
Отболели и душу сожгли.
Свет давно не горит в нашей комнате.
А зачем? Мы оттуда ушли...

Вот и всё... «не жалею... не плачу...», но
Тяжело на душе иногда.
Ведь за счастье страданием заплачено,
А исчезло оно навсегда.

* * *

Стало трудно дышать... Бесконечная серая осень
Заливает дождём нашу жизнь... Ты, конечно, права!
Это было давно — так давно, что никто и не спросит
Нас о жизни — о той, что, наверное, с нами была.

Ты играла со мной, как одеждой ушедшего лета.
Осень кружит, смеясь, лоскутами рябит тротуар...
Ты всегда исчезала, как дымка, с багровым рассветом,
Только я оставался и ждал тебя. Долго так ждал.

ЛУЗГИНА Вероника Олеговна родилась в 1993 г. в Ангарске. Учится в Педагогическом институте ИГУ на гуманитарно-эстетическом факультете. Участник и дипломант конференции «Молодые голоса» (2014), диплом за третье место. Печаталась в журналах «Первоцвет», «Сибирь», в коллективном сборнике «Молодые голоса». Живёт в Ангарске.

Появившись внезапно, наш мир освещала улыбкой,
И в глазах танцевала веселья шальная искра.
И меня озаряло надеждою верной, не зыбкой.
За балконом метались холодные злые ветра.

Повторяется всё. Только ты, как мечта, не вернулась.
А я ждал, я искал, а я верил в победу свою.
В покрывало снегов, остывая, земля завернулась.
Потерялась надежда. Но каждую осень молю

Я о встрече с тобой, пусть уже просто так, по привычке...
Почему-то опять мне становится трудно дышать...
Весь мой мир заключен в догоревшей, обугленной спичке,
Потерявшей надежду и жизнь, переставшую ждать.

* * *

Твои волосы пахли и мятой, и мылом,
Ночь своей тишиной заглушала шаги...
Боже, как же давно, как давно это было!
Мы уже не друзья, но ещё не враги.

Твои тёплые руки шершавыми были,
Мы ни взгляда, ни губ не могли оторвать.

Чашки с чаем на кухне забытые стлы,
И оставлена свечка была догорать.

Ну и что же теперь? Друг на друга не смотрим.
И при встрече как будто бы не узнаём...
Между нами с тобой — слов несказанных сотни
Да портрет, нарисованный серым углём.

* * *

Вода стекает по стеклу каплями...
Наружу выйти не могу — заперли.
Как птица в клетке у любви — узница.
Вдруг стены начали давить — сузились.

Дышать труднее — перебой с воздухом.
Не друг для друга мы с тобой созданы.
Смириться трудно — слишком уж нужные.
Я не жена, а ты не муж — чуждые.

* * *

Всё уходит, как будто и не было.
Увядают живые цветы,
Покрываются шапками белыми
Города... Так при чём же тут ты?

Всё уходит. Любовь и привязанность
Растворяются в сумрачных днях.

Сколько вслух нами не было сказано!
Не смогли мы друг друга понять...

Всё уходит. Потом возвращается,
Расцветают кусты по весне...
Нет, не всё в этом мире прощается —
Не даётся прощение мне!

* * *

А сердце болит, и время не лечит.
Уходит за годом год.
Всё реже звонки, всё короче встречи,
Дел разных неупрочот.

Всё меньше друзей... А может, так надо?
Меня поглощает быт.
А знаете, это и есть награда —
Что сердце ещё болит.

* * *

Сгорал закат, и пенилась волна.
Твой парус отрывался от причала.
Над морем чайка яростно кричала.
На берегу стояла я одна.

Волнами чувств сметённое моих,
Вновь сердце возрождалось из осколков.

Я ничего не понимала толком,
Казалось мне, что даже ветер стих.

Искал ты жизни новой для себя,
Наивно так, за горизонтом где-то...
А я прощалась молча с нашим летом
И вслед смотрела, всё ещё любя.



ВИОЛЕТТА ГУСАКОВА

г. Вихоревка

Тени

Когда чернокрылая ночь укрывает
Похожий на спящего лебедя город
И тихо крадётся на цыпочках холод,
В каналы остатки тепла изгоняя,
И сны каждый дом смотрит с городом вместе,
Выходят из тьмы бледно-серые тени.

Едва промелькнув по облупленным стенам,
Проникнув в подъезды, в сплетения лестниц,
В парадном пустом задержавшись немного,
Пройдут, не издавши ни звука, две тени.
И только котёнок, что спит у ступеней,
Вдруг дёрнет ушами...

Поздней, у порога
Квартиры под номером двести двенадцать
Одна вдруг протянет прозрачную руку —
И обе проникнут за двери без стука
Туда, где навеки мечтали остаться...
Они до утра простоят неподвижно
Над серым диваном напротив окошка:
Сестрёнка с братишкой — ладошка в ладошке —
Сопящие ровно среди кукол и мишек.

Пером серебристым тихонько и грустно
Луна обведёт двух теней силуэты...
А скептик, конечно, услышав об этом,
Заявит, смеясь: «До чего же искусно
Придумать умеете вы небылицы!
Ох, как разыгралась фантазия! Тени!..»

Но утро цветастые стены осветит,
Разбудит детей... и посмотрит на лица
Людей — ещё юных — на сером портрете:
В ладони ладонь его крепко сжимая,
Сестра подле брата стоит. Они знали,
Какие дадут в этот вечер обеты,
Куда предстоит им идти на рассвете...

С звездой, на пилотках обеих горящей,
Шагнули навстречу войне — настоящей.
И оба погибли...
За шаг до Победы.

Разговор с волчицей

— Научи меня не плакать,
Даже редко, тихомолком...
Я хочу, как ты, быть сильной...
Хорошо родиться волком!..

— Волки плачут. Плачут в голос.
Вой несётся над равниной.

Ты ведь слышала и знаешь,
Тут неважно — слабый, сильный...

Плачь, не бойся. Плачь, сестрица!
Плачь от счастья, плачь от боли...
И не бойся слушать сердце —
Сердце фальши не дозволит.

АНАСТАСИЯ БЕЛОУСОВА

г. Усть-Кут

* * *

— Где твой дом, усталый путник?
— Где меня застигнет мгла.
— Где же твой вчерашний спутник?
— У высокого холма.

— Сколько путь твой будет длиться?
— Сотни миль пешком идти.
С небом путь мой должен слиться —
Здесь покой мне не найти...

— Бродишь дни и бродишь ночи,
Сколько ты всего видал!
— Так какой судьбы ты хочешь?
И чего от жизни ждал?

— Ничего, — ответил просто, —
Я иду от тьмы до тьмы...
И исчез у дальних просек,
За которыми — холмы.

* * *

Летел над лесом жуткий вой
С неистовым порывом ветра —
Как будто яростные вепри
Клыки вздымали над травой.

Наполненный вселенским злом,
Он рвался яростно к светилу.

И от него кровь в венах стыла,
Он нервы связывал узлом.

А зверь всё выл в тиши лесов...
Но зверь ли? В этом ты уверен?
Не слишком много ли для зверя —
Ронять во тьму потоки слов?

НИКИТА НОЯНОВ

г. Братск

* * *

Иней на окошках.
Ночью тишина.
В небе яркой брошкой
Светится луна.

Пышные сугробы
Блещут серебром,

Рассыпаясь дробью
В дали прямиком.

Спит мое острожье —
Звуков не слышать.
Тишь да бездорожье,
Тишь да благодать.

* * *

Там где чайки кружатся крикливо, Ни обид, ни тревог не тая, Две сосны на краю обрыва, Взявшись за руки, грустно стоят.	Что им грезится в даях синих, Кроме крепких объятий морских? Разве только что берег в глине Да останки своих, строевых...
---	--

* * *

Зимний лес — Сибири неча, Ожерелья окоём! Изо льда, ветвей и снега Блещет дивным серебром!	Весело ямщик и бойко Тройку направляет в бег: «Но, лошадки, мчим по шири! Чай, негоже мешкать нам! Выходи, народ Сибири, Чё сидите по домам?!
Воздух свеж, земле отрада, Речка встала подо льдом... Что ещё-то в жизни надо? Эх, душа, сияй огнём!	Воздух свеж, земле награда! Ожерелья окоём! Чё ж ещё нам в жизни надо?! Но! Один лишь раз живём!»
Вон вдали несётся тройка, В клочья рвёт попутный снег!	

ЕКАТЕРИНА ЕНДРИХИНСКАЯ

г. Усолье-Сибирское

Осень — I

Ну, где оно, «очей очарованье»? Всё грязь да слякоть, иней по утрам, А «пышное природы увяданье» Порывы ветра треплут по дворам.	Все увядают на кустах соцветья, Крепчает ветер, дождь наотмашь бьёт, И воздух стынет так, что нет сомненья: Ещё чуть-чуть — и мокрый снег пойдёт.
Листвы сухой осенней разноцветье Ещё подкрашивает серость дня, Но, убивая напрочь настроенье, Унынье, грусть к себе влекут меня.	Выслушивая ветра завыванья, Стук мокрой голой ветки об стекло, Ты можешь повторять как заклинанье: Мол, всё прошло, увы! Прошло! Ушло!

Осень — II

В плену осенней грусти и хандры,
И сожалея об ушедшем лете,
Вдруг понимаешь, что на белом свете
Все вещи правильны, просты, мудры.

За долгою зимой придёт весна,
Всё оживит опять и мир расцветит,
А лето всех согреет и приветит —
Ведь утро ярче там, где ночь темна!

НАТАЛЬЯ ПОДСОСОННАЯ

г. Иркутск

* * *

Выныривай! Выныривай из этой проклятой воды,
Я тебе говорил: вода не бывает такой солёной!
И рыбы мордами бьют под дых,
Зелёные рыбы... Цвет глаз твоих
Становится тоже зелёным.

Выныривай, чёрт возьми, и никогда не смей,
Не смей рассказывать, что за кайф был в этом:
Смотреть, как корабль летит на мель
И киль, впиваясь в тела камней,
Мерцает зелёным светом.

Выныривай, слышишь? И никому здесь не говори,
Какое им, в общем-то, дело до наших историй.
Смотри на меня, топ аті, смотри:
Зелёные рыбы плывут внутри...
И твои глаза — зеленее моря...

* * *

Я каждую осень сходил с ума,
Сходил по трапу из рыжих листьев,
Тяря нить рассуждений, истин,
Теряя суть...
Да и суть сама терялась как-то...
Терялась музыка такт за тактом,

Терялись цифры в тетрадных клетках,
Терялись письма в ответ на «как ты?»
С пометкой «срочно» и — без пометки...
Сходил с ума осторожно, молча.
Сегодня ехал домой в трамвае
И вдруг — сошёл.

НАТАЛЬЯ УСТИМЕНКО

г. Усть-Илимск

* * *

В Сибири есть своё очарованье —
В заснеженной, завьюженной дали,
Под белым серебристым одеяньем
Такой знакомой и родной земли.

И если вдруг куда-то уезжаю,
В душе свербит незримая печаль —
Я беспрестанно по тебе скучаю,
До боли мне родной сибирский край!

* * *

Спит ночной Усть-Илим. Светом ярких огней
Чью-то душу теплом озаряет.
Оживает дорожка в полумраке аллеи —
Её тоже огонь освещает.

Спят деревья, дома, спит пустующий парк
Этой ночью морозной-морозной.
И его согревает сиреневый мрак,
Словно душу мою, светом звёздным.

Тихо падает снег за окошком моим,
На термометре вновь «минус тридцать».
Я стою у окна, спит ночной Усть-Илим.
Только мне почему-то не спится...

ОКСАНА СЫЧЕНКО

г. Усть-Илимск

* * *

В родниковой прозрачности сердца
Перламутр любви берегу,
Где открытой оставила дверцу
В прошлогоднюю нашу весну.

Там, в черёмуховом ожерелье,
Май прекрасен по-прежнему, чист.

В белоснежном ветвей обрамленье
Сад особенно нежен, лучист.

Солнце в кронах деревьев гуляет,
Заливая небес глубину.
Соловьи еженощно слагают
Песни те, что забыть не могу...

НИКОЛАЙ ПОПОВ

г. Слюдянка

Родине

Не заманят мира чудеса —
Мне заморских радостей не надо!
Мне роднее русские леса,
Терпкий дух сирени у ограды,

Сладкий сок брусники на руках
И букет из веточек сосновых,
Журавлиный плач — под облака,
Над порогом старая подкова.

Я — дитя рассветной тишины,
По сердцу мне шёпоты туманов,
Перезвон беременной весны,
Аромат черёмух полупьяных.

Прижилось здесь счастье на века...
В разноцветье шалых листопадов
Родина мила мне и близка...
И заморских радостей — не надо!

Сибирь

Сосны-стрелы, копыя-листьяки
В этом вечном изумрудном море.
Добрый день, суровый Дух тайги,
Я хочу объять твои просторы!

С ранних лет бродил я той тропой,
На которой мало кто бывает, —
Там в мохнатых кронах сам собой
Ветер что-то грустно напевает.

Там ручей тревожно голосит,
В валунах замшелых заплутавший,

И о чём-то тайном шелестит,
Шепчет под ногами лист опавший.

Этот шёпот мне не разгадать —
Я забыл твои лесные сказки...
Но всегда мне будет не хватать
Той, медвежьей, грубоватой ласки...

Где б я ни был, знаю наперёд:
Кто б ни звал меня в друзья и братья,
Сердце не забудет, призовет
Распахнуть тебе свои объятья!

ЮРИЙ ЛИТВЯК

г. Иркутск

Россия

«Россия!» — ты крикнешь сурово,
«Россиюшка» — тихо шепнёшь.
И нежно звучит это слово,
И грозно, как острый штык-нож.

В нём всё из того, что по праву
Россией зовём испокон:
Припомнятся мягкие травы,
Лампады дымок у икон,

Припомнишь молитву во храме
И крик петуха на заре,

И снег, что скрипит под ногами
Морозным деньком в январе.

Припомнив просторы родные
Бескрайних, как небо, равнин,
Поймёшь, кто ты есть для России, —
Опора, защитник и сын.

О чём, поколения сменяя,
Твердишь ты, любви не тая:
«Одна ты на свете такая —
Хранимая Богом земля!»

Голос памяти

Всю суетность дня ты покинешь, когда,
Мерцающая лучом золотистым,
Твоя путеводная в небе звезда
Тебя приведёт к обелискам.

Ты встанешь перед ними — и нити времён
Протянутся, в душу вплетаясь.
Услышишь десятки солдатских имён,
Что вдовы кричат, надрываясь.

Услышишь орудий рокочущих рёв
На улицах Сталинграда,
И шёпотом, словно из детских гробов:
«Блокада... блокада... блокада...»

Услышишь обрывки историй былых,
За чаем рассказанных дедом.
Но всё же яснее и громче других
Услышишь ты слово — Победа!

АЛЕН ШАМСИЕВА

г. Ангарск

* * *

А вы бы не влюбились в совершенство,
Едва дыша и чуть оторопев
От буйства чувств, от высшего блаженства
Не выдохнув в восторге, замерев?

А вам не ведом пыл кипучих дней,
Когда весь мир исполнен тишиною
И миг один становится важней
Всей жизни, ставшей стылой и чужою?

А вы б смогли любить единый раз,
Дышать и жить одной жестокой мыслью,
Что ложь и чувства все, и зелень глаз,
Что грёзы сердца обратились пылью?

Не осуждайте ветреность сердец,
Их суетность, неверность и беспечность,
Воспойте лучше, как воспел певец,
Восторг любви, её страданий вечность!

* * *

Под ногами седые заплаты,
Серый воздух струится тревожно.
А с небес, непристойно-лохматых,
Осыпается ворох творожный.

Этот воздух тревогой расшит,
Эта осень все стёрла дороги.
Только бледною дымкой дрожит
Лунный оттиск в полуночной тоге...



Ребусы развивающего обучения

Никогда не думала, что мысль о домашних уроках будет вызывать во мне дрожь не во время моего собственного обучения, а через много лет, когда пойдут в школу мои дети.

Определяя своего старшего сына в первый класс, я, честно говоря, особо не интересовалась, по какой программе он будет обучаться. Слышала, вроде «по занковской», слышала, что сложная. Программа эта всегда была на слуху, потому как многие школы по ней работают. Так что сей факт меня абсолютно не напугал и даже не насторожил. Для меня был важнее статус учебного заведения, его месторасположение, преподавательский состав. Видя, что мой ребёнок считается в садике одним из самых подготовленных к школе, я совершенно безмятежно не вникала в суть вопроса. Какая, думаю, разница? Всё ведь примерно одно и то же.

Всё, да не совсем. Совершенной для меня неожиданностью стало то, что мой сын не может делать домашнюю работу самостоятельно, и самое печальное, что теперь его уроки — это моя ежедневная головная боль. Оказалось, помочь первоклашке не так-то просто.

Сразу оговорюсь: пособия по развивающей системе Л.В. Занкова, собственно, уже и не вошли в федеральный перечень согласно приказу Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». В федеральный перечень включаются учебники, отвечающие определенным требованиям. Они должны быть рекомендованы Научно-методическим советом по учебникам, создаваемым Министерством образования и науки Российской Федерации, на основании положительных экспертных заключений по результатам научной, педагогической, общественной, этнокультурной и региональной экспертиз. Перечень утверждается не реже чем один раз в три года. Так вот, пособия по системе Л.В. Занкова представлены в новом перечне только учебниками по изобразительному искусству С.Г. Ашиковой. Но согласно приказу на все не вошедшие в Перечень учебники распространяется действие пункта 3 о праве использования в течение пяти лет в образовательной деятельности ранее приобретенных учебников. Поэтому и старший сын, и второй мой ребёнок будут доучиваться по этой системе. А поскольку младший не столь сообразителен, как старший, меня это, мягко говоря, расстроило. Ну и поразмыслить в этой статье мне бы хотелось не столько о системе Л.В. Занкова, сколько о самом подходе к обучению с помощью развивающих программ или программ с их элементами — как они должны «образовывать» наших детей и кого мы хотим, благодаря им, вырастить?

Для начала скажу буквально два слова в целом о методиках начального образования. На сегодняшний день существуют две системы подготовки детей в начальной школе: традиционная и развивающая. Внутри каждой есть свои программы. К традиционной относятся программы: «Начальная школа 21 века», «Школа 2100», «Школа России», «Гармония», «Перспективная начальная школа», «Классическая начальная школа», «Планета знаний», «Перспектива». К развивающей — всего две: Л.В. Занко-

ва и Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова. Некоторые из вышеперечисленных не вошли в новый перечень, как я уже отмечала, в том числе и наша. В рамках одной школы могут применяться разные программы. Вне зависимости от выбранной ученик имеет возможность получить одни и те же знания, предполагаемые федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС).

Каждая программа имеет свои особенности, но существует одно главное различие между ними: в традиционных учебный материал подаётся так, чтобы ребёнок шёл по пути «от простого к сложному». Закрепляется этот материал с помощью большого количества однотипных задач, расположенных в учебнике страница за страницей. Решая их, ребёнок запоминает способ решения и уверенно пользуется им. В развивающих же программах схема обратная традиционной. Сначала даются примеры, а учащиеся сами должны сделать теоретические выводы. Как сказано в описании программы по Л.В. Занкову, «новые дидактические принципы этой системы — это быстрое освоение материала, высокий уровень трудности, ведущая роль теоретических знаний, прохождение учебного материала «по спирали». Например, школьников уже на первом году обучения знакомят с понятием «Части речи», причём прийти к пониманию этих понятий они должны самостоятельно. Задача обучения — дать общую картину мира на основе науки, литературы, искусства.

И действительно, первое, что обращает на себя внимание, — в системе Л.В. Занкова нет четкого, краткого, понятного изложения новой темы в начале параграфа, как это было и есть в традиционных программах. В основном ранее неизвестные понятия изложены как-то отрывочно, в середине раздела, уже после примеров по новой теме, бессистемно, причем очень сложным языком, который ребенок не в состоянии уяснить в силу возраста. Как мне видится, задача донесения новых тем в понятном для детей виде возлагается на учителя. И хорошо, если последний смог это сделать доходчиво для ребёнка. И полная неразбериха возникает в голове бедного дитяти, если он не усвоил материал на уроке, потому как учебник ему в этом деле не помощник. Например, открываем в учебнике 2-го класса по русскому языку тему «Речь начинается со звуков и букв». Судя по названию, в параграфе должно быть дано описание понятий «буква» и «звук» в русском языке, их отличие и т. д., тем более что звукобуквенный разбор — одно из постоянных и любимых заданий в различных контрольных. Но никаких пояснений на этот счет нет, сразу начинаются упражнения. Смотрю первое задание:

а) Прочитай окончание рассказа писателя Виктора Драгунского «Заколдованная буква». Малыши спорили, как правильно произносить одно слово. Кстати, а сколько было малышей?

Текст: *Глядя на них, я так хохотал, что даже проголодался... Чего они так спорили, раз оба не правы? Я остановился на лестнице и внятно сказал:*

— Никакие не сыски. Никакие не хыхки, а коротко и ясно: «фыфки»!

Вот и всё!

б) Произнеси внятно трудное для детей слово. Запиши его. Какое правило тебе потребовалось?

в) Запиши трудный для детей звук и звуки, которыми его заменяли. Чем они похожи?

Я понимаю, что текст упражнения имеет цель развеселить ребятшек, чтобы, видимо, в шуточной форме освоить новую тему. Но мало того, что некоторые слова в нём имеют спорные ассоциации, от которых даже как-то неудобно становится, но и, в принципе, чем это упражнение может помочь в освоении новой темы? Кроме вызова нездорового смеха, на мой взгляд, ничем. Я уже не говорю, что ребёнок самосто-

ательно вообще вряд ли поймёт, что от него требуется. И это притом, что сама тема «буквы–звук» в учебнике не изложена.

И мы, родители, попадаем в весьма сложную ситуацию. Нам надо погрузиться в материал, понять, что нужно выучить ребёнку, преподнести ему в «употребимом» виде, выучить с ним и закрепить. То есть на нас возлагается функция педагога в полной мере. И, кстати, в описании системы Л.В. Занкова сказано: «Система Занкова делает ставку на самостоятельность учащегося, его творческое постижение материала» (на деле ставка делается на находчивых родителей, у которых есть силы, время и желание детально вникать в учебный процесс!). И далее: «Учитель не выдаёт школьникам истины, а заставляет до них «докапываться» самим».

Второй момент: нередко подача материала идёт от сложного к простому. Например, нам во 2-м классе по английскому языку нужно было написать транскрипцию слов *mother, father*. Вникнув во всё, что они проходили до того, понимаю, что ни понятия «транскрипция», ни объяснения по поводу произношения различных сочетаний букв в английском языке у них не было. Дети, по сути, только начали изучать предмет, даже алфавит не прошли полностью, не говоря уже о том, что они не вникли в особенности произношения букв английского алфавита в зависимости от сочетаний этих букв и расположения в слове. Очевидно, ребёнок должен был сам «докопаться до истины», не получив «истину» от педагога, как сказано в описании программы. И таким образом развивать своё мышление. Но как можно искать то, не зная что? Возможно, авторы программы в данном случае пытались подтолкнуть ребёнка к изучению английского словаря, но тогда ребёнок должен был уже, во-первых, уметь пользоваться этим словарём, во-вторых, знать, что в нём есть транскрипция, в-третьих, знать все символы, которые используются при этом. А символы они тоже не проходили! В общем, дело кончилось тем, что я, как могла, в рамках этих двух слов объяснила, что и как, да только какой был в этом прок — не знаю.

А если коснуться литературного чтения, то там для развития творческого потенциала наших чад чего только не встретишь! Например, даётся стихотворение Ф.И. Тютчева «Весенняя гроза».

Задание: 1. Найдите в тексте «рисующие» слова. Как вы понимаете выражение «повисли перлы дождевые»? 2. Прочитайте внимательно первое четверостишие, найдите повторяющиеся чаще всего звуки. («Люблю грозу в начале мая, Когда весенний, первый гром, Как бы резвяся и играя, Грохочет в небе голубом».) Почему поэт их повторяет?

Вот и думай, мой милый малыш, почему он их повторяет, и ищи в тексте «рисующие» слова. Кстати, именно понятие «рисующие» слова вызвали у нас наибольшее затруднение. Ребёнок никак не мог понять, как могут слова рисовать? Они же не живые! Полагаю, что это задание является попыткой развития образного мышления. Но не рановато ли в такой форме его развивать? Ребёнку восемь лет, ему нужны чёткие вопросы с понятными, конкретными ответами. Или авторы системы считают, что пусть даже ученик и не поймёт толком, чего от него требуют, но хотя бы поднатужится, и от этой натуги будет толк? Да только дети бывают разные, и ещё неизвестно, чем может закончиться для несформировавшейся психики такое напряжение. Срывы у школьников в разных формах, в том числе и самых трагичных, в наше время — не такая уж и редкость. Мне видится, что, помимо различных социальных проблем, чрезмерная умственная нагрузка тоже вносит свою лепту. У ребёнка в течение многих лет копится внутреннее недовольство, которое и выплёскивается непредсказуемым образом. Ведь если для одних невыполненное или непонятое домашнее задание — не беда, то для других — трагедия. Кроме того, ребёнок перестает верить в себя, его самооценка па-

дает до нуля, появляется отвращение к самому процессу обучения, а это уже мина замедленного действия, которая может испортить ему жизнь.

И вот мы, родители, боясь этого как огня, бьёмся над домашними заданиями вместе с детьми ежедневно. Это хорошо, если есть возможность уделять столько времени урокам и, кстати, если у самих родителей хватает знаний для этого (однажды на родительском собрании бабушка одного из учеников предложила организовать курсы с учителем для прохождения родителями заданий наперёд, чтобы они могли правильно подсказать своим деткам. Учитель как-то не особо поддержал инициативу, хотя родители были не против). И что делать тем, кто работает с утра до вечера, приходя домой издерганный и уставший? Качественное выполнение домашнего задания становится просто нереальным! И тогда выход остаётся один: репетитор. Собственно, именно к этому мы и пришли со своим младшим сыном. Каждый день по 1,5–2 часа, 450–600 рублей в день, это ещё средняя цена. 10–12 тысяч в месяц. Это второй класс. Спрашивается, за что? За то, что кому-то наверху развивающая программа показалась удачной, удобной, перспективной. Естественно, существует множество финансовых интересов в продвижении той или иной программы, но это отдельная тема. Меня-то волнует сам подход к обучению наших детей, начинка, так сказать, этих программ. Главное — чтобы они не притупляли желание детей учиться! А именно это сейчас и происходит.

Каждый раз сталкиваясь с различными нестандартными заданиями, ощущаю внутри себя протест: ну как можно научить ребенка ходить раньше, чем он научился держать голову? Как можно научить его говорить, если он никогда, например, не слышал человеческий голос? То есть последовательность в изучении материала, на мой взгляд, это наиважнейшая основа для успешного обучения. Оказывается, такой подход был прекрасно описан ещё в XVI веке Яном Амосом Коменским, чешским педагогом-гуманистом, основоположником научной педагогики, систематизатором и популяризатором классно-урочной системы. Честно признаюсь, я о нём раньше не слышала. Дидактические положения Коменского стали фундаментом традиционного обучения. Труд «Великая дидактика» считается не только одним из величайших его произведений, но и педагогики в целом. В ней он изложил своё представление о целях образования и представил комплексный взгляд на теорию обучения. Задачи, стоящие перед ним, автор описал во вступлении: «Мы решаемся обещать Великую Дидактику, т. е. универсальное искусство всех учить всему. И притом учить с верным успехом; так, чтобы неуспеха последовать не могло; учить быстро, чтобы ни у учащихся, ни у учащихся не было обременения или скуки, чтобы обучение происходило скорее с величайшим удовольствием для той и другой стороны; учить основательно, не поверхностно и, следовательно, не для формы, но подвигая учащихся к истинной науке, добрым нравам и глубокому благочестию».

В работе много глав, затрагиваются и вопросы нравственности, и вопросы воспитания, и много чего ещё. Меня же она заинтересовала в части основ лёгкости и прочности обучения. Поскольку человек представляет собой часть природы, то, по мнению Коменского, он должен подчиняться общим её законам и все педагогические средства должны быть природосообразными. Так не о том ли мы говорим? То есть как в природе есть определённая последовательность, которую невозможно нарушить, так и в обучении противоестественно идти от сложного к простому. И дети, не обладая пока ещё необходимым запасом знаний, при которых возможно применение такого рода методик, понятное дело, противятся этому прям-таки на физиологическом уровне.

Ещё одним из главных принципов дидактики Коменского было требование наглядности. Любые научные правила и законы должны были подводить черту под доступными и понятными примерами. И тоже очень, на мой взгляд, верно. Если ре-

бёнку подобрать простой удачный пример, он моментально усваивает материал. Ну а поскольку в наших учебниках теоретической части уделяется минимум внимания, то что уж говорить о наглядных примерах. Коменский написал «Мир чувственных вещей в картинках» — первый учебник, в котором иллюстрации использовались как дидактическое средство. А изречение Коменского «Без примера ничему не выучишься» даже стало крылатым. В целом подача материала должна быть сжатой, но точной, и сопровождаться не просто примерами, а примерами разнообразными, чтобы у детей формировалось максимально широкое представление о событиях и предметах. А то, как ученики усваивают новые знания, предлагалось проверять с помощью упражнений на закрепление.

Новым для своего времени было и следующее суждение: «Метод обучения должен уменьшать трудности учения, чтобы оно не возбуждало в учениках неудовольствия и не отвращало их от дальнейших занятий». Очень важное высказывание! Ребёнок должен почувствовать радость от того, что он смог понять новое, что у него это получается. И тогда возникнет желание продолжать. Мы же наблюдаем совершенно противоположный эффект от тех сложных, ребусоподобных заданий, которые даются нашим детям. Им неинтересно, им непонятно, им, в конце концов, скучно. И не удивительно, что для них учёба превращается в мучение.

Много ещё важных и интересных постулатов изложено в работе Коменского. «У учеников разрабатывают сперва внешние чувства (это всего легче), затем — память, далее — понимание и, наконец, — суждение. Именно в такой постепенности они следуют друг за другом, так как знание начинается из чувственного восприятия, с помощью воображения переходит в память, а затем, через обобщение единичного, образуется понимание общего, и, наконец, для уточнения знания о вещах, достаточно понятных, составляется суждение». А у нас что? С первого класса задания-рассуждения занимают значительную часть учебного материала. Восемилетний ребёнок ещё не понимает, что слово «рисовать» может использоваться не только в прямом, но и в переносном смысле, он ещё не в силах представить, что такое переносный смысл, а ему уже нужно найти какие-то «рисующие» слова, порассуждать, почему они таковыми являются. Ну, нашли мы их совместными усилиями, ну, повторил он за мной, как обезьянка, а толку-то? Всё, что я увидела в нём после выполнения этого задания, это страх, сможет ли он правильно повторить то, что заучил со мной.

Прошло уже четыре столетия, а многие положения Коменского до сих пор являются весьма актуальными и, на мой взгляд, могли бы быть полезными при разработке образовательных программ, особенно для начальной школы.

Среди великих учёных в этой области часто упоминается и имя К.Д. Ушинского — русского педагога XIX века, основоположника научной педагогики в России. В описании его работ я увидела много перекликающихся моментов с положениями Коменского в подходе к детскому образованию. Это: и необходимость изучения природы и использования её как средства всестороннего развития личности школьника, так как логика природы — самая доступная и самая полезная логика для детей; принцип наглядности на первой ступени обучения, поскольку дети младших классов мыслят образами и картинками; обеспечение естественной связи новых знаний с ранее усвоенными детьми знаниями; систематичность и последовательность. Считается, что именно во главе с К.Д. Ушинским педагогами активно изучалась и разрабатывалась теория развивающего обучения. Но смысл его развивающего обучения состоял в том, что он поставил дидактику на психологическую основу и считал, что для успешного обучения необходимо знать человека во всех отношениях (физических и психических), тем самым предлагал отойти от обучения, при котором знания даются без соответствия этим категориям. Он предлагал построение учебного процесса и организации воспитательных воздействий на ребёнка в единстве физических, нравственных и умствен-

ных «параметров» его жизнедеятельности (возраст, способности и т. п.). Именно в этом он, как мне кажется, и видел смысл развивающего образования. А подход непосредственно к технике обучения, на мой взгляд, во многом соответствовал тому, что мы сейчас называем «традиционный».

Много ещё можно найти известных имён, которые являются приверженцами традиционного подхода в обучении, и это наводит меня на мысль, что вряд ли все они могли ошибаться. Время же лучший судья — жизнеспособна та или иная концепция или нет. Если на протяжении веков традиционный метод является наиболее простым, но при этом эффективным, то стоит ли уходить от него так категорично? Говорят же, зачем изобретать велосипед? Ведь в методах обучения в начальной школе нужно быть очень осторожными со всякого рода новаторствами, и если уж вводить что-то новое, то тогда надо быть уверенными на сто процентов, что не будет хуже. Дети, пожалуй, не лучшая категория для экспериментов.

Не спору, время диктует свои правила, и в век высоких технологий требует от нас более «скоростного», а где-то и действительно нестандартного мышления. Но это совершенно не значит, что обучение должно стать «скоростным», нелогичным и малопонятным. Наоборот, чем качественнее и основательнее заложены в ребенке первоначальные знания, тем легче ему будет обучаться в будущем, и, кстати, быстрее. Ведь если у него нет пробелов в прошлом, он уже не будет в дальнейшем тратить время на их восполнение. Вот и получается, что если мы хотим поспевать за временем, нам нужно не на повышенных скоростях развивать наших деток, а добиваться досконального усвоения пройденного материала. Только тогда из них вырастут профессионалы своего дела, которые смогут двигать нашу страну вперёд. Я же впредь буду внимательней относиться к вопросу выбора школьной программы для своих детей — мне ещё дочь вести в первый класс через шесть лет.

*Анна КАШТАНОВА,
г. Иркутск*



Миры Николая Алексеевича Полевого

Если кто из вас, друзья мои, будет в Иркутске, пусть пойдёт в город к тому месту, где близ старой, разрушенной мельницы вливается в Ангару Ушаковка. Тут извилистое течение этой речки приведёт его к тому месту, где против него на луговой стороне будет старое Адмиралтейство — тут жил отец мой, тут были предметы первого моего мира, тут мечтал я, плакал над Плутархом, думал быть великим человеком.

Н. Полевой



Николай Алексеевич Полевой родился 22 июня 1796 года в семье выходца из старинного посадского рода, купца Алексея Елисеевича Полевого, переехавшего в Иркутск из города Курска. В доме Полевых, что стоял недалеко от Адмиралтейства, на берегу реки Ушаковки, частыми гостями бывали Г.И. Шелихов, писатель И.Т. Калашников, а также многие путешественники, останавливавшиеся в Иркутске.

Полевой-старший слыл человеком не только гостеприимным и хлебосольным, но и просвещённым: выписывал и прочитывал много книг, газет и журналов. С раннего детства увлечённо читали сын Николай. Хотя систематического образования он не получил, но к 1811 году — ко времени отбытия из Иркутска в Курск — знал пять языков, историю, литературу, математику и другие науки: его домашним учителем был ссыльный князь Василий Николаевич Горчаков, отбывавший ссылку в Тункинской крепости, но подолгу живший в доме Полевых.

Алексей Елисеевич мечтал, что сын будет продолжать его купеческое дело, но Николай ещё в Иркутске много времени уделял литературным опытам, они начались в 1817 году, а спустя три года молодой литератор переехал в Москву, где с 1825 года, за несколько месяцев до восстания декабристов на Сенатской площади, начал издавать журнал «Московский телеграф» — первый в России журнал энциклопедического направления. Об успехе журнала говорит тот факт, что через год его тираж с первоначальных семисот экземпляров вырос до полутора тысяч. Для того времени это был большой успех.

Своей главной задачей Полевой считал просвещение народа. Энциклопедизм журнала, принципиальность позиции, доходчивые формы, острые заголовки привлекали

широкие слои читателей. Журнал назвали «замечательным явлением», но успех породил конкуренцию и борьбу: журналы «Сын Отечества» Греча и Булгарина, «Вестник Европы» Каченовского, газета «Северная пчела» выступали против Полевого, цеплялись к мелочам, опечаткам, высмеивали фамилию и происхождение издателя. Но, несмотря на придирки конкурентов и цензуры, журнал жил и развивался. В 1827 году Николай Алексеевич пытался расширить свое издательское дело — издавать газету и приложение к журналу, но из-за либерального уклона проекты не были одобрены надзорными органами и не состоялись...

Из многодетной купеческой семьи А.Е. Полевого вышло трое литераторов, внесших большой вклад в русскую, сибирскую литературу и журналистику: первая в Сибири женщина-писательница Е.А. Авдеева-Полевая, К.А. Полевой, оставивший впоследствии интересные воспоминания, и сам Н.А. Полевой. Несомненно, он был самым талантливым, трудолюбивым из семьи, его вклад в литературу и культуру Сибири и России заметен, но при этом, пожалуй, ещё не оценён по достоинству.

Писатель и редактор Н. Полевой являлся прежде всего журналистом. В своём «Письме издателя к NN», опубликованном в «Московском телеграфе» (№ 1, с. 15), он выразил мнение, что журнал должен быть зеркалом, отражающим все стороны русской жизни, то есть мир нравственный, физический, политический, а значит, быть журналом для всех. Полевой называл журналиста разносчиком вестей, а основными его качествами считал трудолюбие и терпение. Позднее Николай Алексеевич писал: «...журнал должен составлять нечто целое, он должен иметь в себе душу, которую можно назвать его целью... Журналист в своем кругу должен быть колонновожатым» («Московский телеграф», № 5, с. 90).

...И здесь вспоминается школа колонновожатых, которую создал Н.Н. Муравьев, где учились многие декабристы, будущие офицеры-квартирмейстеры...

Выступал Н.А. Полевой в журнале и как литературный критик. Он высоко оценил поэзию А.С. Пушкина и потому много его печатал и, хотя иногда и критиковал поэта, писал, что его творчество отвечает требованиям времени, самобытности, народности русской литературы.

В каждом номере «Московского телеграфа» Н.А. Полевой адресовал читателю рецензии, статьи, заметки, написанные с большим жаром публициста. Он полагал, что благо государства — в развитии промышленности и возвышении людей «среднего звания», опубликовал статью «Купеческое звание стоит в ряду других званий российского гражданина как почетное и заслуживающее уважения», где подчеркивалось, что люди купеческого звания в числе прочих радеют за Россию. Полевой призывал к разностороннему просвещению сословия — в этом он видел залог успеха отечественной промышленности и роль самого купечества: оно должно служить прогрессу. Образование, просвещение — пути возвышения незнатного человека в государстве.

Вопросы политической экономии освещали статьи А. Смита, С. Бентама, П. Сисмонди. Пожалуй, впервые за всю историю толстых журналов России, в каждом номере «Московского телеграфа» появлялись статьи по разным отраслям науки: химии, физике, математике.

В отделе прозы и поэзии журнала печатались В.А. Жуковский, Е.А. Баратынский, Н.М. Языков, декабрист В.К. Кюхельбекер, а также представители «третьего сословия» — И.И. Лажечников, А.Ф. Вельтман, Н.Ф. Павлова и другие не менее известные авторы, публиковались переводы произведений В. Гюго, О. Бальзака, Э. Сю, П. Мериmé, в отделах критики принимали участие известные критики П.А. Вяземский, В.Г. Белинский. Автором критических статей был и брат Полевого — К.А. Полевой.

«...Н.А. Полевой был самым ярким представителем того направления в развитии нашей критикой теории романтизма, которое видело в романтизме единственно верный путь к созданию национальной, самобытной, неподражаемой русской литерату-

ры. Наиболее полно его взгляды получают отражение в статье «О романах В. Гюго и вообще о новейших романах», — писал в своей статье «Теория романтизма в русской критике второй половины 20-х годов» теоретик романтизма А.С. Курилов (М.: Наука, 1979, с. 251).

Н.А. Полевой сделал много для популяризации Сибири, уделял внимание и ее проблемам, предоставляя страницы журнала сибирским корреспондентам. Здесь публиковались «Письма с берегов Лены» Н. Щукина, «Письма из Сибири» А. Мартоса, отчет вице-губернатора Енисейской губернии Пестеля. «О земледелии на Камчатке» писал в журнале Забелло. П.А. Словцов издал в журнале «Прогулки вокруг Тобольска» и «Письма из Сибири». В журнале выступали сестра издателя Е.А. Авдеева-Полевая и брат К.А. Полевой, синолог И. Бичурини другие сибиряки.

Н.А. Полевым поднималась и историческая тема места русской буржуазии в дворянском обществе. Его любимый герой обычно относился к третьему сословию и обладал лучшими человеческими качествами — нравственностью и религиозностью, но был недоволен узкими интересами и культурной отсталостью среды, к которой принадлежал. Здесь можно назвать повести «Живописец», «Эмма», роман «Аббадонна». В историческом романе «Клятва при гробе Господнем» Николай Алексеевич обвиняет высшее общество России в отсутствии национальных чувств.

В критических статьях Полевой отстаивал демократическое понимание романтизма, и это было выдающимся явлением в русской критике XIX столетия. Также выступал против эстетики классицизма и в противовес ей выдвигал принцип исторической оценки искусства как органичного воплощения национального самосознания в определенных условиях.

С удовольствием замечу, что Н.А. Полевой ко всем своим талантам, являлся одним из первых теоретиков печати наряду с М.В. Ломоносовым, А.С. Пушкиным, В.Г. Белинским. К примеру, в журнале «Московский телеграф» он писал, что газеты и журналы можно разделить на три группы:

1) «от правительства издаваемых 2) касательно отдельных предметов 3) относящихся собственно к словесности, смешанно с политикой или другими предметами». Таким образом, Н.А. Полевой пытался выстроить типологию российских газет и журналов в 1827 году, когда мало кто из журналистов и писателей пытался исследовать историю и теорию русской журналистики...

Н.А. Полевой оспаривал концепцию «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. В статье, опубликованной в журнале «Московский телеграф», он писал, что Карамзин «...уже не может быть образцом ни поэта, ни романиста, ни даже прозаика русского. Период его кончился» («Московский телеграф», 1829, № 12, с. 104).

Против этой концепции Полевого выступили Пушкин и Вяземский, хотя и они в своей творческой практике также были против карамзинских принципов. Николай Алексеевич в труде «История русского народа» в шести томах полемизирует с Н.М. Карамзиным.

В своём творчестве Полевой много раз касался истории, исторических проблем — это и в шести томах «Истории русского народа», а ещё раньше — в исторических повестях, романе и в публицистике.

Николай Алексеевич вошёл в историю русской литературы, журналистики и истории благодаря своим произведениям. В XIX — первой половине XX века его романы, повести, труды читали, любили и ценили в России. Он первым перевел «Гамлета» Уильяма Шекспира на русский язык.

О творчестве Полевого писали А.С. Пушкин, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, В.Н. Майков, М.К. Азадовский, Б.И. Жеребцов, Г.Ф. Кунгуров, М.Д. Сергеев, Л.Л. Ермолинский и другие авторы.

«Московский телеграф» проявлял повышенный интерес к французской революции 1830 года, косвенно сочувствовал идеям революции и декабризма.

В 1834 году, по личному распоряжению Николая I, журнал «Московский телеграф» был закрыт. Н.А. Полевому велено было замолчать, т. е. не писать и не печатать что-либо за своей подписью.

Лишившись трибуны, Николай Алексеевич стал меньше нападать на дворянство, но в своих литературных произведениях «Купец Иголкин», «Дедушка русского флота», «Костромские леса» с ещё большей силой подчеркивал нравственную силу и патриотизм русского народ.

...Сибирь развивалась. Капиталистические отношения проникали и в Сибирь. Размышляя об этом процессе, он писал: «Нам предстоит исхищение из рук иностранцев источников богатств, украшение отчизны плодами промышленной деятельности» В своём многогранном творчестве Полевой правдиво и точно отразил процессы, думы и чаяния крепостнической России первой половины XIX столетия.

Иркутск чтит и Николая Полевого, и семью Полевых, оставивших заметный след в культуре и истории Иркутска. Н.А. Полевой считал, что «нравы сибиряков, образ жизни, степень просвещения такие же, как в Великой России, может быть, даже перевес просвещения и вообще хорошего быта на стороне сибиряков...».

Полагаю, за любовь к Сибири и сибирякам мы должны быть благодарны Николаю Алексеевичу.

Работая в столицах, уроженец Иркутска, сибиряк, Н.А. Полевой помнил свою малую родину. В сюжетах многих его произведений нашли отражение мысли купеческих семей, которые он впитывал с молоком матери.

Сегодня, в XXI столетии, спустя 220 лет после его рождения, мы заново открываем Николая Алексеевича Полевого.

*А.К. БОБКОВ,
кандидат исторических наук, доцент кафедры
журналистики и медиаменеджмента
Иркутского государственного университета*

К 80-летию Геннадия Машкина



С путёвкой геолога

В творчестве каждого писателя в той или иной степени сказывается профессиональное образование. Классические примеры — врачи Чехов и Булгаков. Иркутский прозаик Геннадий Машкин был геологом по образованию и вечным скитальцем-путешественником по «первотропам» Сибири и других регионов нашей необъятной... А из экспедиций, походов, дальних и близких бросков на природу привозил сюжеты, пейзажи, портреты или штрихи к образам будущих персонажей рассказов, повестей, романов. Известно, что 29-летний Гена Машкин прямо из геологической экспедиции прикатил в Читу-65 на Первое совещание молодых писателей Сибири и Дальнего Востока. Вот как об этом писал руководитель семинара, известный московский писатель, начинавший в Чите, Борис Костюковский: «Представители «Иркутской Стенки» и здесь не подкачали. Геннадий Машкин приехал в Читу прямо из геологической партии с первой в жизни бородой, но его повесть «Синее море, белый пароход» сразу поставила его в ряды крепких профессиональных писателей. Я не преувеличу, если скажу, что рассказ Машкина «Под парусом», прочитанный прямо на семинаре, потряс слушателей». Вместе с Машкиным громко зазвучали после Читы-65 имена иркутян: Дмитрия Сергеева, Вячеслава Шугаева, Бориса Лапина, Юрия Самсонова... А Валентин Распутин и Александр Вампилов получили не только рекомендации в Союз писателей СССР, но вскоре стали и самыми молодыми классиками советской литературы в прозе и драматургии. Через тридцать три года Геннадий Машкин соберёт свои воспоминания о дорогих временах молодости и с помощью Иркутского областного фонда А. Вампилова подготовит и выпустит в 1998 году книгу «Стенкой и в одиночку. Воспоминательное повествование». Особую ценность в книге представляют десятки фотографий иркутских писателей времен «Стенки».

Мне уже удалось вкратце обозначить в статье к 80-летию Евгения Суворова («Сибирь», № 1, 2015) историю дружеского знакомства с Геной Машкиным. Теперь прослежу более обстоятельно наше пересечение в четверть века. Изначально в моём личном, пристрастном интересе к автору «Синего моря...», «Арки», «Родительского дня» и множества других замечательных повестей и рассказов «виноват» Александр Вампилов. «Драматург, милостью Божьей» — как не раз говорил нам на семинарах драматургии в Литинституте мой учитель Виктор Сергеевич Розов, опубликовавший, кстати, в 1987 году, к 50-летию Вампилова, в «Литературке» статью с говорящим названием «Колдовство его таланта». С автором «Утиной охоты» у меня была единственная, случайная встреча где-то на рубеже августа–сентября 1971 года в Москве между Центральным телеграфом и театром им. М.Н. Ермоловой. За месяц до этого я гостил у родителей в Иркутске, душевно общался там и с замечательным двоюродным братом — выдающимся драматическим артистом Виктором Мерецким. Как-то мы гуляли недалеко от его последнего театра им. Н.П. Охлопкова, и кузен познакомил меня с обаятельной молоденькой актрисой Леной Мазуренко. А вскоре эта яркая служительница Мельпомены победила в конкурсе молодых иркут-

ских артистов, и её премировали путёвкой ВТО в подмосковный Дом творчества «Руза». И вот идём мы с Леной вниз по улице Горького, а Вампилов поднимается навстречу, выйдя из театра им. М.Н. Ермоловой после очередной встречи с завлитом Еленой Якушкиной, бывшей его театральной «крёстной мамой» на тернистом пути к столичным премьерам. Пересечение на «московском Бродвее» тех времен оказалось, к счастью, неминуемым.

— Саня! — воскликнула первая героиня «Прощания в июне».

— Привет, Ленка! — радостно отозвался, разглядев землячку, драматург. Они пообщались, поболтали минут пять, я постоял рядом. Через год Драматург утонул, а я начал жадно искать его книги, смотреть спектакли по вампиловским пьесам в разных городах и расспрашивать о «Сане» всех, кто его хорошо знал. Среди иркутян в первом ряду оказался Геннадий Машкин.

Лично познакомились мы с другом Вампилова в начале восьмидесятых. Неожиданно главный редактор репертуарно-редакционной коллегии Управления театров Министерства культуры РСФСР, премудрый театральный деятель Игорь Павлович Скачков пригласил меня работать в свою коллегия. Прослужил я в ней два с половиной года, ушёл, когда пошли в театрах мои первые пьесы: «Третий голос» в Донецком ТЮЗе, «Пропуск Стаса Захарова» в Рязанском ТЮЗе, Ульяновской драме и других театрах, и надо было выбирать между чиновным благополучием и писательской свободой. В середине 82-го я ушёл на «вольные хлеба», но остался благодарен министерской службе за возможность поздороваться, а то и надолго познакомиться с кем-то из прекрасного ряда драматургов, писателей, критиков. К Скачкову и в другие кабинеты коллегии запросто заходили Виктор Розов, Игнатий Дворецкий, Афанасий Салынский, Сергей Михалков, Виктор Астафьев, Леонид Жуховицкий, Геннадий Мамлин, Борис Поюровский... Появился как-то и Геннадий Машкин, упорно пытавшийся освоить драматургический жанр, его редактор Татьяна Борисовна Агапова нас и познакомила. Потом мы пересекались в легендарном уже Иркутском Доме писателей — штаб-квартире той самой «Стенки» и гостеприимнейшем месте для всех пишущих иркутян и их творческих гостей со всех волостей.

К драматургии Геннадий Машкин стремился и практически. Вот что было в одном из первых моих писем к нему в Иркутск.

20 октября 1982 года

Геннадий Николаевич! Надеюсь, старина, ты в добром здравии? Всякий грипп и температура отступили после нашего променада на кладбище и после него. Очень симпатичный хозяин нас принимал, запомнил его имя. Передавай при случае ему сердечный привет.

Был я в министерстве. Говорил Агаповой и Сычеву о твоём желании участвовать в семинаре. Но, честно говоря, горячего отклика не увидел. Похоже, что компанию они уже составили. Я туда тоже не попадаю...

По твоему совету вплотную взялся за книгу публицистики о «трудных» подрастающих. К Новому году, надеюсь, вчерне закончить рукопись, отдам её в редакцию Л.А. Антипиной. Там уж как распорядятся.

Напоминаю о летней ореховой кампании. Ты обещал меня свести с Макаровым (если правильно запомнил фамилию). Передай ему при случае, что двое москвичей жаждут влиться в его команду Работы и гнуса не боятся. Второй — Олег Перекалин, драматург, рост 195, плечи 90 см. Его пьеса «Дым» пошла нынче в театре Ермоловой, поставил Г. Косюков.

Когда будешь в Москве? Надеюсь, посидим с тобой в ЦДЛ, заглянем к Сычеву. Еще лучше вытащить его, он любитель застолья.

Будь здоров. Привет домочадцам. Черкни. Твой Владимир Попов

Несколько свежих комментариев. На иркутском кладбище в Радищево мы с Геннадием, видимо, за неделю-другую до этого письма побывали на могиле Александра Вампилова. Поклониться «Сане» мне всегда хотелось, делал и делаю это до сих пор практически ежегодно. Дополнительным стимулом служит и соседняя могила, где в 1973 году театр Охлопкова похоронил Виктора Мерецкого. Заслуженному артисту было только 46 лет, его вдова Галина Мерецкая играла, кстати, рядом с Еленой Мазуренко роль Красавицы в «Прощании в июне». Запомнилась она мне и темпераментной Переводчицей в спектакле «Гнездо глухаря» Виктора Розова, который был едва ли не первым в долгой истории постановок этой пьесы, начиная с конца семидесятых. А в прошлом году мне довелось навестить Галину Ивановну, прослужившую в театре Охлопкова более 40 лет, в историческом Доме ветеранов сцены им. Савиной в Санкт-Петербурге... Дошли мы с Геней осенью 82-го и до могилы моего отца, похороненного неподалёку от Вампилова и Мерецкого в лютый декабрьский мороз 1978 года. Я тогда спросил Машкина, указывая на близкую детскую могилку с именем «Гриша Распутин»: «Это, правда, сын Валентина Григорьевича?» Геннадий подтвердил предположение моих родственников, припомнив, что в своё время держал на руках маленького сыночка будущего классика.

Несколько слов насчет Министерства культуры и семинара драматургов, которым много лет руководила Татьяна Агапова, а главным редактором репертуарной коллегии после выхода И.П. Скачкова на пенсию был назначен Александр Сергеевич Сычев, выпускник ГИТИСа по курсу знаменитого критика, театроведа и заведующего литературной частью МХАТа булгаковских времён Павла Маркова. У меня с новым руководителем отношения не заладились, а после моего ухода из министерства и вовсе стали прохладными. Поскольку Геннадий Машкин был признанным детским писателем и хорошо знал некоторых московских редакторов, то с его «подачи» я и отдал рукопись книги «Тропинка из одиночества» в издательство «Молодая гвардия» Л.А. Антипиной. В 1985 году книга о подростках благополучно вышла диковинным по нынешним временам стотысячным тиражом. Так что Геннадий Николаевич оказался своеобразным «крёстным папой» первой моей прозаической книги.

Про «ореховую кампанию» помню слабо, она тогда точно не состоялась, хотя бить шишку и заготавливать кедровый орех мне хотелось. Геолог Машкин наверняка умел добывать орешки. Позже я поучаствовал в аналогичной кампании в бригаде своего старшего брата Александра и его друзей-токарей с завода Куйбышева. Мы ходили по прибайкальской тайге с огромным колотом, стучали им по подходящим кедрам и имели всё необходимое для дробления шишек и получения чистого ореха.

За двадцать с лишним лет дружеского знакомства в гостеприимном доме Гены Машкина мне довелось бывать много раз. Жил он на высоком первом этаже каменного дома в четыре или пять этажей на улице Боткина. Квартира стандартная, трёхкомнатная, самая просторная комната служила кабинетом писателю. Посиделки проходили в соседней, тоже достаточно большой комнате, или на кухне. В квартире Машкина довелось познакомиться, а потом долго дружить с Женей Суворовым и Славой Филипповым. Пару раз с удовольствием слушал песни Валерия (Алика) Стукова, тоже давнего участника вампиловско-машкинской компании. Про Евгения Адамовича, как говорилось выше, я писал в год его 80-летия отдельную статью. Несколько благодар-

ных слов хочется сказать сейчас о Ростиславе Филиппове, тоже участнике Читы-65, большом поэте и человеке. Крупным Слава был и буквально — ростом под два метра, а возможно, и чуть выше сажени. В книге стихов поэта Филиппова немало прекрасных творений, а есть, полагаю, и классическая поэзия — время покажет! К сожалению, как и многим пишущим, Ростиславу приходилось служить не только музе, но и, занимая штатные должности, зарабатывать на «хлеб насущный». Руководитель-организатор, надо сказать, он был выдающийся, отслужив по доброму десятку лет на постах заведующего Читинского филиала Восточно-Сибирского книжного издательства, затем главного редактора этого издательства уже в Иркутске и ответственного секретаря Иркутской писательской организации. С его подачи мне как-то довелось в девяностых годах выступать в составе писательской бригады в глубинке Иркутской области. И незабываемо поучаствовать рядом с Филипповым в одном из юбилейных Вампиловских сборов в Кутулике, где взял на себя смелость выступить представителем от Москвы (других посланников в тот раз почему-то не случилось) перед большой аудиторией местных жителей и гостей на вольном воздухе близ музея и школы, где учился Саша Вампилов.

Раза два Гена Машкин и Слава Филиппов были гостями в доме моей матушки Тамары Фёдоровны Поповой на улице Декабрьских Событий, 64. Дому уже больше 120 лет, сейчас там какая-то фирма, а мои родители, сестра и брат жили в нем с 1966 по 2000 год, переехав в Иркутск из забайкальского Балея. Думаю, Славе было в гостинной очень комфортно, потому как потолки в этом старинном доме под четыре метра. «Храм воздуха» — как говаривал мой отец. В стандартных квартирах двухметровым людям не так уютно. О Славе Филиппове мы успели поговорить в 2013 году с его вдовой Верой Сергеевной Филипповой, много лет плодотворно работавшей завлитом в театре Охлопкова. С её подачи, кстати, в театре Охлопкова в начале восьмидесятых ставилась пьеса «Требую суда (Горячая точка)» моего друга и тоже семинариста В.С. Розова, кандидата в добытчики кедровых орешек Олега Перекалина. Много рассказывал о Филиппове, об общей их московской и читинской молодости студенческий однокашник Славы, работавший в шестидесятых заведомо культуры газеты «Забайкальский рабочий», Александр Михайлович Алешкин. А теперь эстафету памяти об отце держит его незаурядная дочь Ольга, доктор филологии, с недавних пор заместитель декана факультета журналистики МГУ им. Ломоносова, который Ростислав Филиппов окончил в 1960 году. Отмечу печальный штрих: Слава и Гена прожили одинаковую по продолжительности жизнь — только по 68 лет.

У скитальца-геолога Машкина в друзьях бывали не только коллеги-литераторы. Запомнились мне две яркие фигуры, с которыми знакомил Гена. Один могучий с виду парень служил егерем в Байкальском заповеднике. Сам бывалый таёжник, Машкин в превосходных степенях отзывался о физических кондициях и моральных качествах этого честного егеря-патриота. Он немало сделал для спасения экологии и защиты природных богатств Прибайкалья. Не помню, к сожалению, имя этого красавца, который однажды в какой-то экстремальной ситуации сорвался с десятиметровой скалы. Неподготовленный турист в таком падении неминуемо бы погиб, спортивный егерь в полёте сгруппировался перед приземлением на каменистый склон, выжил, продолжил активную деятельность, правда, уже не в прежней должности.

Второго знакомца-приятеля Машкина все друзья звали Совой. Почему возникло такое прозвище, могу только предположить. Жил этот мужичок, на вид лет под пятьдесят, на улице Марата недалеко от Дома писателей, его дверь была всегда распахнута для друзей и гостей 24 часа в сутки — отсюда, возможно, и Сова! С ним связана

трагикомическая история в доме моей матушки. В девяностых годах там совсем забарахлила печка. Почему-то печника найти оказалось сложно. Я обратился к Машкину, и Гена решительно порекомендовал Сову: «Он и себе печку клал, и не-скольким писателям, отличный умелец». Дело было летом, и «умелец» неспешно разобрал печь «до основания», затем начал класть заново. Придумал в процессе какие-то диковинные ходы, якобы, сохраняющие тепло. Работал практически всё лето, таинственно отлучаясь порой на неделю или две. Наступила осень, холодало, Сова пропал окончательно. Пришлось мне срочно лететь, спасать семью от скорых морозов. Пару раз зашёл на улицу Марата. Сова пребывал в стойком запое и оказался совершенно не способным воспринимать действительность. Пришлось срочно искать профессионала-печника, который в первый день разобрал таинственные ходы Совы. На второй день настоящий умелец собрал печку полностью, и она благополучно работала до 2000 года, когда фирма выкупила нашу квартиру, предоставив вместо неё матушке с сестрой стандартную «трёшку» на Ямской улице. В ней мама дожила до 93 лет, а в 2006-м присоединилась к отцу в Радищево. Машкин за Сову искренне извинялся, недоумевал, как он пошёл в такой разнос, но — чего не бывает!

Между личными встречами в Иркутске мы с Геной перебрасывались письмами, а при свиданиях дарили друг другу книги с автографами. Письма стучал на машинке, сохраняя иногда копии, больше я, а хороших книг с подписями, разумеется, дарил мне больше иркутский автор. Рукописные письма Машкина, к сожалению, не сохранились, случайно уцелело одно небольшое. Вот оно:

Володя! Не думай, что я негодяйствую, не отвечаю тебе. Просто у меня почему-то в твоём адресе нет номера квартиры. Поэтому посылаю письмо без обозначения квартиры, авось найдут тебя почтальоны (нашли! — В.П.), и ты ответишь мне с полным адресом. К сожалению, виды на урожай орехов в этом году плохие. Есть другие таёжные сборы (толокнянка, ягоды, папоротник), но об этом надо говорить в следующих письмах. А пока давай, Володя, твой точный адрес и сообщи, собираешься ли в Иркутск, когда? Твой Г. Машкин. 17/II—1983 г.

Дополню эпистолярный жанр друга-сибиряка его лаконичными, выразительными автографами на подаренных книгах в порядке их выхода в свет.

Сибирскими тропами и дорогами (М.: Молодая гвардия, 1981)

Володе Попову, земляку и коллеге по ниве разумного, доброго, вечного от сибирского старателя — автора. Сердечно! Г. Машкин 2/IV—1981 г.

От мала до велика: повести (Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1982)

Владимиру Попову, бывшему иркутянину — со встречей на Родной земле! На долгие творческие дела и дружбу! Г. Машкин 25/II—1982 г.

Санний путь (Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1983)

Дорогому Володе Попову, 17/ III—1983 г.

Подпись не случайно совсем короткая, книга не авторская, а сборник рассказов от 13 писателей. Любопытно, что место Геннадия Машкина ровно в середине: авторы расположены в алфавитном порядке. Составителем сборника выступил Валентин Распутин. Коротенькое послесловие «От составителя» Валентин Григорьевич начинает простой и в то же время программной для сборника фразой: «Эта книга составлена

с таким расчетом, чтобы она вызывала любовь, — любовь к окружающему нас природному, невинному миру и ко всему, что в нем живет и растет».

А вот имена авторов сборника: Виктор Астафьев, Федор Абрамов, Василий Белов, Сергей Залыгин, Алексей Зверев, Юрий Казаков, Геннадий Машкин (рассказ «Один ответ»), Геннадий Михасенко, Евгений Носов, Валентин Распутин, Дмитрий Сергеев, Георгий Семёнов, Евгений Суворов.

Ещё книга с подписью: Повести. Рассказы (М.: Советская Россия, 1985)

*Дорогому Володе Попову на сердечную память и добрые пути-дороги.
Сентябрь, 1990 г. г. Иркутск*

Не все книги с автографами от Гены Машкина, к сожалению, сохранились. Семья наша переезжала несколько раз, делался ремонт, кто-то брал почитать... Помню небольшую исчезнувшую книжку с повестью «Родительский день», не столь известной, как «Синее море, белый пароход» или «Арка», но она произвела на меня не менее сильное впечатление. Ещё не обнаружил книги «Первотроп», где Геннадий Николаевич живописал свои геологические скитания. Кстати, от скитаний по лесам-горам-полям и ночёвок у костра совсем близко до бардов, до проникновенной бардовской песни, до её «столповых» представителей. Песни иркутского барда Алика Стукова, входящего в «Стенку», Гена очень любил. А где-то в девяностых годах я вдруг с удивлением углядел, что Геннадий Машкин и известный бард, мужественный и «обветренный, как скалы», Виктор Берковский, по внешнему виду очень похожи. Если не близнецы-братья, то уж двойники точно. Посмотрите, кто захочет убедиться, на фотографии, хотя бы в Википедии. И кроме физической схожести, на мой взгляд, соизмерим и масштаб личностей, и схожая духовно-бродяжья общность, питающая творчество художников слова и звуков. Геннадий шагал по «первотропам» и по геологической принадлежности, и по походному товариществу. Виктор со своей гитарой был многолетним завсегдатаем бардовских слётов на природе. Писал этот талантливый композитор не на свои стихи, но выбирал лучшее по природно-душевной, «пространственной» склонности: бессмертная «Гренада» Михаила Светлова, «Песня шагом, шагом» Новеллы Матвеевой, «Ну что с того, что я там был» Юрия Левитанского, «Лошади в океане» Бориса Слуцкого, «На далёкой Амазонке» Киплинга – Маршака. И так далее. Для меня лично особенно дорог совместный музыкальный шедевр «Под музыку Вивальди» Виктора Берковского и Сергея Никитина. Именно эта музыка сопровождала и украшала спектакль Донецкого ТЮЗа по моей пьесе «Третий голос» — первой в жизни премьеры! — в декабре 1981 года. Очень близки, думаю, «пространственные», природные мотивы, правда, с сибирским уклоном, и для эстетики вечного странника Машкина. Родился Виктор Берковский, к слову, на 4 года раньше Машкина, а ушли «двойники» — талантливые скитальцы — из земного мира слов и песен в один 2005 год.

Предпоследний дружеский автограф на подарочной книге Геннадия Машкина:

Любовь на один сезон: повести, рассказы (Иркутск, 1994)

Владимиру Сергеевичу Попову в знак проверенной дружбы, с надеждой на старательские удачи в нашем зыбком деле! Г. Машкин, сентябрь 1995 г.

В следующем после этой подписи 1996 году дружеская надежда Гены на «старательские удачи» сбылась — в тот год случилось аж пять премьер по моим пьесам в разных театрах страны. О чём я информировал сибирского друга в письмах.

Последний автограф от Геннадия Машкина:

Таинственные Лены берега: Сибирский триптих (Иркутск, 1999)

Владимиру Попову в память о сибирских друзьях, дорогах, находках! Фарт тебе творческого, Володя! 20 марта 2003 года

Помню, какой щемящей нотой прозвучали во мне слова «в память», когда прочитал подпись автора. Жить Гене оставалось меньше двух лет. И это чувствовалось... Сказывались семейные передраги. После кончины первой жены, верной и терпеливой Эммы, с детьми отношения расстроились. Дочь укатила искать счастье в дальних краях. Сын претендовал на размен большой квартиры, но Геннадий решительно этому воспротивился. К счастью, вскоре рядом с ним появилась вторая верная и преданная жена, врач Людмила, бывшая рядом до последнего его вздоха. Свою роль в преждевременном уходе, увы, сыграла и пагубная привычка к чрезмерным застольям. Видел в доме моей матушки и на других дружеских посиделках, что свою норму Машкин то ли не знал, то ли игнорировал. До дому, правда, бывалый скиталец обычно добирался сам на своеобразном автопилоте. Лишь изредка до домашнего крыльца его сопровождали бдительные друзья. Так было и где-то в конце девяностых, когда после затянувшейся вечеринки Гену довезли до подъезда, помогли подняться на несколько ступенек крыльца. В подъезд он идти сразу не пожелал, решил подышать свежим воздухом. Неверный шаг привел к падению, хотя и с невысокого крыльца. В результате — поломанное бедро, в которое умелые хирурги вставили металлический штырь. Передвигаться стало затруднительно, но Гена держался стойко, никаких стонов от него ни в письмах, ни в живой речи я не слышал. Только вот «в память»...

Сохранилось уже на компьютере моё последнее письмо Гене.

20 октября 2003 года

Геночка, привет дорогой!

Все время чувствую вину перед тобой. И о книге твоей не отозвался, и по статье о В.П. Астафьеве не сообщаю. К сожалению, со статьей пока — портфель! Отдал я ее в литературный отдел «Литературки» еще по весне — вручил сотруднику лично в руки. Летом напоминал, спрашивал, он отвечал, что заметки имеют право на публикацию, но нужен повод. Поэтому лежат, ждут. Я тут глянул в энциклопедический словарь, вижу, что в 2004 году Виктору Петровичу будет 80 лет. Вот это повод! Ты возьми это на заметку. К юбилейной дате Астафьева наверняка все издания будут широко давать всякие мемуарные статьи о великом писателе земли русской. Ты, наверное, можешь и еще куда-то о нем предложить. А в «Литературку» ты за месяц-полтора до юбилея напиши письмецо. Напомни о своем материале. Я здесь тоже позволю, напомню... И что-то из твоих воспоминаний наверняка опубликуют.

Недавно был на 90-летию Виктора Сергеевича Розова у него в хосписе. Народу собралось порядочно, и он мужественно сидел и реагировал на происходящее. Хотя здоровья почти не осталось. Еще его привозили в Центральный Детский театр 1 сентября на вечер в его честь.

О твоей книге. Прочитал с большим удовольствием, хотя и с перерывами. Всегда говорил и повторяю, что писатель ты, по-моему, могучий, настоящий, с истинным сибирским размахом. Язык сочный, вкусный, ароматный. Читать хочется спокойно, смакуя каждое предложение. А на это, увы, времени обычно не хватает. Поэтому первый роман прочитал быстро, а на втором подзастрял. Много мотал по командировкам, а потом отписывался в своих коммерческих журналах. Славно, что администрация Иркутска поддержала тебя, издала твой «сибирский триптих» добротной, в твердом переплете.

Я надеюсь в обозримом будущем получить командировку для нового приезда в Иркутск, тогда повидаемся, посидим, поговорим.

Привет твоей милой супруге, крепко жму руку и обнимаю. Володя

В юбилейном для нас с Геной 2016 году непременно буду в Иркутске. Поклонюсь, как всегда родителям, Вампилову с Мерецким, заеду в Знаменский монастырь к Распутину и обязательно доберусь до могилы Геннадия Машкина. Он для меня, несомненно, один из «милых спутников, которые наш свет своим сопутствием для нас животворили» и о котором буду всегда помнить с «благодарностью», что он был четверть века в моей жизни.

1–10 января 2016 г.

*Владимир ПОПОВ,
прозаик, драматург, г. Москва*

Фарт Геннадия Машкина

Вечер-воспоминание 13 марта о Геннадии Машкине, которому в этом году исполнилось бы 80 лет, не случайно провели в стенах Гуманитарного центра-библиотеки имени семьи Полевых. Здесь при жизни известного сибирского прозаика часто проходили его встречи с читателями. Книги с автографом писателя бережно хранят библиотекари. А недавно мы получили возможность перелистать страницы журнала «Юность», вышедшего полстолетие назад с первой повестью Геннадия Машкина «Синее море, белый пароход». В далеком 1965 году этот экземпляр получил из СССР по подписке живущий в США наш соотечественник, потомок известной династии журналистов, писателей, историков Леонид Полевой. Он сохранил в домашней библиотеке и этот экземпляр, и другие «толстые» литературно-художественные журналы, на которые, живя в Америке, ежегодно оформлял подписку через «Союзпечать». Собранные им 12 тысяч томов книг и около 18 тысяч экземпляров отечественной периодики, включая «Юность» №12 за 1965 год с первой повестью Г. Машкина, отправлены на родину Полевых, в Иркутск, в Гуманитарный центр.

Публикацию повести «Синее море, белый пароход» в «Юности» предваряет предисловие нашего земляка Евгения Евтушенко, написанное в 1965 году: «Полтора года назад, когда я был на Братской ГЭС, мне дали прочесть на одну ночь повесть, написанную еще никому не известным в литературе 26-летним иркутским геологом Геннадием Машкиным. Я не мог оторваться от этой удивительно своеобразной поэмы в прозе. Пожалуй, давно в нашей литературе не было произведения, поднимающего тему интернационализма с такой страстной поэтичностью. Повесть значительно шире темы дружбы русских и японских детей, она утверждает истину известную, но, к сожалению, порой забываемую, что при всех национальных различиях все честные люди на земле могут понять друг друга. Если же говорить о художественном строе повести, то, на мой взгляд, лучше всего об этом судить читателям «Юности». Скажу все же, что язык ее чист, свободен, пластичен — словом, хороший русский язык. Я думаю, что читатели «Юности», прочтя повесть Геннадия Машкина, поймут, что в нашу литературу пришел новый настоящий писатель и разделит с нашей редакцией радость этого открытия».

Так получилось, что на вечере памяти Геннадия Машкина в Гуманитарном центре, многие, особенно молодые читатели, «открыли» для себя творчество прозаика. Благодаря посвященному жизни и творчеству писателя фрагменту документальной киноленты В. Скифа «Как слово наше отзовется...». Благодаря воспоминаниям иркутян, лично знавших Г. Машкина, в первую очередь, конечно, его брату.

«Да, младший Геркин братишка Юрик из «Синего моря» — наверное, это я. Ведь автор пишет о тех, кого знает! Знает характер, особенности. А с Геной мы друг другу были ближе всех в нашей семье, — рассказывал брат прозаика, заслуженный юрист России, кавалер ордена Почёта Юрий Машкин. — В 45-м году очень сильный был голод послевоенный. И после демобилизации наш отец завербовался на Южный Сахалин, семье дали подъёмные, и мы поехали. Всё для нас было невидалью! Когда сошли на берег, верите ли, было, как в сказке: крабы королевские, берешь клешню — с одной наестся можно было! Сначала сложно было понять японцев — народ такой интересный и духовно, и внешне, и в быту. Моя бабушка крестилась и говорила: «Что за народ такой: глаза узкие и шустрые!» Когда приехали на Сахалин, я быстро позна-

комился с Ивао. Он был постарше меня, ему было лет 14, мне — лет 8-9, я в первый класс или даже во второй пошёл. Мы с ним дружили, и с его сестрёночкой тоже. И я разговаривал по-японски! Многие в повести авторское, прожитое. Случай один расскажу. Праздник японский, как раз Геннадий описывает это в книге. Японцы очень любят борьбу. А Гена у нас был такой, его нельзя было победить, как он сам говорил! И вот судья японский спрашивает: «Кто выйдет на бой с нашим борцом?» Все сидят, все боятся, а Гена один: «Я!» Ну и вышел, стал бороться. Японца-то первый раз поборо, заработал себе приз, а судья говорит: «Теперь на победителя!» Тот перед этим приз получил, и Гена тоже. Но тот постарше был, японец-то; стали они бороться, и он какой-то приём применил, подножку, что ли, и Гена упал и сломал руку. Японский врач — как раз в «Синем море» об этом как-то очень по-доброму рассказывается — лечил и вылечил руку. Мы очень ему благодарны были. И эта рука Геннадия никогда не подводила, правой рукой он столько книг написал хороших! Вот так мы жили на Сахалине. И тайфун, что в повести, тоже был на самом деле. И погиб, спасая людей, наш очень хороший друг, сосед, его смыло в море. Мы жили на Сахалине, все уважая друг друга, никогда не ругались. Японцы всегда улыбались, и, как всегда метко отмечал Гена, простонародье было очень добрым, не ангажированным политически. Вроде бы мы — победители, они — побеждённые, но мы жили, как говорится, на одной гражданской параллели. Не желали зла и по-житейски уважали друг друга. Была взаимопомощь, поэтому все это отразилось на доброте этой книги, словно пожелание автора: нужно жить мирно, нужно жить дружно! В Японии «Синее море, белый пароход» издавали дважды, а ведь в этой стране особо не читают!.. Он даже рецензий отрицательных никогда не давал. И очень добро воспринял то, что я писал стихи. Когда я в армии служил, в пограничных войсках, присылал стихи ему в письмах, он смотрел, корректировал, потом отсылал мне. Всегда говорил: «Пиши, пиши, пиши!» К этому Геннадий относился очень хорошо, он вообще очень любил тех, кто пишет, потому что считал: этот человек не сделает никогда зла».

У Юрия Машкина, автора нескольких поэтических книг, впечатления сахалинского детства обрели форму стихотворения «По синему морю дымит пароход», которое он прочёл на вечере памяти своего старшего брата. Там есть и такие строки:

*...У многих тайком пробивалась слеза,
Когда отселяли японцев.
Друзей провожали, потупив глаза.
Хватило б и здесь на всех солнца!
Мечтатель-мальчишка в мирской суете
Тревоги их сердцем услышит,
О героизме людей, об их маете,
Добротную повесть напишет...*

На вечере в Гуманитарном центре была педагог, учёный-искусствовед, вдова писателя Г. Пакулова Тамара Бусаргина. «Я познакомилась с Геннадием Машкиным в 1969 году через Глеба, — вспоминает Тамара Георгиевна. — И всё время до самой кончины он, конечно, всегда был на виду. Как говорила, Царствие ей Небесное, тётушка Валерия Стукова: «Гена у нас — «Звезда Востока». Гена тогда был знаменит, вполне благополучен. Более благополучен, чем В. Распутин в те времена. И, конечно, всегда считалось, что он — один из столпов «Иркутской Стенки» и вообще сибирской прозы. Я, конечно, выскажу своё собственное мнение, оно может не совпадать с общепринятым: «Синее море» очень пришлось ко времени. А вот такие вещи у него

абсолютно писательские, которые делают его, безусловно, классиком сибирской литературы, так это «Егор, сын охотника» и «Арка». Если эти повести опубликовать отдельной книгой, будет совершенно ясно: Геннадий Николаевич Машкин — не тот писатель, который пришёлся когда-то ко времени и завтра уже ничего не опубликуют, и его не вспомнят. Но хочется развеять серьёз и вспомнить Машкина тех времён, когда он часто приезжал на Байкал к нам на дачу и привозил с собой гостей. Он был знаменит, и литераторы, приезжавшие из столицы, обязательно с ним встречались. А если он возил их на Байкал, то непременно приводил в наш дом, конечно, с собой они привозили авоську водки и совершенно ни одного огурчика, даже солёного! А в те времена даже магазина не было в Порту Байкал. Это я из Иркутска, когда бывали у меня свободные от университета дни, с авоськой, с рюкзаком везла всё, что можно. Но и в голодные уже времена я помню, как Геннадий Машкин говорил: «Тома, Тома! Пороховнёвский супчик, порохонёвский!» Я вначале думала, что это за «пороховнёвский»? А это раньше были в таких пакетах супы — какие-то следы мяса, вермишели, ещё чего-то. Вот такой «пороховнёвский» суп наварят целую кастрюлю — и ведь весело было, и удивительно интересно! Вообще Машкин был такой, я бы сказала, немножечко ядовитый! Часто многим в Иркутске от него очень здорово доставалось! Больше всех почему-то Петру Реутскому! Мне его жена рассказывала (когда Петра Ивановича уже не было на свете), что у него в записной книжке было написано: «Мои враги». Их там несколько было, а под первым номером шёл Геннадий Машкин. Серьёзно ли, несерьёзно, но я думаю, Петром Ивановичем не всегда владело чувство юмора, а к Машкину относиться нужно было как раз не так! Баек, которые можно о нём рассказать, было множество. Глеб мне рассказывал, как однажды они литературным десантом были в Усть-Куте: Филиппов, Машкин, Богач, Глеб... А там много судимых работало, и писатели как-то в обеденный перерыв оказались с ними в столовой. Из приезжих только Машкин прилично одевался, а вся остальная компания вполне по внешнему виду такая же была, как те, что пришли из порта обедать. Один из них подходит к Глебу и спрашивает: «А кто это с вами длинный?» Он отвечает: «Это мой телохранитель» «А-а! А кто рядом с ним?» «А это — профессор». «Хорошая кличка «Профессор»!» А потом кто-то из портовых рабочих взял обед, и когда проходил с подносом мимо очереди, суп у него стал выплескиваться через край. А Гена был, можно сказать, зачарованным человеком: часто думал о своём. Вот он эту тарелку провожает взглядом, а потом громко говорит: «Позвольте схлебнуть!» «Что?!!» Глеб быстро говорит: «Он стихи читает, стихи читает!» И подобных случаев память хранит немало!»

Впечатлениями о встречах с Геннадием Машкиным поделился иркутский журналист, корреспондент ТАСС Владимир Ходий: «Я расскажу о футбольном матче на поле стадиона «Труд», на котором встретились две команды любителей. Это команда «Советской молодёжи», за которую играл Гена Машкин, и наша команда студентов отделения журналистики. Получилось так, что силы были неравными, потому что студенты более подготовленными оказались, а журналисты и будущие классики нашей отечественной литературы уступали. Мы напирали, а Вампилов, Скоп, Преловский, Машкин оборонялись. И так сильно стукнулись, что Гена повредил коленку, и его увезла «скорая». Это время как раз совпало с зарождением «Иркутской Стенки». После того матча мы не раз встречались с Геннадием Машкиным в редакциях. У нас — параллельные профессии: я — журналист, он — писатель. Он всегда в «Восточку» приходил с интересными рассказами, всегда с подъёмом душевным и творческим, это чувствовалось. Вообще он был хорошим товарищем, очень доброжелательным. По моим наблюдениям, он был, как сейчас говорят, совершенно толерантный человек, ценил людей только по каким-то личным качествам, нравственным. Он в книге цитирует

Эммануила Канта, который говорил: «Человеку важно, чтобы было звездное небо над головой и нравственный закон внутри». Вот Гена этому и следовал».

«Доброжелательное отношение Геннадия Машкина я тоже почувствовал, — вспоминает член Союза писателей России Александр Обухов. — Ведь я достаточно поздно пришёл в литературу. Тогда у меня первая книга стихов вышла — «Свет памяти», и у Машкина я оказался после пожара в его квартире. Что он мог написать начинающему товарищу? Вот его автограф: «Саше Обухову с авторским благожеланием, на Новый год, с пожеланием форта, творческих удач, с ожиданием нового взаимного автографа. Машкин». Слово «форт» ему было знакомо, не тоже: «я родился на прииске». С ним было интересно, чувствовался широкий кругозор, знания — я в разговоре с ним сразу «оба уха» включал: ведь моя фамилия Обухов!»

Поделится воспоминаниями о Геннадии Машкине и Владимир Скиф: «Я знал супругу Машкина Эмму Ивановну, её рано не стало. Но расскажу о второй его жене, моей однокашнице Людмиле Терентьевне. Она была рядом с ним не в лучшие его времена, в тяжелейшие: когда Гена сломал шейку бедра, она ухаживала за ним. И когда его уже не стало, какие она устраивала вечера его памяти, она такая энтузиастка была потрясающая! И, конечно, и любовь там была, и настоящая женская жертвенность! Он, бывало, и подшучивал. Иронистом был замечательным! Мы у Гимовых собирались в последнее время, и, как из рога изобилия, сыпались из Геннадия истории, он их сочинял на ходу, они были такие уморительные, такие смешные! Гена подшучивал над нашим с Людмилой Терентьевной прошлым, когда мы были студентами Тулунского педучилища. Мы же совсем юными поступали, после 7-го класса, — дети! Сейчас 14-летние ни к чему не приспособлены, а мы ведь тогда в самостоятельную жизнь выходили. Целая группа девочек училась с нами из Батамы, из-под Зимы, откуда родом Людмила Терентьевна. Одну байку расскажу, она хотя не то, чтобы неприличная, но — расскажу, как есть! Он подшучивал всё, грозил Людмиле: «Знаю, знаю! Вы там крутили с Вовкой! (Он девчонок, не её имел в виду, конечно!) Из вашего общежития на Мугунской он спускался на простынях, которые вы бросали и связывали, а ступеньками были бюстгалтеры!» Она ему: «Да сколько тебе можно сочинять!» Это было, конечно, замечательно, рог изобилия просто! Это и в писательстве проявлялось, он любил все, из чего можно было сделать сюжет. Были они в Рудногорске, там случился лесной пожар, он даже эту байку включил в прозу свою! Брат мой работал на этом пожаре тоже: на японском тракторе распахивал полосу. А Машкин писал: «В помощь трактористу был нами отпущен Петр Иванович, и он пустил встречный пал: был с похмелья, дыхнул, чиркнул спичкой, — и пошел встречный пал! Так Петр Иванович остановил пожар!» Вот такой Геннадий Николаевич был! Человек он был совершенно удивительный и, конечно, талантливый прозаик. И несколько его шутки не умаляют его таланта и действительно великих произведений. Я к ним отношу, конечно, «Арку» и «Вечную мерзлоту» — потрясающие рассказы! И «Бывальщины Афанасия Гвоздила» и «Егор, сын охотника» — там тоже много народного юмора, в этих бывальщинах! И если издавать «золотой» том его произведений — это будет просто потрясающий том! В Иркутске огромное количество писателей высочайшего ряда. Такие имена, начиная с Полевых, и далее! «Дочь купца Жолобова» Ивана Калашникова чего стоит! У нас просто великая, блестящая литература в Сибири, в Иркутске особенно. По заданию Министерства культуры и архивов России мы готовим первые 10 томов. Но 10 томами не обойдешься, надо готовить 20 или 30!»

*Оксана ЗАПОЛЬСКАЯ,
журналист, г. Иркутск*



«Сияние России»: впервые без Распутина

Хроника с комментариями

Дни русской духовности и культуры в 2015 году проходили в ином русле, чем обычно.

Министерство культуры и архивов Иркутской области в Год литературы решило посвятить этот праздник литераторам Приангарья и не приглашать писателей из столиц и других городов России. Имели влияние обстоятельства: в сентябре проходили выборы губернатора Иркутской области. Событие из разряда первостепенных для общественно-политической жизни региона потребовало немалых затрат как финансовых, так и организационных, особенно в дни, когда развернулась острая борьба между двумя претендентами на самый главный пост в области. Однако же те, кто каждый год ожидают встречи с известными писателями и деятелями культуры, расценили сокращение программы пребывания гостей как следствие печального события, случившегося 14 марта в Москве — ухода из жизни основателя «Сияния России» писателя Валентина Григорьевича Распутина.

Мы не будем торопиться с пессимистическими прогнозами относительно будущей судьбы праздника в связи с этой огромной утратой, поскольку гости всё-таки были, и гости весьма уважаемые, и далеко не случайные.

Это *Татьяна Юрьевна Петрова* — певица, заслуженная артистка России, известная исполнительница русских песен и романсов, сроднившаяся с «Сиянием России» с самого первого проведения праздника в 1994 году. Приезжая в другие годы, с новыми концертами, она с большим успехом выступала в Иркутске и городах нашей области.

Александр Сергеевич Белоненко — президент Национального Свиридовского фонда, директор Свиридовского института, заслуженный деятель искусств России, музыковед и племянник Г.В. Свиридова.

* * *

Первоначальным событием Дней русской духовности и культуры стала панихида на могиле В.Г. Распутина в ограде Знаменского монастыря (27 сентября, 12 час). Её отслужил митрополит Иркутский и Ангарский Вадим; присутствовали представители областного руководства в сфере культуры, писатели из Иркутского регионального отделения СП России, общественность. Такое начало, очевидно, войдёт в традицию.

Открытие «Сияния России» произошло вечером того же дня в Театре народной драмы, когда праздничное выступление на сцене сменилось яркой лекцией Александра Белоненко о композиторе Свиридове.

Приезд Александра Сергеевича в Иркутск в связи со 100-летием со дня рождения Г.В. Свиридова обрадовал всех — и профессиональных музыкантов, и широкий круг поклонников творчества композитора, которого называют последним из великих в XX веке. Иначе и быть не могло: имя Георгия Свиридова стало знаковым для праздника «Сияние России». Оно звучало на многих встречах из уст гостей, крупных деятелей культуры, произведения Свиридова исполнялись в зале областной филармонии Московским государственным камерным хором (руководитель — народный артист СССР

В. Минин) и Академической хоровой капеллой из Санкт-Петербурга (руководитель — народный артист СССР В. Чернушенко); в дни праздника 2006 года с фильмом «Музыка и душа. Георгий Свиридов: избранные произведения и изречения» побывал в Иркутске и выступил в нескольких аудиториях режиссёр фильма, кинодокументалист Николай Ряполов; журнал «Сибирь» публиковал отрывки из книги Свиридова «Музыка как судьба». Имела значение и личная дружба, связывавшая Валентина Распутина с композитором.

Представил известного музыковеда и открыл вечер руководитель театра, заслуженный артист России Михаил Корнев. Приведём несколько отрывков из выступления гостя. В самом начале — впечатления об Иркутске.

А. Белоненко. Я впервые у вас. Был на молебне на могиле Распутина, побеседовал с митрополитом Вадимом. В вашем городе есть свой дух. Город исторический. Старые, полуразвалившиеся дома вызывают слёзы... На фоне обветшавшей старины 130-й квартал похож на декорации к голливудским фильмам...

Свиридов был народным композитором во всех отношениях. «И дышит почва и судьба» — любил он повторять слова Пастернака. О себе говорил так: «Я в своей музыке отразил метания русской души». С родным краем связан его хоровой цикл «Курские песни».

Наш старинный род — крестьянский. Мой дед, отец Свиридова, был коммунистом. Он погиб во время Гражданской войны, когда деникинцы порубали крестьян... Русские революции, считал Свиридов, повлияли на всю мировую историю. Он воспринимал эту тему через творчество поэтов и выразил её в вокально-симфонической поэме «Памяти С.А. Есенина», в цикле «Отчалившая Русь». Осознавал, кто такой Маяковский, о чём свидетельствует «Патетическая оратория» на его стихи, в том числе «Левый марш», написал кантату «Петербург» на слова А. Блока. Свиридов представлял революцию как распятие для России, после которого придёт преображение.

К перестройке отнёсся с большой тревогой. Гласность — ничто, вместо правды — разговоры о гласности, вместо правды — потоки лжи. В 1991 году он сказал: «Мы переживаем эпоху Третьей мировой войны. С какой быстротой это произошло!»

Свиридов занимал особую позицию в музыке. Вопрос формы считал самым важным. В симфонизме видел голое конструирование. Говорил: моя форма — песня. Если раньше на стихи Блока были романсы, то в конце — именно песни. Когда пройден большой путь, многое открывается. Не поддержал «детей XX съезда», которые водрузили другие скрижали — западного пути.

Их пути с Шостаковичем разошлись. У Шостаковича тема смерти звучит как умирание цветения. Свиридову было свойственно православное мирозерцание, вера в воскресение. Отсюда — «Песнопения и молитвы». По словам самого Свиридова, смерть стала темой творчества. Чудо воскресения — это смысл человеческого существования. Иначе человек вроде муравья...

«Главное для меня: художник призван служить истине мира, — говорил он. — Я отрицаю мысль в музыке. На своих волнах бессознательного музыка несёт Слово. Мысль действует через волю, бессознательное — через откровение. Человек, обратившийся к песне, сохраняет главное — мелодию. Любопытно, что пушкинский скрипач из «Моцарта и Сальери» слепой. Он берёт музыку из воздуха, не из нот. Ноты Моцарта сошли с бумаги и — парят. Сальери другой нации, почва утрачена, а творец не может без почвы...»

Свиридов — единственный крупный композитор из крестьян. Так, как он воспел Россию, никто не воспел из его поколения. «Деревенская» проза, русские писатели Распутин, Белов, Астафьев оказались ему ближе, чем музыканты. Это настоящая литература, считал он. Они все бывали у него. Из поэтов был близок Рубцов (песня «Привет, Россия!»).

Хотелось бы, чтобы песенные произведения Свиридова звучали чаще. Сегодня его «Песнопения и молитвы», кроме капеллы В. Чернушенко, не поёт никто. Очень много осталось сочинений ещё неизвестных слушателям. Но сохранились записи: композитор во время работы включал диктофон. Эти произведения надо реставрировать и вводить в оборот...

Рассказ прерывался звучанием музыки Свиридова, лекция завершилась фильмом Н. Ряполова «Музыка и душа», который с удовольствием посмотрели и те, кто его видел раньше, и те, кто встретился с ним впервые.

* * *

Концерты **Татьяны Петровой** при участии Иркутского филармонического русского ансамбля прошли в Ангарске (ДК «Нефтехимик», 30 сентября), Черемхово (ДК «Горняк», 1 октября) и — завершающий — в Иркутске (3 октября)

Зал областной филармонии был, как всегда, полон. В программе — всеми любимые русские народные песни, романсы на стихи М. Лермонтова, Н. Рубцова. Концерт вела известный иркутский музыковед Марина Токарская.

Этот вечер стал и встречей друзей. Татьяна Юрьевна обращалась к давним поклонникам своего таланта, узнавая их со сцены и называя по именам (в основном, это иркутские писатели, многолетние участники «Сияния»), и, конечно же, была глубоко опечалена тем, что нет в зале Валентина Григорьевича, впервые пригласившего её в Иркутск в 1994 году.

По сложившейся традиции концерт завершался песней «Встань за веру, Русская земля!», которую зал всегда слушает стоя. Татьяна Юрьевна сообщила, что уже двадцать лет этот марш звучит на концертах Кубанского хора, а теперь его знают в Новороссии. На этот раз певица исполнила «Встань за веру...» вместе с автором слов Андреем Мингалёвым под дружные аплодисменты зала.

Татьяну Петрову приветствовал недавно избранный губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Он выразил уверенность в том, что подобные встречи продолжатся, и преподнёс букет цветов; председатель Иркутского отделения СП России Владимир Скиф обратился к певице с дружеским словом и прочитал свои стихи.

* * *

Большой творческий вечер **Валерия Хайрюзова** прошёл 28 сентября в Музее истории города Иркутска. Писатель живёт в Москве, но его никак нельзя назвать гостем — он часто приезжает сюда, потому что, по его словам, «всё главное произошло в этом городе». Взлёт молодого лётчика в сибирское небо, взлёт молодого прозаика в литературу, увенчавшийся в 1980 году премией Ленинского комсомола за повести «Опекун» и «Непредвиденная посадка», — всё начиналось здесь. В годы перестройки Хайрюзов был избран депутатом Верховного Совета РСФСР, переехал в Москву, где пережил трагические события 1993 года (расстрел парламента), написал об этом повесть «Плачь, милая, плачь» и другие произведения на острые темы.

Ныне Валерий Хайрюзов — лауреат литературных премий, обладатель главного приза XII Международного кинофестиваля «Золотой Витязь» за киносценарий «Русская Голгофа», первый заместитель председателя правления Иркутского землячества «Байкал» в Москве. О разнообразии увлечений свидетельствовала выставка его картин с пейзажами родных иркутских мест.

Слово о писателе Хайрюзове сказали: директор Музея г. Иркутска Сергей Дубровин, заместитель директора Ирина Терновая, историк-краевед Иван Козлов, собрат по

перу и лётной профессии Юрий Баранов, директор Иркутского театрального училища Светлана Домбровская, композитор Владимир Соколов и др.

Выступавшие вспоминали события из общего прошлого. Например, как скромный буклет о прозаике Хайрюзове, выпущенный Иркутской центральной городской библиотекой в 1990-е годы, послужил основной рекламной продукцией во время его избирательной кампании (Р. Михеева, библиограф); о том, как проходила эта кампания, когда выдвинулось двенадцать кандидатов, и как Хайрюзов вызвал самое большое доверие у избирателей своей простотой и твёрдыми нравственными убеждениями (Н. Шестакова, член избирательной комиссии тех лет). Говорили о героях прозы Хайрюзова, которых хорошо знают в Иркутске, о его друзьях детства, ныне известных горожанах (Н. Пономарёва, краевед).

На экране проходили кадры из разных лет. Прогулка за грибами вместе с Распутиным; поездка в начале 90-х в Республику Сербскую с Беловым и Распутиным, когда попали под обстрел; в гостях у Ильи Сумарокова, знаменитого директора Усольского свинокомплекса...

В ходе вечера прозвучал отрывок из повести В. Хайрюзова «Отцовский штурвал» в исполнении студентки второго курса театрального училища Дианы Бронниковой, одна из песен к спектаклю «Иннокентий» (на вокализ «Полёт») — солистка Любовь Монина, гитарист Дмитрий Лютиков («Театр пилигримов», художественный руководитель В. Соколов).

И здесь будет логично перейти к событию, которое последовало спустя два дня.

30 сентября, в рамках «Сияния России», Иркутский ТЮЗ им. А. Вампилова открыл 88-й театральный сезон премьерой спектакля «Иннокентий», посвящённого 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова). Автор пьесы — Валерий Хайрюзов, режиссёр — заслуженный работник культуры РФ Виктор Токарев, художник-постановщик — заслуженный художник и лауреат Госпремий республики Крым Юрий Суракевич. Спектакль ставился по благословению митрополита Иркутского и Ангарского Вадима. На премьере с поздравительным словом выступили губернатор Сергей Левченко, владыка Вадим, министр культуры и архивов области Виталий Барышников.

Нельзя не сказать о знаковости этого спектакля.

Страницы из жизни святителя, уроженца села Анги Качугского района, представленные на сцене, поразили современного зрителя удивительным сочетанием духовного и гражданского служения Отчизне и привлекли в театр. Появились отклики в прессе, и на них стоит коротко остановиться, поскольку они показательны для общественной атмосферы наших дней.

Одобрительная рецензия автора этих строк «Преодолевая забвение и безверие» вышла в газете «Восточно-Сибирская правда» (2015. 27 окт.). Категорически не одобрительная — иркутской журналистки Марины Рыбак — «Триумфальный ход «Иннокентия»», с подзаголовком: «В Иркутском ТЮЗе с угрожающим успехом идёт спектакль о великодержавных скрепах» («Московский комсомолец», 2015. 11 нояб.). В первой утверждалось, что театр поднял малоизвестную, но необходимую тему и спектакль удался, автор второй увидела в постановке всего лишь «агитку на злобу дня», «имперский кураж» и «безальтернативно предписанный патриотизм». Выпад с явной политической подоплёкой либерального толка не остался без внимания. Валентина Сидоренко, известная иркутская писательница, автор сценариев и пьес для православных Иннокентиевских чтений, высказалась обстоятельно и полемично (электронная версия газеты «Завтра», 2016. 5 янв.). По её мнению, «постановка спектакля о святителе Иннокентии — та самая редкая скрепа, когда искусство приобретает не только народное, но и государственное звучание, обращаясь к исконной вере своей земли». Статью Рыбак она охарактеризовала так: «Это даже не рецензия — выплеск злобы на

проявление духовности». В одном из комментариев ответ В. Сидоренко сравнили с защитой Дома Павлова.

Ещё одна премьера состоялась 1 октября в Иркутском городском театре народной драмы. Спектакль «Тринадцатый день» по пьесе Зорана Костица, гостя «Сияния России» 2014 года из Республики Сербской, поставлен руководителем театра и режиссёром, заслуженным артистом РФ Михаилом Корневым.

Историческая драма посвящена событиям сербско-турецкой войны 1876 года. Показано сопротивление сербов и пришедших к ним на помощь русских. В центре — образ полковника Николая Раевского (прототип Вронского из романа Л. Толстого «Анна Каренина»), его любовь к сербской девушке Софии. В сценах накануне гибели Раевскому является призрак Анны Карениной... Так в сюжетах военных и людских судеб выражена идея славянского единства.

Постановка была приурочена к приезду делегации из города Приедора Республики Сербской во главе с мэром этого города и вошедшим в делегацию Зораном Костицем и ознаменовала важное международное событие: накануне, 30 сентября, был заключён договор о побратимских связях двух городов — Дмитрием Бердниковым, мэром Иркутска, и Марко Павичем, мэром Приедора. Добавим, этому предшествовала многолетняя творческая дружба, поездки театра в Сербию и Республику Сербскую во время военных действий, так что закрепление побратимства договором — во многом результат народной дипломатии.

Что касается спектакля, то он был высоко оценен и автором Зораном Костицем, и гостями. Театр получил приглашение показать «Тринадцатый день» в Республике Сербской во второй половине 2016 года.

Попутно отметим: осень и начало зимы 2015 года для Театра народной драмы были весьма плодотворными. Коллектив, поддерживающий своим искусством дух воинства России и побывавший практически во всех горячих точках, в сентябре успешно выступил с концертной программой «Я в бою!» на сцене Академии ГПС МЧС России в Москве. В декабре, будучи участником Международного славянского форума «Золотой Витязь», театр получил высший приз — уже пятую по счёту, на этот раз золотую, статуэтку витязя. Награждение проходило в зале Церковных соборов храма Христа Спасителя. В эти же дни Михаилу Корневу было присвоено звание почётного гражданина города Кировска Луганской народной республики, где большой успех имела его песня о Кировске «Город на линии фронта», исполненная артистами театра на республиканском фестивале-конкурсе «Таланты твои, республика». «Зал слушал и подпевал песню стоя со слезами на глазах», — свидетельствует «Информационный вестник» Кировской городской администрации за 27 ноября 2015 года.

На празднике Рождества 7 января друзья театра и владыка Вадим поздравили коллектив театра, только что вернувшийся из Донбасса, с успешными командировками и очередной наградой.

* * *

Литературная часть праздника, как уже было замечено, была отведена иркутским писателям.

В первый день недели, 27 сентября, в областной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского прошла презентация книги **Александра Донских** «Родовая земля».

О судьбе романа (а она любопытна и отчасти поучительна) рассказал автор, успевший выпустить несколько книг, среди которых «Грех», «Человек с горы», «В дороге».

Роман впервые вышел в Иркутске в 2009 году маленьким тиражом, который можно считать пробным, после чего уже дважды переиздан. В своё время был поддержан В. Распутиным и обсуждался в Москве. По словам автора, за годы издания «Родовая

земля» получала различные отзывы, в том числе и раздражительные, вроде того, «зачем автор взялся за эту эпоху: ведь о ней так много написано?» Было предложение от одного московского издательства, с условием: сократить, развить авантюрную линию главной героини и грузинского князя, обещали придумать другое название. Соблазн был велик, однако переделывать не стал. Вскоре «Родовая земля» при финансовой поддержке иркутского министерства культуры вышла в свет вместе с другими произведениями в издательстве «Российский писатель». Интерес к роману проявило православное издательство «Зёрна-Слово» (Рязань) и в 2015 году выпустило его в серии «Современная православная проза» тиражом 11 тыс. экз. Вопрос о публикации решился Издательским советом РПЦ. Работа с издательством очень была похожа на то, заметил писатель, как работали редакторы в прежние времена: «Один пример: всем издательством мне помогали найти молитву на замену — как оказалось, она читается только при водосвятии, у меня была приведена в другом случае».

Два слова о содержании романа: предреволюционное время, сибирское село у Ангары, уклад зажиточной крестьянской семьи, дочь — выпускница иркутской гимназии, её любовь к ссыльному грузину, семейная драма на фоне революционных событий... При этом автор не забывает, каким духом дышат сибиряки в ту эпоху: это дух православия, верности вековым традициям.

Писатель рассказал, как вышел на историческую тему, и этот рассказ был тоже интересен. Повлияли две причины: история семьи самого писателя и знакомство с Музеем образования при Иркутском институте повышения квалификации учителей, где автору довелось поработать. Поразили многие документы. Например, «Учительский катахизис» 1912 года, в котором педагогу предписывалось преподавать «согласно способностям каждого» — то есть уже применялся разноуровневый подход, к которому пришли в наши дни. Или памятка для выпускниц гимназии: представлять отчёт о работе за год, с отзывами о проведённых уроках в частных домах. Удивила конкретность образовательно-воспитательных целей: в девочках воспитывать трудолюбивых жён, мальчиков учить правильно оформлять деловые бумаги. «Я писал роман, думая о молодёжи. Может быть, и она полюбит ту эпоху, которую полюбил я», — сказал в заключение А. Донских.

Так презентация книги стала ещё и просветительной лекцией на историческую и издательскую темы.

* * *

Встреча в Иркутском госуниверситете путей сообщения — традиционно самая большая в студенческой аудитории. На этот раз студентов посетили только иркутяне.

Отдадим должное организаторам: зал, как всегда, был полон и, как всегда, внимателен к писательским выступлениям.

Олег Слободчиков хорошо известен своими романами об истории освоения Сибири. Два из них, «Заморская Русь» и «Похабовы», сделали автора дважды лауреатом Губернаторской премии. Писатель рассказал о своём пути в литературу, а также о личных взглядах на отдельные события истории, не совпадающих с трактовками учёных.

Александр Донских, как уже было сказано, тоже неравнодушный к истории, предостерег молодёжь от хлынувших в печать откровенно лживых по отношению к России публикаций, процитировал стихотворение болгарского поэта Д. Дончева «Не трогайте Россию, господа».

У поэта **Владимира Скурихина** биография сложилась так, что ему пришлось жить в разных уголках большой Сибири. Рассказ о своей судьбе подтверждался стихами, названия которых говорят сами за себя: «Стан Утиный», «Казачья Борзя», «Чунская дорога», «Байкал». Приведём отрывок:

*Байкал — неизречённая глава,
Неисчерпаем свет его поглядок.
Как залучить древнейшие слова
И не нарушить буквенный порядок?*

*Байкальских альбатросов голоса
Венчают полнозвучие природы.
Как обессмертить тихие леса,
Как охранить живительные воды?*

С правдивыми и трогательными сюжетами из произведений непрофессиональных авторов, опубликованных в журнале «Сибирь» под рубрикой «Жития народные», познакомила студентов **Валентина Семёнова**.

Встреча завершилась беседой за чаем в обществе проректора В.В. Михайлова и сотрудников университетской библиотеки.

* * *

В этом году в празднике «Сияние России» приняли участие члены Союза российских писателей, а точнее, недавно организованного Иркутского регионального представительства СРП. Поскольку это произошло впервые, остановимся чуть подробнее на их выступлении 29 сентября на факультете журналистики Байкальского госуниверситета экономики и права.

Гостей представила главный редактор журнала «Первоцвет» и главный специалист по издательской политике ОГАУ «Иркутский Дом литераторов» Светлана Зубакова.

Светлана Михеева, руководитель представительства, поэт и прозаик, разработчик проекта «Поэты в городе», рассказала о работе своей организации: об издании в Год литературы шести книг стихов поэтов из Иркутской области — в рамках издательского проекта «Скрепка» при поддержке Министерства культуры и архивов Иркутской области; о выходе сборника семи поэтов и семи художников «Видимое слово» (в рамках проекта «Поэты в городе») при поддержке Управления культуры Комитета по культурной политике и внешним связям администрации г. Иркутска, затем прочитала стихи из своей новой книжки «Яблоко-тишина» (М.: Воймега, 2015): «Впускают ночь весенние солисты», «Дом», а также из цикла «Жители»: «В матках квартир созревает усталость...», «Наполняясь звуками и днями...», «Часы выворачиваются кукушкой наружу...», «Всё скрипит и сохнет, скрипит и дряхнет...» и др.

Последовали вопросы и ответы, приведём некоторые из них.

Вопрос. В каком стиле написаны ваши стихи?

Ответ. Определите сами, я затрудняюсь. Если бы я сказала «реализм», вы бы не согласились, но что не футуризм — это точно.

В. Ваши любимые поэты?

О. Любимые — не очень подходящее слово. Скажу так: мне близки, к примеру, Борис Пастернак, Светлана Кекова, Ирина Ермакова, Всеволод Некрасов, Леонид Аронзон.

В. Кому посвящаете стихи?

О. Посвящаю не так часто. Если посвящаю, то мужу, друзьям.

В. Чтобы писать, надо изучать мир, чувствовать его или изучать историю литературы?

О. Одно не исключает другого. Скорее, одно следует за другим.

В. Вы занимаетесь ещё и журналистикой. Это совместимо?

О. Это никак не мешает литературному творчеству.

В. Как журналист вы пишете о культуре?

О. О культурных событиях пишу мало. Езжу по деревням, пишу об истории, о судьбах людей. Занимаюсь социальными темами.

В. Ваши любимые прозаики?

О. Многие. В юности, к примеру, всё время перечитывала «Сагу о Форсайтах» Голсуорси. Но список постоянно меняется. Вот Артём Морс не так давно открыл глаза на Олега Зайончковского, дал книжку почитать.

Артём Морс, поэт и журналист в сфере культуры, также разработчик проекта «Поэты в городе», начал выступление с приглашения студентов, пробующих свои силы в творчестве, в литературную студию при областной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского, которой он руководит вместе со Светланой Михеевой. Далее чтение стихов из книги поэта «Другими словами» (М.: Воймега, 2014) и коллективного сборника «Видимое слово» (Иркутск, 2016) чередовалось с ответами на вопросы, которые касались самых разных тем. Например, о кино (слушателям было известно, что Артём Морс выступает и как кинокритик).

В. Какие фильмы на вас производят большее впечатление?

О. Наиболее сильное в юности — «Сталкер». Если о пристрастиях, то люблю авторское независимое кино.

В. С кем из поэтов вы хотели бы поговорить?

О. Когда-то — с Иосифом Бродским, когда писал диплом о нём. Гражданской лирики у меня нет, есть стихотворение «О родине ни слова», с эпиграфом из Анатолия Кобенкова — «Поэтому болтать о родине не стоит...». Есть стихи городской тематики — «Письмо о городе», «Там, где улица Карла Маркса упирается прямо в реку»...

Названное было прочитано, прибавилось и другое: «Ты помнишь, мы были как будто ничейные дети...», «Само в себе не существуя...», «Не бывает молодых яблоч...», «Ходишь с людьми ходишь...», «Фотография». Кстати, это стихотворение было замечено многими, приведём его.

Фотография

Р. М.

*Мне восемь лет — я, кажется, пою,
и старый снимок это отражает.
В дурацком детском галстуке стою
на дне рожденья друга — он не знает
и я не знаю, как мы будем жить,
чего искать, с кем расставаться,
о чём мечтать, кого любить,
в какой толпе теряться.
Второго января у ёлки мы поём,
девятилетний Рома на баяне
играет песню, кажется, о том...
Не вспомню даже, что-то там играет.
А мы поём, мне восемь лет, и всё,
всё хорошо, на улице темнеет,
зима, гирлянда светится огнём,
и мы поём, кто как умеет.*

Надежда Ярыгина, поэтесса и художница, когда-то член литобъединения «ЛИСТ» (руководитель Т. Суровцева) при Доме литераторов им. П.П. Петрова, ныне — литобъединения «Поэты в городе». Публикуется в иркутской и московской периодике, автор

книги «Есть ощущение». Совмещает в творчестве верлибр со стихией разговорной речи. На вопрос, почему пишет без рифмы, ответила так: «Рифма сковывает. У меня и поэзия и проза».

Н. Ярыгина прочитала свои стихи из будущей новой книги: «Уеду в глухую деревню...», «Случилось нечто, пришёл некто...», «Не хотела, а пришлось расстаться с летом...», «Идёшь по дороге жизни...» и др.

* * *

О выступлении детской поэтессы **Елены Анохиной** и писателя **Юрия Баранова** в Гуманитарном центре-библиотеке им. семьи Полевых 30 сентября приведём отзыв заведующей редакционно-издательским сектором библиотеки Оксаны Запольской:

«На эту встречу в наш детский отдел пришли одновременно и 12-летние, и 15-летние. И те и другие проявили интерес к творчеству писателей-земляков. Может быть, потому что разговор с юными читателями Елена Сергеевна и Юрий Иванович вели на равных, с юмором вспоминая о своих детских годах и первых литературных опытах. «У каждого человека обязательно должно быть любимое дело, увлечение — пробуйте, советуйтесь с родителями или педагогами. Если что-то пишете, показывайте свои записи людям, которых вы уважаете», — посоветовала ребятам поэтесса.

Стихи Е. Анохиной понравились, вот отрывок из одного из них — про куклу, найденную во дворе.

*...Я назвала чужую куклу Катей
И положила спать к себе в кровать.
Она лежала на моей кровати
И не хотела глазки закрывать.*

*Задумалась... О чём? Поди узнай-ка,
Что в куклиной творится голове.
Наверно, вспоминает о хозяйке,
С которой гуляла во дворе.*

.....
*Мне расставаться с ней не жаль ни грамма!
И я сказала тихо кукле: «Кать!..
Давай сейчас постим, а завтра маму
Пойдём с тобою во дворе искать!»*

Ю. Баранов, автор сказочных историй для детей, среди которых «Тайны Тихвинской площади», «Загадки старинной усадьбы», «Иркутский драгун Лёшка, или Тайна Наполеона», успел многое сказать ребятам, в том числе и о своём писательском труде: «Всякий раз, когда пишу, воображаю себя кем-то из своих книжных героев. В каждом из них есть частичка меня».

Разговор закончился благодарными отзывами учительницы русского языка и литературы школы № 35 Марины Доржилопановой и старшеклассницы из студии «Репортёр» Дома детского творчества № 2 Даши Костомахиной.

* * *

«Новые голоса в иркутской поэзии» — под таким названием 28 сентября. прошла встреча начинающих поэтов и прозаиков с читателями юношеской библиотеки им. Иосифа Уткина. В основном это участники областной конференции «Молодые голо-

са» 2014 года, проведённой ИРО СП России и ОГАУ «Иркутский Дом литераторов». Поводом стала презентация одноимённого сборника. Выступили: **Валерия Домрачева, Юрий Харлашкин, Вероника Лузгина, Константин Максимов, Андрей Путинцев, Максим Живетьев**, а также члены Союза писателей России **Елена Анохина, Александр Донских и Светлана Шегебаева**. Ведущая встречи — Светлана Зубакова.

* * *

Кроме тех, о ком уже было сказано, в библиотеках города и области в дни «Сияния России» побывали: Андрей Мирошников (Иркутск, Ангарск, Усолье, Черемхово, Анга, Качуг), Анатолий Байбородин (Иркутск), Владимир Максимов (Иркутск), Светлана Шегебаева (Иркутск, Ангарск, Саянск), Марина Яковенко (Иркутск, Усолье), Владимир Скиф (Иркутск), Александр Никифоров (Анга, Качуг), Иван Козлов (Иркутск), Анна Рандина (Черемхово, Ангарск), Валерий Дмитриевский (Усолье, Черемхово), Василий Скробот (Иркутск); Юрий Баранов и Владимир Скурихин помимо Иркутска выступили ещё и в Анге.

Вместе с писателями в Анге был тепло принят народный вокальный ансамбль «Форсаж» из гарнизона «Белая» — лауреат международного конкурса солдатской песни «Катюша» (руководитель Ирина Хлыстова).

На родине В.Г. Распутина, в Усть-Уде, состоялась презентация книги «По Ангаре», с участием творческой группы этого уже известного иркутянам издания 2014 года, увидевшего свет после путешествия, организованного издателем Геннадием Сапроновым в 2009 году.

Не имея возможности рассказать обо всём, приведём хотя бы некоторые писательские высказывания, прозвучавшие в разных аудиториях.

Андрей Мирошников — поэт, выросший в Казахстане, говорил о себе как о человеке, впитавшем многонациональную культуру. Это никак не противоречит русскому патриотизму, считает он.

Владимир Максимов: «Задача писателя ответить на вопрос, зачем человек пришёл в этот мир и для чего в этом мире существует. Иначе не найти ответа, в чём смысл жизни. Если же писателю удастся сделать свой эмпирический опыт произведением искусства, значит, главное случилось».

Анатолий Байбородин. «...Пророчество о русском литературном закате невольное и рождается, коль лет пятнадцать власть российская дубиной окаянства и безродства вышибает из русских русское... И я, грешным делом, пел «со святыми упокой», печально взирая на молодую писательскую поросль. Но однажды спохватился: а не рано ли нам заживо и своеручно погребать себя в сырую ямку вместе с былинным и песенным народным словом, ибо не исхилился дотла, не изжил дух русский. И не сгинула русская литература...»

Марина Яковенко (Мария Артемьева) (из бесед с детьми по книжкам «Нет сапог у журавля», «Поющее эхо» и др.): «Кто много читает, тот грамотно пишет и у того красивая речь. Но надо отличать книги полезные от книг бесполезных. Бывают смешные стихи, однако они уведат от точного слова, развлекают, могут настроить не на хорошее, а на плохое. Вы хотите вырасти умными, добрыми, трудолюбивыми? Тогда вам пора узнать, как делаются важные дела — например, как замешивают тесто или как готовит пчёлка мёд — вот стихи об этом из моей книжки. Берите пример с белки — «Белка вяжет, белка шьёт», а не с зайца из «Ежовых рукавиц», который видит во сне, как в этих колючих рукавицах стал он грозой тайги и начал всех обижать. Разве это хорошо? Послушайте и подумайте...»

Владимир Скиф (тоже выступал перед младшими школьниками с двумя книгами: «Шла по улице корова» и собственным переложением на современный русский язык

«Слова от полку Игореве»): «Книги рождаются по-разному. Первое стихотворение для детей мной было написано, когда сыну исполнилось три года, а потом он вырос, стал художником и нарисовал к этой книжке картинки. Военный поход князя Игоря против половцев был много-много лет назад, история про него рассказана старинным, старославянским, языком. Но она настолько великолепна, что нам, поэтам, до сих пор интересно её переводить на современный язык, а вам, когда вы подрастёте, наверняка захочется такую книгу прочитать. А пока прочитаю я — маленький отрывок...»

* * *

Нельзя не сказать ещё об одном мероприятии, не вошедшем в программу «Сияния», но имеющем самое близкое отношение к теме русской духовности и культуры.

Знаменательная дата — 75-летие со дня рождения Надежды Васильевны Куликаускене — была отмечена 30 сентября в библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского. О личности крупного масштаба, подвижническом труде историка, посвятившего себя летописям, рассказали Нина Единархова — рецензент книги «Прошлое — будущему» Н. Куликаускене, научный редактор ею же подготовленной книги «Летопись города Иркутска» В.А. Кротова, Рудольф Берсенёв — составитель недавно вышедшего сборника иркутских историков (со статьёй Н. Куликаускене о Н.С. Романове «Подвижник культуры»), Светлана Бурчевская — оформительница книг Н. Куликаускене, Галина Сниткова — однокурсница, Арвидас Куликаускас — муж и организатор издания творческого наследия исследовательницы, и др. Приведём лишь одно из выступлений.

Нина Единархова, доктор исторических наук, профессор, соратница Надежды Васильевны, приложившая усилия к изданию её незавершённых трудов, говорила о главном вкладе Куликаускене в историю сибирских летописей: именно она обосновала наличие Иркутской школы летописания. В своих же статьях, предисловиях, комментариях тщательно проанализировала труды иркутских летописцев Н.С. Романова, В. и А. Сибиряковых, В.А. Кротова, П.И. Пежемского.

Профессор Единархова обратилась к присутствовавшим в зале будущим историкам, студентам ИГУ, с призывом выбрать полем деятельности летописи Сибири — удивительного края, где «всё — время, пространство, события — сходятся по-особому».

* * *

В завершение хроники немного задержимся на городской программе праздника, чтобы перечислить наиболее заметные для этого года пункты:

— лекция о жизни и деятельности святителя. Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского и Коломенского в отделе областного краеведческого музея «Окно в Азию»;

— презентация очередных томов «Словаря говоров русских старожилов Байкальской Сибири» Галины Афанасьевой-Медведевой в областной специальной библиотеке для слепых;

— выставка «Изображение и слово» в галерее Виктора Бронштейна: портреты иркутских писателей кисти иркутских художников;

— закрытие XIV Байкальского международного фестиваля документальных, научно-популярных и учебных фильмов «Человек и природа»;

— литературно-музыкальные вечера, выставки, посвящённые 120-летию со дня рождения Сергея Есенина;

— концерты детской музыкальной школы № 7 и Центра развития детского и юношеского творчества «Узорчье»;

— Съезжий праздник: областной фестиваль хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Поющее Приангарье» и областная выставка-ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного искусства «Земли Сибирской золотые россыпи» — на площади у стадиона «Труд».

Необходимое послесловие

Двадцать второе «Сияние» протекло ровно, по отработанному за многие годы пути. За неделю прошло около сотни (!) мероприятий, хороших и разных. Учреждения культуры и образования свои программы выполнили. Все, кто готовил и проводил встречи, презентации, концерты, работали на совесть и, вне всякого сомнения, заслуживают слова благодарности.

Однако наша речь о несколько другом.

Если поразмыслим и спросим себя об итогах, то придётся признать: состоялся добротный смотр культурных сил Приангарья с некоторым вкраплением того, что ранее называлось «Сиянием России». Как придётся признать и постепенное отступление от замысла о Днях русской духовности и культуры 1994 года, которое идёт уже давно и ведёт (уже привело) к растворению события общероссийского масштаба в мероприятиях местного значения.

Нельзя сказать, чтобы попытки вернуться на прежнюю стезю не предпринимались. Наиболее настойчивые — в 2009 году, ещё при участии В.Г. Распутина.

Самое первое — предлагалось упорядочить программу: вместо трёх (областной, городской и пребывания гостей) составлять единую. Ведь люди никак не могли понять, почему в одной значится «Встреча читателей с московскими писателями В. Крупинным и И. Шумейко» в областной библиотеке, в другой, в тот же день и час, — «Областной конкурс «Деревенская красавица-искусница»» в Сибэкспоцентре, в третьей ничего этого нет, но часом позже прописано «Открытие выставки «Музей сибирского фарфора»» в Усадьбе В.П. Сукачёва (пример из 2010 года). На всех программах выведено: «Сияние России». И надо было долго объяснять, что программ несколько, что у области и города разные бюджеты, и вообще, почему только гости? — «сиять» имеют право все!

Напрашивался простой выход: в программу выступления гостей добавить четыре-пять наиболее ярких, общероссийского уровня областных и городских мероприятий (а они всегда есть), чтобы таким образом дать возможность всем желающим в течение недели увидеть и услышать всё самое значительное — как прибывшее, так и местное. Остальные девяносто пять пунктов проводить до или после «Сияния России». Потому что по сути — это уже «Сияние» одного Иркутска.

Валентин Григорьевич в 2009 году эту идею поддержал (хотя не высказал оптимизма по поводу возможности что-либо изменить). По согласованию с ним в газете «Восточно-Сибирская правда» предложения были изложены автором этих строк («Сияние России»: вызов тьме. 2009. 12 авг.).

Сдвиг произошёл, но небольшой: вместо трёх программ появилось две — в одну были объединены областная и по выступлению гостей, городская осталась прежней. Наслоение мероприятий, как и раньше, продолжало мешать успешности их проведения.

Тогда же предлагалось усилить просветительское начало Дней русской духовности и культуры: приглашать известных деятелей в меньшем количестве, но с циклами лекций на конкретные темы; более продуманно подбирать аудитории, способные это оценить. Подобное было, если вспомнить встречи профессора Санкт-Петербургского пединститута им. Герцена И.Ф. Гончарова с учителями, несколько выступлений доктора философских наук из МГУ, философа и политолога А. Панарина, выезды редак-

ций столичных толстых журналов в Иркутск, их встречи с читателями в библиотеках, или единственная, но при большом стечении публики лекция архимандрита Тихона (Шевкунова) в драмтеатре.

Как ни удивительно, но прошедшее «Сияние», снизив общероссийский уровень до приглашения всего лишь двух персон, в то же время подало пример именно таких ёмких и адресных выступлений.

В юбилейный год Г.В. Свиридова Управление культуры Иркутской городской администрации подготовило недельную программу, с 22 по 28 сентября с участием известного музыковеда Александра Белоненко. В неё вместились многое, и всё было исполнено. Перечислим: лекция о Свиридове для педагогов и воспитанников городских музыкальных школ в областной филармонии — с последующим концертом; лекции в областной школе искусств, на гуманитарно-эстетическом факультете пединститута ИГУ, музыкальном колледже им. Ф. Шопена (две — о Свиридове и современной музыке); в областной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского, библиотеке № 12 ЦБС г. Иркутска, Театре народной драмы, Гуманитарном центре-библиотеке им. семьи Полевых; выступления на областном и городском радио; посещение Музея города Иркутска и Культурного центра им. А. Вампилова.

Гость был приглашён на приём к заместителю мэра, и в городской администрации состоялся серьёзный, заинтересованный разговор с участием педагогов, работников культуры Иркутска на тему музыкального образования, подготовки педагогических кадров.

В итоге и специалисты, и любители музыки имели возможность без излишней суеты погрузиться в мир высокого искусства, а потом обсудить конкретные проблемы.

А. Белоненко подарил иркутянам несколько своих книг о Свиридове, а в книге отзывов Гуманитарного центра-библиотеки им. семьи Полевых оставил благодарную запись с высокой оценкой работы этого учреждения. «Совершенно оригинальное по замыслу, по содержанию работы, по коллекции...», «имеет общероссийское значение», производит «одно из сильнейших впечатлений», «великий для меня момент. Полевые — выходцы из Курской губернии, откуда род Свиридовых» — под такими словами подписался известный российский музыковед.

Общение, как мы видим, состоялось к пользе обеих сторон.

Так, может быть, мы дадим дорогу лучшему из нами же накопленного опыта?

Детище Валентина Распутина должно жить, теперь уже в память о нём, выдающемся писателе и общественном деятеле России. В этом сомнений нет. Значит, наша задача — удерживать «Сияние России» на высоте, подобающей первоначальному замыслу.

*Валентина СЕМЁНОВА,
литературный критик*



Спасительные сигналы едва не угасшей звезды Даши Намдакова

Знаменательная лондонская встреча
с отсрочкой в семнадцать лет

Итогом предпринимательской деятельности, по моему убеждению, должны быть не бесконечные в своём однообразии деньги, а добрые дела, но не любые, а выстраданные каждым конкретным предпринимателем. Так, Билл Гейтс, например, опираясь на свои несметные богатства, лично и с большим азартом участвует в борьбе с малярией в Африке. Один мой товарищ, Алексей Дорошенко, вкладывает деньги, а главное душу, в реконструкцию уже третьего храма, в службу в церкви в качестве пономаря и в превращение некогда развесёлого Центрального парка, построенного на территории бывшего кладбища, в «Иркутский исторический некрополь».

Я, в свою очередь, наряду с помощью храмам и с просветительством, уже добрый десяток лет занимаюсь собиранием внушительной коллекции картин и скульптур, а теперь, уже с женой на пару, создаю на основе моей коллекции музей-галерею современного искусства для своей души, для любимых людей и всех жителей родного города. Наличие своей внушительной галереи открывает и немалый простор для эффективного международного общения и налаживания отношений, в том числе, думаю, в интересах и детей, и бизнеса. Иркутская школа ослабевшей ныне в Европе реалистической живописи может вызвать огромный интерес и у нас, и за рубежом.

Неслучайно, за картинами наших художников сегодня буквально охотятся жители Поднебесной, создающие галереи в каждом административном округе и гордящиеся ими, как мы когда-то футбольными и хоккейными клубами. Недавно они, минуя галереи, даже издали весьма внушительный каталог, который является «путеводителем» по иркутским художникам. Но!.. В нашей галерее собрано более 1000 полотен как ушедших в мир иной, так и ныне здравствующих художников, причём наследие нескольких крупных художников (В. Бочанцева, Н. Вершинина) куплено нами почти целиком. Ни в одной мастерской сегодняшних художников не представлено так целенно их собственное творчество в разные периоды жизни, как у нас, нет у них и соизмеримого с нашим фонда для выставок и продаж.

Наряду с живописью сокровищем моей коллекции является бронзовая скульптура, хотя имеется и деревянная. Собственно, по дереву в Иркутске по-настоящему работает лишь один уникальный для нашего города мастер в ранге заслуженного художника России — Лев Сериков. Бронзовым литьём на высочайшем, но уже не иркутском, а мировом уровне традиционно занимаются наши соседи в Бурятии. Благодаря Даши Намдакову бурятская скульптура получила широкую международную известность. Сам Даши живёт теперь, в основном, в Лондоне. В 2012 году он украсил главный выставочный центр британской столицы в Гайд-парке своей уличной скульптурой «Чингисхан», а в мае 2015-го на тот же постамент водрузили одиннадцатиметровую «Хранительницу».

Интересно, что идея этой гениальной скульптуры родилась совершенно неожиданно из невинного подарка. Друзья из родного бурятского села Укурик, что расположено в Читинской области, преподнесли идеальную, по мнению Даши, скульптуру, изваянную самим Господом Богом, а именно, череп рыси. Дело стало за небольшим — мысленно, а затем и в модели одеть череп плотью, прилепить к нему преображённое древними мифами народа и собственной провидческой фантазией тело и выбрать подходящую позу. Ну разве что ещё — вдохнуть в новорождённую бронзовую плоть энергию самостоятельной жизни. Эта часть работы была проделана уже в другом черепе. Не трудно догадаться, в чём. Вот так вдвоём, рысь и художник, создавали пока ещё небольшую, но интереснейшую скульптуру.

Вскоре у двоих «соавторов» появился, как издавна повелось на Руси, и третий. Не знаю, сопровождалось ли включение в компанию нового игрока нашим традиционным соображением «на троих». Думаю, вряд ли. Рысь, в отличие от булгаковского кота, всё же полную свободу от мастера не получила. Хотя иногда, глядя на скульптуры мастера, кажется, что они величественно оживают и взирают на суетящихся людей из далей будущих веков и тысячелетий. Добротные изготовленные в лучших мастерских мира бронзовые скульптуры будут жить вечно и поприветствуют из нашего времени множество поколений. Правда, произойдёт это, считает Даши, если человечество скорректирует экологический и моральный вектор своего развития в сторону сохранения традиций.

Когда-то наши предки, чтобы не беспокоить плоть кормилицы, матери родной земли, носили только мягкую обувь, да ещё и с закруглёнными носками. Когда Даши был ребёнком, бурятским детям запрещали играть «в ножики», втыкать их в землю, потому что нельзя бессмысленно её, бедную, беспокоить подобным образом. Мы, дети более ранних годов соседней области, никогда о подобных ограничениях и не слышали, а если бы услышали — посмеялись. Поэтому, наверное, у нас лес и вырубается, и горит, мелеют и реки, и сам Байкал. Зато мы очень активно и варварски уничтожаем сейчас импортное продовольствие, очевидно, забыв про детские дома, интернаты, дома престарелых и просто про полуголодных беженцев...

Собственно, на возвращение нас к чистым, незамутнённым цивилизацией истокам, по большому счёту, и работает творческий гений скульптора. Он признаётся, что постоянно чувствует в душе тектонический гул минувших веков и поддержку своих предков, которые, наверняка, ужасаются экологическому беспределу сегодняшних дней. Но вернёмся к «Хранительнице». С лёгкой руки многолетнего экс-президента Татарстана Минтимера Шаймиева, повстречавшегося с новорождённой скульптурой на выставке в Кремле и загоревшегося желанием обязательно водрузить огромную «Хранительницу» в родной республике, зародилась идея мегапроекта, который, как водится у расточительных россиян, осуществился, но за тридевять земель — в Британском королевстве. Сейчас неугомонный экс-президент Татарстана прилагает энергичные усилия, чтобы преодолеть заскорузлость местных религиозных консерваторов. А пока в столице Татарстана запускается огромный мемориальный комплекс, потрясающий своим совершенством. Проект не меньших масштабов уже осуществлён в Тыве. На очереди Москва и Алма-Ата. И хотя работы у Даши неупрекаемы, пора бы уж и малой прибайкальской родине (Улан-Удэ, Иркутску, Чите) воспользоваться услугами сына своей земли.

У всех свои заботы, своё творчество, правда, увы, масштабы разнятся. Не были исключением и мы в судьбоносной для галереи, да, наверное, и для нас, поездке в Лондон.

Перед запуском нашей мечты — галереи-музея современного искусства — я решил сделать себе и жене Ольге подарок. Сказано — сделано, и мы вылетели на мой день рождения в столицу Англии. На этот раз не только для того чтобы провести мою

дорогую доченьку — студентку столичного университета, но и побродить по выставочным залам. И надо же, больше всего нас поразила в самом центре Лондона выставка, где были представлены последние крупные работы, в основном итальянского периода, нашего земляка Даши Намдакова. Особенно восхитительны были его работы из камня и бронзы: величественная, но, увы, слишком объёмная для нашей галереи «Афродита»; уникальный, произведённый на свет Божий в одном экземпляре «Тигр и птица», олицетворяющий, по моим представлениям, содружество России и Китая; идеально пластичная, буквально парящая над головой льва охотница «Виктория», похожая на воинственную амазонку; мальчик, трепетно и вдохновенно прижавшийся к шее летящего в голубом небе Пегаса; красавица восточных кровей, грустно везущая в неизвестность новой жизни на своей преданной лошадке небольшое приданое, любимую собачку и сладостные воспоминания детства. Противоположные чувства вызвал жуткий в своей правдивой жестокости, облитый многодневной грязью и облепленный талантливо воплощённой в бронзе пылью степного похода, убивающий из лука невидимого противника — восточный воин минувших веков.

В сравнении с мальчиком на крылатом Пегасе (скульптура «Вдохновение») или девушкой на лошадке («Приданое»), олицетворяющей своей изящной красотой мечту и музу, особенно ужасает воин («Цель»), напоминающий о самых разрушительных чертах человечества, несущих смерть и чужие гены. Мастер как бы предупреждает нас: «Не дай Бог, если эта жуткая сила, которая, увы, в гомо сапиенсе никуда не делась, вырвется наружу. Тогда не поздоровится никому. Стрела страшного воина поразит каждого».

В Лондоне я по-настоящему пожалел, что лет пятнадцать назад не послушал своего друга и вожатого по мастерским художников, поэта и просветителя Геннадия Гайдю и ни разу не заехал к Даши в мастерскую в своём родном городе, а ограничил своё пристрастие только деревянными скульптурами. С тех пор цены и ценность работ бурятского гения выросли в десятки раз, и этот процесс продолжается, невзирая на все кризисы и потрясения. А между тем скульптуры в лондонской галерее излучали на нас такую физически осязаемую энергию, тепло, а порой и ужас, что мы с Ольгой и Полиной, не сговариваясь, поняли, что нашего музея без них просто не может быть.

Оказалось, что Даши, наученный тяжелейшим опытом взаимоотношений и «разводов» с «галерейщиками-поводырями» в России, стремящимися вести его по жизни на коротком финансовом поводке, на этот раз заключил равноправный контракт. Область совместных интересов с ведущей галереей Англии ограничена взаимовыгодным, весьма эффективным сотрудничеством, но не по всему миру и даже не по всей Европе, а только по Англии, хотя рекламные волны из Лондона невольно транслируются на весь мир, долетая до наших закоулков. Просто поразительно, как Даши удалось отстоять свободу действий по всем остальным странам, включая Россию. Но всё же английская галерея высказала и нам, и автору немалое неудовольствие, так как с указанными скульптурами итальянского периода мастера мы встретились в великолепных стенах их обители, где смотрелись они, конечно же, по-особому, но как будто с мольбой зывали забрать их на родину мастера.

Кстати, взаимоотношения большого художника или артиста с продюсерами очень непросты. Здесь от любви до финансовой ненависти всего один шаг. Например, по главной версии следствия, из-за этих противоречий в хитро спровоцированной потасовке был убит известный певец Игорь Тальков. Дыма без огня, как известно, не бывает. Но, слава Богу, у Даши всё обошлось. У художника остался огромный опыт борьбы за независимость с желающими возглавить его творчество и финансы. Благо, теперь вырос собственный родной и, конечно же, самый преданный менеджер — сын Чингис, сделавший к тому же своего отца счастливым дедом, а его обожаемую молодую жену и маму шестилетней Дашеньки — бабушкой. Хотя это звание пока никак

не вяжется с обликом очаровательной элегантной девушки — мамы троих детей, один из которых уже взрослый помощник и менеджер семейного бизнеса, а старшая дочь Софья — старшеклассница.

Говоря об опасностях, подстерегающих знаменитостей, нельзя не вспомнить, как на полном пределе сил сражался, чтобы поспеть к сроку и сохранить финансовую независимость от издателя, Фёдор Михайлович Достоевский, сумевший с помощью будущей жены, юной стенографистки Анны, одержать верх.

До сих пор вызывают много споров подробности ухода из жизни великих поэтов Серебряного века, нередко с немалой валютой посещающих границу: Сергея Есенина, прокатившегося по миру с Айседорой Дункан, а также Владимира Маяковского. Может быть, и их финансовые дела кто-то хотел вести? Как знать.

Но вернёмся от глобальных проблем и исторических подозрений к нашим, маленьким для мира, но огромным для нас, делам и проблемам.

Меня мучила мысль: как всё же выйти на земляка в столице мира? И вновь появились сожаления, что в Иркутске семнадцать лет назад была упущена совершенно реальная возможность познакомиться и подружиться.

Всё же не ясно, почему мой «вожатый» по первым шагам в области иркутского искусства Геннадий Гайда не настоял заехать к молодому и талантливому, по его же мнению, скульптору из Бурятии. Даже когда в ту пору он выбирал с отцом для меня подарок на далёкий уже мой юбилей, опять заехал не к Даши, про которого часто вспоминал, а к Льву Ивановичу за деревянной скульптурой. В этом, безусловно, есть какая-то тайна! Остался я в стороне и когда мои друзья той поры, Юра Якубовский и Олег Геевский, поехали с кем-то в мастерскую и приобрели чуть ли не по десятку работ мастера, начавшего набирать известность и силу.

Ответа на этот мучительный вопрос нет. Хотя, наверное, судьбе было угодно, чтобы в моей душе накапливался какой-то нерастраченный потенциал, подобный нарастающему заряду электричества на земле и на небе, который копится перед грозой. В отношениях же может произойти эмоциональный взрыв, в результате которого моя духовная орбита изменит курс и основательно пересечётся с обжигающим сиянием планеты большого мастера.

Забегая вперёд, скажу, что это предположение оказалось верным.

А пока в Лондоне я, как и положено предпринимателю, всеми силами старался узнать телефон бывшего земляка, тщательно взвешивая, к кому можно обратиться. Искать встречу через знакомых арт-менеджеров или других очень деловых людей крайне нежелательно. Они сразу же постараются «возглавить» процесс переговоров и не упустят свои жирные посреднические от меня или, скорей всего, от автора, что одно и то же. Но, видимо, Господь благоволит к тем, кто старается не только для себя, и «ларчик открылся» максимально просто. Не зря уже много лет я дружу с далёкими от бизнеса и особенно от корысти людьми искусства. Так, молодая искусствовед Алёна Кабунова перешла к нам из художественного музея. Она, по закономерной случайности, — ученица маститого искусствоведа Надежды Петровны Комаровой, которая много лет работает непосредственно с самим Даши, а значит, может передать не только телефон, но и заочно представить нас в объективно выгодном свете. Это она, по-видимому, от всей души и сделала. Во всяком случае, мы удостоились встречи не «на ходу», как бывает в случаях со знаменитостями, а были первыми и пока единственными приглашёнными в святая святых — новую мастерскую мастера, километрах в семидесяти от центра Лондона. Там мы с удивлением обнаружили, что человеком мира, получив огромную известность, Даши не стал. Земляки, малая родина, где по бурятскому обычаю под отчим домом закопан послед, в котором мать вынашивала ребёнка, дарящий при свидании с этим мистическим местом спокойствие, уверенность и огромный творческий заряд, — его творчество произрастает от этих крепких

бурятских корней и по-прежнему питается соками родной прибайкальской земли. В незабываемый вечер знакомства и посещения мастерской подружились мы и с сыном мастера Чингисом. После переговоров о приобретении пяти крупных (с человеческий рост) скульптур по сибирской традиции хозяева пригласили нас на дружеский ужин, где пока ещё устный договор мы скрепили бокалами вина и пива. Жаль, что из намеченных скульптур в наличии оказалась только «Тигр и птица», но и она пока ещё отбывала гостить на выставку в Америку. Остальные скульптуры предстояло отлить в старинных итальянских мастерских, где трудятся ремесленники в третьем-четвёртом поколении, сочетающие опыт дедов и современные технологии.

Неожиданно нам повезло ещё и в том, что у Даши в этом же месяце была запланирована поездка на свою малую родину с заездом на один день в Иркутск. Теперь уже он с удовольствием принял наше приглашение на обед. Но самое главное, что Даши посетил реконструируемые помещения галереи-музея, а также не пожалел несколько часов времени и проехал за город к нам в коттедж, чтобы познакомиться хотя бы с частью будущей экспозиции живописи и скульптуры. И будущая галерея, и коллекция заслужили его высочайшую оценку. Такого размаха и высокого качества экспонатов он никак не ожидал. А искусствовед Надежда Петровна искренне удивилась, что коллекция собрана лет за пятнадцать, а не несколькими поколениями. Меня же, в свою очередь, поразило, что взгляд маэстро чаще всего с ходу отмечал действительно самую лучшую живопись таких корифеев, как А.Л. Вычугжанин, В.И. Бочанцев, А.Ф. Рубцов, В.И. Лапин, В.В. Тетенькин, Н.Н. Вершинин, Б.В. Десяткин. Но по работам нескольких уважаемых мной современников он отметил, что в них пока не чувствуется уровня личности старых мастеров. По его мнению, они мало читали, а возможно, даже прошли мимо Чехова и Толстого. Поправимо ли это, когда молодость и период становления личности миновали? Большой вопрос.

Кроме культурно-эстетической ценности, приобретение скульптуры — это ещё и способ вложения средств поистине на века, и привет из нашего времени будущим поколениям — продолжателям рода. На каждую бронзовую скульптуру из числа не музейных мы выписываем правдивую, хоть и шутивную гарантию на... тысячу лет, то есть на сорок поколений вперёд.

Мировоззренческий шок

Вскоре после Лондона, уже на родине, в следующие приезды мастера, углубившееся знакомство с ним, переросшее в приятельство, да, пожалуй, и в дружбу, неожиданно изменило некоторые мои, казалось бы, уже давно устоявшиеся взгляды на жизнь, а именно, укрепило веру в Бога, в ангелов-хранителей в лице предков, и в результате, что особенно важно, существенно прибавило оптимизма и отодвинуло возможные депрессии. По-моему, судьба Даши и его рода заслуживает не меньшего внимания, чем вершины творчества. Его опыт помог мне переосмыслить основные вехи собственной жизни.

На все мои беды: на страшное несчастье с сынишкой Андрюшей, на неприятности со здоровьем и в семейной жизни — я стал смотреть не как на бессмысленные наказания судьбы, непонятно зачем обрушившиеся на мою бедную голову, а как на суровые испытания, ниспосланные Богом, после которых обязательно открывается какая-то абсолютно новая и светлая страница или даже глава в моей, в целом, всё же довольно успешной жизни. Много раз слышанная, а потому и затёртая фраза о том, что Господь специально посылает испытания, чтобы сделать нас крепче духом, вызывала во мне такое же чувство, как и нравоучения родителей в подростковом возрасте. Преодолеть

скептическое отношение к этому постулату мне помогла история, пережитая глубоко верующим юношей-буддистом. Залогом её правдивости является то обстоятельство, что человеку с огромными достижениями в жизни совершенно не нужно выдумывать захватывающие приключения. Такие люди не нуждаются в привлечении к себе дополнительного внимания, скорее, наоборот. О нём как о замечательном художнике-скульпторе уже давно знают не только в России, но и во всём мире. Кроме этого рассказ во всех деталях подтверждают и мать, и сёстры художника.

Оказалось, что Даши не всегда был жизнерадостным и счастливым, как это кажется на первый взгляд. Уже через несколько месяцев после рождения младенца его маму потрясло страшное пророчество. Когда ламы присваивали имя её младшему сыну, они предрекли либо его гибель в пятнадцать лет, либо, если выживет, всемирную известность. Никакой известности ценой такого риска матери, конечно, было не нужно. О пророчестве Даши узнал, когда все напасти были позади. И действительно, именно в пятнадцать лет у юноши совершенно неожиданно произошёл страшный болевой приступ в области желудка и спины, закончившийся прободной язвой. Несмотря на вовремя сделанную первую операцию и две последующих, в конце школы и в институтской юности он ночи напролёт страшно мучился необычно стойкой язвенной болезнью, которая не проходила, несмотря на усилия и врачей, и лам, и даже, что уж греха таить, опытного шамана, предсказавшего ему семилетние страдания с неясным концом, но не сумевшего помочь беде. Дальнейший опыт лечения подтвердил, что и этим то ли ремеслом, то ли искусством разные шаманы владеют неодинаково. Как и в любой профессии, здесь тоже, по-видимому, есть и «троечники», и «отличники». Дело доходило до того, что из-за страшных болей Даши не мог принимать и переваривать пищу. Как следствие — на него обрушилась опасная худоба и полная потеря сил. Как-то на охоте, недалеко от дома, он в изнеможении упал, не в силах ни встать, ни даже ползти к мотоциклу, где ждал его школьный друг Норбо. С морозом и снегом не пошутишь, и молодой человек уже начал ощущать предсмертную лёгкость, а может быть, и радость избавления от ежедневных страданий. Но ласково обнимавшую его лукавую смерть победила другая могучая сила, которая невидимыми нитями властно удерживала остатки жизни и заставила из последних сил на самом краешке бытия нечеловеческим напряжением воли два раза нажать спасительный курок ружья. Этой могучей силой была любовь к матери и отцу, к дорогим сердцу сёстрам и братьям, к друзьям из родной деревни, с которыми в интернате прошли незабываемые школьные годы, с кем спина к спине не раз отбивали жестокие нападения сельской шпаны, старающейся наказать ребят из единственной в их районе бурятской деревни за «неправильный» разрез глаз, за нескрываемое почитание родного языка и непонятных для юных варваров традиций.

По выстрелам Норбо отыскал замерзающего друга и буквально на руках вытащил из лап Владыки Холода, цепко хватающего коченеющую добычу. Ему, по-видимому, так же, как и нам, нужны художники, которые работают зимы напролёт, разрисовывая деревья, реки и окна домов, изображая на стекле порой и собственные портреты.

*Приглядись, что рисует мороз
На оконном стекле? Нет, не розы,
И не белые ветви берёз,
А обозы, обозы, обозы...*

*И не сказочный рой облаков
На оконном стекле серебрится —
То замёрзших в степи мужиков
Бородатые белые лица.*

Николай Зиновьев

Одним из таких рисовальщиков и скульпторов ледяных узоров и стал бы Даши, если б не увенчавшиеся успехом упорные поиски другого места выстрелов.

Неизвестно, чем бы закончилось дело — выжил бы он или нет, если бы после уже трёх перенесённых операций на его пути не встретился очередной шаман — женщина, к слову сказать, сама изрядно больная, несмотря на тридцатичетырёхлетний молодой возраст. Поразительно, с каким мужеством она как будто бы выполняла своё высокое предназначение, буквально рискуя собственной жизнью. Увидев молодого человека в больничном коридоре, куда его привела мать, шаман с первого взгляда поняла, что если срочно не вмешаться, то юноша неотвратно умрёт, и не смогла удержаться, чтобы буквально не воскликнуть об этом. Когда она взялась за лечение, то, наверное, не знала, сколь трудным оно будет. Через неделю во спасение Даши ей, больной, предстоял четырнадцатикилометровый поход вместе с его родителями к дереву их рода. Рискованная «прогулка» проходила по зимнему лесу с глубоким, почти по пояс, снегом. При этом сама она только что выписалась из больницы и значительные физические нагрузки ей с острым сахарным диабетом были категорически запрещены. Но перед началом столь решительных и рискованных действий шаман в присутствии многочисленных родственников Даши испросила разрешения у духов предков, увидев в металлической сфере, которая побывала на теле больного юноши, хозяина их рода — бурятского князя. Шаман точно описала его портрет и определила, что он при жизни совершал паломничества в Тибет. Семейное предание подтверждало и его черты, и этот факт. Увидела она и молодую хозяйку рода. А главное, что духи поведали ей причину бед. Они решили забрать младшего в роду сына, так как в последнее время, а были это антирелигиозные советские годы, семья проявила слабость и стала недостаточно почитать предков. Позабросили они родовое древо, где следовало исполнять обряды и ритуалы-жертвоприношения, имеющие, как я сам недавно убедился, немалую мистическую силу.

Недавно мне посчастливилось почти случайно побывать на таком семейном обряде. Но примерно за неделю до этого мы познакомились в Улан-Удэ ещё с одной гранью дарования мастера, почему-то до поры до времени скрываемой от широкой публики. Дело в том, что Даши в детстве рос не только с братьями, но и в плотном окружении любящих, нежных и, конечно же, заботливых сестёр. Они иногда наряжали красивенького малыша в платьица и ласково называли Дашенькой. Может быть, поэтому он вырос равнодушным не только к мужественным и коварным изображаемым в бронзе воинам, но и — раскрою секрет — к обворожительным, богато одетым красавицам с благородным взглядом задумчивых глаз, к очаровательным... куклам! Уже давно всех своих сестёр, талантливых рукодельниц, брата-ювелира и даже родителей он пристрастил к тончайшей ручной работе по изготовлению и украшению созданных им образов королев, мадонн с младенцами, всадниц, задумчивых тургеневских барышень и т. д. Но эти произведения видели только его друзья, которые сразу же стремились приобрести уникальные и совсем не тиражируемые творения. В результате они неспешно разбрелись по Москве и по миру. Среди счастливых обладателей известные певцы, например, Анита Цой, телеведущие и другие собиратели прекрасного, в основном из столицы. Не оказались исключением и мы с Ольгой, решив немедленно приобрести несколько рукотворных шедевров для галереи и сделать журналистский фотоотчёт об этом неожиданном открытии. На завтра уже в шесть утра поездом «Иркутск — Улан-Удэ» прибыли фотохудожник Мария Маркова и журналист из нашей галереи Екатерина Иванова. Вскоре закипела восторженная работа. Но предваряло её, как и положено по законам бурятского гостеприимства, душевное чаепитие, а для желающих — неременный спутник бурятских застолий — душистые позы. После плотной работы вечером у нас был запланирован отъезд в Иркутск. У Даши громоздились свои планы. Разъехались мы с чувством, что не наобщались и не договорили

чего-то очень важного и нужного. Поэтому не прошло и трёх дней, как непонятная сила вновь потянула меня в места, связанные с неожиданно открывшейся мне удивительно талантливой и дружной семьёй, как будто бы таинственно перешагнувшей из прошлых веков, где нередко несколько поколений работали под одной крышей, дружно и весело вели натуральное хозяйство. Каждый был в ту пору «и швец, и жнец, и на дуде игрец». Без определённых планов я позвонил Даши, чтобы уточнить, стоит ли как-нибудь съездить в их родную деревню, где с помощью очевидцев разобраться, как могло сформироваться и сохраниться такое чудо и, извиняюсь, анахронизм нашего бестолкового времени, как традиционная бурятская семья, да ещё и не простая, а принадлежащая к самому высокому бурятскому роду — роду настоящих «огненных» кузнецов, которые считались равновеликими и шаманам, и ламам. Представители этой, если можно так выразиться, касты всегда отмечались особыми знаками, они обычно талантливы в любом рукоделии, отличались умом и волей. Не исключением был и отец Даши — Бальжин, умеющий и мельницу возвести, и собрать электрогенератор и косилку. А в самые трудные времена хрущёвского самодурства с сельским хозяйством он освоил сам и научил всю деревню изготавливать национальную обувь. Этот труд и интернат для детей спасали его земляков в годы уничтожения личных подсобных хозяйств и позволили сохраниться уникальной деревне, где до сих пор нет не только решёток на окнах и воровства, но и двери не замыкаются. Отец Даши также не был чужд, на первый взгляд, женского ремесла. Он умел ткать редкостной красоты ковры. Так что Даши есть в кого «заболеть» куклами. Кстати, отец также был младшим сыном в весьма многочисленном семействе.

Телефонный разговор с Даши закончился радостной вестью. Оказывается, у него неожиданно изменились планы, и они с сёстрами как раз сейчас выезжают в своё родовое гнездо, а это примерно 450 километров не лучших дорог по Бурятии и Читинской области, а завтра у них состоится очень редкое торжественное событие — родовой молебен. Неожиданно я был удостоен большой чести — приглашения принять участие фактически в семейно-интимном ритуале, где не было, как оказалось, никого из деревенских друзей. Наверно, с далёкой юности я не загорался так ни одной поездкой. Но как же быть? До события меньше суток, а дорога — более тысячи километров. На машине уже не успеть. И опять везение. Оказалось, что несколько раз в неделю можно долететь самолётом. И сегодня в пять утра как раз будет рейс на Читу, а там 140 километров — уже не проблема, и меня встретит Чингис на внедорожном джипе.

Сказано — сделано! Что нам, молодым духом, какая-то тысяча километров воздухом и более ста по земле. И вот ни свет ни заря я в аэропорту. Но авиация есть авиация. Из-за пожаров и дыма вылет переносят и раз, и два, и три на мучительных несколько часов. Но на священный ритуал в качестве зрителя я всё же успел, и моя бессонная ночь, и дорожная тряска были компенсированы с лихвой.

И духовно, и эстетически я был потрясён. Такого проникновенного пения и звучания инструментов мне не доводилось слышать. Казалось, что умелый лама, кстати, родом из этой же деревни, извлекал и доносил до нас волшебные звуки одновременно и потустороннего, и нашего мира, привлекая в помощники несметный полк музыкальных предков, поддерживающих его из далёких кочевых времён. Только в этот момент мне стало понятно мучившее меня много лет непонятное ощущение от рассказа Валентина Распутина «Что передать вороне?», где, по его словам, птица летала между нашим и ушедшим миром. Более того, в течение обряда я и сам чувствовал, что как будто пролетаю между двумя мирами и вижу собственных родственников, не одно поколение которых жило в мире и согласии с местным населением на берегу Байкала. Мои баргузинские предки по отцу знали в совершенстве кроме русского и еврейского ещё и бурятский язык. Наверняка, они также почитали местную культуру и не раз наслаждались высокодуховными обрядами одной из основных религий человечества.

Как же я был поражён, когда по завершению обряда все его участники вдруг увидели в небе двух величественно парящих орлов, как будто бы бережно несущих на своих распростёртых в неподвижности крыльях души наших прародителей, заботливо взирающих с небесной выси на своих благодарных потомков. Все участники и зрители обряда смотрели как зачарованные, и я видел, что не у одного меня на глаза наворачиваются слёзы. Каково же было потрясение присутствующих, когда и на нас упало буквально по несколько «слезинок» с неба. Показалось, что трогательную слезу обронули из орлиных глаз давно ушедшие в иной мир дорогие сердцу родственники. Единичные облака, плывущие в это время по синему небу, были явно не дождевые. Но если они и помогли в честь нас творимому на небесах встречному обряду, то совершенно не случайно.

Врачебный подвиг женщины-шамана

Но до этого праздника двух миров больному когда-то юноше, которому было суждено в будущем прославить свой род, нужно было ещё дожить, вырвавшись из цепко схватившей его беды.

В ту далёкую, ставшую уже историей пору его болезни в качестве знака, разрешающего диалог с предками и дающего шанс на исцеление, была выбрана, как это ни банально для скептиков, конкретная игральная карта, которую шаман назвала, когда её уже предстояло вытянуть из колоды. С волнением, подобным тому, что пережил Герман в «Пиковой даме», эту мистическую карту следовало вытянуть с первого раза кому-нибудь из молящихся за столом родственников. Только ставкой здесь был не выигрыш денег, погубивший в драме Пушкина старуху, а жизнь юного Даши. Шаман к новой колоде не прикасалась, тасовали её по кругу все сидящие за столом. И вот в страшный момент все замерли — с вероятностью меньше, чем три процента из колоды новых карт следовало вытянуть бубнового туза, и только его... Чудо свершилось! Все выдохнули с облегчением. Приобретший судьбоносное значение спасительный туз нужной масти был вытянут! Но шаман знала, что это была ещё не окончательная победа, а только шанс. Впереди ждали тяжелейшие походы в зимний лес, предпринятые на пределе сил и родителями, и старшим братом Будажапом, бывшим охотником. Первый раз, пока шаман ещё лежала в больнице, с семьёй ходил вымаливать прощение «главный виновник», во второй раз, через неделю, семья двинулась с шаманом, но уже без ослабевшего после первого похода больного.

По описанию родителей, шаман, как и юноша в первый раз, пробиралась по глубокому снегу и молилась даже не на пределе, а за пределами человеческих сил. У неё судорогой сводило ноги, ей не раз растирали их, не раз она падала без сил, но поднималась вновь и вновь и упорно шла к цели. Добравшись до дерева, в конце страстной мольбы она уже не могла стоять и молилась лёжа в снегу, пока вдруг, успокоившись, не просветлела лицом. Все явственно услышали посреди леса звук проезжающей мимо телеги. Может быть, это был уехавший ни с чем мистический катафалк, а может быть, поехал, как раньше, в святые места Тибета князь-хозяин рода. Измождённая, шаман радостно объявила, что духи простили род и не требуют неподъёмную жертву.

В тот же вечер мать Даши, не дожидаясь результата, потрясённая мужеством больной женщины, отдала ей все золотые украшения, которые были в доме, хотя та не оговаривала и не требовала никакой платы. Впервые за многие месяцы предельно ослабевший юноша проспал всю ночь без малейшего беспокойства, а на завтра встал к обеду практически здоровым к неописуемой радости большой и дружной семьи, отстоявшей невозполнимую для близких и, как оказалось, для всего человечества, утрату.

Был момент, когда Даши, буквально воскрешённый, подобно святому Илье Муромцу, потеряв на больничной «печи» хоть и не тридцать, но всё же тогда ещё примерно пять безвозвратно улетевших, как ему казалось, непродуктивных лет, высказал свою печаль. Шаман утешила его, во-первых, тем, что раньше не смогла бы помочь и она, долгие страдания были предначертаны судьбой, а во-вторых, что он, едва поправившийся молодой человек, вынесший это тяжелейшее испытание, с лихвой всё нагонит. И действительно, у Даши вдруг открылись уникальные способности, но, правда, пока не художника, а скорей всего провидца. Он стал видеть биополя людей и мог узнать о любом самом сокровенном, в том числе и всё зло, которое человек совершил в жизни. Особенно страшно было видеть ему людей, чья жизнь запятнана чужой кровью. А таких в 90-е годы было немало. Но не судьбы Вольфа Мессинга, Джуны, а может быть, даже и Нострадамуса, жаждал для себя мужественный юноша, ни разу не паниковавший по поводу возможной смерти, но давно чувствовавший непреодолимую тягу к рисованию и к резьбе. Болея, он упорно занимался самообразованием, и помогала ему в этом ближайшая по возрасту старшая сестра Доржима, чуть не ежедневно славшая из Москвы письма, в которых пересказывала всё, что проходила в художественном училище. Поэтому Даши начал упрашивать шамана перенаправить это тяготившее его предначертание судьбы в русло художественного творчества. На счастье, шаману удалось справиться и с этой весьма непростой задачей. В девятнадцать лет теперь уже не мать, а сам, никому не известный молодой человек Даши Намдаков, в подтверждение давнего пророчества лам, которые до поры до времени от него хранились в секрете, получил поразившее его предначертание о том, что он добьётся на своём поприще мировой известности. Как видим, шаман не ошиблась, хотя, совершив этот подвиг во благо человечества, вскоре сама ушла из жизни, не дотянув даже до сорока лет. Может быть, в спасении для людей гения и было главное предопределение её очень нелёгкой судьбы.

Эту захватывающую историю из своей жизни поведал мне Дашинима, когда мы пробивались по трактам сквозь дымные завесы бесхозной российской тайги из его родного Укурика Забайкальского края в Улан-Удэ.

Беды и вершины стремительных лет

Как будто иронизируя над ситуацией, по радио в это дымное время победно рапортовали, сколько уничтожено тонн импортного продовольствия, а наши походные бутерброды были завёрнуты в августовский «Московский комсомолец» в Бурятии», с огромным заголовком «Россия жжёт, Россия давит». Несмотря на всё, наше восьмичасовое путешествие оказалось удивительно душевным. В очередной раз я убедился, что если кому-либо безусловно нравятся стихи, которые прочно поселились в моей памяти, то с таким человеком у меня совпадает и мироощущение, и совместимость оказывается такой, что можно хоть в космос, хоть в разведку. Даши открыл для себя Николая Зиновьева, Александра Вертинского. Понравились ему, извиняюсь за нескромность, и мои стихи.

В ходе неспешной беседы я с удивлением осознал, что, пожалуй, не встречал человека, с кем бы в такой полной мере совпадали мои взгляды на Божественную природу мироздания, на исключительную роль предков в жизни и судьбе людей, на катастрофически узкую и слишком прямолинейную дорогу человечества, вытаптывающего традиционную мораль, экологию, рвущегося к сверхпотреблению на основе безальтернативных видов используемой энергии и полезных ископаемых.

Даши согласился, что до сих пор человечество не попыталось выяснить Боже-

ственный замысел своего существования. Не для того Творец наделил нас душой и интеллектом, чтобы мы взорвали или другим образом уничтожили планету и себя самих, не умея создать ничего живого.

Нам обоим близка гипотеза о том, что космическое предназначение интеллекта в сохранении главного Божественного творения — «живой клетки», которая несёт в себе уникальную программу развития всех видов жизни на нашей и на других планетах. Клетки — это не люди и не собаки, для них не нужны огромные космические корабли. Для их перемещения в космосе, наверно, достаточно каких-либо лазерных лучей, а может быть, нужно просто обуздать имеющийся в природе «солнечный ветер» (не было же ведь когда-то и ветряных мельниц) или пролетающий по галактике «бесплатный и беспилотный транспорт» — метеориты и т. д. Бросали же наши предки когда-то бутылки в океан, почему бы и нам с помощью пролетающих мимо небесных тел не посылать весточки о себе и не спасать прародителей живой материи — вирусы, бактерии и выросшие из них живые клетки?

Для решения этих космических задач следует развивать и развивать человеческий мозг, его левое и правое полушария. А значит, нужна и математика, и искусство, и сохранение на долгие тысячелетия среды обитания. Следовательно, и общая межгосударственная демографическая политика, и обуздание потребления природных благ. Причём необходимо развивать у людей оба полушария. Кажется, по-настоящему этой проблемой озабочен сегодня только Китай. Там на правительственном уровне серьёзно поддерживают развитие живописи и других искусств. «Охотятся» они и за картинами прибайкальских художников. Если тормозить развитие одного полушария, то получим «хромоту» разума, и бег к вершинам знаний и любви будет невозможен, человечество, как хромой путешественник без компаса, побредёт по кругу. Похоже, что так оно и происходит в настоящее время. «Кнопочная» цивилизация и антикультура отупляют человечество. Накопление информации в мегакомпьютерах и в научных книгах — это далеко не то же самое, что развитие разума. Без эвристических открытий галилеев, коперников, архимедов, пифагоров и ломоносовых никогда не изобрести энергии, альтернативной электричеству или жутко опасному атому. На основе имеющейся копилки знаний мы не сможем разгадать, как древние строители поднимали каменные глыбы весом десятки, а то и сотни тысяч тонн. Есть гипотеза, что использовался звук множества голосов и музыкальных инструментов определённой частоты, перекрывающий силы гравитации. Мощными источниками непонятной энергии являются и египетские пирамиды.

После нашего многочасового диалога, в ходе которого мы передавали друг другу руль, на главные события своей жизни я посмотрел по-другому. Если у юного Даши был один жестокий и затяжной кризис, то у меня их было три, зато не таких долгих. Время между кризисами мне представляется отдельной, не похожей на другие, жизнью, каждая из которых позволяла взобраться на определённую вершину, правда, не мирового, а местного масштаба. Так что тянется за мной целый архипелаг...

У Даши же всего одна вершина, но зато до самых небес. Интересно, что с детства, может быть, со знакомства с героем замечательной трилогии Драйзера Каупервудом, мне всегда представлялись мои достижения в масштабах города. Звание Почётного гражданина г. Иркутска, которое имеют всего человек 35, собственно, и подтверждает достижение этой цели. Но, может быть, теперь и настало время осуществления новых мечтаний, связанных с моей прозой и галереей? Почему бы и нет.

Но вернёмся к моему открытию. Первая жизнь — жизнь студента-механика-машиностроителя закончилась сразу же после института с его Ленинской стипендией и напряжённой инженерной работой весь последний год обучения и во время диплома. Далее, работая руководителем, я опирался только на экономику и организацию труда. И никогда не возвращался непосредственно к инженерному делу. Этот этап оборвался

вместе с получением красного диплома и последовавшей за этим депрессией со страхами болезни и смерти, приведшими и к скачкам давления, и к острому гастриту, и к сердечным болям, едва не закончившимся инфарктом.

После каждого кризиса у меня рождалась любовь, резко в гору шли и дела, и творчество. После первого кризиса я стал самым молодым начальником цеха, захватывающие полёты были у меня тогда даже во сне. Я поразил успехами огромное девятитысячное оборонное предприятие, называвшееся для конспирации «Иркутский завод радиоприёмников им. 50-летия СССР». В это же время, когда мне было 24 года, родился и сынишка Андрей.

После жуткого второго кризиса, с гибелью сынишки и последовавшим за этим через несколько лет опасным желудочным кровотечением, родился Стасик, а позже образовалась новая семья с появлением в этом мире Полины и Даниила, расцвела также и фирма «СибАтом», а со временем вызрели и поэтические успехи.

И наконец, на новом сегодняшнем этапе — любовь с Ольгой, ставшей моей молодой женой, и создание с ней совершенно уникальной для нестоличного города «Галереи современного искусства», а также первое прозаическое произведение из двух книг о бизнесе и о судьбе.

Каждому этапу жизни соответствует и немало стихов.

Собственно, знаковым событием сегодняшнего этапа стало и знакомство с совершенно незаурядной личностью — Даши Намдаковым, чьи произведения буквально вдохнули душу в новую галерею, а его мысли и судьба всколыхнули мои новые чувства и укрепили веру, причём не на несколько минут, после которых «снова веру сомненья сомнут», как писал Николай Зиновьев, а думаю, что теперь уже навсегда.

У Даши одна вершина не только в творчестве, но, что особенно здорово и нечасто бывает в наше суетное время, и в семейных отношениях, и в любви. И сегодня, как я убедился, побывав в Укурике у «лондонца», тысячами нитей связанного со своей малой родиной, самые тёплые отношения со старинным другом и со всем его семейством. Кстати, трепетно относится к своей деревушке не только Даши, но и большинство жителей, хотя многие вместе с детьми живут в поджидающих их добротных домах теперь наездами. Многие сёла могли бы позавидовать их красочному, с душой сделанному дацану, и в ближайшее время будут завидовать новенькому клубу, который, так же как и дацан, возводится всем миром без бюджетной поддержки. Особенно мне понравилась подготовка к деревенскому сходу уважающих и, более того, любящих друг друга односельчан. А состояла подготовка в том, что солнечным воскресным утром все желающие подкрепиться перед деловым разговором запросто заходили на двор к Норбо, где на дощатом деревянном столе испускали призывный парок свежие позы из домашней свининки и радовали глаз сияющей разноцветностью овощи и салаты.

В ходе застолья было весьма интересно узнать по секрету от одной словоохотливой соседки историю любви Даши и его дорогой Татьяны, которую она в деталях знает, очевидно, не только из своих впечатлений, но и со слов кого-то из сестёр мастера. Она красочно поведала, как почти тридцать лет назад юные Даши и Татьяна заметили друг друга, будучи как-то в одной общей компании, где им не удалось познакомиться и даже обмолвиться хотя бы одним словечком. Всё решила следующая случайная встреча на улице, когда робкий юноша подошёл и неожиданно для самого себя, не очень красноречиво сказал: «Пойдём в кино!» — и Таня сказала: «Да!» Как вскоре выяснилось, «да» прозвучало не только в кино, но и в дальнюю дорогу по всей очень непростой жизни.

Судьбоносное знакомство произошло, когда с помощью шамана зарубцевались мигом все язвы и Даши был какой-то период времени абсолютно здоров. Но надо же было случиться новой беде. Через какое-то время после чудесного излечения множе-

ство грубых рубцов, годами охотившихся за жизнью, взбунтовались, и их грубая ткань почти уничтожила эластичную подвижность желудка, то есть перистальтику. И опять надолго обрушились новые страдания и жуткие неудобства совместной жизни. Но Татьяна без малейшего ропота вынесла всё. Юная, слегка избалованная студентка, на долгие месяцы стала и домашней медсестрой, и санитаркой, и сиделкой, пока Даши и врачи не решались на ещё одну, уже четвёртую операцию на израненной плоти. Но после долгих мучений на этой непростой операции окончательно завершился отсчёт семилетней болезни.

А тогда в океан любви чистой и полноводной рекой влилось на всю жизнь трепетно-терпеливое чувство жены-студентки, безгранично преданной больному в ту пору автору плакатов из простой, хотя и очень мастеровой семьи. Но от «трудов праведных», как повелось, к сожалению, у нас, не воздвигнешь «палат каменных». Татьяна же вошла в жизнь юноши совсем из других «палат». Она дочь партийного работника. А это при социализме была особая номенклатурная каста, которой, правда, не было в традиционном бурятском «табеле о рангах», где самым достойным считался род кузнецов — укротителей огня и металла. Таню ничто не могло остановить, и она упорно следовала голосу своего сердца.

В трудный период болезни поддерживали Даши и его одноклассники. Благо, группа художников в красноярском институте была всего человек семь. Повезло Даши и с настоящим Учителем, что в нашей жизни бывает не так уж часто. Им стал сильный педагог, а главное, настоящий Человек и скульптор, академик-секретарь Сибирско-Дальневосточного отделения Академии художеств СССР, народный художник РСФСР, лауреат Государственной премии Лев Николаевич Головинский (1929–1994). Уже по вступительному рисунку он отметил для себя огромный талант Даши и, несмотря на преклонный возраст и проблемы со здоровьем, остался преподавать, хотя в планах у него было другое.

Лев Николаевич восхищался необычной скоростью, с какой Даши усваивал материал и обгонял студентов и даже аспирантов по уровню мастерства. Уже за два года до окончания института академику было ясно — юный скульптор превзошёл всех, и дальнейшая его учёба бессмысленна. Тогда он утрясает вопрос в Москве, выделяет гениальному студенту отдельную мастерскую и забирает его досрочно готовить дипломную работу. При этом удовольствие от работы получали оба участника. Даши перенимал опыт, а не очень здоровый мэтр радовался, что может через своего подшефного с гениальной точностью выразить в произведении свои замыслы, которые, как стало ясно через два года, были последними. Полюбила юное дарование из Бурятии и даже нередко готовила ему диетические блюда жена мэтра, немка по национальности, замечательная душевная женщина, как вспоминал сам Даши, Энрика Эмильевна Эгерт.

Повезло Даши и в юную улан-удэнскую пору. Его привлекал у себя в мастерской и позволял следить за своей виртуозной работой другой замечательный скульптор, заслуженный художник РСФСР, народный художник Бурятии академик Геннадий Георгиевич Васильев (1940–2012). А ещё раньше, когда Даши был школьником и пропускал из-за болезни месяц за месяцем, с ним подружился простой, без регалий, но очень чуткий и отзывчивый человек, преподаватель литературы в интернате Николай Фасович Кряжев. Он привил пытливому школьнику любовь к русской и бурятской классической прозе и к стихам, но, что не менее важно, он буквально сражался с педагогическим советом интерната, чтоб они не травмировали больного подростка и не оставляли на второй год. Только благодаря его заступничеству, несмотря на огромное количество пропусков, Даши всё же вовремя закончил школу. Но аттестат аттестатом, а юноше предстояло после окончания школы решить ещё одну немаловажную задачу — ни много ни мало остаться в живых. С помощью не только лекаря шамана, родных, а

на финишном этапе и Татьяны, нестигаемый потомок рода кузнецов успешно решил эту главную задачу.

Немного о долгожительстве галереи

Богата бурятская земля талантами. Такой школы скульпторов, сохранившейся благодаря буддийской традиции украшать дацаны, нет в России больше нигде. Интересны скульптуры и других бурятских авторов.

Недавно в моей коллекции появились даже скульптуры драгоценной лошади, черепахи и белого тигра из серебра. Последняя соответствует знаку года моего рождения. Подарил их коллектив фирмы на мои дни рождения. Автор произведений — Дмитрий Будажабэ. Его творчество также близко к корневому восточному искусству. Но и он потихоньку перемещается из столицы Бурятии в Японию, полагая, что там, как минимум, будет выше уровень технологического воплощения его задумок в литье. Ещё недавно меня мучила мысль о возможной подделке скульптур. Но, во-первых, добиться качества лучших мастерских Италии и Японии практически невозможно. А, во-вторых, как по пуле легко устанавливается конкретный ствол, так и по скульптуре специалисты легко установят мастерскую, и мошенникам не поздоровится. Правда, в Китае пока нет соответствующего закона. Но солидный коллекционер не купит «фальшивый бриллиант». Сделать скульптуру недорого не получится. Бронзовое литьё по выплавляемым моделям, дальнейшая сборка и нанесение патины, придающей цвет, — весьма дорогое удовольствие, поэтому гнать подделки с сомнительным сбытом, но высокими затратами квалифицированного труда вряд ли кто и решится.

Разнообразие и уровень моей коллекции вселяет уверенность не только в её благотворном влиянии на душу, но и в её всё возрастающей ценности. Реалистическая школа особенно ценится сегодня, кроме России, в Америке и в Китае. В Европе же, видимо, несколько выше степень культурного «одичания», её буквально захлестнули, по сути, «прикольные» дизайнерские штучки — инсталляции. Но и там всё же есть интерес к настоящей живописи и скульптуре.

Важно проводить выставки в прославленных галереях мира. Такие выставки повышают статус и стоимость не только коллекции, но и значимость сибирских художников. Продажа некоторых работ — неоценимая помощь местным скульпторам, художникам, да и развитию самой галереи. Правда, окупаемых галерей в России не так много. Обычно они датируются из других видов бизнеса. Чего не скажешь, например, про лондонские галереи, где у некоторых владельцев есть если не персональные самолёты, то возможность нанимать индивидуальные чартеры, чтобы иногда привозить занятых нужных людей, например, Даши Намдакова.

Вот уже несколько лет у нас на фирме, как я уже отмечал, галереей занимается моя жена Ольга. Ранее не очень интересующаяся живописью, хотя мы и познакомились, и даже зарегистрировали брак в художественном музее. Имея инженерное и экономическое образование, она очень быстро проявила интуитивное врождённое чутьё к настоящему искусству. Если мне, чтобы определить ценность некоторых, особенно абстрактных картин, и через пятнадцать лет подчас необходимо несколько дней кабинетного соседства с полотнами, то ей часто достаточно нескольких минут. Поразительно, что её оценка практически всегда совпадает с мнением искусствоведов и других маститых экспертов. Приятно удивила она и неожиданно предложенным ею оригинальным планировочным решением офисных помещений, обеспечив не только окна для всех кабинетов, но и уютный круговой коридор для работников офиса, являющийся как бы продолжением галереи. Причём это было не просто абстрактное предложе-

ние, а весьма быстро выполненная на бумаге конкретная планировка, которую мы, восхищённые её творческим порывом, единодушно одобрили и воплотили.

Я не подозревал, что Ольга может так умело «говорить» на инженерном языке. Это моё третье удивление близким человеком. Много лет назад мы с первой женой Анной прилетели в Крым, и вдруг я услышал её беглый разговор на неведомом мне и, как предполагалось, ей тоже, украинском языке, аналогично в детстве я вдруг услышал, как бабушка заговорила на неведомом мне бурятском языке. Но главный вклад Ольги в организацию галереи в том, что она весьма смело и обоснованно подвигла меня расторгнуть на полпути контракт со слабыми дизайнерами и пригласила других, несоизмеримо более профессиональных. Впоследствии их проект галереи завоевал «золото» в номинации «Интерьеры» на XV межрегиональном фестивале «Зодчество Восточной Сибири» с участием лучших архитекторов Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Барнаула, Красноярска, Улан-Удэ, Читы и Иркутской области, а главное, в наших сердцах.

Несмотря на то, что с окончания института Ольгой минуло всего-то четыре года, кроме работы с живописью, она брала на себя и успешно справлялась с координацией всех работ по реконструкции здания, включая фасад. В перспективе всё, что связано с этим направлением деятельности, должно находиться, прежде всего, в её руках, включая и выставочные площади. Это должно быть отдельным предприятием. Думаю, целесообразно выделить галерею, офисы и рестораны при ней в отдельное предприятие и когда-нибудь, дай Бог, не скоро, передать Ольге не меньше 26% акций, а остальные разделить поровну между детьми. При таком раскладе кооперация её хотя бы с одним наследником позволит воплощать в галерее полезные решения и будет гарантировать её долгую жизнь.

Все дети и внуки, я убеждён, не должны терять связи с искусством и музеем-галереей, любовно создаваемым мной несколько десятилетий. Галерейная деятельность должна повышать имидж нашего рода как в родном городе, так в России, а может быть, даже и за рубежом. И дай Бог, чтобы у кого-либо из продолжателей рода была, как и у Дашиных, всего одна вершина, но зато до самых небес!

Виктор БРОНШТЕЙН



Глаголы Валентины Сидоренко

ОТЗЫВ НА КНИГУ «РУСЬ ЗЕМНАЯ»

И когда Блажий Дух в предрассветной поре
Сходит тихо с небес на поля и народы,
Его искры ловлю и росу по заре
Собираю в суму уже долгие годы...

Валентина СИДОРЕНКО

Прошедший 2015 год был объявлен президентом В.В. Путиным литературным. Насколько сам президент силен и понятлив в русской литературе и культуре, мы не знаем, но вектор развития определён верно, иначе получится, как сказано у поэта:

*А без корней беда неотвратима,
посохнет древо —
и по роду род,
по ветви ветвь,
жестоко и незримо
культура вымрет,
и умрёт народ...*

Это строки из поэмы Валентины Сидоренко «Письма другу», о которой ниже и пойдёт речь, точнее, о её творчестве.

В литературе нашей Иркутской области и, возможно, в России в целом произошло событие, пока малозамеченное и оценённое, тем более изученное, — это выход в свет книги Валентины Васильевны Сидоренко «Русь земная». Когда-то Валентин Григорьевич Распутин в центральной печати широко и лестно высказался о её творчестве. Он сказал, что в нашей литературе возникло новое яркое явление. Тогда Валентине Васильевне было менее двадцати пяти, сегодня — более сорока. Но автор «Руси земной» по-прежнему молода сердцем и душой. Она так же плодовита, искренна, точна и прозорлива, всё так же ответственна перед Творцом и русским Словом, только стала более мастеровита и более мудра, с глубоким познанием истории и православной Веры. Судя по книге, Валентина Васильевна — человек светлый, искренний, без тени лукавства. С такими общаться — за честь, хотя, бывает, не просто, и таить обиду за справедливую порывистую дерзость с её стороны, невозможно. По себе знаю.

Поэты бывают придуманные, выдающие стекляшку за яхонт, умозрительные, крикливо паркетные, книжные, страдающие эпигонством, подражанием, пишущие ради красного словца. И таких, как говорится, пруд пруди, ни мысли, ни чувства при прочтении не возникнет, только время потеряешь. Настоящих же, от Бога, — посчитать, и пальцев будет мало. Валентина Васильевна — поэт редкого дарования. Её творческий путь проложен от ощущений детства, проистекшего среди иркутских болот, до истинного познания глубинной истории. Этот путь красив, лиричен, трагичен, слит и переплетён с народной самобытной судьбой и отражён в книге, как в быте всей родной земли.

*Я входила в притихшие сёла.
Я заросшие зрела поля.
Мыслям-думам моим невесёлым
Эхом вторила наша земля.*

*Ясных предков любимая вотчина,
Богом выпестованная колыбель,
Синеглазая русогородчина
Застывала, как лебедь в метель!..*

*...Пуповиною связанный с Богом
Сквозь уклад деревенок и сёл,
Не забыл он родного порога —
В царство Божие верный посол!*

*Лишь его Богом свитую нить —
Не продать и не заложить!*

*Всё другое — и «анти», и «ино» —
Мёртвый смерч, Каинитова мгла,
Наркодолларовая трясина
Ядовито на люд истекла!*

*Мне пора! Уж темнеет. Мы странники!
Ты прохожей меня не считай,
Богоизбранные мы изгнанники
Апокалипсиса! Прощай!..*

Из поэмы «Егорьевское стояние»

Валентина Васильевна — странница, но её странствие особое: она странствует, творчески исследуя путь славянской Руси от начала шумерских времён до наших и будущих дней. О чём свидетельствует «Славянская книга», составляющая часть в «Руси земной». Настоящий поэт, чьё творчество отмечено редким талантом, как у Валентины Сидоренко, хотя бы одно стихотворение, хотя бы и полновесную книгу пишет какое-то время и всю жизнь, утверждая своё мировоззрение. Валентина Васильевна сильна Верой, и любое возникшее чувство, событие, происходящее в семье, в стране, в мире, она рассматривает в свете православного ракурса, потому прозорлива и точна, потому до скорби бывает сердобольна, до слёз терпелива и любвеобильна. Вот автор раскрывает суть Руси-славянки в поэтическом православном видении.

*Ты пройдёшь по Европам,
свои гены оставишь в наследство.
Тюрк, турок,
Хазарские царства пленишь,
Русской в север войдёшь,
Целомудренная, как детство,
Статию Всецарица,
Духом тайным, как грозная тишь.*

*...Оплошает твой князь,
брат предаст твой, и сын твой сопьётся.
Двинет силы нечистые
на тебя, как полки, сатана...
Встанешь ты пообочь
у развилок пустых и колодцев,
И в страде, и в войне,
и в сиянии чистом одна!*

Я нарочно начал путешествие по «Руси земной» с её поэтического окончания, с поэм, поскольку они, как у всякого истинного поэта, раскрывают главную суть худо-

жественного видения автора в его духовно-историческом контексте. Теперь же мы пропутешествуем по стихотворной канве от начала книги. Первый раздел называется «Лествица» — само название заключает в себе непостижимый образ духовного православного опыта в его вечном развитии, как для одного человека, так и для всей православной паствы. Лествица — это духовный запев для вхождения в книгу.

<i>В молитвенник вхожу</i>	<i>Канонов величавую ограду</i>
<i>как в край родной,</i>	<i>И древнюю,</i>
<i>Блудницею к Отцу,</i>	<i>как певчий Гамаюн.</i>
<i>припав в колени,</i>	<i>Цветущую, как</i>
<i>Нечистая от суеты и лени,</i>	<i>заповедь Блаженства,</i>
<i>Сметая прах</i>	<i>Долину</i>
<i>с души своей земной.</i>	<i>райской песни на Руси.</i>
<i>И со слезою детскою,</i>	<i>Вершины кондаков,</i>
<i>с отрадой</i>	<i>прокимнов совершенство —</i>
<i>По прописи</i>	<i>С незыблемым</i>
<i>славянской узнаю</i>	<i>«Восстани и Спаси»...</i>

Валентина Сидоренко всегда начинает с главного. Топтания на месте исключены, противоречия, как таковые, тоже. Только промысл Божий: заслужил — получи! И во всём глубинное высвечивание домостроя. Трагедия начинается там, где нет бережения Любви, и только потом — смирение: «Господи, помилуй!», «Восстани и Спаси!». Чтобы прочувствовать и понять творчество Валентины Сидоренко, несомненно, надо иметь определённую подготовку и какой-никакой жизненный опыт. Слишком высока её поэзия. Глубины откроются не сразу. Сколько в ней широкого напевного русского, сколько лирики, сколько любви, предельной ответственности перед словом, и всё это под Богом!

*Слишком сокровенно в жизни слово,
Просто так его не написать,
Оттого судьба витий сурова —
Углем жжётся, прячется, как тать!*

*Пусть же в этом мире всё изведает
Те, кто с Богом разрывают нить, —
По законам мира с его бедами
Без любви и песен не прожить!*

Поначалу думалось: чтобы мой оценочный отзыв не был сухим и голословным, детально представить книгу. Сие оказалось делом непростым. Пришлось бы о творчестве Валентины Сидоренко писать научный труд. Не сомневаюсь, в скором времени учёные-филологи этим займутся. Я же скажу, что книга «Русь земная» — как любимая женщина, к которой постоянно хочется возвращаться и открывать страницу за страницей, ощущая красоту и свежесть поэтической струи.

Обложка книги не кричит красками и заумью, как у многих нынешних поэтов, не мозолит глаза. Она по-монашески облачена в чёрную ризу, лицевая сторона символизирует врата, обрамлённые золотой мантией. Открывай, входи, живи и пробуй на вкус дым Отечества! Словом, форма достойно заключает и дополняет содержание.

В книге пятнадцать разделов, и каждый из них сопровождается изумительной графикой художника Елены Павловой. Остановимся на последнем, пятнадцатом, публицистическом, куда Валентина Васильевна включила «Возвращённые письма». Такой приём в литературе не нов, достаточно вспомнить Н.В. Гоголя, его «Выбранные места из переписки с друзьями», о которых в советской России старательно замалчивали. Хрестоматийный призор из творчества великого писателя в основном ревностно отслеживал «Мёртвые души». Несомненно, они удивительно живучи. Случилось как-то мне бывать

в одном совхозе в то время, когда разбиралось одно забавное дело: человек два года лежал в могиле и умудрялся «получать» зарплату. Но вернёмся к гоголевским героям из «Мёртвых душ». Разве собакевичи, коробочки, плюшкины и т. д. могли создать империю от берегов Балтийского моря до Аляски включительно? Николай Васильевич Гоголь, к сожалению, ни русского народа, ни России глубоко и широко не знал. Как говорит Валентина Сидоренко в «Возвращённых письмах», «в сатире всегда присутствует гордыня...», а она, как известно, причислена к первородному греху. Повторюсь, Валентина Сидоренко любой вопрос рассматривает в ракурсе православия, поэтому всегда убедительна и точна. Творческое становление Н.В. Гоголя она непредвзято проследила от пелёнок до его загадочной смерти. Оговорюсь сразу, «Возвращённые письма» психологически прописаны и выстроены тонко, о них не расскажешь, их надо читать. Кого-то они пригвоздят, кого-то перепашут, кого-то ошеломят, как меня, но отмахнуться не получится. Лично у меня они противоречий не вызвали. Отечество надо любить и уважать.

Публицистика Валентины Сидоренко сопоставима только с «Дневниками писателя» Фёдора Михайловича Достоевского. Несмотря на разные времена, в которых им довелось жить, исторические события, географию проживания, — по мировоззрению, по аналитическому уму они очень схожи.

Странно, что наша областная библиотека — любимая «Молчановка», не заметила книгу Валентины Сидоренко «Русь земная». Интересно, на какие оценочные критерии опирались господа «присяжные» в своих выводах, когда объявляли «Книгу года-2015»? Скорее всего по критериям семейной стенгазеты, где главный герой, он же автор, на берегу Байкала потёрся о пиджак одного именитого писателя, другого, третьего, пятого и т. д. и оставил об этом свои весьма поверхностные впечатления и воспоминания в простом стихотворном изложении. А всё ради того, чтобы показать свою причастность к большой отечественной литературе. А ведь, действительно, порой речь идёт о больших известных людях, без которых и нашу культуру представить невозможно. Но читатель не найдёт в этих личностях ни трагического движения во времени, ни раздирающих внутренних противоречий, ни раскаяния о пороках, ни богоискательства, словом, ничего такого, что бы составлял литературный портрет той или иной личности. Слукавили, господа «присяжные»!

И всё-таки, после такого необходимого отступления, приведу строки Валентины Сидоренко из стихотворения: «Мы живём хорошо»:

*И живём хорошо!
Крепко спим, просыпаясь для счастья
видеть травы и росы,
и молиться, чтоб дождик прошёл...
Ой вы сволочи мира,
уготованные для ненастий,
вам не ведать побед!
Мы умеем! Живём хорошо!*

*Потому, что душа
нам основа любого богатства,
Русский Дух драгоценней,
роднее пределов земных.
Мы пришли и уходим
в родимое Божие царство —
Родовую усадьбу,
наследие русских святых...*

«Русь земная» Валентины Сидоренко напитана светлым, солнечным чувством любви к Родине. Такие книги, как бесценные друзья, ниспосылаются свыше и на всю жизнь. В семье, как правило, они приобретают чин настольных и передаются потомкам на сохранность и воспитание. «Русь земная» — полновесный кирпич в фундамент русской, сибирской литературы и культуры. Семьсот двадцать полнокровных страниц света, смирения, печали и нетленной литургической радости как свидетели того, что мы были и будем на этой пусть поруганной, горной, болотной, равнинной, но горячо любимой нашей сибирской земле.

Василий ЗАБЕЛЛО

Чудеса без конца

Несколько слов о детской прозе Любови Кантаржи

Книги нашего детства с нами навсегда. Мы выросли, но помним о наших книжках — лучших — не предадут, это точно! — друзей нашего детства. Потом эти же книжки читаем нашим подрастающим детям, внукам, соседской детворе. И они непременно подхватят эстафету любви к художественному слову, к чтению, как и мы когда-то. Если хотите, то через детские книжки растёт и развивается, духовно и интеллектуально, не только отдельный человек, но и нация, страна, а то и планета вся.

Слова «чудеса без конца» — очень верные и ёмкие слова о детстве, о той поре жизни, когда с открытым сердцем ждёшь сказку, чуда. И сказки, и старые, и новые, непременно посещают нас, и чудеса случаются, как в сказках, так и в жизни самой. Случаются чудеса внешне простые, становящиеся привычными: ночь, к примеру, сменяется днём, явь — сновидением, дождь — солнцем, грусть — весельем — разве не чудеса жизни нашей? А случаются чудеса невероятные: собака неожиданно скажет тебе «Привет!», гадкий утёнок превратится в прекрасного лебедя, ты произнесёшь одно из волшебных слов, такое, к примеру, как «Прости», — и тебе непременно улыбнутся в ответ, и в твоей душе расцветут самые прекрасные цветы. Поистине, нескончаемы круговороты чудес, с которыми маленький человек встречается и в жизни, и в сказках.

«Чудеса без конца» — сказала о детстве писательница из Рязани Любовь Кантаржи, назвав так свою сказку-повесть, предложенную российским детям года два назад издательством «Зёрна-Слово». А в своей новой повести «Приключения Крылатика и Крапинки в Сказочном лесу» идейно и сюжетно продолжила рассказ о чудесах без конца. Маленькие герои этого увлекательного повествования «ныряют» из одного мира в другой: из своего дома — в сказку, в Сказочный лес. Приключений много, они рассыпаются перед нами красочными феерверками — автор находчива, обладает несомненным даром рассказчика, придумщицы. Но сюжетный блеск со страниц этой повести, полагаем, не ослепляет — и в прямом, и в переносном смысле слова — душу ребёнка, не забивает его интеллект всевозможной красочной, пёстрой словесной сорностью, к чему, к сожалению, так склонна современная массовая детская литература и ещё более массовая и завоевательная мультипликация, кажется, ставя перед собой цель, довольно убогую по своей сути, — прежде всего развлекать, потешать наших подрастающих чад. А то, что они способны к серьёзным размышлениям и чувствованиям, пренебрегается подчас напрочь, как какой-то смертный грех, порок, изъян. Детский писатель Любовь Кантаржи — чрезвычайно ответственный человек: чувствуешь в подтекстах её произведений, что она всегда настороже, что она переживает, заботится, как мама или бабушка, о своих юных читателях: что с душой ребёнка происходит? Не наврежу ли я ему чем-нибудь невзначай? Не уведу ли от вопросов жизни в банальность развлекаловки, а значит, в бездну пустоты, праздности, греховности?

Приключения, приключения от страницы к странице; однако в какой-то момент этих всевозможных забав её юный герой неожиданно задумывается: «Вовсе не обязательно слушаться тех, кто громче всех кричит! Нужно просто научиться делать правильный выбор, хотя порой это бывает совсем не легко». И мы, взрослые и дети, вослед о том же задумываемся вместе с её прозревающим героем. Нам, взрослым, незаметно и деликатно как бы предложено: поговори с ребёнком о прочитанном, направь его, станьте оба соавторами писателя. И таких предложений немало в повести. Одно из них, как Крапинка попадает туда, где ей становится неприятно, неудобно, но ради приличия нужно притворяться, терпеть. Однако — как вспышка в юном сознании: «Ты никому ничего здесь не должна! Слушай своё сердце!»

Воистину, воистину, слушай своё сердце, человек, в каком бы возрасте ты ни пребывал!

Героиня попадает туда, где властвует пустая жизнь, лживые привычки. «Зачем всё это?» — спросила Крапинка одного из тех, кто бесцельно проводит время своей жизни. «Тот пожал плечами и ответил: «Классно помогает убить время». Убить время? Но для чего? Крапинке, наоборот, всегда было жаль потерянного времени! «Убивать время, значит, уничтожать собственную жизнь» — всплыли в её памяти услышанные когда-то слова».

Наши слова и поступки, конечно же, *всплывают* в духовной и интеллектуальной памяти наших детей, ведут их по жизни, хотя нас, возможно, уже нет в этом мире. А художественное слово? Каковского заряда оно бывает?! Ого-го!

Но вернёмся к повести. В минуты гордыни, кичливости, порой захватывающей, словно бы в плен, наше сердце, сколь важно вовремя очувствоваться и сказать себе, как сказала наша славная, но слегка заблудившаяся нравственно Крапинка: «Осторожнее, девочка!.. Не стоит так хвастаться и гордиться своими успехами!» И далее в повести — по нарастающей, полегонечку подтягивая юного читателя к важным для него выводам и поступкам. «Так кто же здесь бесчувственное создание?» — промелькнула в голове беспощадная мысль. Она словно очнулась от дурного сна. Опрокинув стул, Крапинка кинулась к брату, прижала его к себе...

Разъединённые вихревыми событиями сказки и яви брат и сестра снова вместе. И прежде всего — сердцами вместе, познав в приключениях и треволнениях нравственные законы реальной жизни.

Сюжет повести построен весьма примечательно — события в книжной, как бы что ли придуманной, сказочной реальности — ну, придумываем же мы для себя иногда что-то, прячась от острых вопросов жизни в воздушных замках! — вернули наших юных героев в мир — подыскиваем наиболее верное слово! — *реальной* реальности, в котором предстоит жить по нравственным законам, которые мы поначалу отвергаем, притворяемся, что нет их, а теперь они стали *твоими*, органичными *лично* для тебя. И этот сложный, местами перепутанный переход автором обставлен драматургически блестяще. В повести действует один примечательный герой — книга-сказка, из которой дети как бы вырастают, прежде всего духовно. «Книга на полу начала расти. Она росла, росла... И вот уже не картинка, а комната — настоящая, в их собственном домике, выростала перед ними, и тётя Люба с улыбкой протягивала к ним руки!» Эта тётя Люба, думается, символически являет собой нравственный закон жизни, который в перипетиях приключений вызрел в сердцах наших юных героев. Этот закон состоит не из слов — он в чувствах и ощущениях ребёнка. Слова больше всего потребны, когда пришло что-то кому-то доказать, или когда невозможно молчать. Словами своё сердце не уговоришь! Но если всё же невмочь без слов, то, как утаенным подтекстом проходит в повести, — обратитесь за уточнениями к заповедям Христовым.

Несомненно, что повести Любове Кантаржи нужны детям: её герои на тридцати-сорока страницах растут прямо на наших глазах, при этом в невероятно захватывающем и душеполезном действии. Растут и духовно, и интеллектуально. А значит, помогают и нашим детям, вместе с другими героями хороших, просеянных временем книжек русской и мировой литературы, потихоньку и слаженно дорастать до нравственного закона человеческого общежития.

Только и остаётся пожелать: долгия лета вам, добрые книжки нашего детства!

Александр ДОНСКИХ

Размышления у парадного подъезда литературы

ЛИТЕРАТУРА КАК ПРОЦЕСС, КАК ПРИЗВАНИЕ ИЛИ КАК ПРИВИЛЕГИЯ?

2015 год был объявлен в нашей стране Годом литературы. Правда, каких-либо существенных подвижек в данном процессе и нашей страны, и нашего региона я, человек, серьёзно занимающийся литературой более трёх десятилетий, что-то не заметил. Всё было как обычно. Как в любой год. Литераторы в одиночестве, поскольку литературное творчество — ремесло весьма одинокое, корпели над своими произведениями. Написав оные, пытались (кто более, кто менее успешно) найти спонсоров, чтобы издать потом книги. И своими же книгами получить, в конечном итоге, «гонорар» в издательстве, не зная, куда потом эти книги девать. Как их продать? Настоящие писатели в большинстве своём люди весьма не практичные. Но не будем о печальном — мы же намерились поговорить не о судьбе писателей, а о литературном процессе в целом, со всеми его оттенками и нюансами, который как раз и можно оценить по выходящим книгам. А книг, в общем-то, выходило всегда и выходит доньше немало. Хотя настоящих художественных произведений в этом издательском море, как всегда, впрочем, единицы. Ибо художественное произведение — это весьма сложный процесс превращения реального жизненного опыта автора в искусство, то есть перевод эмпирического факта в факт художественный. И процесс этот часто необъяснимый. Поскольку в нём участвует и такое эфемерное явление, как вдохновение — нечто, сопрягающее мысль, чувство и волю (дух). Вот почему разорением собственного сердца платит литератор всегда за то, что он создаёт. Недаром же Гёте утверждал, что если мир треснет, трещина пройдёт через сердце Поэта. Да и большой шутник О'Генри писал: «Надеюсь, что между человеком и писателем никто не поставит знак равенства. Это совершенно разные люди». То есть и Гёте, и О'Генри имели в виду фактически одно и то же — некую исключительность личности пишущего человека, некую привилегию, данную ему, возможно, Творцом.

Что же касается прошедшего Года литературы — бог с ним. Год литературы прошёл, но литература-то, как некий неотъемлемый элемент культуры, осталась. Тем более что настоящая, большая литература — это, собственно говоря, всегда некое чудо. Ибо несуществующая до того, но обладающая собственным бытием реальность вторгается в привычный мир и изменяет его. Вот почему ту же Наташу Ростову, князя Андрея, Гамлета, Дон Кихота люди знают порою гораздо лучше, чем своих соседей, живущих с ними на одной лестничной площадке.

И в связи с этой сентенцией поговорим о том, что литературные герои не менее реальны, чем живые люди, правда, в очень хороших произведениях больших мастеров. Мне хотелось бы поговорить вначале о литературных вершинах, которые вершинами подчас вовсе и не являются. Речь пойдёт о наших соотечественниках, Нобелевских лауреатах в области литературы — писателях, пишущих на русском языке. Помните, кому в 2015 году присудили Нобелевскую премию в области литературы? Если не помните, я подскажу. Нобелевский комитет присудил данную премию белорусской писательнице Светлане Алексиевич. Правда, пишущей не на белорусском, а на русском языке, поскольку в Белоруссии 80% книг издаётся именно на нём. Следовательно, и премия присуждена, значит, фактически, русской литературе. То есть это

шестая Нобелевская премия писателям, пишущим на русском языке. А могла бы быть и седьмая... И тут самое время совершить некий исторический экскурс. Так, Лев Николаевич Толстой узнав о том, что Российская академия наук в 1906 году выдвинула его кандидатом на Нобелевскую премию, учреждённую, к слову, в 1901 году, тут же, причём в срочном порядке, отослал письмо своему знакомому — финскому писателю и переводчику Арвиду Ярнефельту, попросив того через шведских коллег «постараться сделать так, чтобы мне не присуждали этой премии», ибо «если бы это случилось, мне было бы очень неприятно от неё отказаться». Ярнефельт сие деликатное поручение графа Толстого выполнил, и премия была присуждена итальянскому поэту Джозуа Кардуччи, имя которого известно сейчас разве что только самым дотошным итальянским литературоведам. Думаю, что точно такое же скорое забвение ожидает и мою одногодку Светлану Александровну Алексиевич, поскольку её произведения, на мой взгляд, кроме, пожалуй, книги «У войны не женское лицо», нельзя, собственно говоря, назвать художественной литературой, когда автор рисует картину жизни словами. У нас в России не менее ста писателей, как минимум, пишут на таком же, а то и повыше уровне. А уж такие произведения, которые выходили из-под пера нашего земляка Валентина Григорьевича Распутина, и вообще недостижимая вершина для многих ныне пишущих литераторов. Увы, сей классик мировой литературы, ибо, как сказано, «поэты не бывают областными, как небо не бывает областным», ушёл уже в мир иной, и ушёл аккурат в Год литературы.

Анализируя часто совершенно непонятные для меня действия Нобелевского комитета, я прихожу к выводу, что и на сей раз, как, впрочем, неоднократно уже бывало, Нобелевская премия была присуждена белорусской писательнице не столько за её «высокохудожественные» произведения, сколько по политическим мотивам. А мотив этот один — ругай Россию и будешь обласкан Западом. Тем более что ныне деньги, а Нобелевская премия — это довольно большие средства, являются чем-то крайне желанным для очень многих наших сограждан — тружеников литературного цеха. Деньгам, как золотому Тельцу, многие в наше время поклоняются. И оттого многочисленные авторы, любых мастей и литературных направлений, стараются заполучить их в виде различных премий, любой ценой. В отличие от того же Льва Толстого, который свой отказ от Нобелевской премии впоследствии объяснял так: «Во-первых, это извело меня от большого затруднения распорядиться этими деньгами, которые, как и всякие деньги, по моему убеждению, могут приносить только зло...»

Однако с высот Нобелевской премии перейдём к высотам пониже. К премиям и премиантам российского уровня. Помните, кто в 2015 году проводил у нас в стране по своим произведениям «Тотальный диктант»? Правильно, Евгений Германович Водолазкин. Очень хороший писатель и учёный из Санкт-Петербурга. Хотя, на мой взгляд, нужно было в 2015 году проводить данный диктант по произведениям Валентина Григорьевича Распутина. Можно сказать, последнего классика наших времён. Но это уже отдельный вопрос, к устроителям этого самого диктанта, ставшего в нашей стране весьма популярным.

Не меньшей и притом заслуженной популярностью, чем «Тотальный диктант», обладает в нашей стране и сам Евгений Водолазкин... В 2014 году на даче я прочёл его книгу «Совсем другое время». И был восхищён и её безупречным языком, и весьма своеобразными, не похожими ни на что авторскими сентенциями, касающимися многих вопросов человеческого бытия. Некоторые авторские мысли так поразили меня, что я даже использовал их в моих произведениях, поскольку они были созвучны с моими самыми глубинными чувствами и ощущениями в восприятии этого мира и времени, в котором мы живём. И, используя многие его сентенции, я не угрызлся

совестью, поскольку это был не плагиат. Или, как говорила Жорж Санд, «взять чужое не зазорно, важно прибавить к этому свои проценты...».

В 2015 году, очарованный доселе неизвестным мне автором Евгением Водолазкиным, я решил прочесть и его весьма шумевший роман «Лавр», удостоенный к тому же Большой литературной премии. Речь в нём идёт о средневековом лекаре Арсении, ставшем впоследствии монахом Лавром, о его нелёгкой судьбе и преданной любви к жене Устинье, скончавшейся при родах. Сам автор называет своё произведение, состоящее из четырёх книг, «неисторическим романом». И открывает его «Прологом», что в переводе с греческого означает *введение, предисловие, предварительные рассуждения*. «Почему бы не сказать по-русски? К чему весь этот выпендрёж?» — как-то насторожился я, начиная читать книгу. Дальше — больше. И заявленная неисторичность романа начала проявляться то тут то там. Вот, для примера, лишь один такой эпизод, честно говоря, ошарашивший меня изрядно. Привожу его дословно (издательство АСТ, Москва, 2014; стр. 82, 5-й абзац):

«Из-под снега полезла вся лесная неопрятность — прошлогодние листья, потерявшие цвет обрывки тряпок (что уже маловероятно, ибо в средневековье ценился каждый лоскуток. — *В.М.*) и **потускневшие пластиковые бутылки...**» (выделено мной. — *В.М.*). Хочу напомнить, что действие романа происходит во время прогулки Арсения с его беременной женой в пятнадцатом веке! Что это? Невнимательность автора? Или что-то другое? О каких пластиковых бутылках (в пятнадцатом веке!) может идти речь?! Но ведь роман, прежде чем дать ему литературную премию, должно было прочесть немало народа. И не заметить такой вопиющий ляп? Конечно, можно предположить, что автор намеренно использует здесь приёмы постмодернизма, как бы утверждая, что из года в год, из века в век ничего не меняется к лучшему. Или герой романа — провидец и угадывает все эти реалии, более подходящие уже к нашим временам, своим мысленным взором. Но тогда это какое-то уж слишком мелкое, необязательное по логике повествования предвидение. А если это элементарный ляп, то как же его могли не заметить? И возникает мысль, что литературные премии, значит, это просто некий междусобойчик, и — всё.

Но продолжим разбор романа «Лавр», о котором многие говорили, что «это гениально!». Мне же так не казалось. Хотя бы из-за того, что язык, на котором говорят в нём средневековые герои, местами более похож на говорок одесситов, а иногда на язык хулиганистых парней из какой-нибудь тёмной подворотни. Вот лишь несколько таких примеров. «Вспомни, как было в Белозёрске», — спрашивает Арсения юродивый Фома. И сам же отвечает: «Оно тебе надо?» Ну, прямо Одесса-мама! Или вот ещё: «А теперь линияйте отсюда», — сказал юродивый Фома сёстрам» (женского монастыря). На вопрос же главного героя «Кто сей знающий тайны мои?» Арсений повернулся к Фоме: «Ты кто?» (Пунктуация и стиль автора сохранены. — *В.М.*) Юродивый ему чётко отвечает: «Х... в пальто».

Не решаюсь написать это «литературное» слово из трёх букв, полностью фигурирующее в произведении Евгения Водолазкина, и которое я впервые прочёл в нашем посёлке, где жили семьями, в основном, расконвоированные заключённые, в детстве на заборе. Но тут-то ведь не забор, а литературное произведение! Да, известно, что юродивые могли обматывать и царя, но разве нельзя этого избежать в художественной прозе? Я подчёркиваю, в художественной! — поскольку книга, удостоенная Большой литературной премии, именно таковой и должна быть.

Не устроило меня, и даже раздражило, и оформление книги. На обложке из зелёного лаврового листа пронзительным взором на нас с какой-то укоризной смотрит чей-то глаз. Не знаю, может быть, я чего-то не понимаю, но мне кажется, это уж слишком современно.

Если же анализировать все четыре книги, из которых состоит роман, то несомненной удачей автора, на мой взгляд, можно считать третью — «Книгу пути». В ней столько свежести, столько оптимизма, несмотря на все трагические обстоятельства жизни, описанные в ней, что её отдельно хочется перечитать. И, наоборот, совсем не хочется перечитывать первую и вторую — «Книгу познания» и «Книгу отречения». В них столько натурализма, прямо-таки какой-то животной физиологичности, особенно при описании родов Устины, а также серых тонов, что они почти заслоняют собой всё остальное повествование. И солнечный луч там так редок.

Да, не всегда бывают у автора удачи. И я очень рад, что последующая после «Лавра» книга Евгения Водолазкина «Совсем другое время» *совсем* иная.

Итак, прошлый 2015-й — Год литературы постепенно перешёл в другой год — обычный. Хотя, нет. Не совсем обычный, ибо 2016-й — год високосный. Значит, и жить мы будем дольше, хотя бы на один день. А если дни наши ещё наполнить и смыслом, то им вообще цены не будет! Помните, как писал Киплинг своему сыну из Индии в Лондон: «Наполни смыслом каждое мгновение — часов и дней неумолимый бег. Тогда весь мир ты примешь во владенье. Тогда, мой сын, ты будешь человек».

Задача читателя в нынешние времена уже не та, что стояла перед нами в нашей «самой читающей стране мира» — в 60–80-х годах прошлого века. У нас задача была где и как достать ту или иную *хорошую* книгу. Сейчас задача у читателя совсем иная — как *не купить* книгу плохую. Ведь прилавки книжных магазинов прямо-таки прогибаются от изобилия всевозможной с броскими обложками и заголовками книжной продукции, которую в подавляющем большинстве своём книгами, собственно говоря, назвать трудно. Ибо вслед за Золотым, Серебряным веком литературы нынешний век, начиная с девяностых годов века двадцатого, можно с полным основанием назвать «Веком макулатуры». И в этом море макулатуры легко заблудиться даже искушённому читателю. А тут ещё с недавних пор пошла мода на этикие книжные «кирпичи» — толстенные книги с перечислением на обложке всевозможных регалий и премий автора. И на эти блестяшки-регалии многие клюют, полагая, что не могут же человеку дать ту или иную литературную премию просто так.

И я однажды купился на броскую рекламу, прочитав на обложке более чем семисотстраничной книги Михаила Веллера «Легенды Невского проспекта», что книги данного автора так популярны, что их даже крадут в библиотеках. Купился! И — купил книгу. Прочёл её, вернее, с трудом дочитал до конца, пытаясь всё же выискать то редкостное, необычное, оригинальное, неповторимое, не встречающееся у других авторов, за что книгу хотелось бы «украсть». Но, к моему разочарованию, так ничего и не обнаружил, поскольку большинство повестей и рассказов в этой книге были построены на анекдоте, на анекдотичной ситуации или на каком-нибудь неблагоприятном поступке героя, чаще всего очень известного человека, о котором автор как-то разузнал. Но анекдот не может быть литературным жанром. А копание в чужом грязном белье, особенно знаменитостей, и вовсе неприлично. И выглядит мелко, гадко и пошло.

Есть ещё один способ завлечь читателя — это когда кто-то из знакомых советует тебе *обязательно* прочесть ту или иную книгу, восхитившую его. Вот и мне тоже мои знакомые порекомендовали прочитать «очень жизненную книгу о нашем времени» Юрия Полякова «Треугольная жизнь». В книге 1084 страницы. И эти страницы вмещают в себя два романа «Задумал я побег», «Грибной царь» и повесть «Возвращение блудного мужа». В наблюдательности, остроумии, самоиронии и знании современной жизни Юрию Полякову, лауреату всевозможных премий, редактору «Литературной газеты», автору нашумевших в своё время повестей «ЧП районного масштаба», «Козлёнок в молоке», не откажешь. И всё это в «Треугольной жизни» тоже есть. Но только

на этих основаниях не выстроишь ни полноценного романа, ни полноценной повести, поэтому и данная книга читается в лучшем случае как добротная публицистика или как бесконечная газетная публикация в тысячу страниц, повествующая во всех трёх произведениях о банальном семейном треугольнике. Когда дети вроде уже взрослые и самостоятельные. Когда жена прискучила, стала обычной и обыденной, а силы вроде ещё есть. И так хочется затеять «сначала жизнь» с симпатичной ровесницей дочери. Причём все главные герои в этих трёх произведениях примерно одного возраста — сорока пяти или чуть более лет. Все рано женились, причём по любви. У всех у них завелись подружки — ровесницы их дочерей и сыновей. И все они решают почти непосильную для себя задачу: «Что делать дальше?» Правда, справедливости ради стоит сказать, что в романе «Грибной царь» кроме всего прочего любовного антуража присутствует ещё и некий элемент увлекательного детектива, что весьма разнообразит эту вещь. Но всё равно действия героев и их поступки поразительно похожи, почти одинаковы. А глубоких чувств у них, похоже, и вовсе нет, ибо живут они как-то поверхностно. Подобно водомеркам, бегающим по глади пруда и даже не подозревающим, что под ними может быть большая глубина. И порою создаётся впечатление, что все эти три произведения написаны под копирку, а имена главных героев изменены лишь для того, чтобы читатель не догадался, что это одно и то же произведение, и ситуация та же, только декорации разные. Один успешный бизнесмен, а другой неудачник. И так эти герои похожи на кукол-марионеток, которых за невидимые нити дёргает автор-кукловод. Но в какое-то время начинаешь понимать, что и самому кукловоду это занятие — создавать некое действо — весьма наскучило. И он пишет будто бы только для того, чтобы поскорее дописать книгу до конца, навсегда потом распростившись и с нею, и с её героями. Оттого, наверное, и невероятное количество ошибок и авторских, и издательских в тексте.

Чтобы не быть голословным, некоторые из них приведу, как пример. Стр. 961: вместо слова *поканаем* — напечатано *покакаем*. Впрочем, от героев и этого порою можно ожидать. Но скорее всего допущена всё-таки опечатка. И это говорит лишь о том, что искусство книгопечатания превратилось теперь в ширпотреб. В некую гонку, когда тексты почти не вычитываются, а редакторы и корректоры порою отсутствуют вовсе. Но пойдём дальше: глава 25-я. В ней происходит беседа главного героя с его родным братом — полиглотом Фёдором, по совместительству ещё и алкоголиком. Фёдор то и дело перемежает свои витиеватые изречения латинскими фразами, в конце которых сверху, как и положено, стоят цифирьки: 1, 2, 3 и так далее, что обещает нам пояснение того, о чём, собственно, витийствует брат главного героя. Ведь разговор-то идёт важный, о главном — о цели жизни, её смысле. Однако никаких сносков ни на этих страницах (881–901), где происходит диалог, ни далее — нет как нет. Нет их и в конце книги. Вообще нигде нет!

А вот другой герой — из повести «Возвращение блудного мужа». Он, как пишет автор, «заскучал от изобилия, и не нашёл ничего лучшего, как пойти в политику». У Андрея Платонова, по-моему, сказано гораздо лучше: «Заскорбев душой от недоброкачества жизни...» Так вот, данный герой мысленно прокручивает свой предстоящий разговор с женой, от которой он собирается уйти, прожив с ней двадцать лет и вырастив сына: «В голове уже начали выстраиваться обрывки разговора с Инной. Он отмахивался от этих обрывков, убирал куда-то в глубь, но они снова вылезали наружу, как иголки из мозгов Страшилы — так вроде звали соломенного человека в «Волшебнике изумрудного рода»...» В таком маленьком текстовом отрезке и столько ошибок! Ну, во-первых, у Страшилы не было мозгов, и голова его была набита не иголками, а соломой. Значит, и иголки из его головы никак не могли вылезать. Что же

касается мозгов, то он о них только ещё мечтает, в надежде получить их от Волшебника изумрудного города. И книга Волкова, в которой про всё это написано, называется поэтому не «Волшебник изумрудного *рода*», а «Волшебник изумрудного города». И если предположить, что автор это делает намеренно, желая показать, что вот, дескать, какой туповатый этот герой, тогда можно объяснить и другой ляп, случившийся с другим героем и относящийся уже к произведению Пушкина «Евгений Онегин». А уж это-то произведение, пожалуй, даже самый *тупой* герой должен всё-таки знать более досконально. Хотя бы потому, что это, по словам Белинского, «энциклопедия русской жизни».

Но вернёмся к очередному герою уже из романа «Грибной царь»: «Башмаков к двадцатилетию свадьбы, учитывая профессиональные интересы супруги, вручил Кате фаянсовую иллюстрацию к «Евгению Онегину» под названием «Раненый Ленский»: молодой бакенбарdestый мужчина полулежит на ультрамариновом снегу, с грустью глядя на выпавший из его руки **наган**» (выделено мной. — В.М.). И хорошо ещё, что из его рук выпал не автомат Калашникова. Впрочем, ни АКМов, ни наганов, системы револьвер, в те времена попросту не было. Наган — изобретение бельгийского оружейника Нагана, и оно случилось гораздо позже событий, описываемых в «Евгении Онегине». Да и у Пушкина прямо сказано: «Поэт на снег роняет пистолет...» В общем, огромное количество ляпов можно перечислять ещё очень долго. Хотя книгу издало не какое-нибудь провинциальное издательство, а столичное «Астрель».

И ещё одно. Женщины, которых собираются бросить, в «Треугольной жизни» частенько прямо-таки заливаются слезами, но сочувствия к ним отчего-то нет. Может быть, оттого, что выглядят их страдания как-то ненатурально, наигранно, что ли? И сразу вспоминается Хемингуэй, который писал в книге «Праздник, который всегда с тобой»: «Я долгое время не мог понять воздействия на меня романов русских писателей, в которых при слове «зарыдала» у меня самого начинали чесаться глаза...»

Одним словом, «Треугольную жизнь» прочесть, конечно, можно. И даже с определённым интересом. Но вот перечитывать её вряд ли захочется. А это первый признак неудавшейся книги. С ней не жаль распрощаться. И хотя сам Юрий Поляков, оценивая роль книг вообще, писал, что «в книге есть всё, что нужно для жизни. И даже больше». Я этого, во всяком случае в данном его «кирпиче», не обнаружил, и читать его кому-либо ещё, как это посоветовали мне, не рекомендую. Всё-таки это не совсем художественная литература в её высоком предназначении. Или как на отпевании нашего великого земляка Валентина Григорьевича Распутина в храме Христа Спасителя сказал патриарх Кирилл: «Литература называется художественной только тогда, когда она создаёт яркий художественный образ в сознании человека. Она очень важна в формировании человеческой личности, потому что в отличие от других видов искусства в создании образа участвует не только автор, но и читатель». И продолжим мысль, душа, как более тонкий инструмент, чем чувства, на которых пытался скрепить своё произведение Юрий Поляков. Душа фальшь всегда чувствует и безошибочно определяет.

Слушайте голос своей души — она вас не обманет! А при покупке книги хотя бы бегло просматривайте текст. Художественный текст от просто текста всегда можно отличить. Поскольку, по словам Сергея Довлатова, «всякая литературная материя делится на три сферы:

То, что автор хотел выразить;

То, что он сумел выразить;

То, что он выразил, сам этого не желая.

Третья сфера наиболее интересна...»

В книге Юрия Полякова «Треугольная жизнь» третья сфера отсутствует начисто,

поскольку автор зачастую действует как рассказчик, или, точнее сказать, пересказчик чужой жизни и событий.

Снова сошлюсь на Довлатова: «Рассказчик действует на уровне слуха и голоса. Прозаик — на уровне сердца, ума и души. Писатель — на космическом уровне. Рассказчик говорит о том, как живут люди. Прозаик — о том, как должны жить люди. Писатель — о том, ради чего живут люди». Более того, у настоящего писателя, о чём я уже вкратце упоминал, персонажи почти всегда неизменно выше своего творца. Хотя бы потому, что с определённого момента не он уже ими распоряжается. Наоборот, они им командуют. И именно тогда нити кукловода не видны, поскольку их вообще нет. Персонажи живут своей собственной жизнью. В этом и проявляется настоящий талант писателя. Ибо талант — это способность делать то, чему вас не учили, или чему невозможно научить. Талант — он либо есть, либо его нет.

Настало самое время перейти ещё к одной сфере — околολитературной. Такой, как графомания. Когда человек искренне полагает, что писать очень легко. Надо просто сесть за стол и начать это делать, даже не подозревая о первом невидимом «риффе», подстерегающем любого пишущего человека. О том, что *слово всегда метит мысль клеймом неточности*. Итак, поговорим о графомании. Я, например, знаю, поскольку не менее пяти лет вёл литературное объединение при Союзе писателей России, немалое количество стопроцентных графоманов. Особенно среди молодых людей, у которых ещё нет никакого житейского опыта. Отчего раньше и в Литературный институт новоиспечённых выпускников школ не принимали: считалось, что человеку надо поднакопить жизненного опыта. И если человек приносил на творческий конкурс свои незрелые произведения, о нём говорили, что это «человек с душой, вычитанной из книг». О современных молодых графоманах можно сказать, что это люди с душой, высмотренной из телевизора или компьютера. Однако встречал я графоманов и среди членов различных — таких многочисленных ныне! — Союзов писателей. Люди издали свои книги, являются членами творческого Союза, но писателями по большому счёту так и не стали. Но самое печальное зрелище представляют люди, достигшие немалых успехов в какой-нибудь сфере деятельности, и вдруг — как правило, это всегда бывает вдруг — возмнили себя писателями. Нередки среди них люди весьма состоятельные. Я знаю как минимум нескольких таких. И если обычный графоман, у которого нет денег, вряд ли сможет издать свои книги, то человек, стоящий на высокой ступени социальной иерархической лестницы, это может сделать без труда. А поскольку уровень самолюбия у таких людей достаточно высок, то им бывает даже трудно представить, что они не смогут достигнуть такого же успеха в литературе. И искренне удивляются тому, что их произведениями не восхищаются профессионалы. Я порой с грустью думаю, что они все, в сущности, хорошие люди — трудолюбивые, упорные, но вот если бы они не писали — цены бы им не было! И как им объяснить, что литература — это не хобби. Это служение, которое нельзя делать по остаточному принципу. После основной работы. И что на это служение нужно положить всю свою жизнь, свою судьбу. Тогда, возможно, что-нибудь получится. Хотя стопроцентной гарантии нет. Конечно, исключения в литературе бывали: это и тот же Ринг Ларднер, всю жизнь работавший репортёром, и Чехов — земский врач, и Шишков, и Гарин-Михайловский — железнодорожные инженеры. Но исключения такие всё же очень и очень редки.

И в заключение я хочу коротенько сказать о тех авторах и произведениях, которые меня в последнее время поразили. Я бы порекомендовал каждому прочесть книгу Валерия Попова, ставшего для меня открытием, писателя из Санкт-Петербурга, «Третье дыхание», выпущенную в 2015 году издательством «Сапронов». Книга очень горькая,

но написана с такой верой в человека, в его достоинство, что сразу вспоминаются слова Эрнеста Хемингуэя из его повести «Старик и море»: «Человек не для того рождён, чтобы терпеть поражение». Вот и в этой книге, состоящей из трёх повестей, жизнь как бы пробует главного героя на излом, практически не оставляя ему никаких надежд в сложившихся у него жизненных обстоятельствах. Главный герой — альтер эго самого автора — не опускает рук и даже одерживает иногда победы. Более того, он находит в этих, казалось бы, безвыходных ситуациях что-то позитивное, как бы посмеиваясь и над собой, и над обстоятельствами, с присущим автору добрым юмором и самоиронией. «Третье дыхание», на мой взгляд, книга о мужестве человека и его стойкости при любых обстоятельствах. Недаром же и свою первую книгу, написанную В. Поповым, кстати, приятелем Иосифа Бродского, в двадцать три года, в семидесятых годах прошлого века, он назвал «Жизнь удалась!».

Ещё я посоветовал бы вам прочесть книгу нашего земляка — поэта Григория Вихрова, ныне живущего в Москве, где и вышла очередная его книга избранного «Цыганские ворота». Когда читаешь его книгу, то создаётся впечатление, что Григорий Вихров не пишет, а дышит стихами. Так и хочется сказать словами Ивана Алексеевича Бунина: у Вихрова «лёгкое дыхание». И каждая строка в его стихах не просто однозначна, она художественно многопланова. И содержит в себе множество смыслов и ассоциаций, порою необъяснимых. Мне кажется, что книгу Григория Вихрова, и по прекрасному её оформлению, и по содержанию, не стыдно поставить на полку рядом с Блоком, Гумилёвым, Северяниным, Цветаевой...

Владимир МАКСИМОВ

По следам публикаций

На белом свете... завтра

ЗАМЕТКИ О БИОГРАФИЧЕСКОМ ПОВЕСТВОВАНИИ АЛЬБЕРТА ГУРУЛЁВА

Биографическое повествование Альберта Гурулёва «На белом свете, недавно...», опубликованное в №1 «Сибири» этого года, не столько о жизни автора, известного сибирского писателя, сколько о нас и о нашем будущем. Что будет на белом свете завтра определяет недавнее и давнее прошлое каждого, присутствующее в прошлом страны рождением или предрождением в планируемой встрече родителей. В нынешнем огородно-дачном сознании будущее определяется всхожестью семян, и это возвращает нас к первородному значению древнегреческого слова «культура» как искусства возделывания земли и получения урожая. Культура с доминантой памяти и преемственности обеспечивает выживание рода, народа, страны, их благополучие. Всхожими семенами с сердцевинкой будущего являются воспоминания Альберта Гурулёва.

«Вечная душа» открывает повествование, она раздвигает границы времени, задает особые координаты, соотносимые с христианской картиной мира. Августин Блаженный в своей «Исповеди» (IV–V вв.) один из первых в христианстве старался ответить на вопрос, что такое «вечность», как она соотносится с временем. Августин молит Бога раскрыть ему эту тайну. Но вместилища ли она в человека? «То, что было произнесено, не исчезает; чтобы произнести всё, не надо говорить одно вслед за другим: всё извечно и одновременно», — утверждает богослов. В христианстве вечность — это одновременное присутствие всех времён — прошлого, настоящего, будущего, взятых в едином сосуществовании. Как назвал это в XX веке М.М. Бахтин, «вертикальное время». По Августину, ощущение вечности требует особого состояния души — неподвижности человеческого сердца, успокоенного в длительности мгновения.

Сложенное в складки время в повествовании Альберта Гурулёва позволяет читателю свободно перемещаться по прошлому, настоящему, будущему. Это внутреннее время автора, куда он открывает «солнечную дверь». Она распаивается — и читатель путешествует. Происходит это не из любопытства ищущего развлечений туриста, а по требованию совестливой памяти автора, высвечивающей фрагменты воспоминаний — далёкие и близкие. Далёкое словно притягивается, становится ближе, родней. События прошлого ощущаются фрагментами биографии самого читателя. Возможности перемещения автора в собственном биографическом пространстве велики — преодолевая границы жизни, писатель выходит в детство своего отца, бегущего мальчишкой по спуску к реке Аргунь, чувствует, как «гудит степь под копытами конских табунов» забайкальского казачества, видит неродившихся внуков своего деда, живущих на своей земле. Стыки прошлого и будущего — «узлы <...> в местах сращения». Прошрое, настоящее и будущее переплетаются так, что «мнилось, что к земле приник не двадцать первый век, а девятнадцатый, а всё нынешнее лишь приблизилось в горячечном нездоровье».

Забайкалье прежнее, с трудом на земле старого и малого, согласным житьём людей и природы, благополучием во всём, зеркально современному Забайкалью. Начало повествования противопоставлено концу. Прошрое смотрится в настоящее. Но что

оно видит? Путь в Забайкалье равносителен дороге в Зазеркалье, с «пустыми промоинами окон, рёбрами голых стопил — как после бомбежки» — бывшими колхозными и совхозными фермами. Нет табунов лошадей, нет овечьих отар, исчезли стада коров и коз. С горьким сожалением писатель сравнивает то, что было, с тем, что есть. Современность воспринимается как разрушенное благо. Но понимаемые и принимаемые утраты и несостоявшееся настоящее — это как бы желаемое будущее, которое торопится им быть, готовится им быть уже одним ощущением возможного. «Воспоминания о небылом, о неслучившемся в твоей жизни» как обещание будущего.

Изба с вывороченными полами и опилёнными углами, пожалуй, самый сильный образ разрушенной России в повествовании. Вряд ли любые реконструкции и евро-ремонтные скроют эти опилённые углы, восполнят утраты и потери XX века — материальные, человеческие, духовные — нашего общего дома. Это особенно ощутимо сейчас, в постперестроечные годы, когда результаты многочисленных «перестроек» прошлого века налицо. Но дом стоит, слава Богу, какой есть, и нам в нём жить.

Свет наполняет повествование. Он — в белом свете названия и в белом свете дня, в светоносной песне забайкальских казаков, в солнечных днях рыбалки, и даже в имени жены писателя — Светланы. Это семантические рифмы текста. Свет оправдан и искуплен страданием, голодом, прощением обид. Пройдя через разрухи и невзгоды, душа хранит себя только этим. Свет в повествовании Альберта Гурулёва — собственно, и есть художественное воплощение памяти, властной либо осветить, либо покрыть тьмой прошлое. Свет — спутник главного героя повествования — любви к родному, к «своей земле, своему небу, своим людям». Освещённая любовью автора история освящается.

Свет определяет структуру повествования, его динамическое целое. От трагических событий революции, раскулачивания, паспортизации, коллективизации в судьбах своих прадедов и дедов писатель переходит к рассказу о собственном военном детстве, о том, что больше всего мучило в те годы детей и взрослых — о голоде. Важнейшие вопросы воспитания мужчины поставлены в главе «Война и школа», в которой способы наказания за проступки директором школы объясняются не столько строгостью военного времени и безотцовщиной, сколько необходимостью дать почувствовать будущему мужчине ответственность и справедливость. В нынешней ситуации отсутствия мужской твёрдости в воспитании мальчиков подобные рассуждения чрезвычайно актуальны. Глава «Без названия» выводит читателя из прошлого в современность, а следующая глава «Два эпизода» вновь возвращает в военное детство автора. Свет памяти открывает путь к восприятию жизни как таковой, принимая и прощая прошлое, принимая с благодарностью наследство прадедов, дедов, отца, трагическое наследство страны.

В золотом сечении повествования, как бы невзначай, появляется «Сказка о золотой рыбке». И хоть рыбка в ней не золотая, а серебристая, чудо в ней всё-таки происходит. Глава построена тоже по зеркальному принципу и ставит друг против друга рыбалку ради жизни, в которой вольная рыбка вольна попасться на крючок или нет, рыбалке как игре, в которой уродуется и рыба, и человек. Американский «аквариум» не прельщает русского человека обманом и комфортом, искусственное не может стать заменой настоящему. Глава чудесна уже тем, что сама излучает свет. Всё, о чём пишет автор, пронизано солнцем («в солнечные дни», «на солнцепёке», «в солнечных бликах»). При этом она открывает самое сокровенное в воспоминаниях — чудо в ощущении радости жизни, красоты природы и неприятие подделки, фальши, прихоти купленного удовольствия.

Второй круг воспоминаний как конспект жизни рода возникает ночью на реке Аргунь в свете молний при грохоте грома. Гром и молния художественно параллельны суду природы над человеком, сознательно разрушившим слагаемую долгими веками гармонию труженика и земли-кормилицы. Вину за это чувствует писатель, исторически не причастный к содеянному. Его память ищет оправдание в народной правде, по которой в тяжёлые годы жертвами становятся самые чистые и умные, способные дать другое настоящее и другое будущее. Возвращение воспоминаний отражает непрестанные круговращения памяти, неусыпной совестливой работы души. Повествование заканчивается рассветом, светом пробуждающегося дня, и... тихим дождём, словно покаянными слезами человека о несостоявшемся. Рассвет как обещание нового, пробуждение «завтра». Художественный мир автора точен метафорами, опирающимися на фольклорные традиции русской культуры.

Стиль писателя — свободный, лёгкий, текучий — подобен чистым, струистым водам рек Забайкалья и Сибири, которые он с такой любовью описывает. И в этом близость к литературной традиции России. Искренний и искристый стиль, словно с солнечными бликами на текущей воде. С перекатами возмущения, горечи, тревоги, с тихим течением радости, доброй и тонкой улыбки. Лиричность биографической прозы позволяет увидеть самого писателя, лишённого в этом случае возможности выразить себя в разных персонажах, раствориться в воображаемом сюжете. Так же, как он раскрывает себя в другом биографическом повествовании, воспоминаниях о В.Г. Распутине и пятидесятилетней дружбе с ним. Цельность и внутреннее согласие отличают текст. И в этом тоже весь автор, мудрый, совестливый, прощающий.

В современном мире, где многие бросились зарабатывать и развлекаться, обманывая себя и других, почти уже не слышны слова о совести, чести, стыде. Об этом стало стыдно говорить и даже стыдно думать. Но так, возможно, было и всегда. Августин Блаженный, скорее всего, не рассчитывал на читателей, когда писал свою «Исповедь», он писал её для себя и Бога. Но дал мощный импульс жанру на последующие полтора тысячелетия. Сквозь собственный жизненный путь богослов разглядел возможность прикоснуться к Вечному. «Кто удержал бы человеческое сердце: пусть постоит недвижно и увидит, как недвижимая пребывающая вечность, не знающая ни прошедшего, ни будущего, указывает времени быть прошедшим и будущим». Стояние в понятиях верности роду, родной земле, совести и чести обнаруживают в прозе Альберта Гурулёва саму сердцевину — прикосновение к вечности, непреходящему. Способность автора подняться над временем, над сегодняшним днём, назойливо требующим внимания, выпячивающим сытость, комфорт, развлечения, позволяет читателю увидеть собственную «солнечную дверь» в будущее.

Парадигма боли

Есть что-то общее, что объединяет рассказы Надежды Дегтярёвой, опубликованные в №1 «Сибири» за этот год, в единый сюжетный сгусток — возможно, это повествование о боли. Физические, душевные страдания героев раскрывают многомерность боли человека вообще: физическая боль сплетается с душевной в рассказах «Чужой бог», «Падучая», душевная — с целительными силами природы, отношениями близких людей — в рассказе «Таёжный чай». Выраженная по-мужски скупой, боль присутствует в каждом рассказе, управляя его развитием. При этом она, почти лишённая надежды на исцеление, в первых рассказах («Чужой бог», «Падучая») сменяется

надеждой на обретение счастья и полноты бытия в рассказе «Таёжный чай», и в такой внутренней развёртке творчества — тонкое чувство редактора.

Рассказ «Дом» не стоит особняком, он тоже часть парадигмы боли. Андерсеновская традиция очеловечивания предметного мира свежо и органично сливается в рассказе с приёмом остранения, открытым структуралистами. Возникают два переплетающихся пласта повествования, которые развиваются параллельно и создают большой мир маленького рассказа. С одной стороны, мы участвуем в жизни Дома с его рождения до умирания, с другой — наблюдаем жизнь людей, жильцов этого дома. Сплавленные в единый сюжет, две линии формируют объёмность повествования, его многомерное видение. Остранённость — повествование от лица Дома — позволяет быть невключённым в конкретные детали происходящего, и даже не знать имён людей-персонажей рассказа. Это и не важно. Обобщённость повествования обостряет трагизм, выделяет главную, бытийную линию жизни вещей и людей, которые в какие-то моменты согласованы, а в какие-то разъединены, конфликтны. Самозабвенная сопричастность и преданность Дома контрастна неблагодарности, нечуткости, предательству человека в конце произведения.

Боль Дома сродни распутинской избе в повести «Последний срок», где изба соединена с образом старухи Анны в метаметافору «изба-мать». Изба в «Последнем сроке», по ощущениям приехавших детей, является телом матери: «по полу надо было ступать осторожно, чтобы не стало больно матери, а то, что они говорили ей, удерживалось в стенах, в углах — везде», словно пол, стены и всё пространство избы являются родной плотью. Изба в повести Валентина Распутина, телесно и душевно равная старухе Анне, становится метафорой матери, носящей в себе ребёнка.

Оживлённый чувствами Дом в рассказе Надежды Дегтярёвой олицетворяет мир материнской любви и заботы о человеке. Дом эмоционален, воспринимая всю палитру человеческих чувств — от радости до страха. Он чутко отражает в себе все перемены, которые происходят в жизни хозяев, растёт, взрослеет, мужает. Дом становится мудрее, надеясь на согласную мудрость людей, которых он согревает и хранит. Своих жильцов он чувствует через прикосновение к себе — по шагам — тяжёлым, лёгким, шаркающим, они помогают определить возраст хозяев. Маленького ребёнка ощущает по шагам-топотушкам, бегу, колупанию стен, стуку об углы, спотыканию на пустом месте. Эта «новая жизнь» не видима для Дома, она не имеет для него имени и образа, но воспринимается им по собственным «телесным» знакам. Вживание автора в образ Дома достигает полноты в описании побелки, воспринимаемой Домом как щекотка, затем переполняющей его радостью чистоты. Происходит взаимодействие, взаимообмен заботой и вниманием с человеком — Дом-защитник на время становится ребёнком. Это согласие с человеком-хозяином однажды прерывается. Торопливые удары молотка наследника реминисцентны ударам топора в «Вишнёвом саде» и выдают торопливую скрытность предательства.

Изумительна психологическая и метафорическая соотнесённость умирания Дома с прогрызенными мышами стенами, запахом плесени, разрушениями от пыли, ветра, дождя. Нетопленная печь-сердце Дома перестаёт биться и наполнять теплом его больное тело. Капли дождя сквозь размытую крышу усиливают метафорическую тональность — это уже плач умирающего, состарившегося раньше времени, забытого человека, простившего всё тем, кто был ему дорог.

Изображая чужую боль, автор, безусловно, выражает свою собственную, присутствующую в каждом вздохе текста. Боль автора за русского человека звучит по-распутински тихо и пронзительно. Телесные страдания человека и восприятие им чужого

как родного в рассказе «Чужой бог», неумение устроить семейную жизнь и ожидание счастья в рассказе «Таёжный чай», терпение, прощение и неблагодарность в рассказе «Дом» передают парадоксы характера русского человека. Вместе с тем наполненность души надеждой, ласково звучащей в имени самой писательницы, дарит в рассказах ощущение просветлённости и тепла. Это как раз то чувство сопричастности ко всему живому, которое ещё позволяет человеку оставаться русским.

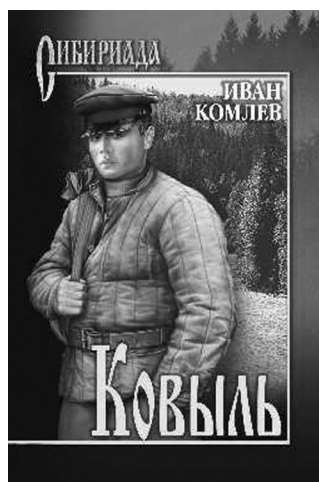
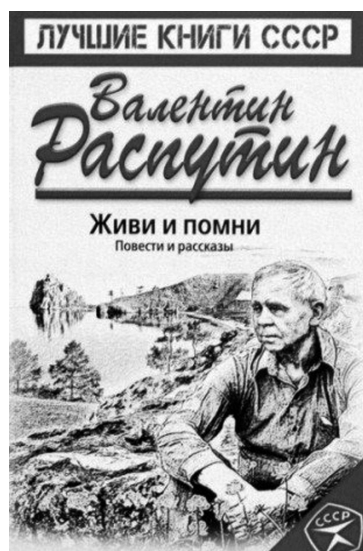
Боль получает обобщённое значение. Она прорывается сквозь сюжет и выходит на другой уровень изображения. Боль за Россию, за её неприкаянность и житейскую неустроенность держится на любви автора к миру и человеку в нём. Писательница вновь открывает нам чуткость и тревогу за нас родного Дома, целительность отношений близких людей, радость встречи с сибирской природой. Дом-Земля-Природа с сердечной заботой о человеке, разрушаемая им и умирающая, в рассказах Надежды Дегтярёвой все ещё надеется на его ответную благодарность.

*Валентина ИВАНОВА,
кандидат филологических наук,
кандидат культурологии*

Новинки — 2016

Александр Солженицын назвал Валентина РАСПУТИНА «нравственником». Точнее не скажешь: вопросы нравственности составляют самую суть, образуют главный нерв прозы Распутина-писателя. Его повести и рассказы, которыми он с самого начала сражался за русские традиции, обычаи, язык, землю, по праву составляют золотой фонд отечественной литературы. Живым и точным, ярким и образным языком творил Валентин Распутин музыку родной земли и своего народа, стараясь передать читателю главную способность своих героев — ощущать «бесконечную, яростную благодать» мироздания, «все сияние и все движение мира, всю его необъяснимую красоту и страсть...».

В эту книгу вошли лучшие повести и рассказы писателя: «Живи и помни», «Деньги для Марии», «Уроки французского», «Василий и Василиса», «Век живи — век люби» и другие.



Иван КОМЛЕВ вошёл в сибирскую литературу сразу и прочно. Его повесть «Ковыль» — история подростка Серёжки Узлова из глухой таёжной деревушки, отправленного на лесозаготовки, в помощь фронту, и прошедшего такие испытания, что и взрослому не по силам, — в одночасье поставила автора в один ряд с такими известными писателями-сибиряками, как Альберт Гурулёв, Александр Вампилов, Станислав Китайский. Повесть «У порога» — о самоотверженности простых крестьян, даже ценой собственной жизни спасающих посевное зерно от военной «продразверстки» ради будущего урожая, принесла Ивану Комлеву общероссийскую известность. А за повесть «Когда падает вертолёт», в основу которой положена реальная трагическая история экипажа вертолётной лесной авиации, потерпевшего

крушение в таёжной глуши, автор был удостоен премии «Золотое перо России».

Михаил ТАРКОВСКИЙ, лауреат премии «Ясная Поляна» и премии им. Антона Дельвига, бесспорно, один из самых заметных русских прозаиков нашего времени. И один из самых потаённых. Книги его выходят нечасто, но каждая из них — настоящий подарок тем, кто ещё не утратил литературного вкуса и чутья. Роман «Тойота Креста» впервые выходит целиком (издательство «Эксмо»). Прежде печатались только первые две его части. Этот роман имеет все шансы прослыть через время великой книгой о любви. Захватывающая история о взаим-



ном необъяснимом притяжении гламурной кинематографической москвички и сибиряка-водителя захватывает с первых страниц. Тарковский открывает нам волшебные кладовые сильных эмоций настоящих русских людей, описывая их с мастерским психологизмом и в необходимом темпе. Его текст кристально чист, но в этой чистоте не дидактический покой, а постоянное движение, меняющееся от хаоса до гармонии на расстоянии нескольких абзацев. Влюбляя своих героев друг в друга, писатель словно скрепляет разные части России, находит код подлинного народного единения, происходящего не из геополитической необходимости, а из прояснения в себе настоящих чувств, свободных и природно насыщенных. Немаловажную роль в системе образов романа играют дороги. Русские трассы здесь не только паутина на карте — это артерии нашей жизни, суть обнажённой натуры, всё время пытающейся объять необъятное. После прочтения этой книги понимаешь, что секрет настоящей русской литературы по-прежнему лежит вдалеке от издательской и общественной суеты, и чем выше градус писательского сосредоточения, тем сильнее читатель тянется в его мир, тем объёмней встраивается в него и ощущает его своим.

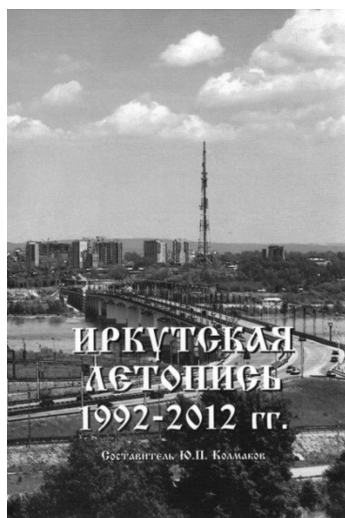


Маятник бизнеса: между орденом и тюрьмой Лабиринты судьбы: между душой и бизнесом

Виктор БРОНШТЕЙН, автор этих книг, не только член Союза писателей России, но и учёный-социолог, а также предприниматель с большим опытом работы в промышленности и в бизнесе, страстный коллекционер современной сибирской живописи и скульптуры. Захватывающие, как иной детектив, бизнес-истории с бандитскими опасностями 90-х и нынешних годов, с предательством и обманом близких помощников и партнёров, как российских, так и зарубежных, со взятками и налоговыми проверками переплавляются в душе автора не только в стрессы со скачками давления и бессонницей, но и в радости одержанных побед и весомых приобретений. Кризис 2014 года, названный в книге украинским-мировым, впервые за 25 лет поставил вопрос о продаже или закрытии

большей части бизнеса. Но как это совместить с судьбами любимых людей, со многими из которых отработано более десяти, а то и двадцати лет? Смягчают неприятности разве что весомые правительственные и местные награды, но не за достижения в бизнесе, где создано около полутора тысяч рабочих мест, а за культурно-просветительскую деятельность. А где радости и печали, там и стихи, причём не только самого автора книги, но и таких замечательных поэтов, как Юрий Кузнецов или Николай Зиновьев. Свои размышления, представленные в первой книге, автор продолжает в не менее интересной второй — «Лабиринты судьбы. Между душой и бизнесом». В этом сочинении, кроме всего прочего, показана яркая встреча со скульптором мировой величины Даши Намдаковым, подтверждающая огромную роль мистического начала в нашей жизни.





Музей истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова к 355-летию города на Ангаре выпустил в свет третью часть «Иркутской летописи» известного краеведа, кандидата исторических наук Ю.П. Колмакова. Труд охватывает период 1992–2012 годов. Книга, так же как и её предыдущие части, основана на большом объёме материала периодической печати, документов различных архивов, связанных с историей города Иркутска.

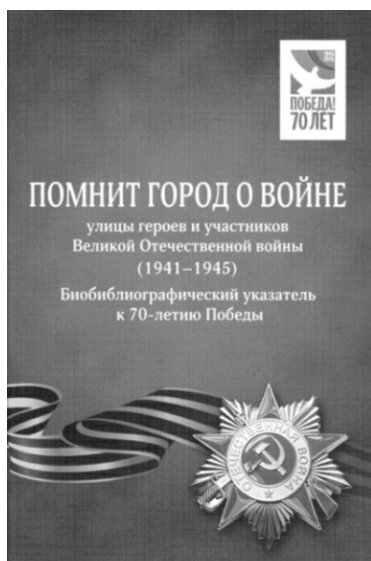
Первый том «Иркутской летописи» вышел в 2003 году. Он охватывал период с 1661 по 1940 год. Второй том увидел свет через восемь лет. В нём отражены события, произошедшие в жизни города в 1940–1991 годах. Последние три года жизни Юрий Петрович работал над заключительной книгой летописи, которая должна была рассказать о наиболее важных событиях

двух последних десятилетий. В издании всех трёх томов «Летописи» участвовал редактор, сотрудник Музея истории города Иркутска Алексей Гаращенко.

В Иркутске вышло в свет уникальное издание — биобиблиографический указатель «Помнит город о войне», посвящённый героям и участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, чьими именами названы более 40 улиц города Иркутска.

Издание «Помнит город о войне» подготовлено и выпущено Централизованной библиотечной системой города при финансовой поддержке администрации г. Иркутска. На протяжении года авторским коллективом библиографов-краеведов ЦБС при непосредственном авторском и организационном участии директора Н.А. Кустовой велась работа по сбору и обработке информации. Надо сказать, что многие первоисточники находятся в фондах муниципальных библиотек ЦБС. Статьи сборника дополнены краткими библиографическими списками, фотографиями героев и участников Великой Отечественной войны. Материалы пособия систематизированы в алфавите улиц по округам города Иркутска: 8 — в Октябрьском округе, 11 — в Правобережном, 9 — в Свердловском, 15 — в Ленинском.

В юбилейный год, год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, значение героического подвига поколения, защитников великой державы, коей была и есть Россия, невозможно ни умалить, ни преувеличить. Цена победы — десятки миллионов жизней. По официальной статистике, потери Советского Союза — вооружённых сил и мирного населения — составили более 27 миллионов человек. Война коснулась каждой семьи во всех уголках необъятной нашей Родины. В том числе и Иркутска. Статистические сводки истории скупы и одновременно трагичны: «из 200 тысяч иркутян, ушедших в армию в 1939–1940 гг. и призванных в годы ВОВ, домой не вернулась половина, ещё более 30 тысяч умерло от ран, полученных во время войны, и болезней в послевоенные годы». Десятки тысяч воинов-иркутян награждены боевыми орденами и медалями, 137 земляков — удостоены звания Героя Советского Союза, 29 — полные кавалеры ордена Славы. Наш долг потомков — сохранить и передать вечную память о



героях, сберечь историческую правду о событиях Великой Отечественной, о значении Победы для всего человечества. Для молодого поколения эхо войны не так реально, как для наших бабушек, дедушек, ровесников дня Победы. В сборнике «Помнит город о войне» видится задача всколыхнуть патриотическую гордость сограждан за подвиг наших земляков, «солдат» Великой Отечественной войны, отдавших свои жизни за будущее грядущих поколений. «Помнит город о войне» — вклад муниципальных библиотек ЦБС в празднование 70-летия Победы, дань памяти иркутян, современного поколения, героям-защитникам, чьи имена увековечены в названиях улиц города.

Указатель содержит более 40 статей о жизни и подвиге Героев Советского Союза, участников войны. Это биографии Жукова Георгия Константиновича, Заслонова Константина Сергеевича, Смирнова Юрия Васильевича, Матросова Александра Матвеевича, Кошевого Олега Васильевича... — с Иркутском их судьбы не связаны, но иркутяне сочли за честь увековечить их имена в названиях улиц. Так же как и имена земляков — Безбокова Владимира Михайловича, Белобородова Афанасия Павлантьевича, Жукова Василия Фроловича, Цукановой Марии Никитичны. Представлены ёмко и подробно факты из жизни героев-фронтовиков, а также исторические свидетельства из общественной жизни Иркутска, указаны годы присвоения имён героев улицам города. В дополнение к статьям подобраны факты из литературы и кинодраматургии.

Библиографическое пособие читается на одном дыхании и воспринимается как публицистическое издание. Читателям, будь то педагог или школьник, историк или журналист, специалист-краевед или просто иркутянин, интересующийся историей края, будут интересны факты, приведённые в издании. К примеру, в 1997 году по решению Иркутской городской Думы проспект Карл-Маркс-Штадт в микрорайоне Солнечный Октябрьского района был переименован в проспект маршала Жукова. В 1996 году — улица Приморская была переименована в улицу Героя Советского Союза В.М. Безбокова, почётного гражданина города Иркутска, это звание ему было присвоено посмертно. С 1952 года имя дважды Героя Советского Союза, почётного гражданина города Иркутска Афанасия Павлантьевича Белобородова (родился он в селе Акинино-Баклаши Иркутской губернии в 1903 году) носит улица в посёлке Энергетиков Свердловского района. Улицам в Ленинском районе и в предместье Марата присвоены имена иркутян, Героев Советского Союза Василия Жукова (с 1967 года) и Марии Цукановой (с 1962 года), до войны они работали на авиазаводе. Марии Цукановой был посвящён корейско-советский художественный фильм. В 1951 году (правда, в 1985 году в связи с застройкой переулок был ликвидирован) внутриквартальному проезду в Октябрьском округе было присвоено имя героя К.С. Заслонова, комбрига партизанского отряда, погибшего в ожесточённом бою 1942 года. Его подвигу посвящён кинофильм «Константин Заслонов» (1949), пьеса А. Мовзона «Константин Заслонов», историческая повесть Леонтия Раковского. Подвиг А. Матросова, который стал символом мужества и воинской доблести, в Иркутске увековечили в 1946 году, присвоив имя героя новой улице в Ленинском районе. Чуть позже, в 1950 году, опять же в Ленинском районе, очередной улице было присвоено имя Олега Кошевого, подвиг семнадцатилетнего героя запечатлен в романе А.А. Фадеева «Молодая гвардия».

Рефреном названия книги звучит главное слово — «помнить», что перекликается со строчками советского поэта и журналиста, блокадника Юрия Петровича Воронова:

*Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память — наша совесть.
Она, как сила, нам нужна.*



Иркутск — очень везучий город. Его судьба и история остались не только на страницах сухих документов. Иркутск — город летописцев. Эта прекрасная и редкая традиция создаёт совершенно особую атмосферу культурного пространства самой таёжной из российских столиц. Даже один, два, три описателя иркутской истории были бы предметом нашей гордости. Но их много больше — Сибиряковы и Щигорины, Пётр Баснин и Василий Кротов, Пётр Пежемский и купец Антонов, архитектор Лосев и Нит Романов, Юрий Петрович Колмаков и Владимир Васильевич Ходий.

«Время строкой ТАСС» — уникальное летописное полотно Иркутска и Иркутской области. Уникальное по объёму, деталям, масштабам. Две тысячи имён и тысяча географических названий. Исключительную ценность этой книге придаёт

голос и интонация автора. Впервые за несколько столетий иркутским летописцем выступает не энтузиаст-любитель, не профессиональный историк и библиограф, а журналист. Носитель этой профессии по самой её сути обречён на то, чтобы видеть всё происходящее своими глазами, пропускать через сердце и отливать в газетные и негазетные строки немедленно и страстно. Потому что настоящая журналистика не может быть вне страстей.

Краткость — сестра не только таланта, но и одно из главных профессиональных умений собкора всесоюзного информагентства по огромному сибирскому краю. Владимир Ходий, отличный стилист и очеркист, этот тридцатилетний труд писал «телеграфной строкой». И каждой этой строкой с благодарным читателем нынешнего и будущего поколений разговаривает Его величество Факт. И потому — в книге всё так, как и было на самом деле.

*Александр ГИМЕЛЬШТЕЙН,
председатель Иркутской областной
организации Союза журналистов России*

Время безжалостно и неумолимо. То, что ещё недавно волновало и интересовало нас, стремительно уходит в прошлое. Пожалуй, лучше всех это понимают журналисты и историки. Сейчас, когда мы живём в мире электронных СМИ и Интернета, многие уже и не помнят, какую роль в расширении информационного пространства играли короткая телеграфная строка и печатное слово. Именно в них отражалась повседневная жизнь региона, дела, достижения и заботы тысяч наших земляков. Пытаясь быть в гуще событий «ради нескольких строчек в газете», журналисты добивались до самых дальних, Богом забытых мест. Но новость скоротечна. Промелькнув в Интернете, радио и телеэфире, на страницах газет, она быстро забывается, уходит в вечность. И лишь немногим удастся зафиксировать эти события, собрав воедино в хроники или летописи.

Новая книга иркутского журналиста Владимира Ходия достойно продолжает славные традиции иркутского летописания. В отличие от краеведов и историков он опирается на собственный опыт и тот огромный информационный архив, который накопился в результате многолетней профессиональной деятельности. Неутомимый и пытливый наблюдатель за жизнью обширного региона, можно сказать, вознаграждён за свой труд. Его книга является своеобразной исторической хроникой последних десятилетий, вызывающих многочисленные, подчас непримиримые оценки у современ-

ников. Это очень объёмное, многоплановое сочинение, вводящее в научный оборот массу разнообразных событий, персоналий, славные и повседневные дела земляков. Именно из этой мозаики буден можно сложить более-менее цельную историю современной Иркутской области.

Несомненно, «Время строкой ТАСС» — чтение отнюдь не развлекательное. В первую очередь издание адресовано специалистам, краоведам, школьным учителям. И их взгляд на него будет далеко не однозначным. Как и в любой исторической хронике, в этой работе есть отдельные лакуны, отражены не все события и достойные внимания персоналии, встречаются малозначительные факты. В то же время нельзя не признать огромного труда автора, его эрудиции, научной корректности, объективности, чисто журналистского стремления донести информацию до как можно большего числа читателей. И эти достоинства книги позволяют говорить о ней как о значительном явлении в расширении источниковой и справочной базы по истории нашего региона, по-новому взглянуть и оценить произошедшие в нём перемены.

Издание тем и важно, что даёт возможность каждому самостоятельно подумать над недавним прошлым Иркутской области. Многим оно напомнит об уже забытом и обогатит новыми знаниями, а кого-то, быть может, вдохновит на более глубокое изучение родного края.

*Вадим ШАХЕРОВ,
доктор исторических наук, профессор*

ВЛАДИМИР СКИФ

На презентацию книги Владимира Ходия

*Приходит время мемуаров,
Воспоминаний о былом,
Хотя измученных и старых
Не вижу здесь и за углом.*

*Пока мы радостны и живы,
Родное слово — наш удел.
И пишем мы не для наживы,
А для конкретных добрых дел:*

*Чтоб память русская не слабла,
Чтоб в мире истина жила,
И сила русская не дрябла,
А возвышалась, как скала.*

*Да, время ценное приходит,
Ходячими находит нас,
И Ходий ходит и находит
В себе самом живой рассказ*

*О журналистском прежнем братстве,
В котором жили мы всегда,
Куда сегодня не добраться
И не доехать никогда.*

*Где жгло распутинское слово,
Где стиль вагнеровский звучал,
Китайский Слава из былого
«Привет, ребята!» — прокричал.*

*Суворов Женья словом честным
Родным Пенатам сострадал.
Нам чарку водочки любезно
Филиппов Слава передал.*

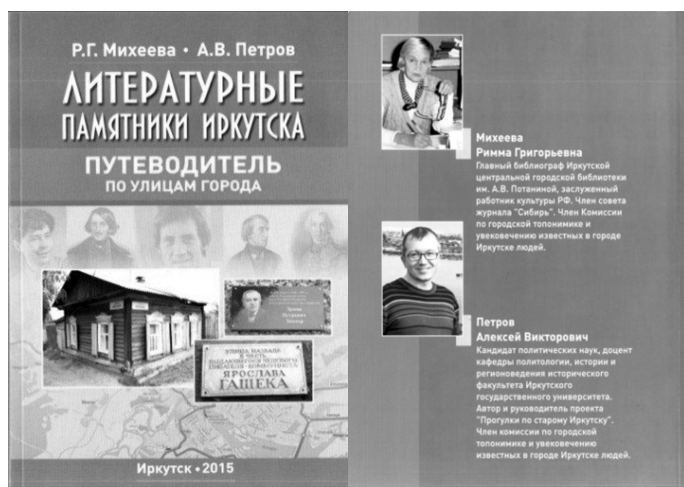
*Он был другим. Другое имя.
Не те, что в джипах и деньгах,
Себя назвавшие «крутыми»
И одуревшие в торгах.*

*Владимир Ходий — это имя
Из ностальгических времён,
Где все мы были дорогими
Друг другу — это помнит он.*

*И помню я, и Харитонов...
(Не будем помнить подлецов!)
Как жалко, что ушёл Сапронов,
Как жалко, что погиб Швецов.*

*О век любви и безобразий...
Его, наверное, сполна
Запечатлеет Сашиа Князев
Узрит Марина Свирина.*

*Но главный здесь сегодня самый
Владимир Ходий. Власть, спеши!
А я ему пою осанну
И поздравляю от души!*



Михеева
Римна Григорьевна
Главный библиограф Иркутской
центральной городской библиотеки
им. А.В. Потанина, заслуженный
работник культуры РФ. Член совета
журнала "Сибирь". Член Комиссии
по городской топонимике и
увеличению известных в городе
Иркутске людей.



Петров
Алексей Викторович
Кандидат политических наук, доцент
кафедры политологии, истории и
регионоведения исторического
факультета Иркутского
государственного университета.
Автор и руководитель проекта
"Прогулки по старому Иркутску".
Член комиссии по городской
топонимике и увеличению
известных в городе Иркутске людей.

Иркутск на протяжении трёх с половиной веков был и остаётся крупным центром общественно-политической, экономической и культурной жизни на востоке страны. У города богатая яркими фактами и событиями история и культурные традиции. Иркутску есть чем гордиться, есть что сохранять в памяти поколений. Прибайкальская Сибирь отдавала

России не только свои природные богатства, но и литературу, лучшие имена которой заняли своё достойное место в золотом фонде отечественной словесности.

По-разному можно знакомиться с историей города и его культурными традициями. Одна из городских традиций, сохранившаяся с конца XIX века до наших дней, — называть улицы именами известных людей, в том числе и литераторов. Ещё до 1917 года в Иркутске были Пушкинская, Гоголевская, Лермонтовская, Омулевская и Ядринцевская улицы, Ломоносовское, Гоголевское и Пушкинское народные училища. Традиция эта продолжалась в советское и постсоветское время. Так, в годы развитого социализма в топонимике города появились улицы, названные именами писателей, которые в своём творчестве критиковали царизм и выступали защитниками «обиженных и оскорбленных», а также советских писателей, стоявших на правильной, с точки зрения КПСС, позиции.

В современном Иркутске более 800 улиц, именами известных литераторов названо в городе не мало улиц, переулков и проездов, несколько библиотек и культурных центров, на многих зданиях размещены мемориальные и информационные доски, установлены памятники и памятные знаки. В топонимике города отразилась история и культура нашей страны. Несколько улиц носят имена зарубежных писателей.

К сожалению, приходится констатировать, что на топонимической карте Иркутска нет имён видных и даже всемирно известных литераторов, бывавших в городе и оставивших об этом свидетельства. Более двадцати лет в Иркутске жил Д.П. Давыдов, автор «Дум беглеца на Байкале», ставшей народной песней «Славное море — священный Байкал». Автор первого советского романа «Два мира», кстати, написанного и впервые изданного в Иркутске, В.Я. Зазубрин жил и работал здесь в 1920–1921 годах. Первый сибирский роман, о котором положительно отзывался А.С. Пушкин, — «Дочь купца Жолобова», написан иркутянином И.Т. Калашниковым. В Иркутске проездом были лауреаты Нобелевской премии А.И. Солженицын и И.А. Бродский (в нашем аэропорту у него «родилось» стихотворение), известный писатель В.Т. Шаламов, возвращавшийся из Колымских лагерей. В Иркутске родился и несколько лет прожил В. Перелесин, один из известных поэтов русского зарубежья. Здесь в 1956 году бывал А. Твардовский, когда перекрывали Ангару, о чём он написал в поэме «За далью — даль». В Иркутске начинались творческие биографии поэтов Ю. Левитанского, А. Преловского, прозаиков П. Нилина, В. Померанцева, Л.И. Бородина, Б. Черных, В. Шугаева, Ю. Бессонова, драматурга И. Дворецкого и др.

В семидесятые–восемидесятые годы прошлого века Иркутская писательская организация входила в число самых сильных в стране. Два имени — Вamпилов и Распутин — получили мировую известность, но в те же годы вся Россия читала прозаиков

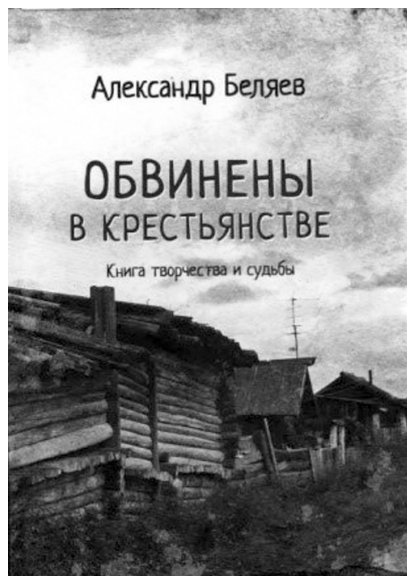
С. Китайского, Б. Лапина, Г. Михасенко, Е. Суворова, поэтов А. Кобенкова, С. Иоффе, П. Реутского, Р. Филиппова, Ю. Черных, литературоведа Н. Тендитник. Все перечисленные литераторы ныне ушли из жизни, но их имена в топонимике города никак не отмечены.

До начала 2000-х годов общественность города практически не принимала участия в обсуждении вопросов, связанных с присвоением имён улицам, бульварам, площадям, написанию текстов на мемориальных досках, поэтому в ряде случаев появилась неточность в некоторых текстах мемориальных досок. Названия же небольшим улицам долгие десятилетия и вовсе присваивались без учёта градостроительных планов и развития города, поэтому в настоящее время некоторые улицы, ранее застроенные частными домами, оказались среди многоэтажной застройки. Другие же улицы, как проезд Книжный в пос. Боково, исчезли с карты города. В 1968 году Иркутский горисполком принял решение о переименовании ряда улиц в нынешнем Октябрьском округе. В частности, ул. 4-ю Советскую (ранее 4-ю Иерусалимскую) решили назвать именем публициста, журналиста Т.Ф. Насимовича-Чужака, но это переименование не было реализовано. Улица 6-я Советская должна была носить имя комсомольского поэта Д. Алтаузена, погибшего на фронте в годы Великой Отечественной войны. Улица была небольшой по протяженности, застроена частными домами, в настоящее время они снесены. Были даже изготовлены таблички с новым названием улицы. Одну из них писатель В. Диксон отвёз в Москву вдове поэта. Об этом писатель рассказал в своей книге «Контрапункт», изданной в Иркутске в 2003 году.

В настоящее время при управлении культуры администрации города Иркутска работает общественная комиссия по увековечиванию памяти известных в городе людей, в которую входят историки, писатели, депутаты городской Думы, краеведы и журналисты. Тексты мемориальных досок, названия улиц и другие объекты рассматриваются комиссией, решения которой носят рекомендательный характер. В настоящее время в комиссии по топонимике (именно так она известна в городской среде) рассматриваются предложения, выдвинутые различными учреждениями и общественными организациями, по увековечиванию памяти В.Г. Распутина.

Составители «Литературной карты Иркутска» — члены данной комиссии, при подготовке путеводителя учитывали, что в последние годы значительно возрос интерес иркутян к истории города и, в частности, к его топонимике. Обобщающих полновесных работ по топонимике города практически нет, а имеющиеся изданы, в основном, более 30–40 лет назад. Составители также стремились показать, по возможности, связь писателей с Иркутском, рассказать, насколько актуально их творчество в наши дни. Материал в «Путеводителе» расположен в алфавитном порядке, по фамилиям литераторов. В краткой справке приводятся сведения о литераторах: их портреты, биографии, краткий очерк творчества. Поскольку большинство улиц находятся не в центральной части города, а в разных округах, указано, где конкретно располагается улица, указаны также адреса, по которым размещены информационные и мемориальные доски. В конце путеводителя приведен библиографический список использованных работ, в числе которых авторы-составители выделяют работу И.И. Козлова «Путеводитель по литературным памятникам Иркутска», выпущенный в 1978 году Иркутским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а также аннотированный каталог «Мемориальные доски и памятники, памятные знаки, скульптуры и образцы техники г. Иркутска», подготовленный Н.С. Пономаревой и вышедший в 2008 году. Кроме того, активно использовалась система 2ГИС по г. Иркутску. Авторы посетили самостоятельно все (!) улицы города, названные именами писателей, ознакомились со всеми информационными и мемориальными досками. Благодаря молодому фотографу Лили Паниной мы сможем видеть часть фотографий в данном издании.

Авторы «Литературных памятников Иркутска» уверены, что городу необходим литературный музей, каковые уже есть во многих городах Сибири, или, как минимум, — экспозиция в одном из музеев города, что, несомненно, привлечёт внимание иркутян и гостей города. Составители обращают наше внимание на то, что ряд улиц, увы, найти затруднительно, так как таблички, информирующие о названии, на домах отсутствуют.



В книгу одного из ярчайших иркутских журналистов Александра БЕЛЯЕВА (1951–2012) «Обвинены в крестьянстве» (издательский центр «Сибирь» поэта Василия Козлова) включены исторические исследования, полемические статьи, репортажи, интервью, очерки, фельетоны и другие материалы, посвящённые традициям и современной жизни русского народа, написанные в разные годы. Предваряет книгу описание родословных корней автора книги, составленное С.Д. Беляевым, братом писателя.

Главной темой Александра Беляева была трагедия русского крестьянства на фоне революционных потрясений XX века.

Интересными для читателя будут воспоминания друзей Александра Беляева — Анатолия Байбородина, Геннадия Русских, Зои Горенко.

ОТДЕЛ КРИТИКИ И ПУБЛИЦИСТИКИ

По материалам издательств, библиотек и книжных магазинов



Высоким словом русского романса

В моей фонотеке, сохранившейся назло суетливому и беспамятному времени, одним из музыкальных шедевров я считаю старую кассету с записью иркутской певицы, исполнительницы старинных русских романсов Нины Дмитриевны Воротниковой. Её имя стоит чуть поодаль от многих ярких имён — музыкантов, писателей, художников, искусствоведов, трудами которых гордится наш город. Но дело, которому она отдала более тридцати лет жизни, заслуживает не меньшего внимания. Н.Д. Воротникова давно известна иркутянам, любителям старинного романса, этого прекрасного, истинно русского и глубоко народного явления музыкально-поэтического жанра. Рожденный в 18-м веке, он зазвучал в гостиных русского дворянства, а потом широко распространился в народной среде. В Иркутске романсы пели в домах поселившихся здесь декабристов — Сергея и Екатерины Трубецких и Сергея и Марии Волконских, где зимними вечерами собиралось иркутское общество для салонного музицирования.

Эти старинные дома, возрожденные нашим городом для новой жизни, стали родными для Нины Дмитриевны. Именно здесь она «родилась» как исполнительница старинного романса. А ведь это были времена, когда романс стал считаться в нашей стране «несовременным», в эфире и повсеместно загрохотал железный рок, и все человеческое, казалось, отступило перед этим захватчиком. И вот тогда, более тридцати лет назад, появилась юная выпускница музыкально-педагогического факультета Иркутского пединститута Нина Воротникова, которая на первом салоне в день открытия дома-музея Трубецких спела романс композитора А. Яковлева на слова Антона Дельвига «Элегия»:

*Когда, душа, просилась ты
Погибнуть иль любить,
Когда желанья и мечты
В тебе теснились жить,
Когда еще я не тил слез
Из чаши бытия, —
Зачем тогда, в венке из роз,
К теням не отбыл я...*

Романс очаровал слушателей, слова, музыка и талантливое исполнение запомнились. А для Нины это было начало Пути.

Как раньше, так и теперь Нина Дмитриевна с каким-то мистическим ужасом отмахивается от всякого величания, от разговоров о деньгах, никогда не навязывает себя в высоких кабинетах. Это понятно всем истинным художникам: мирская суета легко убивает творческое состояние. Но цену себе она знает, потому что Путь, избранный раз и навсегда, она прошла без тени сомнения. «Ла Скала» — это значит Лестница. Нина Воротникова шла по своей Лестнице всю жизнь, всё выше к совершенству, к глубинному пониманию поэтического слова и музыкальной ткани любимых романсов. В характеристике к награждению Н.Д. Воротниковой почётным званием «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» справедливо сказано: «Заслугой Н.Д. Воротниковой является возрождение и утверждение после долгого запретитель-

ского замалчивания камерного салонного музицирования старинного русского романса XIX–XX веков. Наиболее полно это выразилось в организации салонных вечеров в Иркутских домах-музеях декабристов. Н.Д. Воротникова была одной из организаторов и первых исполнителей этих вечеров. Эти музыкально-поэтические вечера являются известным и признанным достоянием современной культуры Иркутска...»

Н.Д. Воротникова всю жизнь проработала в пединституте, она доброжелательный и строгий учитель, старший преподаватель по вокалу музыкально-педагогического факультета. Через её руки и её трепетную душу прошла не одна сотня молодых дарований. Её студенты трудятся на всей территории Сибири и Дальнего Востока, неся в народ музыкальную и певческую культуру.

Воссоздание старинного русского романса стало для Нины Дмитриевны делом её жизни. Она исполнила множество романсов, как широко известных и давно любимых народом, так и редко исполняемых. И к каждому из них она относится словно к открытию, находит только свои, неповторимые оттенки звучания поэтического слова и музыки, буквально проживает каждый романс как историю своей жизни и умеет донести до слушателя это переживание. По её собственному признанию, для неё романс — это «объяснение в любви каждому своему слушателю». Разумеется, и они отвечают певице признанием и любовью. Как сказал поэт: «Позвольте, я в любви вам объяснюсь высоким словом русского романса!..»

Увлекаемые пением, мы как бы поднимаемся над обыденностью, над тревогами бытия. Для каждого из нас романс как некий талисман, хранящий тайну сердца. Нет, певица не старается «упростить» романс — так, словно поёт в домашнем кругу, на диване, что часто бывает у других исполнителей (хотя и в этом есть своя прелесть!). Напротив, она сохраняет всю гамму сложных человеческих чувств, перемены настроений и поэтому каждая история любви и печали запечатлевается нашей прихотливой памятью.

О творчестве Н.Д. Воротниковой написано немало статей, в которых отмечают тёплый грудной тембр её голоса, его глубина и сила, артистическое исполнение каждого романса, когда певица предстаёт в образе дамы то Золотого, то Серебряного века великой русской культуры. Надо сказать, что любовь к пению ей привила мама, обладавшая глубоким, звучным голосом, любившая петь для гостей.

Главное, что певице удаётся передать в своём исполнении русского романса, это поэтичность души. Известно, что композиторы выбирают для создания романса самое совершенное, яркое, эмоциональное стихотворение. В нём должна быть заключена — в самой тонкой и точной форме — история человеческого чувства, высокой нравственности и чистоты. Темы старинного русского романса — любовь, разлука, счастье встречи — всё, чем богата жизнь. Он помогает нам оставаться людьми, сохранить в душе нечто доброе, вечное, без чего человек не был бы человеком. Можно сказать, что сохраняя в романсовой форме этот маленький поэтический и музыкальный шедевр, Нина Воротникова совершает дело особой важности, уберегая от забвения прекрасные порывы человеческого сердца.

В числе авторов стихов и музыки — великие русские поэты и композиторы. Романсы созданы на стихи Пушкина и Лермонтова, Некрасова и Дельвига, Тютчева и Фета, такими композиторами, как Чайковский, Рахманинов, Глинка, Булахов, Гурилев, Даргомыжский. Особое отношение у Нины Дмитриевны к романсам, написанным на слова Татьяны Толстой, поэтессы XIX века. Есть среди авторов и давно забытые поэты, и, может быть, только одно-единственное стихотворение избежало забвения, став прекрасным романсом:

*Среди миров, в мерцании светил
Одной звезды я повторяю имя:
Не потому, чтоб я её любил,*

*А потому, что мне темно с другими.
И если мне на сердце тяжело,
Я у нее одной ищу ответа:
Не потому, что от нее светло,
А потому, что с ней не надо света!..*

Как это не похоже на нынешние «тексты», с горем пополам выкрикиваемые в микрофон хриплыми певцами, этими апологетами антикультуры, у которых вместо открытого сердца нечто другое! И что там поют с телеэкранов несчастные, науськанные детки в модных «проектах»!..

Есть в репертуаре Н.Д. Воротниковой и романсы современных авторов: нет-нет да и появляются достойные музыкального воплощения стихи! Их находят наши известные композиторы, такие, как А. Петров, В. Баснер, Г. Карева, И. Шварц и другие. И вот — звучит романс!..

Надо сказать, что Нина Воротникова выходит на сцену не одна: уже на протяжении тридцати лет она поёт в сопровождении камерного трио. Это Наталья Авессаломова, в её руках, к слову, волшебная скрипка старинного немецкого мастера Георгия Клеца; это Наталья Тихонова, она оживляет строгий рояль своими умными и чуткими пальцами; и это, наконец, Александр Тихонов, чья виолончель вторит человеческим голосом виолончельному голосу певицы. Солистка и участники трио многие годы занимаются просветительской работой. Совершенно бескорыстно! В их исполнении звучит дивная «Поэма» З. Фибиха, романс «Метель» гениального Георгия Свиридова, «Размышления» Массне, сказочное адажио из балета П. Чайковского «Лебединое озеро» и многое другое. Замечательно, что на концертах старинного русского романса слушатели имеют счастье внимать камерной классике, исполненной виртуозно, классически! А о том, как создавалось это творческое содружество, рассказывают легенды. Эти четверо (каждый из них — профессионал, яркая индивидуальность) одни только знают, сколько усилий было положено, сколько споров и разногласий преодолено во имя создания творческого коллектива. Нина Воротникова и камерное трио много лет были участниками почти всех значительных культурных событий жизни Иркутска: «Декабристских вечеров», «Дней русской духовности и культуры», в концертах по случаю знаменательных дат. Они выступали не только в крупных концертных залах — Органном и филармонии, но и в Доме актёра, Доме литераторов, в музеях и актовых залах учебных заведений и организаций. Было даже выступление в колонии строгого режима. И всюду восторженный, но и взыскательный иркутский слушатель осыпал их цветами. Случалось, что не хватало места в концертном зале.

Из бесед с Ниной Дмитриевной знаю, как трепетно относится она к своему голосу — как к Божьему дару. Готовясь к каждому концерту, словно к священнодействию, она разговаривает со своим голосом, как с существом отдельным, живущим своей особой жизнью, умоляя его «не подвести, раскрыться». Она добивается особой рельефности фразировки, необычайной выразительности вокальных образов, её пение богато эмоционально-смысловыми оттенками. Эти особенности явились с годами труда, по мере взросления души, по мере приобретения певицей высокой человеческой мудрости. Иначе мы слышали бы заурадное пение, не оставляющее в душе следа.

Скажу по секрету, что в годы учёбы и в начале концертирования Нина Воротникова пела сопрано — так считали её педагоги и, соответственно, «тянули голос вверх». Со временем она почувствовала, что ей «неуютно» в высокой тональности, хотя голос её отличается широким диапазоном, и она стала петь меццо-сопрано. Голос приобрёл глубокое грудное звучание — редкое в Иркутске. Да, пожалуй, и во всей России таких голосов — поискать!

*Татьяна СУРОВЦЕВА,
поэт*



«Оказывается, у меня есть Отечество!»

Так воскликнул в 1818 году, дочитав последний из недавно вышедших восьми томов «Истории государства Российского» Николая Михайловича Карамзина, самый, наверное, пёстрый и шальной граф Российской империи Фёдор Толстой, прозванный, к слову, Американцем. Нет-нет, он не пылал любовью к молодой североамериканской республике, лишь какое-то время пожил на одном из островов Русской Америки, взявшей согнанный с корабля капитаном Крузенштерном за непристойное поведение с пьянками и дебошами. И Россию-матушку он по-своему любил и не рвался из неё. Ключевое, конечно же, в его восклицании слово — «Отечество».

«Отче» — «Отец» — «Отчизна» — «Отечество» — извечный смысловой ряд, который, оказывается, может прерываться и сокращаться. Прерываться и сокращаться либо для некоторых из нас, либо даже для какого-то слоя населения или же для целой эпохи жизни государства и народа. Сумасброду и неприкаянной душе Фёдору автор «Истории» по-отцовски заботливо и благовестно словно бы нашептал, как сиротинушке, что у него, как и у любого другого человека, есть отец. И тридцатишестилетний детинушка Федя, начав читать первый том, к восьмому, по крайней мере для самого себя, в своих ощущениях, обратился в Фёдора Иваныча, отныне знающего и накрепко помнящего своё родство, потому что нашёл, хотя и неожиданно-негаданно, но нашёл-таки Отца-Отечество.

В эти же годы сам Н.М. Карамзин упрекал своих сограждан в том, что «мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России...»

В каких же, хочется спросить, теперь, по прошествии двух веков, некоторых случаях мы не «граждане России»? Несомненно, нас есть в чём упрекнуть, есть во что, как говорится, ткнуть носом. Если, к примеру, перебрать событийность ближайшей русской истории, то мы в период великого потрясения и смуты — Горбачёвской перестройки и Ельцинских реформ всерьёз и, похоже, надолго усомнились в выстраданном старшим поколением наших сограждан принципе социальной справедливости: точно ли, что в обществе не должно быть ни бедных, ни богатых, а все могут и должны быть зажиточными, и должно быть, верили: от каждого — по труду и каждому — по потребностям? Мы расшатались нравственно, нудно и порой озлобленно выясняя, точно ли, что нам нужно крепкое государство, которое, убеждали нас особенно ретивые наши сограждане, непременно закабалит в нас личность, изотрёт в порошок индивидуальность, оторвёт от «светоносной» западной цивилизации? И, наконец, мы обескровились и обесформились духовно, разными способами и средствами, в том числе через искусство, в особенности благодаря «кину» и «телеку», поначалу осторожно и зачастую гаденько выясняя, точно ли, что так уж важны для нас заповеди Божьи, религиозные установления, правила и правила, а может, лучше, если жить не тужить, этак потихонечку греша, в хитромудрой надежде, что Он не узрит?

Впрочем, ничто под луною не ново: примерно так же жили-были и современники Н.М. Карамзина, в частности, небезызвестный Фёдор Толстой, да и весь тот разнопёрый великосветский сонм. Прочитали они «Историю» — восхитились. И — призадумались. Эта призадуманность в особенности красочно и ярко проявилась у «нашего

всё» — у Александра Сергеевича. Сначала он восторженно написал, кажется, в каком-то из писем: «Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную... Древняя Русь, казалось, найдена Карамзиным, как Америка Колумбом... Карамзин есть первый наш историк и последний летописец...» А попозже, призадумавшись, как бы — многозначное и весьма любопытное словечко нашей с вами эпохи — уточнил: «В его «Истории» изящность, простота // Доказывают нам без всякого пристрастия // Необходимость самовластия // И прелести кнута».

Так-так, Александр Сергеевич! «И на обломках самовластия...» напишем чьи-нибудь имена?

Нет-нет, парадоксальная игривость ума, свойственная гению, не подтолкнёт нас к оргвыводам и, как следствие, менторскому порицанию буквы и духа творчества Александра Сергеевича. Мы понимаем, что молодость не терпит рамочности, правил, нотаций. Но, однако, если молодость не созреет, не остепенится, когда срок ей пришёл, то можно смело сказать такому человеку: «Ну, ты, батенька, загнул!» А.С. Пушкин вызрел, стал «нашим всё», и этой искромётной эпиграммой и письмом, как и Американец своим просто-таки — архимедовым «Эврика!» — возгласом, всего-то отразил господствующие настроения общества. Высшего, светского, разумеется, общества, которое, прервав на минутку своё французское чириканье, насторожилось и призадумалось: «А, собственно, что это такое, государство наше Российское?»

Мысли, как водится, породили действия: окрепли и вскоре совершили свои романтические безумства декабристы, окрепли и чуть позже воздвигли мысль-памятник почвенники: «Православие — Самодержавие — Народность», «составляющие, — пояснил в 1832 году в своём докладе императору Николаю Второму граф С.С. Уваров, — последний якорь нашего спасения и вернейший залог силы и величия нашего отечества».

Совершенно очевидно, что идеологическая армия «Православие — Самодержавие — Народность» лоб в лоб противопоставилась другой идеологической армии, порождённой Великой французской революцией, — «Свобода — Равенство — Братство». А ныне уже наша с вами современность выдвигает новые лозунги-армии, и один из них год от году, возможно, будет звучать всё мощнее и чище: «Нравственность — Державность — Справедливость». И если так, то необходимо понять, что нравственность шатка без религиозного чувства, державность неуверенна без единства «физического» и «нравственного» начал «могущества» государства (определение Н.М. Карамзина), а справедливость так и вовсе невозможна без справедливости во всём и к каждому. Что называется, поживём — увидим.

Возвращаясь в эпоху «Истории», следует отметить, что через десять лет граф С.С. Уваров развил свою мысль, и нам показалось, что она полновесно и чисто говорит и о нашем с вами времени — времени очевидных идейных и идеологических войн: «Посреди быстрого падения религиозных и гражданских учреждений в Европе, при повсеместном распространении разрушительных понятий, ввиду печальных явлений, окружавших нас со всех сторон, надлежало укрепить Отечество на твердых основаниях, на коих зиждется благоденствие, сила и жизнь народная, найти начала, составляющие отличительный характер России и ей исключительно принадлежащие... Русский, преданный Отечеству, столь же мало согласится на утрату одного из догматов нашего Православия, сколько и на похищение одного перла из венца Мономахова. Самодержавие составляет главное условие политического существования России. Русский колосс упирается на нем, как на краеугольном камне своего величия... Наряду с этими двумя национальными находится и третье не менее важное, не менее сильное — Народность. Вопрос о Народности не имеет того единства, как предыдущий, но тот и другой проистекают из одного источника и связываются на каждой странице истории Русского царства. Относительно к Народности всё затруднение заключалось в соглашении древних и новых понятий, но Народность не заставляет идти

назад или останавливаться, она не требует неподвижности в идеях. Государственный состав, подобно человеческому телу, переменяет наружный вид свой по мере возраста, черты изменяются с годами, но физиономия изменяться не должна. Неуместно было бы противиться периодическому ходу вещей, довольно, если мы сохраним неприкосновенным святилище наших народных понятий, если примем их за основную мысль правительства, особенно в отношении к общественному воспитанию. Вот те главные начала, которые надлежало включить в систему общественного образования, чтобы она соединяла выгоды нашего времени с преданиями прошедшего и с надеждами будущего, чтобы народное воспитание соответствовало нашему порядку вещей и не было чуждо европейского духа...»

Не о том же и мы сейчас печалуемся? Как сопрячь вольтерьянский европейский и национальный российский дух?

А другой граф, граф Лев Толстой, лет через двадцать в «Войне и мире» начертал, будто высек на камне: «Мы русские не пожалеем крови для защиты веры, престола и отечества...»

И снова «лезет на глаза» риторический вопрос: а мы за что или во имя чего «не пожалеем крови»?

Но что же Н.М. Карамзин? О! нынешний год воистину карамзинский: родился Николай Михайлович в 1766 году — 250 лет тому назад, со дня его кончины минуло 190 лет, и два века отмечаем со дня начала печатания первых томов его эпохальной и по сей день блистающей, как венец, драгоценными камнями «Истории государства Российского». Первые восемь томов были напечатаны в 1816–1817 годах, и невероятный для того времени трехтысячный тираж разошёлся за несколько недель. Весьма любопытный факт: далёкий-предалёкий Иркутск, чего раньше никогда не случалось с беллетристикой в России, разом закупил аж 400 экземпляров! И, разумеется, потребовалось переиздание, и оно было тотчас осуществлено. В 1821 году был представлен сгорающей от нетерпения публике девятый том, а через несколько томительных лет — десятый и одиннадцатый. И тот же головокружительный успех у автора. И то же головокружение у публики. Почему? Думаем, потому, что, как отметил через столетие, уже на исходе 19-го века, известный историк К.Н. Бестужев-Рюмин, «высокое нравственное чувство делает до сих пор эту книгу наиболее удобною для воспитания любви к России и к добру».

Несомненно, что главный герой «Истории» Н.М. Карамзина, его любимый герой, его именно герой, и именно всей отечественной истории герой — российское самодержавие. «Государству для его безопасности нужно не только физическое, но и нравственное могущество...» — был уверен Николай Михайлович. «Великие народы, — облюбовывал он свою мысль, — подобно великим мужам, имеют свое младенчество и не должны его стыдиться: отечество наше, слабое, разделенное на малые области до 862 года, по летосчислению Нестора, обязано величием своим счастливому введению Монархической власти...» (писал только с большой буквы!) В монархической власти, осиянной крестом православной веры, Николай Михайлович и видел нравственное могущество государства.

Он, как мужик, верил в царя-батюшку, в благотворность силы монархического государства, но, как мыслитель эпохи Просвещения, преуспевание для России видел в монархе высокой культуры, в монархе мудреце, в монархе рыцаре. А потому в своей «Истории» русских государей, которые не соответствуют его идеалам, он — порой нещадно — бранит, а государей, соответствующих его идеалам, превозносит сколь возможно высоко, хотя некоторых из них, к слову, и надо бы, ну, хотя бы пожурить.

Николай Михайлович так возлюбил монархию, что невообразимые и вероломные — прежде всего лично для него — события 14 декабря 1825 года на Сенатской площади сразили его морально и, как потом оказалось, непоправимо пошатнули его

здоровье. Он весь тот несусветный день до самого поздна находился в толчее народа на морозе и ветру и, не отличавшийся крепким здоровьем, жестоко простыл. Все старые болячки и хвори коварно и враз заявили о себе. Лечился — не помогало, день ото дня ему становилось хуже и хуже. Из последних сил он дописывал 12-й том своей «Истории», но не дописал. В конце мая 1826 года наш первый и единственный официальный историограф скончался.

«Карамзин, — отметил впоследствии Н.В. Гоголь, — представляет явление необыкновенное. Вот о ком из наших писателей можно сказать, что он весь исполнил долг, ничего не зарыл в землю и на данные ему пять талантов истинно принес другие пять». Воистину так, Николай Васильевич!

Последние слова, которые он в предельном напряжении вывел пером (или же, есть сведения, продиктовал, но в состоянии чрезвычайно тяжёлом), описывая междоусобицу 1611–1612 годов, были более чем символические — «Орешек не сдавался».

«...И что была тогда Россия? — взволнованно писал смертельно больной Николай Михайлович. — Вся полуденная беззащитною жертвою грабителей ногайских и крымских — пепелищем кровавым, пустынею; вся юго-западная, от Десны до Оки, — в руках ляхов, которые по убиении Лжедмитрия в Калуге взяли, разорили верные ему города: Орел, Волхов, Белев, Карачев, Алексин и другие; Астрахань, гнездо мелких самозванцев, как бы отделилась от России и думала существовать в виде особенного царства, не слушаясь ни Думы Боярской, ни воевод московского стана; шведы, схватив Новгород, убеждениями и силою присваивали себе наши северо-западные владения, где господствовало безначалие, где явился еще новый, третий или четвертый Лжедмитрий, достойный предшественников, чтобы прибавить новый стыд к стыду россиян современных и новыми гнусностями обременить историю, и где еще держался Лисовский с своими злодейскими шайками. Высланный наконец жителями из Пскова и не впущенный в крепкий Ивангород, он взял Вороночь, Красный, Заволочье; напал на малочисленные отряды шведов; грабил, где и кого мог. Тихвин, Ладога сдались генералу Делагарди на условиях новгородских; Орешек не сдавался...»

Да, маленькая русская крепость Орешек не сдавалась. И эти внешне простые слова теперь воспринимаются сакральным завещанием Н.М. Карамзина всем нам, чтобы не «...прибавить новый стыд к стыду россиян современных и новыми гнусностями...» не «...обременить историю».

Так и слышится через века: «Братья мои россияне, не сдавайтесь что бы ни было!»

Александр ДОНСКИХ